

ISSN 0132-0637

ОКтябрь

3 1992

ОКтябрь 1992



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1992

М А Р Т

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ. Лики бессмертной власти. Роман. Книга первая. Царь Иоанн Грозный	3
Лев ЛОСЕВ. Новые стихи	75
Илья МИТРОФАНОВ. Бондарь Грек. Быль	79
Ефим ЛЯМПОРТ. Про фазана. Стихи	125
Юрий БУЙДА. Апокрифы нового времени. Рассказы	128
Екатерина КОРОТКОВА. День рождения Катьки. Рассказ	154
Иван АХМЕТЬЕВ. На свой лад. Стихи	207

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Сергей АНДРЕЕВ.
Россия в перспективе 162

Товар — деньги — товар

Владимир СИМАКОВ.
Биржа как колыбель предпринимательства. Беседу вел Иван ЖАГЕЛЬ 183

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Советская литература — новый взгляд

Людмила САРАСКИНА.
Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского 187

Виктория ШОХИНА.
Восемнадцатое брюмера генерала Букашева 198

Юрий ОРЛИЦКИЙ.
Роман... с газетой 202

Борис КОЛЫМАГИН.
От слова первого до точки 205

ОТКЛИК

На книгу Сельмы Лагерлёф «Сказание о Христе» (Елена Трофимова) 197

Страница редактора 208

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи редакция не возвращает.

Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **С. И. Суровцева.**

Сдано в набор 12.02.92. Подписано к печати 28.02.92. Формат 70×108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 159 600 экз. Заказ № 1406. Цена 14 р. 70 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь», 1992.

Анатолий АНАНЬЕВ

Лики бессмертной в л а с т и

РОМАН

Возрождению России посвящаю

Книга первая. ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

Два обращения к читателю

1. С позиций более общих

Мне кажется, нет на земле человека, который хотя бы раз не оглянулся на свое прошлое, прошлое страны, народа, на историю человечества вообще, историю земли и жизни на ней. Одни старались познать явления природы и закономерности их, другие — явления общественной жизни, чтобы (для определенных и разных целей) управлять ими, и каждый в согласии со своими взглядами на мир, своими убеждениями, своим уровнем культуры и пониманием ценностей выстраивал единственно будто бы верную схему движения (от простого к сложному), вернее, схему мирового процесса развития, из которого затем выводилось не только прошлое (для объяснения и утверждения настоящего), но и будущее, в которое, как в отстроенную кошару, должно было входить человечество и обитать в ней. Все эти (и в дохристианские, и в новейшие времена) отстроенные кошары, то есть общественные формации, названные (историками, и в целях периодизации) первобытнообщинным, рабовладельческим, феодальным и прочим укладами жизни, как бы ни облегчали наш исследовательский взгляд и не упрощали до скелетной обнаженности всю неохватную сложность исторического процесса и сил, противоборствовавших в нем, и как бы ни претендовали на истину, в которой ни убавить, ни прибавить, и которую следует только принять как единственно верную трактовку минувшего, — они, в сущности, лишь констатируют, но мало что могут объяснить в минувшем.

2. С позиций более частных

О благе правления в народе обычно судят не по словам правителей, а по их деяниям и по тому, какими людьми они сумеют окружить себя, то есть по тем советникам и сатрапам, через которых и осуществляется ими власть; и как ни скрыта бывает при этом придворная жизнь, но та жестокая, не допускающая пощады, иначе не назовешь, борьба, постоянно, как и теперь, происходящая у тронов и за трон, — борьба эта, в которой главной и безвинно страдающей стороной был и остается народ, так ли, иначе ли, с той ли, иной ли степенью достоверности, но выплескивается за стены дворцовых палат и, упрощаясь (в народной молве) до однозначных и ясных сюжетов, обретает совершенно свою и на столетия иногда затем сохраняющуюся (в памяти народной) жизнь.

Властитель подобен человеку, в детстве прикоснувшегося к раскаленному железу, и только не на теле, а на душе его пожизненно остается неизгладимый след. Действия таких людей, их мысли, их видение мира всегда, в любых обстоятельствах несут на себе печать этого ожога и бывают

направлены лишь на то, чтобы (как зеленка на язву) если не заживлять, то хотя бы утихомиривать боль от постоянно сочащейся раны. В то время как усилия людей простых обычно сводятся к тому, чтобы поддержать благополучие свое и общее, которое, по их понятиям, может строиться только на принципах добра и справедливости, то есть на изначальном равенстве вступления в жизнь (человек — глава всему, и все вокруг зависимо от него и подчинено ему), поступки власть имущих или помазанников божьих, венценосцев, как их титуловали еще, так как за единицу измерения ими принимается не человек, а народ, суть (для них) стадо, которое следует пасти и из которого для подавления, усмирения и выравнивания под общую усредненность всегда можно отправить энное количество особей на убой (сколько возьмет рука или охватит глаз), — поступки их по корням и целям имеют совсем другую, противоположную человеческому разуму природу. Венценосцев не может заботить благополучие свое, которое у них есть, тем более благополучие общее, которое должно (по «реализму» их) разумеется само собой; сводили же как-то граждане отечества концы с концами прежде, сводят и теперь; устраивались, перебивались — устроятся и перебьются теперь; цель коронованных особ всегда состояла и будет, видимо, состоять в том, чтобы древо власти, на котором (из поколения в поколение) произрастает их будущее, не только не старело, не засыхало, но укреплялось в своем неодолимом могуществе, затемняя и подавляя вокруг себя все, что только (в пределах досягаемости и недосыгаемости) можно обесмыслить и подавить; и в этом плане черта примиримости, какую всякий раз при сменах формаций усиленно пытаются положить между народом и властью, — черта эта есть лишь иллюзия, лишь видимость единства корней и целей; там, где сталкиваются интересы народа и интересы власти, именно на этой черте соприкосновения и возникают те исторические (чаще кровавые, чем бескровные) события, по которым, как по верстовым столбам в нашей прежней России, и меряется тот — к совершенству без совершенства — путь, по которому, двинувшись в седой старине, человечество продолжает идти, мучаясь, истекая потом и кровью и не находя сил остановиться и оглядеться.

Ученые-историки, как и ученые-философы и политики, утверждают (по тысячелетней преемственности взглядов), что вполне изучили все и всякие институты власти и могут не только объяснить, но и предсказать, по какой схеме начнут развиваться те или иные события общественной жизни; они же, эти историки, философы и политики (так как власть без теоретических обоснований — это не власть, от Бога ли она или приобретена мечом и интригами), работающие, как правило, на государство, получающие от него, а потому и зависимые от него, с еще большей как будто убежденностью берутся утверждать, что как и институты власти, они изучили и знают народ, который, впрочем, в трудах их предстает то осмысленной, творящей историю массой, то безликой (для оправдания каких-либо иных, новых версий), полной стихийных побуждений толпой, способной лишь разрушать и не способной без вождя или сильной личности ни на какие созидания; и, хотя здравый смысл подсказывает, что даже в самых противоположных проявлениях своих народ всегда остается единым, и происходящее в нем и с ним возникает от одной и той же побуждающей причины, все же неправомочно будет, наверное, полагать, что утверждения ученых нереалистичны или беспочвенны, — уже потому, что (а) история и в самом деле дает немало примеров для подобного двойственного толкования и (б) за тысячелетия наблюдений и обобщений невозможно было не приблизиться хоть к какой-то истине. Но с каким бы уважением мы ни относились к науке (и уж никак не желая, разумеется, опровергать ее) и как бы ни преклонялись перед тем исчерпывающим будто бы сводом знаний, при посредстве которых так легко ныне, привычно (и удобно!) оцениваются всевозможные явления жизни, — суть этих явлений, их причинная связь, из глубин столетий восходящая к современности, позволяет при определенном и беспредвзятом подходе усомниться в полноте и непогрешимости преподносимых нам философских канонов; в действиях народа, как и в действиях самодержцев да и всяких иных правителей, как бы они ни именовались и ни ядились в тогу добродетели, происходят иногда столь необъяснимые (с точки зрения общепринятых и естественных как будто законов жизни) явления, столь странные и противоречащие (на первый взгляд) даже простому человечес-

кому разумению, что невольно возникает вопрос: да это ли следует принимать за логику жизни, что принимаем и от чего отталкиваемся, или нечто другое, что нетронутой целиной лежит перед нами и ждет своего пахаря?

II

Так уж повелось, хотя и неправильно говорить, что повелось, потому что нет в мире ничего, что не имело бы целенаправленности и не являло бы собой определенную и всесторонне продуманную (на будущее) идею, но, однако, — так уж, видимо, повелось, что самым бесспорным и неопровержимым эталоном для выяснения истин всегда охотно брались и берутся учеными разных стран примеры либо из греческой, либо из римской истории, либо даже сюжеты из античной (или библейской) мифологии, переносимые прежде, для убедительности, на почву реализма; ну а если по примеру Карамзина обратить взгляд на историю отечественную, то не откроется ли нам яснее та суть нашего бытия (вычлененная из общего и ошаблоненного бытия народов), по которой, изучив ее, мы только и смогли бы до конца понять и осознать себя, и не предстанут ли тогда перед нами в некотором единстве — и по действиям правителей, и по действиям народа — столь, казалось бы, отстоящие друг от друга эпохи, как сталинская, Иоанна Грозного или Николая I? Могут сказать: да в чем же тут новизна вопроса? Правители есть правители, и деятельность их ясна (да так ли уж и ясна, и не обманывались ли мы, и не повторяли в этом своем обмане одну и ту же ошибку?), равно как и народ есть народ, и что же о нем говорить (как будто мы и в самом деле знаем, что такое народ и почему он в одних случаях противится и бунтует, а в других — смиренно идет на плаху, содействуя своей гибели). Мыслители прошлого, те, на которых так охотно готова теперь опереться некоторая и довольно значительная часть нашей интеллигенции, увидели в смирении народа так называемый русский путь, с которого нельзя и гибельно как будто сворачивать; но было ли смирение вообще как таковое, или оно насаждалось, во-первых, путем устрашения духовного, что отводилось церкви, и, во-вторых, устрашения физического, то есть казни, казни, казни, что отводилось палачам и относилось к явлениям тоже далеко не разового порядка?

Теперь, по прошествии лет, одни историки, обращаясь к годам царствования Иоанна Грозного, оценивают деятельность этого кровавого самодержца как созидательную, будто и в самом деле только полуопустошив огнем и мечом и обезлюдив Россию, можно было объединить ее, и что с отдаления веков нельзя не оценить по достоинству сей государственный шаг; иные же, положившие себе более реалистично посмотреть на дело, приходят к другой и, может быть, не менее ошибочной крайности и весь период этого страшного правления делят лишь на эпохи казней: первая — расправа с Адашевым и Сильвестром и искоренение их родов и родов всех, кто хоть как-то был близок к ним или связан с ними, вторая — создание опричнины и земства и все зло, проистекавшее уже от этого государева новшества, третья, опять ознаменовавшаяся уничтожением мужей знаменитейших, о которых (переводя на современный язык) можно сказать, что это были передовые для своего времени мыслящие люди, тогдашняя, если хотите, интеллигенция, чьим умом и волей история наша могла бы получить совсем иное и, может быть, более европейское развитие, четвертая и самая ужасающая (как говорят те же историки) эпоха мучительства, когда подрубались под корень не только интеллигенция, но и народ — во время известного (1569 г.) зимнего похода самодержца с опричниками на Тверь, Новгород; словно Мамай прошелся по Руси, говорили тогда, настолько опустошены и обезлюдены были районы центральной России; потом эпоха пятая, шестая, седьмая: на кол, на виселицу, на плаху... Но так как в задачу этой книги не входит нагнетание ужасов, то есть описание злодеяний, коими до краев (и через край!) переполнены наша и дальняя, и новейшая история и один перечень которых мог бы составить сотни тысяч томов, то не пора ли от рассуждений общего характера, столь непривычных для жанра, за что, полагаю, и без того уже несдобровать автору от упреков читателей и критики, — не пора ли перейти к конкретному изложению тех исторических событий, которые для уяснения вопроса представляют наибольший интерес и могут быть положены в основу повествования.

III

Знает ли кто, сколько нераскрытых тайн хранится в музейном безмолвии кремлевских соборов, безмолвии бывших государевых и иных палат, потерявших значение бывшее, но успевших обрести новое (в роли все тех же каменных могильников с обманною позолотой и росписью стен), в залах дворцов, где в мнимом величии проштамповывалось все, что нестираемой тенью затем накладывалось на жизнь бесправного, безголового (в веках!) разнообразнейшего российского люда? Как и теперь, так и в те ушедшие от нас летописные, как можно было бы назвать их, времена, взоры русских людей всегда были обращены к Кремлю, и при малейшем непривычном движении за его могучими зубчатыми стенами или неурочном, оповещающем колокольном звоне толпы мещан, холопов, бояр и боярских детей сейчас же начинали стекаться к башенным воротам готовые (в смутной взвинченности своей) на любое правое и неправое под видом правого дело. Именно таким, неурочным, набатным звоном кремлевских церквей была разбужена Москва в декабрьское утро 1564 года, не ведавшая пока ни сном, ни духом, каким незаживающим рубцом обозначится сим звоном их историческая судьба. Вместо ровного, как в других странах, последовательного восхождения к просвещению и прогрессу в основу русского пути будет брошен первый челночный ход, коим и определится затем вся последующая в государственном развитии челночность, когда при видимости движения вперед мы будем (по тронной, так сказать, милости) метаться от самодурства к послаблениям и обратно, не успевая в короткие просветы передышек не то чтобы социально или нравственно оглядеться и привести в порядок себя и страну, но не успевая даже осознать, что челночность есть вовсе не движение вперед, а топтание (в данном случае слона со всеми его телесами и мышцами) на одном и том же пятачке жизни. Теперь говорят, что подобный выбор пути есть выбор народа и что, будь на месте русского какой-либо иной европейский народ, он не допустил бы, чтобы его с пути восхождения свернули на путь топтания; не знаю, не знаю, но в этом ужасном, наклеенном своими руками и на себя же ярлыке есть что-то безысходно-роковое, против чего не может не подниматься и не восставать нормальная человеческая душа; признание предопределенности — это ведь не что иное, как добровольные кандалы, которые (пусть с позолотой!) остаются, увы, кандалами, сковывающими движение, и можно ли поверить (тем более принять), чтобы люди, рождающиеся для свободы и жизни, к какой бы национальности они ни относились, могли добровольно избрать для себя путь холопства и крепостничества. В противоборстве двух сил, как известно, одерживает верх обычно та, к которой присоединяется третья, дающая перевес; и эта третья, в разные периоды жизни окрашивающаяся в разные цвета и, как правило, большей частью выпадающая из поля зрения исследователей, — сила эта, между тем имеющая и своих носителей, и свою вековую историю, и догмы, затрагивающие самые сокровенные чувства людей, несмотря на хамелеонность — по сути, а не внешнею — и несоединимость будто бы ее протянувшихся через столетия сегментов, являет собой тот тяжелый для подавления монолит, который, если всерьез говорить о нем, чаще играл даже не второстепенную, не вспомогательную, а определяющую роль в исторических судьбах народов. Но, оказавшись труднораспознаваемой, скажем так, даже с отдаления веков и высот научных кафедр, могла ли сила эта быть очевидной современникам и распознаваться ими, особенно тем простым людом, у которого и всего-то (упоминаю не в унижение ему) только и забот на уме, чтобы прокормить себя и чадо. Не умевший под тяжестью догм и забот даже просто воображением выйти за рамки существующих условностей жизни (а догмы на то и догмы, чтобы утверждать незыблемость мира), люд этот, в сущности, не мог видеть дальше версты от своих ног и в то декабрьское утро, разбуженный набатным звоном колоколов, стягивался к кремлевской площади с предчувствием более минутной, чем исторической беды России.

Били в колокола по всем церквам, и в морозном воздухе над столицей стоял такой гул (уносимый за городскую черту и достигавший окрестных деревень и монастырей), что казалось, не иначе как сам крымский хан с несметной по тем временам силой или иной какой недоброжелатель России, позвавший под свою хоругвь Литву и Польшу, вот-вот должны были

подступить к Москве и пожечь и разграбить ее. Но ни поляки, ни крымцы в тот год не думали двигаться на Россию, и перед московским людом, стекавшимся на кремлевскую площадь, открывалась та странная и приводившая всех в недоумение картина, которой не то чтобы никто не мог дать верного толкования, но, глядя на которую, умолкали даже самые говорливые, любившие обычно похвалиться тем, что ни боярская плеть, ни царский гнев им не указ. В центре площади, в окружении все прибывавшей и прибывавшей толпы, стояло множество запряженных саней, и государевы кучера и холопы выносили из дворца и укладывали в сани царские драгоценности: казну, святые иконы, при виде которых все сейчас же начинали креститься, золотые и серебряные сосуды, меха, одежды и весь прочий и прочий династический скарб, нажитый, если так можно сказать, за столетия и поражавший теперь баснословным богатством и роскошью. Создавалось впечатление, будто царь Иоанн не просто (и не на время) отъезжал из столицы, что было бы и естественным, и понятным, но словно бы по принуждению (и для кого-то!) освобождал свой кремлевский дворец и, ни с кем не объяснившись, собирался навсегда покинуть Москву. Бояре, духовенство, стоявшие по обе стороны крыльца, на снегу, с затаенным безмолвием смотрели на происходившее, не осмеливаясь ни спросить, ни помешать сему совершавшемуся на их глазах царскому делу, и столь же безмолвно взирал на все народ, теснясь и греясь в этой тесноте и более удивляясь пока несметности богатств, выносившихся из палат, чем государевой причуде — покинуть дворец, столицу и, по первопутку проложив след, отправиться неведомо куда и неведомо зачем. Перед народом, тесня его от саней, воинственно гарцевали на откормленных лошадях ближайšie сподвижники царя: боярин Алексей Басманов с сыном кравчим Федором, Афанасий Вяземский, Михайло Салтыков, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский. Сии сатрапы, еще не опричники, но успевшие уже запятнаться интригами и кровью, казалось, одни только знали суть происходившего; с надменностью тех высших государевых холопов, коих во все времена и в различных обличьях всегда предостаточно вьется у тронов (и без которых, как видно, вернее, как подсказывает история, не может обойтись ни одна власть), они не только с плетью и криком набрасывались на народ, но наскакивали и на бояр, и даже на духовенство, стараясь со всей своей молодецкой наивностью показать, сколь (после Адашева и Сильвестра, чьи места, оклеветав их и войдя в доверие к царю, теперь занимали) бесконтрольна и могущественна была их вседозволенность. Особенно усердствовали в этом Алексей Басманов с сыном и князь Афанасий Вяземский. В богатых одеждах и с заломленными шапками они словно бы вырастали то на одном, то на другом краю площади, то будто по уговору съезжались к шеренгам ратников, выстроенных для сопровождения царя, то вдругу устремлялись к парадному, откуда вот-вот должен был появиться самодержец.

IV

Но царь Иоанн медлил и не выходил пока. Он стоял в своей сводчатой палате, чуть отдалившись от окна, чтобы с площади нельзя было различить его, и привычно суровым взглядом смотрел на происходившее. Холопы, сновавшие между саней, сбившееся в стаю духовенство: епископы, архиепископы во главе с митрополитом Афанасием в торжественных церковных облачениях, бояре, боярские дети, шеренги ратников, дьяки, подьячие и тот простой (и торговый) московский люд, продолжавший прибывать и прибывать толпами, — сознавал ли Иоанн, что все это, собранное теперь перед дворцом, жило и двигалось лишь по его воле и что стоит ему поднять руку (или насупить бровь, как делал он, когда хоть что-либо начинало раздражать или возмущать его), как сейчас же все примет иное направление и иной смысл, или, не исчерпав еще до конца тех человеческих чувств, которые говорят всякому из нас, что все мы одинаково смертны и что человеку простому столь же дорога своя жизнь, как и царю царская, снисходил пока еще (делами и помыслами) до этого мира сего, что и всегда-то, как и теперь, требовало сочувствия и забот? Душа царская есть еще больше потемки, чем любая иная, особенно когда речь заходит о такой, как Иоаннова, не знавшей предела ни гневу, ни жестокости. Даже те из бояр, кого

он пригревал у трона, вряд ли знали или догадывались об истинных причинах его столь безграничной, приведшей к сыноубийству нетерпимости и вспыльчивости. Но всякая видимая непродуманность поступков еще не означает, что в том или ином человеке все отдано стихии, то есть, иначе говоря, разнузданности, хотя и царской, не имеющей направления и цели, и уж по крайней мере ни одного из самодержцев России (взять хоть из дальней, хоть из ближней истории) невозможно отнести к подобным — без руля и ветрил — натурам; нет, в действиях их так ли, иначе ли просматривается та всегда работающая на подавление народа страшная черта тиранства, за которой или, вернее, возле которой не щадится ничто, способное хоть как-то противостоять трону. Если есть древо народной жизни, а оно действительно-таки есть, то следует признать, что существует и древо власти, берущее начало столь же из былинных времен, и развивалось и развивается это древо по своим и, может быть, тоже естественным (для себя) законам устройства и приспособления. Корни у этого древа, видимо, так же неподрезаемы, как неподрезаемы они у древа народной жизни (во всяком случае, за историю человечества еще ни одному народу не удавалось сделать этого), и всякий новый властитель, из какой бы среды ни являлся миру, — как лист из почки не может, укрепившись на стволе, не питаться соками этого ствола и соответственно не заботиться об укреплении и неистощимости своего источника жизни и власти. То, что питало духовно Иоанна, в полной мере, если представить образно, приравнимо к древу и сокам, наливающим плод, и, может быть, именно в этот день и час, когда, стоя у окна и глядя на запруженную людьми и санями площадь, он испытывал еще колебание, совершать или не совершать задуманное им переустройство российской жизни, должно затем на столетия ввергнуть державу в челночный и потому бессмысленный, обеспокоенный, означенный лишь самоистощением ход развития, то есть когда действительно от его воли зависело, остановиться или все же предпринять этот шаг, — может быть, именно тогда перед ним впервые во всей зловещей полноте начало приоткрываться то, что неминуемо открывается перед каждым тираном: пустота, отделяющая трон от народа. И народ, и бояре, и даже сам дух их жизни — все, все вдруг предстало перед ним в той истинной враждебности, всегда жившей и живущей в людях по отношению к власти, то есть к насилию над личностью и проявлением ее, которая (если не держать постоянно эту «враждебность» в узде) может, сообразовавшись, подобно стихии смести и трон, и самодержца, и само это злоносное древо, вывернув его из земли с его бессмертными корнями, чтобы и в помине не осталось места, где могло бы гнездиться сие ужасающее насилие. Разумеется, если Иоанну все же представлялось все это, то, надо полагать, отнюдь не в такой ясности; нас учили, что исторические личности всегда думают лишь историческими категориями: объединение Руси, подавление княжеско-боярских междоусобий и пр., и т. д., и т. п., тогда как Иоанн, несмотря на оставленный им грозный след, был всего лишь человеком с пороками и слабостями, какие лишь в разной степени проявления присущи всем, но, получив в царской его особе стократное усиление, видятся иногда великими, низменно великими, можно было бы уточнить, или по крайней мере чем-то особенным, ставящим Иоанна в разряд натур незауряднейших и неповторимых. В мире все возможно; возможен и такой взгляд, вернее, преувеличение, но, думаю, то простое, присущее человеку, что определяло и двигало царскими помыслами, — простое, человеческое куда более могло бы объяснить нам мотивы и самую суть тиранства, всегда более основывающегося на страхе (за плоть и древо), чем на фундаменте государственных нужд (как подаются затем факты истории для обоснования и подкрепления идей и концепций), и — великая по учебникам, не предстанет ли нам тогда душа Иоанна в тщедушии и мелочной своей уязвленности, лишь облаченной в царское благолепие, какой она только и была на самом деле и какой, оставаясь наедине с собой, Иоанн сознавал и видел ее. На мгновенье, да, только на одно, может быть, мгновенье почувствовав себя в это утро у окна беззащитным и уязвимым и вздрогнув и заледенев душой, он до конца жизни уже не смог избавиться от этого охватившего его мгновенного — именно за плоть и древо — страха и готов был за саму возможность в нем этого унизительного чувства мстить и мстить, персонально ли, то есть по фамилиям, исходя на нет тот или иной вызвавший подозрение княжеский или боярский род,

или городам — Твери, Новгороду — за то лишь, что люди в них, как, впрочем, и по всей России, посмели хотеть для себя нормальной человеческой жизни.

V

Колокола уже не гудели, и с площади сквозь прихваченные морозцем оконные стекла различимо доносились конское ржание, голоса бояр, покрикивавших то на холопов, то на народ, и глухой, словно накатывающийся ропот толпы, особенно заставлявший Иоанна прислушиваться и как раз и вызывавший в нем тяжелые мысли. Нет, он не восклицал, глядя на эту однородную, серо шевелившуюся перед ним зипунную массу и плавающие над ней шапки бояр: «Ужо вам!». Вся непрерывная цепь убийств и казней, какую означит его царствование, — цепь эта (какой она будет?) со всей ее бессмыслицей и пагубностью именно для державы, которую, как увещавательно продолжают говорить нам, Иоанн хотел только объединить и усилить, еще отдаленно не представлялась ни в продолжительности и тяжести мучений народа, ни в размерах выпущенной из людей крови; думая вроде о будущем (в тех смутных очертаниях защиты плоти и древа, как только оно пока и могло представляться ему), он в то же время был весь в страстях сиюминутных, поглощавших и его царское внимание и волю. Он знал, что, покидая Москву, бросал вызов не только боярам, служившим (правдой ли, неправдой ли, как полагал) ему, и не просто народу, которого никогда не понимал, не хотел и не мог понять, но бросал вызов всей своей царской судьбе, словно мало было ему власти, какой обладал, мало было унижений и трепета, с каким всё и вся преклонялось перед ним, и требовалось достичь чего-то еще более могущественного, что поставило бы его особу в ряд хотя и земных, но недостижимых людям величин; он, в сущности, бросал вызов всей той враждебности, что была за окном, на площади, одновременно и чувствуя над ней свою силу, и трепеща перед ней, и ему попеременно хотелось то поскорее и решительно покончить с начатым, то есть осуществить угрозу, с какою (выразив ее именно этим своим отъездом) готовился оставить Кремль и столицу, то, напротив, чтобы кто-то бесстрашно, как когда-то иерей Сильвестр, кинулся теперь к его ногам и каким-либо новым вразумительным словом остановил его. В памяти Иоанна живо возникло то тринадцатилетней давности событие, когда в испепеленной пожаром Москве народ, «несчастием расположенный к иступлению злобы и мятежу», восстав, наконец, против боярской деспотии Глинских и Пронских, действовавших в своих интересах и поборах именем юного самодержца, растерзал в церкви Успения князя Юрия Глинского и, наглумившись над его телом, вынесенным на лобное место перед Кремлем, и разграбив имена тих бояр и умертвив многих слуг и детей их, явился затем толпой в Воробьеве и, окружив царский дворец, требовал, чтобы Иоанн выдал на самосуд им свою бабу княгиню Анну, колдовством будто бы учинившую пожар в Москве, и ее сына Михаила. Вот так же стоя у окна, Иоанн смотрел тогда на ту разъяренную толпу, в которой, он отчетливо это понимал, были и те челобитчики на Глинских и Пронских, которым накануне в гнев, что осмелились прийти к нему, он самолично палил бороды и волосы, лил на них горящее вино и, велев под конец раздеть донага, положил на землю перед собой... Они были в толпе, да, он видел, и — выдай он тогда им княгиню Анну с сыном, кто мог поручиться, что уже через час толпа не потребовала бы и его самого к ответу? Он приказал стрелять по толпе, и в те самые минуты, когда перед фасадом и вокруг дворца загремели выстрелы и люди, падая от пуль и с выкриками проклятий и ужасом кинулись прочь, чтобы спастись от сей государевой «милости», и когда в царских палатах зловеще запахло пороховым дымом, гарью и кровью, — пробившись через охрану, выламывавшую ему руки, в комнату к Иоанну ворвался в то время безвестный еще как будто иерей Сильвестр (правда, некоторые историки утверждают, что не совсем безвестный, так как числился уже тогда одним из служителей придворного Благовещенского собора) и с «угрожающе поднятым перстом», как свидетельствуют современники, и с «видом пророка» и столь же пророчески поставленным голосом возвестил Иоанну, что «суд божий гремит над головою царя легкомысленного и злострастного; что огонь небесный испепелил Москву; что сила высшего волнует народ и лиет фиял

гнева в сердца людей!» В руках у Сильвестра было святое писание, из которого иерей и принялся читать наставления Иоанну. Так ли все было на самом деле или сопровождалось иными и более выразительными подробностями, но — кто может теперь, приподняв плиту истории, выложить перед нами с достоверностью, что и как было тогда; важно, что было, что нашелся служитель, готовый вступить за правое дело, и что внушения его (может быть, даже сама дерзость поступка!) возымели действие, и не на час, не на день, а на десятилетие воцарилось спокойствие в государстве; важно, что Иоанн внял и запомнил и в минуту новых испытаний чувствовал, что ему недоставало Сильвестра, и, взглядываясь в толпу, искал лицо его среди сотен других незнакомых ему лиц. Но Сильвестра не было. Оклеветанный и сосланный в уединенную Соловецкую обитель, он был затем тихо (и с ведома и согласия Иоаннова) помещен в келью молчальников, а вместе с ним (как только и можно предположить) задавлена была и сама возможность подобного проявления духа, так что — чего же было искать и ждать самодержцу от им же самим униженного и запуганного народа? Вместо Сильвестра взгляд его то и дело натывался на шапки и лица бояр, и оттого лишь сильнее натягивалась в нем струна гнева и ненависти.

Он вздрогнул, но не обернулся, когда, громяхая в дверях своими воинскими доспехами, вошли к нему князь Вяземский и боярин Басманов с сыном Федором и объявили:

— Государь, все готово к отъезду!

VI

— Царица?.. — спросил Иоанн, все так же не оборачиваясь.

— На выходе, Государь!

— Хорошо, оставьте меня, — сказал Иоанн тем (хотя и без раздражения пока еще) тоном, значение которого не нужно было разъяснять ни князю Вяземскому, ни Басмановым.

Он сейчас же, пятясь, вышел из палаты, удивленные и озадаченные холодностью к ним Иоанна, но — что было самодержцу до холопов, в какой бы знатности они ни пребывали, если вместо того державного, что, казалось, только и могло в эту минуту занимать его, мысли его были сосредоточены лишь на себе и Сильвестре, который в образе нового иерея или чернеца должен был вот-вот, явившись, удержать и спасти его; ему не хотелось прерывать этой минуты ожидания, когда все могло еще измениться и образумиться (перед той бездной, в какую он ввергал Россию), и желание это настолько сильно охватывало Иоанна, что он несколько раз невольно и нервно оборачивался на дверь, за которой, впрочем, было столь же глухо и напряженно (ни Вяземский, ни Басмановы, ожидавшие выхода царя, не смели даже пошевелиться), как глухо и напряженно было и в палате, и в самой вскипавшей (царской многогранностью) Иоанновой душе.

Трудно сказать, сколько в этом смятенном состоянии простоял бы Иоанн у окна, борясь с охватившим его сомнением, и что в противоборстве душевных сил одержало бы верх, может быть, действительно-таки разумное, что отвернуло бы Россию от пути мучительств и казней, если бы вдруг не послышался или не прозвучал на самом деле тот одиночный удар колокола, который и вывел самодержца из задумчивости и отрезвил его. Разумеется, было бы нелепо теперь утверждать, что сей одиночный колокольный звон решил судьбу России и что все дело в том, что запутавшийся в концах веревок звонарь сделал по неосторожности ли, по неосмотрительности ли не то движение, какое надо было сделать ему; к тому же и в свидетельствах очевидцев почти не упоминается об этом роковом будто бы для России сигнале, настолько несущественным показалось всем сие событие в общей суматохе сборов; не исключено, что никакого удара и вовсе не было, то есть не было вины звонаря, а все произошло лишь в воспаленном воображении Иоанна, и сколько бы мы ни брались толковать сейчас, опускаясь к обыденности (чем только и сопровождается всякое даже великое дело), несомненным остается одно, что тот внутренний спор, какой Иоанн вел в эти минуты в себе, не мог решиться иначе, чем он решился; все, что не подкрепляло древо власти, — было отброшено как ничтожное и враждебное, и в наступившем единстве цели и действий уже не находилось места для сомнений; где прозвучал одиночный удар колокола: над площадью

ли, в сознании ли Иоанна, было неважно, а важно было лишь, что прозвучал, положив черту между тем, что было достоинством всех, и тем, что было достоинством одного, столь же, впрочем (да и всего лишь!), смертного, как и все, и перешагнувший эту черту Иоанн никогда уже не позволял себе обратного хода; заледенев лицом и душой, он резко повернулся и направился к выходу.

Не знаю, насколько есть предчувствия у слуг (иногда кажется, что они способны видеть сквозь стену), но едва Иоанн приблизился к дверям, как они распахнулись, пропуская его; потом распахнулись следующие, еще следующие, и полный духовных и физических сил тридцатилетний самодержец России, выглядевший молодожаво и стройно (несмотря на некоторую сутулость, происходившую от высокого роста), прошагал мимо придворной челяди тем твердым, державным шагом, каким более чем умел, как и множеством других впитанных им из царского арсенала приемов, выказывать свое превосходство и власть. За царем, стремясь подражать его державности и оттеснив бояр именитых и думных, двинулись его любимцы: и те, что только что были с докладом, то есть Вяземский и Басмановы отец с сыном, и успевшие подойти Салтыков, Грязной, Чеботов и Малюта Скуратов-Бельский, уже тогда своим усердием и преданностью Иоанну начавший заметно выдвигаться среди липнувшей к трону блестящей молодежи. Пройдет время, и среди страшных имен истории зловеще зазвучит и имя этого человека, поставленное рядом с именем самодержца (как, впрочем, и имена этих, с кем он, сияя доспехами, шел вслед за Иоанном и для которых даже мученическая смерть их не сможет послужить оправданием перед историей), но коль скоро служба властительно всегда подменяется понятием службы отечеству, то и деяния сих ретивых во все времена служак столь же пропитываются украшательством и ложью, что совершающий их вряд ли до конца осознает, что и во имя чего совершается им; и дело тут не просто в обмане, который так ли, иначе ли, но с прошествием лет открывается перед миром, а в том, что, открываясь, не учит, что, несмотря на всю очевидность лжи, предстает, в сущности (в пространстве столетий), неистребимым, и каждое новое поколение искателей службы и славы даже не замечает, как оказывается все в тех же сетях. Действительно ли знали эти именитые холопы о замысле Иоанна, думали ли о судьбе России, за которую, как это казалось им, готовы были не пожалеть живота, или всего лишь, отдавшись течению, в какое (по знатности рождения) судьба определила их, плыли теперь, не понимая, куда и зачем, — все говорило в них об этой бездумности, которая только и могла одухотворять их, и это видно было и по их сиявшим беззаботностью лицам, их одежде, парадно кричавшей о знатности и близости к трону, наконец, высокомерию, с каким взирали они на тех, кто еще вчера, казалось, стоял выше их и помыкал ими. То, что затевалось Иоанном, для них было скорее лишь очередным увеселительным делом, в котором можно было, во-первых, вдоволь натешиться и, проявив ревность к службе, плотнее приблизиться к трону, и, во-вторых, получить или выпросить за эту свою «ревность» еще вотчин на кормление, и — чего же было не веселиться им, идя за самодержцем?

VII

У слуг — своя жизнь, своя психология, с подносом ли в руках они стоят перед властителем или с готовностью занести палаческий топор над народом. Разница лишь в том, что одним платят объедками со стола, другим — известностью и славой. Нет, я не хочу сказать, что история не знает иных примеров; примеры были, но они — как мгновенные озарения на фоне постоянно мрачного неба или как исключения, подтверждающие, что смена формаций есть лишь смена вывесок над одной и той же глубинной неизменностью жизни. До абсолютизма, при абсолютизме, как свидетельствуют источники, и после него — все та же основа, тот же один стержень: держатель власти, как бы ни называли его, двор при нем (думных ли бояр, министров ли, иных ли чинов и званий) и та же извечная, полная интриг и борений придворная жизнь, которая, как поток через валуны, несется через века, не меняя ни русла, ни скорости и обращающая каждого, кто попадает в него, в силовую частицу своего давления. Князь Вяземский, князь Михайло Салтыков, боярин Алексей Басманов с сыном, Чеботов, Грязной, Малюта

Скуратов-Бельский — как ни казалось им, что они лишь подчинялись самодержцу, за которым, возглавляя свиту, весело вышагивали теперь, и как ни казалось Иоанну, что все, что совершал он и совершалось вокруг него, зависело от его желания и воли, на самом деле все было и сложнее и проще, поток одинаково увлекал как властителя, так и слуг, и если бы можно было колебания Иоанна представить в виде безмена с чашами добра и зла, то вся (в знатности и роскоши) придворная челядь кинулась бы, дав друг друга, к чаше зла, из которой кормилась, и никакой воли самодержца не хватило бы остановить это движение; и, захоти Иоанн что-либо изменить теперь, он не смог бы сделать этого; он был в потоке, и свита, хвостом растянувшаяся за ним, словно на гребне выносила его к его зловецким замыслам и делам.

На другой половине дворца, женской, приближался к выходам свой (и столь же растянувшийся меж дверей и палат) шлейф из знатных особ, прислужниц и слуг с величественно выступавшей впереди молодой супругой Иоанна царицей Марией. Летописцы, как и люди вообще, коим не чуждо поперебивать косточки ближнему, обычно любят, когда нет иных и нужных аргументов, прибегать к так называемому влиянию жен на ход государственных событий; история не оставила нам точных свидетельств, насколько дочь черкесского князя Темрюка, названная в христианстве Марией, могла влиять на Иоанна, особенно в этом его пагубном (для России) предприятии, когда он, желая бросить вызов боярам и народу, решил на оставление столицы, но настороженность к ней, как к чужеземке, способной действовать не в пользу державы, — настороженность эта чувствовалась в то утро и среди знати, и среди народа и, соединяясь с именем венценосца, выливалась в настороженность и недоверие к нему. Настроение ближних, как и настроение толпы, не всегда выражается в речах и криках; гнетущее молчание иногда говорит куда больше, чем любые самые грозные слова; и потому, наверное, чем могильней было молчание за спиной царицы, то есть чем яснее ощущала она недоверие и недоброжелательность к себе, тем горделивей и царственней поднимала голову и тем сильнее тот гнев, какого могло бы и не быть в иных обстоятельствах, возникал в ней и сближал ее с Иоанном.

У выхода из дворца эти два потока соединились. Иоанн чуть приостановился, испытывая, видимо, потребность что-то сказать царице или спросить у нее, но — лишь молча, наклоном головы отдав почтение, вместе с ней затем вышел на крыльцо перед народом.

VIII

Человек не в силах поставить себя вне природы, вне общества; даже монарх, отождествляемый с Богом, хоть на минуту, но бывает подвержен влиянию красоты, когда душа и тело его, гармонируя с окружающим его миром, вдруг опускаются до простого, земного восприятия жизни. С него, как одежды с плеч, спадают оковы божества, и в облегченном этом состоянии (облегченном душевно) он становится способным и на доброту, и на раскаяние, и на улыбку, слезы, на сочувствие к ближнему, без чего невозможна была бы сама мысль о людском сообществе; и не в этот ли момент возникает сознание вины и потребность искупления, заглушаемые во все прочее время приливами дворцовой жизни с ее так называемой безустальной заботой о благе отечества? В исторических источниках (несмотря на всю информационную скудость их) сказано, что в день отъезда из Москвы Иоанн, войдя в церковь Успения, «молился с усердием» и что, «приняв благословение от Афанасия, милостиво дал целовать руку боярам, чиновникам, купцам; сел в сани с царицей и, провожаемый целым полком вооруженных всадников, уехал в село Коломенское, где жил две недели за распутьем: ибо сделалась необыкновенная оттепель, шли дожди и реки вскрылись». Не очевидно ли, сколь спокойное повествование разбивается словами «молился с усердием», и не говорит ли нам это о состоянии Иоанна, в каком, приняв ужасающее свое решение, он покидал столицу? Нет, с какой бы убежденностью ни утверждали философы, что не личностями, а законами, то есть противоборством раз и навсегда установленных сил движется история, — ничто не властно над чувством и разумом человека, кроме разве самого человека и обстоятельств, вынуждающих к действию. Иоанн не был

в вакууме, и ему не чуждо было душевное расслабление. Увидев совсем по-иному, чем из окна дворца, площадь, через которую вместе с царицей прошествовал затем к церкви Успения в сопровождении любимцев и слуг, увидев народ, в покорстве обнаживший перед ним головы и тысячами глаз с надеждой и верой устремившийся на него, увидев и, главное, ощутив глубину и первоизданность мира, сотни раз представавшего и теперь вновь, как перед великим событием, представшего перед ним куполами церквей, снегом и небом с его вечной и таинственной безграничностью, Иоанн не мог не расслабиться и не осознать (хоть отдаленно, хоть намеком), что и он, как и все, есть лишь частица этого великого целого, что неподвластно ни земному разуму, ни земной воле, и что — не пора ли остановиться человеку в своих желаниях перед этим пределом умиротворенности, красоты и величия.

Говорят, лик самодержца был светел, когда, входя в церковь Успения, он поверх толпы и позолоченных куполов соборов еще раз посмотрел в морозную глубину неба. Но, поддавшись сему соблазну умиротворенности, мог ли он в полной мере, как это свойственно всякому простому человеку, признать главенство жизни над всеми другими потребностями души и тела? Мог ли подняться до этой высоты и простоты восприятия, не выдвигнув впереди жизни как высшее (и доступное лишь избранным) проявление ее — силу и власть? Потому-то, наверное, и молился с «усердием», что просил у Всевышнего крепости духа для себя против расслабления — хотя бы и минутного, но столь (в монаршем понимании его) отравительно-пагубного для государя России. «Только в силе народного повиновения заключена сила государственная, и только волею властителя может удерживаться коленопреклоненным народ. Укрепи, Господи, нас в мужестве, и нашей земной славою да будет воздано тебе на небесах!» Разумеется, ни этих, ни подобных им (и схожих по смыслу) слов Иоанн не произносил; усердие его было скрытым, мысленным, и лишь по той пугающей жесткости, которая, проступая, словно бы затвердевала на его молодом, сухощавом, горбоносом лице, можно было судить о происходившей в нем душевной работе. Когда он вышел из церкви, он был уже иным, словно весь аскетизм святых, с росписей и икон (в соборе) смотревших на него, их мученичество и отреченность от благ земных во имя благ вечных, соединившись, наполняли теперь душу и тело Иоанна и, трансформируясь в нем в тяготы властью, являли толпе и миру грозного самодержца.

В царских своих одеяниях (и сопровождаемый царицею с ликом столь же погасшим и отяжелевшим) Иоанн подошел к саням. Обернувшись к толпе, он милостиво, как и утверждали очевидцы, протянул руку, но подхлывшие с поклоном и целовавшие ее не интересовали Иоанна. Взгляд его, скользнув поверх согбенных спин и голов, был устремлен в пространство — ту бездонную глубину неба, открывавшуюся между куполами, в которой, как полагал он, только и можно было найти ответ на вопросы о незыблемости и вечности бытия. Ведь как раньше, так и теперь для властителей не существует проблемы отдельных человеческих личностей; для них все слито в понятия «народ», «благо народа» и «благо отечества», то есть того «блага», которое, пообещав всем, можно не давать никому; и — сколько же поколений людей, поддавшись на сей легковесный обман, было перемолото затем тронными жерновами за минувшие тысячелетия? Мне могут бросить в упрек: дескать, не слишком ли автор осовременивает Иоанна? Возможно, что и так, если человеческую мудрость, наработанную историей, отнести лишь к разряду подростковых шалостей перед лицом ныне столь «возмужалого» (до амбициозных высот!) сознания; но разве происходящее теперь с народами и правителями не повторялось прежде (читайте, читайте историю!), и разве не обращаемся мы в поисках новых догм к догмам прежним и не мастерим для них своих, созвучных времени одежд? Иоанн не мог не знать о силе и притягательности идей общего характера, бросаемых в народ, перед желаниями (или запросами) частными, и если в чем и можно тут усомниться, то лишь в степени понимания Иоанном существа дела, а не в самой той сути, о которой идет речь. Он точно так же молча и глядя поверх митрополита, осенявшего его крестом, принял благословение, затем уместился в санях рядом с царицей, и весь монарший обоз в окружении бояр, холопов и ратников, скрипнув полозьями, двинулся к Троицким воротам Кремля.

По мере того, как обоз, вытягиваясь, освобождал площадь, — прежде разделенная, как разрез на теле, толпа смыкалась, стягивая рану, и по мере того, как рана заживлялась, глуше и напряженнее становилось в толпе, словно не царь, не грозный (и кровавый) самодержец России, а кормилец, поилец, отец родной уходил из отчего дома, оставляя несмышленных и осиротелых чад своих на произвол и поругание. Люди не понимали, что произошло, и были (по состоянию растерянности) похожи на тех животных, всю жизнь просидевших в клетках и вдруг получивших свободу, которые, страшась этой открывшейся им свободы, боятся выйти из своих привычных жилищ; и как только последние сани монаршего обоза скрылись за кремлевскими воротами, толпа, топча и сдавливая друг друга, хлынула к церкви Успения, к митрополиту Афанасию, стоявшему на паперти и продолжавшему осенять крестом то ли пространство, то ли народ, как это можно было понять, готовый пасть на колени перед ним, то ли все еще — царский поезд, распевавший уже московские улицы и головными санями своими выходивший из города. «За что? Почему? Что будет с нами?» — было в отчаявшихся взглядах людей. Но что мог ответить им митрополит Афанасий? Он только попросил освободить ему дорогу и сквозь образовавшийся проход, сопровождаемый духовенством, прошел в опустелый, безжизненный царский дворец. Он ходил по гулким (в пустоте и безжизненности своей) царским палатам, ища объяснения и не находя его, и, не имея уже сил вновь появиться на народе, в муках тяжелейших предчувствий прислонился к косяку окна, возле которого только что, казалось, стоял Иоанн, и столь же вдумчивым взглядом принялся смотреть на продолжавшую кипеть людской толчею площадь.

IX

У каждого из нас есть два состояния жизни: когда мы предоставлены сами себе, то есть находимся в тишине и одиночестве, и когда оказываемся втянутыми в водоворот общих событий, то есть в толпе, в массе, захваченные ее интересами и неотторжимые от нее. В одиночестве у нас и думы ясной, и происходящее вокруг мы соизмеряем прежде всего со своей жизнью, жизнью семьи, ближних, и мир, предстающий перед нами, предстает в конкретном объеме и измерении; в массе же, когда в действие вступают совершенно иные параметры восприятия, исторические, назовем их так, все окружающее настолько гиперболизируется, что обретает если не эпохальное, то уж, во всяком случае, общенациональное значение, и тогда, как водится, — у страха глаза велики! Соединенные вместе, чувства людей оборачиваются равно как всеобщим и безудержным ликованием, так и безудержной и всеохватной паникой (в согласии, разумеется, с изначальной заданностью), разум уступает стихии, и совершаются безумства, на столетие, а иногда и больше накладывающие затем свой страшный отпечаток на сознание людей. Я не берусь утверждать (да это было бы и против моих правил), что все подобного рода исторические события, в кои бывают вовлечены народные массы, развиваются по одному и тому же раз написанному сценарию; но вместе с тем если внимательно и без предвзятости, то есть без желания заранее что-либо подтвердить или доказать, взглянуть на них, то можно заметить и некую проявляющуюся общность, по которой они рождаются между собой, преподнося нам и человечеству определенный и не воспринятый пока еще поколениями урок. В самом деле, могли ли у тогдашних обывателей Москвы возникнуть при виде покидавшего их царя чувства иные, чем сомнение, недоумение, растерянность и страх перед свободой, вдруг и столь упрощенно даровавшейся им? Ведь событие то можно представить и так (очистив его прежде от ненужных наслоений), что России давался, в сущности, шанс выбора: быть ей вечно под десницею самодержцев и захлебываться в нищете, бедствиях, крови и стогах или пойти путем другим, европейским, как сказали бы теперь, то есть путем раскрепощения труда, инициативы и обретения истинной, а не мнимой, сдобренной лишь некоей иллюзорной русской идеей самобытности? Царь оставлял народ, бросал его на произвол судьбы, так чего же еще, о чем размышлять? Но история не донесла до нас ни мыслей митрополита Афанасия, человека наверняка незаурядного, сумевшего из монахов (Чудова монастыря) подняться до государева духовника, а затем получить высший

духовный сан России, ни князей, бояр, окольных и разного рода прочих приказных людей, среди которых было немало и мужей именитых, умных, умевших постоять и за себя, и за народ, и за отечество (они затем с гордой покорностью положат свои головы на плаху под обгаренный кровью Иоаннов топор), ни тем более кого-либо из народа, о ком можно было бы рассказать теперь. Известно лишь, что и духовенство, и князья, и бояре, и народ, — все находились в недоумении и паническом ужасе, словно безначалие и впрямь, как замечает историк, было для них страшнее тиранства (что, впрочем, лишь констатирует, а не объясняет явление); но может ли сегодня удовлетворить нас даже столь, казалось бы, емкая и правдивая констатация, и не возникает ли потребности заглянуть поглубже — если не в самый корень вопроса, то по крайней мере в те пределы, с которых можно было бы начать уяснять истину. Нам говорят, что человечество развивается и совершенствуется по одному и тому же естественному закону жизни, а наличие ступенчатости в уровне развития народов преподносится как результат неких складывающихся (?) обстоятельств или, точнее, неких возникающих (?) общественных сил, которые в разные эпохи и по-своему либо тормозят, либо способствуют ускорению процесса, и что, следовательно, воздействие этих общественных сил или обстоятельств нельзя рассматривать в последовательном единстве, то есть вне контекста с эпохой, и тем более выводить по ним какую-либо параллельную (с основным законом) и столь же естественную закономерность. Может быть, подобное деление жизни на естественный ее ход и на привносимые в него элементы торможения или ускорения с точки зрения науки имеет свою логику и по-своему оправдано и правомерно; но простая народная рассудительность подсказывает мне, что все, что происходит с человеком и человечеством, — все, все неразрывно связано между собой, имеет одни корни, одно начало и продолжение, а потому и рассматриваться должно в единстве, а не в отрыве неких естественных будто бы сил, направляющих течение, от привносимых. Привносимое может привноситься только либо властью, либо религией, которая, впрочем, всегда являлась служанкой власти (нескольким или одной, как церковь православная, так и не сумевшая за тысячелетие отделиться от Кремля), и если уж от чего-то и зависит ход истории, то зависимость эту следует искать в существе той власти и той религии, какие тот или иной народ позволил принять и возвести над собой. В то время как среди европейских народов, получивших (уже в те средние века) во владение землю и обрабатывавших ее, укреплялось свободолобие и достоинство, безземельный, закрепощенный россиянин, одновременно угнетавшийся и властью, и церковью, призывавшей его к терпению и внушавшей ему, что он всего лишь Божья овечка, предводимая пастырями, то есть царем и церковью, — россиянин (разумеется, в общей своей массе) не мог даже помыслить о каком-либо ином устройстве жизни, чем то, в котором пребывал, свикнувшись с нищетой, бесправием, терпящий тяготы и заботы. Нет, как бы ни хотелось нам иметь другую историю, мы имеем эту, в которой, к сожалению, и формировался наш народный характер, наши нравственность и социальное смирение, столь и ныне (по незнанию или зломыслию) провозглашаемые самобытностью; мы, в сущности, движемся по замкнутому кругу, нищета гонит нас в церковь за справедливостью и надеждой, а с амвона снова и снова глаголят нам о вечных овцах, пастырях и терпении, через которое только и можно будто бы прийти к общему благу, и — будет ли когда-либо разорван этот зловещий замкнутый круг, извлечем ли, наконец, урок из собственной истории или нет — вот вопрос, который давно и болезненно преследует меня, и лишь в поисках ответа на него я и позволил себе это столь неправомерное (с точки зрения канонов жанра) отступление.

Но вернемся к повествованию.

X

После отъезда Иоанна люди долго не расходились с площади и, топчась перед кремлевским дворцом, ожидали, что вот-вот митрополит Афанасий выйдет к ним и объяснит все. Но митрополит не появлялся, и за глухими дверями не было слышно ни его голоса, ни шуршания его расшитых золотом и камнями церковных облачений. Между дворцом и церковью Успения лишь молчаливо сновали озабоченные монахи, для чего-то (и заранее,

видимо) вызванные сюда, да оставленные Иоанном при дворце холопы и стражники, которые, выходя на крыльцо, покрикивали на народ и разгоняли его. Их угрожающий вид, равно как и молчаливая, и непонятная беготня монахов только усиливали общую тревогу и озабоченность. К полудню настроение толпы выплеснулось за кремлевские стены и вместе с людским потоком начало разливаться по улицам и переулкам Москвы. Одни спешили в дома в предчувствии чуть ли не конца света, другие, желая поговорить, скапливались возле церквей, кабаков и харчевен, и, как обычно в таких случаях, когда народ пребывает в неведении, по городу поползли разные пугающие слухи. С наступлением темноты из кабаков и харчевен вывалились подгулявшие «воровские», как их называли тогда, люди, требуя воеводу, оружие и грозясь подпалить Москву. Они учиняли драки, пытались громить лавки, их разгоняли, ловили, били, и эти маленькие (в целях наведения порядка) побоища только еще сильнее накаляли общую обстановку. Когда на колокольнях ударили к вечерне, город опять встрепенулся, словно от набата; сей привычный, малиновый (по отношению народа к нему) перезвон сорока сороков златоглавых московских церквей, всегда вызывавший лишь чувства доброты и умиротворенности, был воспринят теперь как предвестник беды, гулко, раскатисто разрубавший морозную синь. Оставшиеся, как и народ, в неведении, сидели по домам и бояре, держа совет. Близкие к князю Дмитрию Бельскому собрались у него — в своих длиннополых боярских шубах и с седыми, расчесанными бородами; близкие к другому князю, Ивану Мстиславскому, — в хоробах его, рассевшись столь же чинно, рядом, на лавках; они не то чтобы намечали план действий, но не знали даже, о чем было говорить им, и лишь посылали на улицы холопов за сведениями и дожидались их. Не бездействовал, пожалуй, только митрополит Афанасий. Обеспокоенный теперь не столько отъездом Иоанна, сколько — возможностью беспорядков и бесчинств в городе, он глубоко за полночь позвал к себе писца и диктовал ему послания к именитым, которых почитал близкими, духовным отцам, увещывая их прибыть к нему для дел важных, угодных Господу и государю.

— Епископам: Никандру Ростовскому, Елевферию Суздальскому, Филофею Рязанскому, Матфею Крутицкому, — произносил он усталым, больным, старческим голосом. — Архимандритам: Троицкому, Симоновскому, Спасскому, Андрониковскому...

Не знаю, как у кого, но у меня и теперь, когда смотрю на наше высшее православное духовенство (особенно, когда отцы церкви облачены в парадные свои одеяния), возникает ощущение, будто у них никогда не было ни детства, ни молодости, ни жизни вообще, как она протекает у людей простых или, скажем, знатных, будто они так и рождаются — в седых волосах, с бородами и в рясах, и будто на их челе никогда не возникало и не может возникнуть ничего, кроме той мрачной святости, какою по извечному будто бы предназначению им только и положено осенять каждое произносимое слово. Думал ли так дьяк-писец, отрываясь от работы и обращая свой молодой взгляд на митрополита, сидевшего с больными, закутанными в меха ногами перед ним, или возникали иные, более возвышенные или приземленные мысли, теперь трудно установить; но нам, отстоящим столь далеко от той эпохи, не может не быть очевидным, что за внешним впечатлением святости, какое должен был производить да и производил, видимо, на всех митрополит Афанасий, скрыты были все те же простые человеческие чувства, те же понятные нам и сегодня страдания и надежды, какие испытывает всякий умеющий (или способный, как было бы точнее) в трудную минуту жизни соединить воедино свою судьбу с судьбой народа и государства.

Были у митрополита (по крайней мере он-то все знал о себе) и детство, и юность, и послушание, когда его подростком еще привезли в Чудов монастырь и оставили там; были и пострижение, и служба, и учение грамоте, и ночи, проведенные в монастырской читальне, где он, знавший жизнь крестьянскую, то есть народную, от самых ее основ, познавал, сопоставлял и соединял ее (в своем весьма проворном, как он говорил о себе, мужицком умишке) со всеми теми постулатами церкви (добавим и власти, так как цели этих двух начал по отношению к народу всегда были и остаются одинаковыми), с помощью которых только и мог поддерживаться раз и навсегда будто установленный в мире порядок, когда — деньги к деньгам, власть к власти, нищета к нищете. Он особенно помнил это теперь, с высоты про-

житого и пережитого оглядываясь на прошлое и видя его (как только могут видеть люди, находящиеся у края могилы, то есть в последнем для себя откровении, не смея перед небытием ни слухавить, ни солгать) не в той умиленной святости покорства и смирения, к чему по возложенной на него духовной миссии он в молитвах и служении призывал себя и народ, а в столкновении (и несовместимости!) интересов людей труда с интересами власти. Хотя и туманно, но он помнил еще Ивана III, деда нынешнего самодержца, и царицу Софью, племянницу последнего византийского императора Константина Палеолога, которая за шестьдесят соболиных шкур и великокняжескую грамоту с золотой печатью была сосватана и привезена из Рима в Москву — со всем своим «греческим» двором и атрибутами (или титулами) византийской императорской династии и двуглавым орлом, ставшим затем символом России; помнил и Василия Иоанновича, умершего вдруг, в одночасье (от какой-то «с булавочную головку болячки», вскочившей во время охоты на ногу), и оставившего нынешнего венценосца в трехлетнем возрасте на попечение матери и опекунов-бояр Глинских, Пронских, Шуйских, Захарьиных, Воронцовых, Кубенских; помнил и правление сих бояр, и царицу Елену, в сговоре с ними разорявшую вотчины и народ, и молодого, подраставшего Иоанна, его первый брак, Адашева и Сильвестра при нем, и затем, после смерти царицы Анастасии — кутежи, прелюбодейания, казни, брак второй и опять казни, казни, казни. Чего добивался Иоанн, чего хотел? Разве мало было ему того, что имел? И какое новое бедствие задумал обрушить на Россию этим своим отъездом?

Сии, казалось бы, простые, но отмеченные глубиной и смыслом вопросы, которые, наверное, не один только митрополит Афанасий в этот вечер задавал себе, мучительно теперь занимали его. Старый, больной, ничего уже как будто не должный желать от жизни, кроме успокоения, он старался еще собраться с силами, чтобы хоть в конце этого отягченного страданиями ближних пути исполнить свое отнюдь не божественное, но человеческое предназначение. Он готовился, если так можно сказать, к подвигу, чувствуя, как никогда, может быть, подъем и величие духа в своем дряхлом, немощном, плохо подчинявшемся ему теле, и если на лице и отражалось замечаемое дьяком-писцом страдальческое выражение, то оно происходило не от физической (в ногах) боли, но от боли иной, душевной, от того извечного для всякой старости драматизма — несоизмеримости возможностей духа с возможностями тела, который делает нас беспомощными и в противоборстве с которым еще никому из смертных не удавалось одержать верх. Да и что, если откровенно, мог сделать митрополит Афанасий? Разве что чуть замедлить ход развивающихся событий? Но и на это, чтобы замедлить, он понимал, недостаточно было лишь его старческих усилий; единомыслию во зле люди должны противопоставить единомыслие в добре, и на разъяснение этой истины (и сплочения вокруг нее) и намеревался потратить остаток сил возвеличившийся духом митрополит. В какую-то минуту мысль эта настолько поглотила его, что он не заметил, как перестал диктовать и как дьяк-писец, удивленный его молчанием, обеспокоенно смотрел на него.

— Господи, Господи, — торопливо перекрестясь, проговорил митрополит, стараясь как бы встряхнуться и выйти из своего задумчивого состояния. — Не отними, Господи, прежде времени у нас сил наших!

Словно предчувствуя, что дни его сочтены (спустя два года, уже совершенно больной, потерявший способность ходить, он вынужден будет передать свой духовный сан архиепископу казанскому Гермогену, так, в сущности, и не сумев ничего сделать, кроме как выпросить помилование и отвести от казни, то есть опечаловать, как говорили тогда, боярина Яковлева и князя Воротынского), он еще и еще раз молитвенно попросил для себя у Бога жизни и времени, так необходимых ему теперь для исполнения замысла; взгляд его невольно упал на меха, которыми были укутаны ноги (как если бы и в самом деле от пола или окна тянуло пронизывающим холодом), и лицо несколько смягчилось и подобрело, едва дьяк-писец, уловив его страдальческое желание, поднялся и потянулся помочь ему.

XI

— Надо бы еще архимандриту Левкию, — подал голос дьяк-писец, когда все нужные послания были уже завершены им. — Не случилось бы, ча-

ем, обиды какой, — добавил он, зная о благосклонности Иоанна к этому духовному пастырю и желая предостеречь митрополита Афанасия от неприятностей.

Но Афанасий только поморщился всем своим испитым старческим лицом и ничего не ответил дьяку-писцу.

— Иди, — затем сказал он. — Да смотри, чтобы все немедля было отправлено.

Дьяк вышел, а митрополит Афанасий долго еще продолжал неподвижно сидеть в своем не очень удобном, с высокой прямой спинкой, кресле, откинувшись головой к этой спинке и прикрыв ладонью глаза. На столике перед ним горели восковые свечи, вставленные в тяжелый медный подсвечник, и в ритм незаметному и неслышному, будто хриповатому дыханию митрополита язычки пламени на них то вздрагивали, то успокаивались и замирали, соответственно то словно бы оживляя, одухотворяя все вокруг — лицо митрополита, одежду, спинку кресла, стены, ларцы и ризы икон, сверкавшие позолотой, то кладя на все печать неподвижности, вечности, как бывает только в могильных склепах, куда не проникает никто. Но, как и всякий человек, углубленный в размышления, митрополит не видел и не чувствовал этих перемен; в сознании его возникала другая разделительная черта, но не с противостоянием царя народу, царя боярам или духовенства и народа боярам и царю, как можно было бы предположить (и что вполне вытекало бы из логики обстоятельств); нет, он хотел понять не это, что стоит за властью, богатством и бедностью (и на чем основаны почти все социальные философии мира), а иное, что вообще руководит человеком, приходящим в жизнь, и почему возвращенные на той же земле и среди тех же нравственных постулатов — одни затем облачаются в корысть и зависть, а другие страдают от этой корысти, не умея по доброте своей противостоять ей. «Воля Божья? Но для чего же тогда эта воля?» — думал митрополит, мысленно крестясь и произнося: «Господи, прости, Господи, прости мя грешного». Сколь ни велика была в нем вера, но он все чаще теперь приходил к заключению, что в поступках своих человек не всегда и не во всем подвластен Богу, а что прежде Бога (и помимо него) в нем поселяются страсти, которые и руководят действием. «Левкий?.. — как будто вдруг вспомнил он только что произнесенное вышедшим дьяком имя. — Левкий, Левкий?..» — затем повторил со старческой медлительностью, в то время как в воображении ясно и с живостью, вызывавшей отвращение, возникали события, и давние, и недавние, которые были связаны (или митрополит полагал, что были связаны) с этим придворным, из священнослужителей, угодником.

Говорят, что ушедшее из жизни незафиксированным, — невоспроизводимо, особенно когда дело касается чувств и мыслей исторических личностей. Митрополит Афанасий как лицо духовное, возможно, и не обладал светским мышлением (в той мере, как обладали им государственные мужи), но коль скоро объектом внимания церкви, как и объектом внимания властей, всегда являлся народ с уймой своих социальных и нравственных проблем, то нетрудно предположить, что как и за государственной (или государственной, как по-тогдашнему) стилистикой, так и за церковной, если отбросить ее, обнажится одна и та же по целенаправленности объединяющая их суть. Митрополит думал о возможных волнениях, о державе, об Иоанновой политике вообще, к чему могли привести вспыльчивость и жестокость самодержца (возбуждаемые в нем, конечно же, лишь сонмом прихвостней и угодников), но, как это и свойственно не только простым, но и высокопоставленным людям в минуты душевных волнений, он искал предмет, на котором можно было бы без боязни сосредоточить все свое э т о теперешнее беспокойство, вернее, требовался объект ненависти, на котором соединились бы все узлы, и дьяк-писец, не подозревая того, а желая лишь оградить митрополита от возможных неприятностей, как раз и указал ему (и в нужный момент) на этот объект. На архимандрите Левкии и в самом деле сходилось многое, что характерно было для тогдашней придворной жизни, хотя история донесла до нас и другие, более громкие — все в том же, низменном толковании — имена; но Левкий для митрополита Афанасия имел еще и то значение, что был настоятелем Чудова монастыря и, пороча своими придворными интригами духовное звание, порочил и монастырь, с которым Афанасий связывал свою святость; и эта личная, хотя и косвенная, оскорбленность придавала сейчас воспоминаниям особую остроту и мрачность.

Митрополит сидел неподвижно, горели свечи, он был один, и никто не мог видеть его лица; но именно в этой неподвижности происходила та работа души, то вторичное, но, может быть, еще более важное движение жизни — в звуках, красках, картинах, переживаниях, — которое как раз и делает окружающий нас мир материально осмысленным и одухотворенным.

Когда зло распределено на всех, то есть творится множеством людей, оно однолико (и материально) лишь в своих страшных последствиях; но, когда собрано в одном человеке, — все вокруг обретает иную ясность и значение, и напрасно полагать, что вступающий на стезю служения Богу не мечтает, хотя бы и в глубочайшей тайне и скрытно от себя, о месте Первосвятого. Архимандрит Чудова монастыря Левкий, может быть, так бы и остался безвестным в истории и тлел бы (своими «святыми» мощами) на прицерковном монастырском кладбище, отпетый лишь монастырской братией и затем забытый ею же, если бы, приглашенный митрополитом Макарием, не явился бы в числе прочего (и знатного) духовенства и бояр к удрученному после похорон царицы Анастасии Иоанну (случилось это на восьмой день после ее смерти) и не увещевал бы, разумеется, вместе со всем посольством овдовевшего самодержца оставить печали и, встряхнувшись, подумать о новом сватовстве и женитьбе. Афанасий, к тому времени переведенный уже из благовещенских протоиереев в духовники царя, был обойден Макарием и не участвовал в посольстве; но подробности и особенно последствия сего памятного посольства были более чем известны ему, и, высвечивая теперь для себя роль Левкия в тех ужасающих последствиях, о которых без содрогания нельзя было ни думать, ни вспоминать, невольно сводил именно на нем все нити преступных деяний. Он не осуждал целиком посольство, но осуждал ту его половину, которая, воспользовавшись церковным послаблением, начала вовлекать Иоанна в кутежи и прелюбодеяния и в которой (для придания благопристойности и согласия Божьего) место главенствующего духовника как раз и предпочел занять архимандрит Левкий. Архимандрит не то чтобы не пропуская ни одного из застолий, на которых веселились и развратничали молодые княжичи и боярские отпрыски, сумевшие уже войти в доверие к царю и суетившиеся возле его трона, но, как доносила молва, был чуть ли не устроителем их, пороча этим и свой сан священнослужителя, и самую церковь, не запятнанную дотопле, как считал Афанасий, подобными противными Богу и человеку деяниями. Для митрополита все это было, с одной стороны, вполне очевидным, а с другой — недоказуемым, так как опиралось именно лишь на молву, на слухи, распускавшиеся вокруг и не имевшие достаточных подтверждений; одни (очевидцы застолий и кутежей) боялись, другие не хотели выдавать правду, сам Афанасий никогда не бывал на сих княжеско-боярско-царских увеселениях и, не имея достоверных подробностей, не решался ни на разговор с Макарием, ни тем более разговор с Иоанном. Он переживал молча, нося в себе эту тяжесть позора, ложившегося на церковь, и, вспоминая теперь о тех днях, видел не столько Левкия в его греховных — «Господи, прости, Господи, прости» — устремлениях, сколько себя с тем мучительным комком тяжести на душе, который и теперь, придавив с новою, казалось, силой, как раз и не позволял ему ни подняться, ни пошевелить бесчувственно стынувшими в мехам ногами.

XII

Кутежи эти, ставшие затем (по разнузданности, развращенности и вседозволенности) своего рода знаменитыми в истории русских самодержцев, устраивались большей частью не в царских палатах, а в домах князей и бояр, где можно было держаться вольготнее — и самим устроителям, и Иоанну, скованному, вернее, должному быть скованным монаршим благообразием, и куда пристойно было доставлять девиц разного рода и благородного, и неблагородного происхождения. Столы накрывались обильно — и питием, и яствами, хлопоты многочисленной дворни начинались уже за неделю, а то и за две, и точно так же за неделю, за две (благодаря болливости дворни) Москва бывала уже оповещена об очередном готовящемся в етлом пиршестве. Те из княжичей и бездумных боярских детей, которым хотелось поразвлечься вблизи царя и на виду у него, ждали и готовились к предстоящим забавам; другие, более почтенные, пребывали в ра-

стерянности и нерешительности, а еще более почтенные — и по возрасту, и по сану, — к которым относил себя и будущий митрополит Афанасий, привыкшие к определенному укладу жизни, были в недоумении, они видели, что творилось непотребное, и, томясь предчувствием беды, только еще сильнее замыкались в себе. Говорят, что человек не может перемещаться во времени; но все воспроизводившееся теперь в сознании митрополита было настолько живо, ясно и соизмеримо, что минутами он даже забывал, что сидит один, в тиши, перед свечами, только что отдиктовав послания и проводив дьяка-писца; перед ним предстала одна бесконечная картина пира, не разделенная ни по датам, ни по месту проведения, дворцам и хоромам, в коих они происходили и на коих, как тогда же было замечено летописцами, «самая трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностью». Тех, кто уклонялся от питья, «унижали, лили им вино на головы», называя «самое постничество» лицемерием и попирая тем самым старые обычаи умеренности, воздержанности и благочестия. Никогда не бывавший, как писалось уже, на этих пирах, но обладавший (как, впрочем, всякий человек) определенной долей воображения, митрополит Афанасий словно стоял теперь в дверях тех огромных палат с ломящимися от питья и яств столами и братией, многогласно и шумно обливавшей их (высокооставленных холопов, как сказали бы мы теперь), и взгляд его то выхватывал из всей этой веселившейся компании лицо Иоанна — чернородое, горбоносое, напоминающее нечто орлиное, хищническое, со столь же хищнически (в пьяном своем безумстве) сверлящими пространство глазами, словно он заранее уже высматривал жертву и примеривался к ней, то лица бояр и князей, среди которых наиболее выделялись лицо князя Афанасия Вяземского — своей готовностью услужить царю и заслонить его (от кого-то или от чего-то) своей белой, распахнутой молодой грудью, и лица отца и сына Басмановых, особенно сына, Федора, главного любимца царя. Время от времени к этой воображенной панорамной картине вдруг примешивались сегодняшние проводы Иоанна с их не остывшими еще подробностями морозного утра, перезвона церковей и сгрудившегося к Кремлю, перед дворцом, московского люда, ожидавшего выхода самодержца. Вот Иоанн появился на крыльце, вот он со светлым ликом вошел в церковь Успения и, отмолившись «усердно», вместе с царицею, столь же черноволосой и орлинозоркой, как и он, направился к саням, сопровождаемый все теми же, что и на пиру, молодецки раздвигавшими перед ним толпу княжичами и боярами, да, да, теми же Вяземским, Басмановыми, Салтыковым, Чеботовым, Грязным, Малютой Скуратовым-Бельским... Беззаботность сих фаворитов, наезды их на народ и даже на духовенство — аки латыняне, не ведающие Христа, — их вседозволенность, исходившая, теперь митрополит точно знал, от вседозволенности царской, и холопское угодничество и власть, столь же холопская, как и угодничество (и лишь над толпой, какою они только и могли обладать), — все это вновь и с живостью перебрасывало воображение Афанасия к пирам, он опять и опять тысматривался в захмелевшее, налитое кровью Иоанна, то в лица княжичей и бояр, силясь понять и не понимая тех душевных устремлений, коими руководствовались сии веселящиеся безумцы, отвергнувшие воздержание и погрязавшие в грехах.

Но более всего возмущали митрополита Афанасия духовные лица, участвовавшие в пирах. Их было немного, несколько монахов и архимандрит Левкий, выделявшийся среди других своею редковолосой, с зальсынами, маленькой, заостренной к носу головкой; они сидели между боярами и княжичами, столь же раскрасневшиеся и не уступавшие им ни в проворстве питья, ни в развязности, и их взлохмаченные, нечесанные монашеские бородки, их кресты поверх рясы, и рясы, облитые вином и с пятнами от мучных приправ и жира, весь срамной, порочащий звания (и церкви!) вид их заставлял теперь митрополита содрогаться и торопливо, про себя, как и достойно было его сану, повторять: «Господи, прости, Господи, прости их». Но просил он не за них, не за себя (по принадлежности своей именно к этой, а не иной вере), а за жизнь со столь возможной для человека (по наблюдениям митрополита) добродетелью и столь упреждающими эту добродетель пороками, которых ни понять, ни остановить нельзя. Откуда эти пороки, эти упреждающие всеразнузданность и вседозволенность, эта утрата благочестия — и духовного, и мирского? Объяснение обычное, лежащее на

поверхности, когда все безнравственное приписывается наваждениям дьявола, то есть темным, нечистым силам, теперь не устраивало митрополита; опыт жизни подсказывал ему, что корни сего явления следует искать в другом, в изначальности самой жизни, направленной человечеством (для него — людьми) не по тому пути, на котором возрастали бы только гроздь добродетели, а не гроздь пороков; он чувствовал эту материальность мира, интуитивно (и уже тогда!) приближаясь к открытию, какое рано или поздно человечество должно будет сделать для себя, но, не обладая навыком к историческим обобщениям (обобщениям, вообще противоречащим догматам церкви), продолжал обращаться лишь к деталям той развернутой перед ним бесконечной картины пира, в которой еще сильнее, может быть, чем фигура Иоанна, занимала его фигура Левкия. Из всего происходившего, казалось, митрополит только и высвечивал это маленькое, заостренное к носу лицо Левкия и его художественную в облачениях, как тень, фигуру — то с куском мяса, то с кружкой браги в руках, то с девицею на коленях, выщипывавшей под общий гогот и визг его и без того редкую и слипшуюся, как у козла, бородачку. «Вот уж истинно прости, Господи, прости», — уже не вникая в смысл, заученно повторял митрополит, мысленно (и тоже заученно) крестя перед собой пространство; но видение не исчезало, а, напротив, открывалось лишь новой кошмарной стороной, и митрополиту не то чтобы казалось, но он всей своей постаревшей, немощной плотью ощущал скорбный дух покойной царицы Анастасии, витавший над пиршеством. «Всем воздастся, всем, всем», — думал он, сознавая в мрачном предчувствии, что еще прежде, чем «воздастся», сколько сии безумцы успеют натворить несчастий и бед.

На их бесконечный пир, перемежавшийся лишь короткими похмельями, нужны были средства, и молодые княжичи и бояре, новые любимцы и приспешники Иоанна, оговорившие в свое время Адашева и Сильвестра, оговаривали и казнили теперь тех, кто был дружен или хоть как-то связан с именами этих опальных фигур; казнили семьями, включая малолетних детей, изводили некогда знатные роды под корень, забирая их дома, имущество, холопов и веселясь на это награбленное, безумствуя и вовлекая в свои безумства царя. Москва, по свидетельствам очевидцев, «цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим!» Тех, кто хоть как-то, хоть словом пытался остановить происходившее, ожидала страшная участь. Князь Дмитрий Оболенский-Овчина, сын известного воеводы, был убит Иоанном прямо на пиршестве и только за то, что оскорбительно бросил любимцу царя Федору Басманову: «Мы служим царю трудами полезными, а ты — гнусными делами содомскими!» Иоанн не слышал сих слов, ему лишь соответственным образом было донесено об этом, и он «в исступлении гнева за обедом вонзил несчастному князю нож в сердце». Убийство необязательно было зреть, но его вполне можно было воспроизвести по рассказам — даже в подробностях, как и делал теперь митрополит Афанасий, болезненно вовлеченный всем своим воображением в это недавнее, живое еще в памяти и страшное прошлое. Князь Дмитрий упал, кровь хлынула из раны на стол, на скатерть, одежды, на пол — живая, теплая человеческая, мертвеца подхватили под руки и поволокли из палат, прочерчивая ногами кровавой след. Но пир продолжался, и никто не смел даже оглянуться на несчастного княжича; все угодливо смотрели на Иоанна, готовые рукоплескать; Иоанн же, со своей стороны, орлино наблюдал за всеми, заставляя холодеть каждого, на кого падал его взор; и митрополит Афанасий при виде этой, казалось бы, лишь воображенной картины чувствовал, как стыла и в нем кровь и останавливалось сердце. Церковь, должная предотвращать злодеяния, — церковь (в лице архимандрита Левкия), напротив, выступала соучастницей сих страшных, богопротивных дел.

Рядом с убиенной фигурой князя Дмитрия Оболенского-Овчины вставала фигура князя Михайло Репнина, тоже убитого за дерзость царю и по прямому указанию Иоанна. История этого убийства была еще более известна митрополиту Афанасию; собственно, само злодеяние было совершено в церкви, на его глазах и глазах прихожан ворвавшимися в храм (служба только-только закончилась) царскими холопами, которые ножом, со спины, проткнули тело старого князя. Именно этот момент злодеяния, когда толпа

молившихся, расступившись, открыла взгляду лежавшего в луже крови почтенного, известного своей благочестивостью князя Репнина (убийца с холодностью вытирал свое обоюдоострое оружие, чтобы вложить его в ножны), — именно это злодейство, поразившее митрополита своей особенной бессмысленностью и жестокостью, как раз и прочертило окончательно между ним и Иоанном ту между неприятая и отчуждения, которую, он чувствовал, ни теперь, ни после смерти не сможет переступить. Вина же князя Репнина заключалась лишь в том, что он, увидев царя во дворе, на игрище, пляшущим в маске со своими (навеселе, как и он) любимцами, не удержался и, «заплакав с горести», бросил подошедшему Иоанну: «Государю ли быть скomorоxом? По крайней мере я, боярин и советник думы, не могу безумствовать». Иоанн, как пишут летописцы, «выгнал его и через несколько дней велел умертвить, стоящего в святом храме, на молитве». Репнина похоронили тут же, возле храма, по христианскому обряду, и это было единственным, что церковь смогла отстоять перед Иоанном и что хоть маленькой толикой участия согревало теперь душу митрополита. Согревало, но не останавливало роившихся в нем дум и не прерывало тех картин, вернее, тех доносительств и казней, какие последовали за сими двумя ужасающими убийствами.

XIII

Я глубоко убежден, что нет злодея, который бы не сознавал, что рано или поздно ему придется отвечать за свои злодеяния, и не предпринимал бы (уже теперь) тех предостерегающих мер, которые смогли бы если и не до конца оградить его от расплаты, то хотя бы отдалить день и час неминуемого возмездия. Для Иоанновых сановитых холопов, как, впрочем, может быть, и для самого Иоанна такой мерою стало именно доносительство (которое затем, то ослабевая, то усиливаясь, долго еще будет терзать русскую землю). Оно поощрялось уже потому, что позволяло расправляться с людьми достойными, умными, мыслящими иначе, чем Иоанн и его новоявленные советники и любимцы, грабить, заточать в монастыри этих инакомыслящих и умерщвлять их там. Однако доносы доносам рознь; мелкие, холопские, основанные лишь на слухах, они могли приносить только мало-значимые, разрозненные результаты, тогда как окружавшим Иоанна царедворцам требовалось разом, одним ударом покончить с противостоявшей им адашевско-силвестровской группой. Но для этого нужно было провести широкоохватный, многомасштабный, как мы бы назвали его теперь, оговор. После пиров, после увеселений (и казней!), в которых княжичи и боярские отпрыски старались в развратном рвении своем перещеголять друг друга перед царем, — когда приходило отрезвление, вернее, осознание содеянного, те из них, что были постарше, возглавляемые Басмановым-отцом (боярином Алексеем, как упрощенно, по-свойски величали его в отличие от сына, кравчего Федора), собирались для тайных советов то у самого организатора, то есть Басманова-отца, то в доме князя Вяземского, то у Михайлы Салтыкова, у Чеботова, Грязного или Малюты Скуратова-Бельского. Об этих тайных «вечерях», на которых как раз и зарождались ужасающие планы доносов и убийств, мало кто знал в Москве; о них только догадывались — по сведениям, просачивавшимся все же сквозь молчаливую (в данном случае) дворню, но еще менее кто полагал, что непременный участник сих скрытых сборищ архимандрит Левкий (он приходил иногда один, иногда с двумя, тремя монахами, прислуживавшими ему и опекавшимися им), что именно этот тщеславный с маленьким, заостренным личиком священнослужитель, которого княжичи и боярские отпрыски терпели лишь за неимением другого, кто мог бы столь же охотно отпустить им грехи, — что именно этот Божий (себе на уме) угодник, умевший и вовремя удалиться в тень, и вовремя же и кому надо польстить, подавал главные идеи тиранства.

Известно, что прежде, чем те или иные идеи начинают охватывать, подавлять, а точнее, тиранить общество, на свет являются одиночные, а затем групповые носители их, оставляющие свой определенный — по целям, результатам и значимости — в исторических событиях след. Но в деяниях Иоанна одни, например, приписывают все только самому самодержцу, его несдержанности и властолюбию; другие — неким будто бы требованиям

жизни, независимым от чьей-либо одной воли и продиктованным лишь ходом обстоятельств, словно обстоятельства и в самом деле рождаются не в результате жизнедеятельности людей, а так, сами собой, из некоей естественной будто бы необходимости движения; третьи, к которым как раз и следовало бы отнести художников слова, стараются отыскать именно носителей и уже через них, этих своеобразных, скажем так, средоточий зла или добра (как, впрочем, это и бывает в повседневной жизни) высветить исторический процесс. Не отвергая ни одного из этих положений, имеющих свои обоснования и резон (и место в общем течении истории), я все же склонен отдать предпочтение последнему, третьему положению, когда за основу исследования берутся прежде всего носители идей, то есть личности, игравшие и, к сожалению, продолжающие играть непомерно решающую роль в судьбах нашего отечества и народов. В самом деле, если взять несдержанность и властолюбие Иоанна, то ведь это только почва, по которой рассеивались семена, самодурство, не ограничивавшееся никакими — ни государственными, ни нравственными — законами! Что касается второго положения, то есть требований жизни или причин, как можно было бы сказать еще, или сил, возбуждающих движение в обществе и направляющих его, то известно, что в историческом плане (и уже тогда!) четко просматривались два направления: движение к власти законов, что намечалось в устройстве европейских стран, где была уже провозглашена хартия вольности и делались усиленные, то есть революционные (по тем понятиям и меркам), попытки ограничения королевской власти, и движение к абсолютизму, что главным образом соседствовало с нами на востоке и в равной степени, надо полагать, как и вариант европейский, могло влиять, а вернее, влияло на нас. Если исходить лишь из теории естественного, самовозникающего — по тяге народов к совершенствованию — движения, то вероятнее всего русская государственность должна была бы последовать западному образцу как наиболее разумному и предполагавшему более ускоренное раскрепощение личности; но произошло не это, а иное, что нельзя назвать ни разумным, ни естественным и что на столетия затем свергло нас если не в поголовное, то по крайней мере тяжелейшее и беспросветное крепостничество.

Не знаю, может быть, действительно существует какой-то тайный (и естественный, как предлагается воспринимать его) ход истории, иными словами — предначертания тем или иным народам, как им обустроиваться и жить, и кое-кто даже сегодня пытается в исторической неразумности России отыскать некую русскую обособленность, русскую идею и обосновать и узаконить ее, а в сущности, узаконить (и обосновать!) крепостничество, наряжаемое всякий раз в новый и пагубно привлекательный костюм; но происходящее сегодня — это не отзвук, а прямое и даже более обостренное продолжение тех и умственных, и физических баталий, которые начались, если беспристрастно всмотреться в историю, задолго еще до воцарения Иоанна и лишь обострились при нем — до тех возможных пределов, когда, наконец, насильственно был навязан народу сей неразумный шаг, сей путь к абсолютизму и тиранству, с которого затем ни цари-реформаторы, всходившие на престол, ни народные бунты и революции, ни лидеры нынешних новейших времен, прилагающие усилия, не могут свернуть страну. Растоптаны свобода и самобытность, не говоря уже о достоинстве и чести людей, и радость и блага жизни остаются столь же далекими от народа (содержащегося как раз благодаря этой самой идее во младенчестве по уму), как они были и сто, и двести, и триста лет назад. Так в чем же все-таки причина, где корень нашей неразумности? Неразумности народа, который, как уверяют нас, всегда свят и не может быть неразумным? Действительно ли все зависит лишь от воли (или самодурства, как было бы точнее) царей, от неких само собой будто (и неизбежно, и естественно!) складывающихся обстоятельств, которыми затем и направляется жизнь, или, может быть, что гораздо приближеннее к истине, от суммы тех притязаний на богатство, славу, влияние и власть, коих в любом обществе и во все времена бывало предостаточно, и которые, проявляясь в определенных и одаренных порой носителях, как раз и образуют ту смутную атмосферу недоверия и страха, когда становится уже безразлично народу, в какой стороне будет указан ему выход; главное, чтобы был указан и чтобы те, кто указал, были бы увенчаны почестями и славой. Именно в такие времена

выдвигаются вперед деятели, желающие непременно половить рыбку в мутной воде, и, соединяясь в группы и направления, как это происходит теперь у нас на глазах, то есть удешевляясь в размерах зла, катят затем свой грязный ком на все здоровое, разумное, желающее жить по совести и попадающее (благодаря как раз этой своей совестливости) под неминуемый, гибельный удар обстоятельств. Эпоха Иоанна тем, видимо, и привлекательна для историков и художников, что в ней с наибольшей полнотой и обостренностью проявилось противоборство двух жизненных начал — разума и бездушия, безумства, — когда, выйдя на развилку, Россия должна была определиться, по какой из дорог двинуться ей в развитии своей государственности, и, двинувшись под напором этих алчущих начал (и подмяв и уничтожив начало праведное — Адашева и Сильвестра), возвела на века, я не устану повторять это, да, на века опричнину над народом. Но зло, в каких бы размерах ни совершалось, всегда имеет источники, имеет те роднички, которые хотя и малой будто бы толикой, но постоянно и надежно подпитывают его; с точки зрения подлинности истории роднички эти запечатлены в именах: более известных и значимых (и презренных как в летописных трудах, так и в памяти народной), менее известных и значимых (и тоже заклеянных как тогда, так и теперь всеобщим позором) и безвестных, но многочисленных, ибо фискальство, поощряемое властями, способно лишь порождать новое, подобное себе, и поражать общество. Может быть, архимандрит Левкий не самая значительная из тех фискальных личностей, коими переполнено было Иоанново время, но так уж складывается повествование, что в глазах митрополита Афанасия он был одним из ведущих, и так ли, иначе ли, но весь свой старческий (и праведный) гнев Первосвяtitель России направлял в ту ночь на него, находя именно в нем то ядовитое начало, от которого, вернее, от совокупности которых и предстояло повернуть народом российским на свой особый, как все еще пытаются объявить его, и гибельный для истинной самобытности путь.

XIV

Люди, носящие в себе зло, не любят усаживаться на свету. Свет, падающий на них, не то чтобы открывает их лица, но открывает их души (через эти освещенные лица, потому что — каков духовный мир человека, такова и его физиономия, и никакой ухищренностью и никому еще не удавалось преодолеть этой взаимозависимости материи и духа). Знал ли с точностью об этом человеческом свойстве архимандрит Левкий или действовал интуитивно, лишь в согласии с тем чувством, которое подсказывало ему не выдвигаться на свет, то есть не саморазоблачаться, а держаться в тени (что можно было преподнести и как своего рода скромность), — он всегда отыскивал для себя на «вечерях» место помрачнее и, притихнув, вслушивался и всматривался в то, что говорили и делали на время отрезавшие от гульбиц участники сих тайных сборищ. И, пожалуй, никто не мог бы столь полно охарактеризовать этих околотронных персон, холопов при самодержце, как сделал бы это архимандрит Левкий — со своей наблюдательностью, известной всем изворотливостью в оценках людей и своим злым, перемешанным с благочестием ехидством. Князя Вяземского, этого статного, одного из самых богатых и красивых молодых людей, окружавших теперь Иоанна, он называл про себя напыщенным и пустым; он относил к этому разряду людей и Михайло Салтыкова, и Чеботова, и Грязного, не видя в них будущего, а видя только временщиков, способных лишь, как бабочки-однодневки, пропорхать свой отведенный им возле трона срок; ихто и готовился использовать Иоанн для достижения своих целей, это видел и понимал Левкий и, презирая в душе этих людей, льстил им — каждодневно, каждодневно и только для того лишь, чтобы найти в них соучастников своего восхождения на престол Первосвяtitеля России. Он играл с ними так же, как играл с ними Иоанн, но лишь на своем уровне, и если что и вызывало беспокойство, так только фигура Малюты Скуратова-Бельского, который так же, как и архимандрит Левкий, любил садиться в тени и наблюдать, помалкивая и не высказывая своего мнения, и в котором (по тяге к богатству, власти и славе) Левкий чувствовал скорее не помощника, а соперника, готового подставить ножку и оклеветать самого Бога. Перед этой выдвигавшейся исторической личностью он заискивал особо, стараясь

соединиться с ней в том малом заговоре, какие обычно возникают в рамках большого, чтобы затем, по достижении цели, оказаться наверху, растолкав всех; но, сколь ни велико было это желание Левкия, Малюта оставался неподступным и непроницаемым; он не хотел соединяться и не соединился с архимандритом (чем и определились потом места и значимость этих двух лиц в истории).

Но до финала, как мы бы сказали теперь, было еще далеко, и в главном для себя Левкий не собирался ни перед кем отступить; помогая угодникам царя в их темных замыслах, он, в сущности, по одной лишь лютости к ним ненависти, особенно к Малюте, втягивал их во все новые и новые преступления, подогревая в них, а через них и в самом Иоанне страх и непримиримость к своим все еще живым и жившим правдой соперникам. В маленькой, редковолосой, заостренной к носу головке его зрели ужасающие планы; он первым высказал мысль, что нельзя убирать противников поодиночке, но что если уж убирать, то сразу и всех и что у него есть на этот счет соображения, то есть улики, которые хотя и покажутся на первый взгляд бездоказательными, но ведь то, чего нельзя доказать, нельзя и опровергнуть.

— Своею ли волею царица Анастасия в гроб легла? — выбрав минуту, начал он, подав голос из своего мрачного, в отдалении от свечей, укрытия. — Или подтолкнул кто — зельем и чарами?

— Государево трогать?! Да как ты смеешь? — подступил было к нему разгоряченный князь Вяземский.

Князь хотел схватить за грудки и тряхнуть немощное, в широченном поповском одеянии тело архимандрита, но боярин Алексей, пользовавшийся своим старшинством (и разумностью, как он полагал), остановил молодого князя.

— Погоди, — сказал он. — Так что ты хочешь сказать? — обратился затем к Левкию, сверля его воспалившимися от прилива любопытства глазами. — Добродетельная царица наша Анастасия отравлена, говоришь?

— Да.

— Кем?

— Известно, кем. Адашевым и Сильвестром.

— Знаешь или сам сообразил?

Архимандрит Левкий промолчал. Брошенная им кость, он понял, была принята, и надо было только не переиграть в этой обстановке, то есть лучше недосказать и вызвать тем интерес (и подобие правды), чем оголеться в явной, пусть красивой и правдоподобной лжи.

— Чем доказать? — снова приступил боярин Алексей.

— А чем опровергнуть? Или забыто уже, каково Сильвестр супротивничал любезнейшей царице нашей Анастасии?

— А что царь? Не знал?

— Может узнать, коль того сильно пожелает.

— Шельмец, ай, шельмец! В чем только душа держится, краше в гроб кладут, а башковит! — И боярин Алексей больше уже ни о чем не спрашивал архимандрита; он велел принести бумагу, и при общем возбуждении (и рукою все того же архимандрита Левкия) был написан донос, который и преподнесли затем Иоанну как некое разоблачение широчайшего будто бы против него заговора Адашева и Сильвестра со своими многочисленными, как и было сказано в тексте, сообщниками.

Кажущаяся обыденность сего грязного дела не должна смущать нас; все, что ни совершается людьми, будь то великое или порочное, только в описаниях и пересказах может обрести риторическую напыщенность либо низводиться до патологических животных страстей; фактически же все происходит гораздо прозаичнее, отнесем ли мы это к поступкам царей, полководцев или, тем более, высококельможной дворцовой челяди, для которой любой цинизм есть только повседневная норма жизни; и как бы нам ни хотелось увидеть в сем нашем прошлом некое наполненное взрывом страстей событие (ведь дело касалось не просто судеб отдельных людей, но судьбы России), — из этих именно прокопченных свечами басмановских палат и от этой столь прозаично будто бы на первый взгляд прошедшей «тайной вечери» как раз и предстояло колесу истории набирать новые обороты. Ведь ложь изначальная, в какой бы упаковке она ни преподносилась, всегда выстраивает за собой свой особый и страшный по жестокостям и наси-

лию шлейф преступлений. Особенность лжи еще такова, что, выстроенная и подтасованная под правдоподобие, она более воспринимается за истину, чем сама истина; в правдоподобию все логически объяснено и соединено, тогда как правда, то есть действительность, обычно несет в себе заряд несогласованностей и противоречий, на чем, в сущности, и основывались всегда все большие и малые доносы и доносительства. Разумеется, если бы Иоанн не захотел принять сей стряпни на Адашева и Сильвестра, он бы не принял ее; но, стоя теперь перед фактом истории, мы можем лишь рассуждать, приближаясь в той или иной степени к достоверности, так ли уж все зависело от Иоанна и только от него или (и еще в большей степени) от того порочного круга людей, кои всегда (и тучами!) вьются вокруг власти, создавая нужное для себя общественное мнение и повязываясь им; и если присмотреться как следует к этому второму положению, то без труда можно заметить, сколь много нынешняя наша новейшая история дает подтверждающих тому примеров. Иоанн, выслушав донос, не мог поступить иначе, чем он поступил, во-первых, потому, что это соединялось с его планами укрепления, как мы увидим дальше, личной безраздельной власти, и во-вторых, — удовлетворяло тщеславию (и амбиции) его новых приспешников и любимцев; но чтобы предстоявшим расправам придать некое хотя бы подобие законности, велено было устроить над Адашевым и Сильвестром суд, который и был собран — скорый, представительный и неправый, как, впрочем, делается это и теперь, когда у кого-либо из правителей возникает необходимость гласом масс опорочить истину и провести нужное решение.

XV

В царских палатах в качестве судей были собраны почтенные, казалось бы, для того времени люди: митрополит Макарий, по старости и немощности своей приведенный уже под руки сюда, епископы, бояре, лица иных духовных и чиновных званий. Тут же были и заговорщики во главе с боярином Алексеем Басмановым, его сыном кравчим Федором и архимандритом Левкием, который в царских хоромах старался еще более держаться в тени, за спинами, опустив голову, чтобы никто не мог ничего прочесть на его украшенном слипшейся козлиной бородкой лице. Пожалуй, никто яснее его не осознавал предрешенности (исторической, как можно было бы добавить теперь) того дела, на которое, чтобы рассудить его, были собраны Иоанном все эти люди, и не понимал бы так, как он, всей зловещей сути происходившего. Есть люди, и их большинство, которые в поступках своих и помыслах всегда плывут по течению, подчиняясь общему ходу жизни, то есть соглашаясь — душой, совестью — с тем неким общественным будто бы мнением, которое в данный момент пускается властвовать над толпой и подогревается в ней; люди эти, полагая, что творят полезное, нужное, по крайней мере защищающее их от излишних житейских беспокойств, обычно более, чем кто-либо, содействуют несправедливостям, насилиям и злу. Соглашательством и безразличием своим, своей многочисленностью они не то чтобы прикрывают или узаконивают творящиеся на их глазах и с их участием преступления, но служат тем оправдательным щитом, коим и бывают защищены, и надежно (для современников, разумеется, а не для истории), любые тронные и не тронные злодеяния. Но есть люди иного толка, которые, не умея или не желая проявить себя в добре, проявляются лишь в злодеяниях — целеустремленно, азартно, словно бы мстя таким образом (а может, и на самом деле — мстя?) человечеству за свою ущербность и несбыточность притязаний. К таким именно людям и относился, видимо, архимандрит Левкий (и что, кстати, как раз и чувствовал и не принимал в нем митрополит Афанасий, в сию роковую для сиротевшей России ночь погруженный в воспоминания); и тут важны не детали, не подробности, за которыми, как за деревьями, и леса не увидеть, а то стержневое, что делало Левкия Левкием и отводило ему место в общем ходе событий, принося, надо полагать, и свое по масштабам задуманного удовлетворение. «Не по чьей-либо воле, а по моей, моей собрана сюда вся эта вельможная рать», — произносил или мог (со злорадной именно возбужденностью) произносить про себя архимандрит, выглядывая из своего затененного спиной боярина Алексея Басманова укрытия, щурясь от царских позо-

лот, епископских клобуков и риз, боярских, отороченных мехами одежд и шапок.

Суд сей известен по историческим источникам. Как все бесправное, он и на самом деле оказался скорым и грозным. Дело не разбиралось, просто было зачитано обвинение, которое, по существу, даже некому было опровергать. Когда же митрополит Макарий, саном своим Первосвященника, старостью и достоинством обязанный защищать гонимого, предложил было, чтобы доставили на суд обвиненных (что было бы и естественно, и законно, и правомерно во всех отношениях), — при воцарившемся гробовом молчании Иоанн со своего возвышения нахмуренно оглядел духовенство и бояр. Он еще колебался, склониться ли на сторону митрополита, уважить Первосвященника (кстати, о такой просьбе писали царю и сами обвиненные, находившиеся к тому времени в изгнании: Адашев — в Ливонии, возведенный в сан воеводы, Сильвестр — в пустынном монастыре, успевший уже прославиться своей смиренностью и христианскими добродетелями) или, как требовали того новые любимцы, порешить дело заочно, дабы не подвергнуться влиянию чар и, расслабившись, не выказать своего царского безволия. Минута рокового ожидания всегда тягостна и страшна, но теперь она была тягостна и страшна вдвойне, так как дело заключалось не в Адашеве и Сильвестре, вернее, не столько в этих известных своею справедливостью государственных деятелях; огромная уже к тому времени держава, встав перед выбором развития своей государственности, должна была сделать именно теперь тот свой пробный шаг — в сторону ли человеческих свобод и ограничения абсолютизма или, напротив, укрепления личной, самодержавной власти, — за которым как раз (как бы ни представлялось сие высказывание преувеличением) и должна была определиться судьба России. Да, Россия, именно Россия со всем своим прошлым, настоящим и будущим вверялась сим собравшимся в царских палатах судьям, и, поднимись тогда хотя бы часть голосов в поддержку Макария (поддержку Адашева и Сильвестра), могла бы восторжествовать справедливость, а не зло, и мы бы имели сегодня не эту историю, полную нищеты и стонаний, какую имеем, а другую, о какой можно только мечтать, сообразуясь даже просто с обычными нормами человеческого бытия. Но этого не произошло, смелость и достоинство большинства были оставлены за порогом, и на историческую арену жизни (я не боюсь этих риторических слов, заключающих истину), как это и бывает в большинстве своем, сейчас же выдвинулись силы (в данном случае заговорщики во главе с боярином Алексеем Басмановым и архимандритом Левкием), для которых есть только сиюминутные интересы и блага для себя и не существует интересов народа и тем более его будущего.

В напряженной тишине взгляд Иоанна вдруг словно бы метнулся в сторону боярина Алексея Басманова. Знал ли заранее самодержец о намерениях своего любимца, или внимание его привлекло лишь движение, возникшее за спиной боярина, где архимандрит Левкий, этот тщедушный (в церковных одеяниях) человек, как никто, может быть, ощутивший переломную остроту момента, — или, или? — подталкивал Басманова и шептал ему, что нельзя медлить и пора начинать, — да, теперь никто не может установать, чем руководствовался Иоанн, но взгляд его и жест, обращенные к боярину, были столь решительны, что Басманов не мог не выдвинуться вперед и не заговорить. «Государь! — начал он, сопроводив это слово тем низким поклоном, который уже сам по себе (и всем) должен был сказать о его преданности царю и отечеству. — Государь! — повторил он. — Ты в отчаянии, Россия также, а два изверга торжествуют: добродетельную царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и чародеи, ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Он с четкостью, как и поучал Левкий, знавший, что и как может воздействовать на людей, выговаривал каждое произносимое слово, и клевета, сдобренная этой уверенностью, задевала Иоанна и проникала не только в его душу. Указывая на адашевское и сильвестровское чародейство как на главное, что должно было уличить их, он басовито трубил, что они «как василиски ядовиты, могут одним взором очаровать» Иоанна, что, «любимые народом, войсками, всеми гражданами», что тоже приписывалось их колдовству, способны «произвести мятеж»; их нельзя приводить на суд, ибо, объявись они здесь, «страх сомкнет уста доносителям». В подтверждение этого Басманов предлагал допросить двух монахов: Вассиана Беския и Мисаила Сукина, новых

Сильвестровых завистников и гонителей, заранее (накануне суда) доставленных в Москву и соответственно проинструктированных, как мы бы сказали теперь, все тем же вездесущим Левкимем, и, право же, достаточно бывает иногда двух-трех отъявленных подлецов, чтобы свершилось беспрепятственно (и неизмеримое по масштабам) неправое дело.

«Злодеи» были приговорены заочно, заговорщики торжествовали; льстя царю, славя его мудрость, они говорили ему, что вот теперь уже «ты истинный самодержец, помазанник Божий; един управляешь землею; открыл свои очи и зришь свободно на все царство». Но алчность цареугодников не завершилась на этом, им надлежало еще, как подсказывала логика действий, «довершить удар и сделать государя столь несправедливым, столь виновным против сих мужей, чтобы он уже не мог и помыслить об искреннем мире с ними», и Сильвестра тут же отправляют «на дикий (как свидетельствуют очевидцы) остров Белого моря, в уединенную Соловецкую обитель», а Адашева, закованного в колоды, переводят в Дерпт, где через два месяца, терзаемый надругательством и стражниками, этот «обличенный изменник», как доложено было грамотою царю, умрет, отравленный (или отравивший себя) ядом. Но, покончив со «злодеями» главными и занеся свой палаческий топор над государством, над только-только начавшим было пробиваться разумным устройством жизни, силы зла не могли уже не опустить его; тем и страшен был суд, что вслед за Адашевым и Сильвестром начались гонения на всех, кто хотя бы даже просто подозревался в знакомстве с этими двумя «злодеями»; от бояр требовали клятвы «не держаться стороны удаленных, наказанных и з м е н н и к о в», дворовых и холопов пытали на дыбах, добиваясь признаний, а доносили, то есть клеветники, одаривались подарками и свободой. Что ни день, то на лобном месте, перед Кремлем, совершались казни. «Жена знатная, именем Мария, — читаем мы в свидетельствах того времени, — славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбой Адашева; сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя; ее казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиненных в том же: знаменитого воинскими подвигами окольного Данила Адашева, брата Алексея, с двенадцатилетним сыном, трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и его родственника, Ивана Шишкина, с женой и детьми». И еще, еще, и... мне вновь остается лишь вслед за историком повторить, что «Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим!»

XVI

То, что для нас является историей, для митрополита Афанасия, современника и участника тех событий, было жизнью, и сколько бы ни прилагал он усилий, думая о царе, государстве и народе (пастве, по церковным его представлениям), он не мог подняться над повседневностью до тех высот обобщения, с каких то прошлое видится нам теперь; мысли его, в то время как продолжал сидеть в кресле, один перед догоравшими перед ним свечами (и перед страшной неизвестностью, коей терзались его душа и ум), — мысли его постоянно возвращались к частностям, то соединяясь в одну стройную как будто бы картину жизни, в которой оставалось только разглядеть пружины, приводящие все в действие, то вновь дробясь на свои составные: суд, пиры, казни, Иоанн со своими устрашающими вспышками гнева и смиренный вроде бы до ужимок в своем послушании Левкий, на котором и теперь, как ни мелка (для нас) была эта фигура священнослужителя в набравшем силу тогда новом дворцовом хороводе, невольно и по вполне понятным, разумеется, причинам — ведь настоятель Чудова монастыря! — концентрировалось возбужденное внимание митрополита. Со стороны казалось, что он покойно дремал в кресле, откинувшись головой на высокую его спинку и пригревшись большими ногами, укутанными в меха; но неподвижность физическая только высвобождает энергию для деятельности ума, и, может быть, если согласовываться не с логикой искусства, а с логикой жизни, — старый, немощный телом митрополит еще никогда не был так наполнен деятельностью и не ощущал себя столь причастным к истории, то есть к судьбе народа и всего творившегося с ним и вокруг него, как в эти минуты видимого покоя, находясь наедине с собой, Богом и прав-

дой, как он понимал и мог только понимать ее. Как и нам теперь, ему хотелось доискаться до стержня, от которого зависела и на котором держалась общая жизнь людей, и, понимая при прояснениях, что ни Левкий, ни даже Иоанн не могли быть до конца сим стержнем, озадаченно вдруг словно бы стопорил все в себе и покрывался холодным потом. Он чувствовал, что дело было не в придворных интригах, но что за интригами, как за высоченным забором, за который, подтягиваясь, он хотел заглянуть, решалось будущее государственное устройство России, и невозможность постичь его, главное же, невозможность повлиять на происходящее как раз и отягощали митрополита, и обессиливали его.

Несколько раз к митрополиту подходили и спрашивали, не соизволит ли он разоблачиться и лечь в постель; но, истинно веря, что могуч человек не оболочкою, а духом и страдания физические есть только испытания на крепость духовную и что ими (или — во имя убажания их) нельзя прерывать деятельность души, то есть сам источник величия и познания, он только молчаливо отмахивался рукой, давая понять этим, чтобы его оставили в покое и не нарушали общения с Богом. Он жаждал истины, которая только и могла теперь представляться ему в образе Бога; но в то время, как всей своей церковной святостью он не то чтобы чувствовал, но знал, что Бог есть (иначе — во что было бы ему верить и кому и для чего молиться?), — истины не было; ее не было ни в самом себе, ни во всем окружавшем его мире, соединенно и порознь (в событиях, как уже говорилось) встававшем перед ним, и тщетность найти ее, как иголку в стогу сена, приводила митрополита то в уныние почти в отчаяние, заставляя кидаться к Господу и просить у него прощения за сие свое страшное прегрешение (да как он мог, смиренный и смертный служитель, усомниться в справедливости ЕГО деяний?), то в изумление — от самой возможности столь ясно увидеть несовместимость понятий Бога, истины и человека. Наконец, чтобы освободиться от этих тяжелейших размышлений, впервые с такой ужасающей откровенностью пришедших к нему и терзавших его, он поднялся и, пройдясь под сводчатым потолком палаты, подошел к окну. Отгнув шторку, он несколько мгновений вглядывался в морозную темноту ночи, не различая ничего; неосвещенная, притихшая, беспечная, словно несмышлениш в люльке, лежала за окном Москва со всей предначертанной ей судьбой, ее трудом, кутежами, пожарами, нашествиями врагов внешних и разорителями внутренними, порождавшимися ею и ею же и под общее безумное ликование возводившимися на престол; как всякий русский человек, из какого бы окна и в каком бы столетии, добавлю, ни смотрел на Москву, митрополит Афанасий (от одного только ощущения распростертой в ночи перед ним столицы) не мог не испытать того столь просто и столь близкого нам чувства сопричастности со всем, что было, есть и будет на этой не так уж и ласковой (в сравнении с иными местами планеты), но соединившей судьбою нас с собой земле; и от этого именно изначального чувства любви и вечности, которого так часто (и в нужный момент!) недостает нам, как от камина с горящими в нем березовыми поленьями, повеяло теплотой и надеждой, приятно останавливая в сознании митрополита поток одних мыслей, мрачных, и возбуждая другой, окрашенный красками добра, благополучия и веры.

Ночь, казалось, только-только начала достигать своей зенитной поры синевы и безмолвия, впереди отчетливо вырисовывались лишь тяжелые, в сугробах, силуэты домов и церквей; но по горизонту за этими заслонявшими все силуэтами и тем незримым, заснеженным (уже за чертою Москвы) пространством лесов и пашен с приютившимися вдоль речек и по взгорьям деревнями и монастырскими подворьями (что и теперь по одной лишь мысли, соединившись в слове Россия, сейчас же встает перед глазами всякого русского человека, чем бы и кем бы ни заслонялось — непроглядною ли темной ночью, морозными ли узорами на окнах или нагромождением эпох, сменою царей и формаций), поднималось морозное утро. Природа беспристрастна, она совершает лишь то, что ей от века предначертано совершать, и морозный рассвет сей, если присоединиться к природе, мало чем отличался от сотен тысяч других, уже встававших, и тех, которым предстояло встать над Москвой; точно так же — еще матово, еще лишь чуть заметно засветилась позолота крестов на куполах соборов Благовещенского и Успения, а затем и сами купола, словно облитые все той же

позолотой, и от этого-то прояснения святости на фоне черного еще неба, прояснения будто бы самих основ божественности мира, способных вызвать лишь чувство расслабленности, умиления и преклонения (и не столько даже у служителей церкви, сколько у верующих), окончательно оттаяло, размягчилось сердце митрополита. И, хотя все кругом было охвачено тишиной, он вдруг совершенно отчетливо услышал благовест — не тот, зовущий к обедне или заутрене, что слетает с бесчисленных колоколен Москвы, а иной, что зазвучал в груди и слышен был только ему как напоминание, что жизнь человеческая не состоит лишь из горьких минут, мук и страданий, но что — она мудра, полна святости и ведет в светлое и что — терпеливому и старательному всегда за его праведные труды воздастся признанием и славой. Для Афанасия таким признанием было возведение его в сан Первосвященника России. «Но я не доискивался этого сана, не просил его», — мысленно проговорил он, словно бы оправдываясь за это свое возвышение, обязывавшее его теперь столь болезненно думать обо всех, испытывая беспомощность и в делах, и в мыслях. Он перекрестился, готовый с молитвою утешения обратиться к Всевышнему, но — слабость человеческая, над какими только историческими личностями она не одерживала верх! Видя все яснее проступавшие за окном на фоне пред-рассветного неба позолоченные кресты и купола соборов Благовещенского и Успения и проникаясь, теперь еще основательнее (по этой символической картине), верую в божественное начало мира и в его Творца, способного приносить лишь благо людям (и до которого он, безвестный инок, протоиерей, служитель и раб Божий Афанасий возвышался теперь), он не мог отказать от соблазна вновь, пусть хотя бы и мысленно, пережить те торжественные минуты, когда по свершении литургии, как записали летописцы, «Владыки, сняв с митрополита одежду служебную, возложили на него златую икону вратную, мантию с источниками и белый клобук». Перед ним живо во всей пышности православной обрядности предстала та столь памятная (во всех ее подробностях) картина избрания: свечи, свечи, горевшие в подсвечниках, в руках духовенства, бояр, до тесноты набившихся в соборе, и в руках молодого, не озлобившегося еще душой и не мучившегося по ночам казнями тридцатилетнего Иоанна, в позолоченных своих царских одеждах и мехах стоявшего на отведенном для царя месте. Иконостас, ризы, оклады, лики святых и живые лики бояр, просветленные как никогда, может быть, верой в справедливость и доброту свою и доброту царскую, — все это, сливаясь в одну торжественную, игравшую бликами пышность, и в самом деле как будто поднимало участников Духовного Собора до божественных высот. Присутствующих щедро кропили святой водой и оевали кадилным благовонием, и от этого ли благовония и сознания значимости минуты или просто от каменной сырости пола и стен, то есть пронизывающего (в нетопленных церквях) могильного духа земли, небытия и тлена (к чему каждому из людей от рождения уже прокладывается дорога), митрополит помнил, как его трясло мелкой непроходящей внутренней дрожью. Он истово просил Господа придать ему духа и бодрости для исполнения налагавшихся саном на него обязанностей защищать гонимых и сырых, и, хотя с того дня, казалось, достаточно уже утекло воды и он не мог ни в чем упрекнуть себя, но в то же время — сколько ни совершал он благ (и для отдельных людей, и для державы и церкви), он как будто стоял теперь еще дальше от цели, чем был тогда, и повторявшаяся им молитва «Господи, придай силы» не столько возвращала его в пережитое, сколько соединяла то пережитое с заботами нынешними и не давала оторваться от насущных проблем. Он не помнил, о чем, напутствуя в первосвященстве, говорил ему Иоанн (ведь и на самодержцев иногда находят минуты искренности) и что, взойдя на Священническое место, сам ответил царю; это было несущественно, как все, что произносится при торжественных ритуалах, а материально для митрополита Афанасия оставалось сейчас лишь то, что тогда показалось деталью, — холодные губы Иоанна, которыми тот, приняв благословение, прикоснулся к руке нововозведенного Первосвященника, — и что теперь по странности ли только воспоминания или странности вообще представлялось неким устрашающим будто предупреждением. Афанасий вздрогнул, как и тогда, ощутив это холодное прикосновение — настолько ясно, что невольно даже отдернул руку, и это движение, и сама мысль о предупреж-

дении вдруг словно пробудили его; он оглянулся на столик перед креслом с Библией и колокольчиком на нем, которым можно было вызвать службу или дьяка-писца (или кого-либо еще для неотложных нужд), но вызывать ему никого не хотелось; свечи в подсвечнике уже догорели, хотя слабые огоньки еще трепетали над чашечками с расплавленным и стекавшим по бронзе воском, и сводчатая палата его уже наполнялась прозрачной голубизной утра.

XVII

Весь почти двухверстный царский обоз, словно бы прижимаясь к изгибам дороги, медленно продвигался к Коломенскому. Впереди и на замыкании обоза ехали и шагали пешие и конные ратники, возглавляемые воеводами, по бокам, то обгоняя царские сани, то отставая от них, гарцевали на откормленных конях (и в доспехах!) Иоанновы любимцы, для которых весь этот отъезд, как уже говорилось, представлялся лишь прогулкой, предпринятой «озорным», лихим в шалостях и кутежах и охочим до них властителем; вперед — для устройства дел — посланы были князь Вяземский с кравчим Федором, сыном боярина Алексея Басманова, и подручными, и, сидя в своих с поднятым козырьком санях рядом с царицей, Иоанн смотрел на удалявшихся наметом этих своих холопствовавших вельмож, то исчезающих в низинах, то опять словно вылетающих на взгорья и пыливших снежной пылью дорогу. Если не считать сих всадников (и обоза, разумеется), даль, открывавшаяся перед Иоанном, казалась пустынной и безмолвной; она предстала перед ним во всей той простоте и естественности, как некогда, при отце его, Великом Князе Василии, предстала перед Герберштейном, из западных своих удобств попавшим в Россию и описавшим ее. В его представлении земля наша выглядела «мало населенною в сравнении с иными европейскими странами: редкие жительства, степи, дремучие леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельствовали, что сия держава была еще новою в гражданском образовании». Но Иоанн вряд ли знал об этих записках, и его не волновало, что «наши свойства казались наблюдателям и худыми, и добрыми, обычаи любопытными и странными»; то, что для кого-то могло представляться любопытным и странным, для него было жизнью; было тем естественным проявлением характера и желаний, границ которым он не знал и не хотел знать; белая равнина, взгорья, темные пунктиры селений, леса и монастырей, словно малые городки, разбросанных по всему обширному Подмосковью, — на все это Иоанн смотрел тяжело, как судья, готовящийся вынести роковой приговор. Сидевшая рядом царица молчала; молчал и он, наполненный думами и погруженный в себя; черные, тогда еще пышные усы его и черная, без единого седого волоса борода были покрыты изморозью, и эта искрящаяся на царском лице его серебристость придавала ему еще более застывшее в жесткости своей выражение.

Спустя два месяца, когда Иоанн решит возвратиться в Москву, он настолько переменится, что будет неузнаваем, от густых черных усов и бороды останется лишь некое измочаленное подобие, волосы выпадут, голова облысеет, возле глаз и губ прорежутся морщины, словно у изработавшегося старца, и — какое уже поколение историков, пытаясь постичь мир сего незаурядного в своем роде человека, ломает голову над тем, сколько душевных усилий, сколько и каких страстей довелось испытать этому молодому еще в ту пору самодержцу России, чтобы за столь короткий срок так истощилась, поизносились его плоть, что на площади, когда он явится перед толпой народа, дворянством и духовенством, никто не сможет без сострадания и ужаса смотреть на него. Но сознавал ли сам Иоанн, что предстояло пережить ему в тех аскетических, какими они покажутся после дворцовых палат, кельях Коломенского, в которых, вынужденный пережить оттепель, он проведет не одну — в мучениях и холодном поту — бессонную ночь? Нет, человеку не дано, тем более в подробностях, предвидеть масштабы своих душевных потрясений, занимают ли его вопросы государственные или свои; будущее народа, каким бы ни рисовалось оно отдельно взятому человеку, тем более — властелину, это всего лишь мираж того благоденствия, который исчезает тотчас с приближением общества к нему, и материальным тут остается только то, что связано с работой души,

ее радостями или огорчениями и разочарованиями. Уготовливая насилие для людей, Иоанн даже отдаленно не предполагал, насколько готовил его для себя, ибо прежде, чем творить зло, он должен был подавить в себе суть человеческого естества, то есть самую потребность в уважении и признании подобных себе, возведя (для оправдания!) тот самый мираж благоденствия и поверив в него. В Библии сказано, что человек, рождаясь, ничего не приносит в мир (добавим: кроме своих страстей), как и, уходя, ничего не может унести с собой. Но для чего же тогда сия истина, если слушающий не слышит, а читающий не внемлет ее отрезвляющей прямоте? Вопросом этим, разумеется, я вовсе не склонен упрекать одних только властителей, алчущих роскоши и величия, или каких-либо иных всякого рода накопителей, готовых, подобно Гобсеку, отдать все радости жизни, за блеск золотых слитков, — нет, дело не в этом; сей грех присущ всем: и жившим, и живущим — без различия национальности и пола (как, впрочем, ни безрассудно сие явление), и это-то, может быть, более чем упрощенное толкование изначальной истины бытия, точнее, потребности человека и общества как раз и дает мне право полагать, что Иоанн в поступках и мыслях своих был столь же прост, однозначен и ясен (по заложенной в нем человеческой сути) и столь же приземлен, как и всякий, приходящий в мир, чтобы проявить себя. Он — жил (во всем понимании этого прекрасного слова), и обстоятельства, складывавшиеся вокруг него, то вызывали удовлетворение или протест, что случалось гораздо чаще, то наталкивали на спокойные и не лишённые притягательности размышления, как было теперь, когда он рядом с царицей ехал в санях и когда близость этой своенравной, блиставшей восточною красотю женщины, по-своему влиявшей на него, и дела престола, то есть державные, которыми, казалось, он только и мог быть озабочен в сей сложный для себя час, соединяясь в целое — семейное и государственное, — являли перед ним пространнейшую (и понятную в своих измерениях и порывах) картину его чувств, пристрастий и дел.

Воспоминания редко бывают последовательными, тем более логическими и завершёнными, как они подаются в книгах, и цель их не заключена лишь в том (как она заключена для художников), чтобы как можно объёмней выстроить перед собой свою жизнь; время итогов для Иоанна было еще впереди, как и минуты раскаяния и смирения перед вечностью, и будущее не представлялось ни ограниченным, ни мрачным; как монарх он, казалось, обладал всем, чем только можно было обладать, но как человек — представлялся себе обделенным тем простым человеческим счастьем, какое обретается лишь в семье и лишь в согласии и любви супругов. Может быть, если бы он не любил Анастасию, свою первую жену, и не познал, живя с ней, всей теплоты тех домашних отношений, какие (по исполнению государственных дел) бывали так необходимы ему и успокаивали его, то есть если бы он, лишенный (во младенчестве еще, в сущности) родительской ласки, не почувствовал и не понял бы, что, кроме наслаждения властью, есть еще наслаждение покоем, покоем души, какое давала ему Анастасия, выбранная им на «ярмарке невест» и пришедшаяся всем ко двору, он не испытывал бы теперь этого ощущения обделенности; хотя после похорон Анастасии внешне все было как будто восстановлено и вслед за увеселительными пирами, кутежами и неудачным сватовством к Екатерине, сестре польского короля, когда могли разом решиться и проблема семейная, и государственная, он был вновь обвенчан, обрел семью и должен был успокоиться, — внешне это не согласовывалось с познанным уже им миром теплоты, доверия и любви, когда, отходя от государственных забот, он не то чтобы мог предаваться расслабленности и спокойствию, но каждую клеткой своего царственного тела и царственной души переходил бы в это простое и подвигающее нас к первожданности состояние. Он видел, что вторая его жена, Мария, была красива, и понимал как будто и принимал ее восточную красоту; но как ни старался при этом заполнить ее азиатскою красотю свою открывшуюся пустоту, как ни силился отыскать не столько в ней, сколько в себе те супружеские нити, которые соединили бы его с ней так, как соединяли с Анастасией, — нити эти, он чувствовал, то вдруг появлялись, и тогда все вокруг словно светлело и преображалось, то обрывались, оставляя в душе лишь пустоту и холодность, как происходило теперь, когда, не оборачиваясь на царицу и

не разговаривая с ней, он думал именно о ней (в преддверии готовившихся им невиданных еще для России державных перемен).

XVIII

Картина, открывавшаяся теперь перед глазами Иоанна (вместе с обаянием и всей той атмосферой, возникающей обычно при движении войск или скопищ людей), вызывала к жизни в памяти его другую, когда в такой же вот морозный декабрьский день он вместе с войском выступил из Можайска в поход на Полоцк. Ничто в том походе не было как будто связано с именем царицы Марии, Иоанн хотел только отплатить польскому королю за Ливонию и вернуть, наконец, России наследие «достопамятной Гориславы»; но вместе с тем, хотя он и не говорил никому об этом, его давно уже съедало желание отомстить все тому же польскому королю Сигизмунду за неудавшееся свое сватовство, вернее, за оскорбление, нанесенное королем Польши, не пожелавшим или, сказать точнее, пренебрегшим (в «угодность Хану», как считали московские думные бояре) породниться с ним; и это второе и не главное как будто, с чем он отправлялся в поход, и что после похода уже доставило ему удовлетворение, теперь, в воспоминаниях, выдвигалось вперед и по-своему оттеняло событие. Тогда, находясь в окружении войск, в центре трехсоттысячной армии, подкрепленной кавалерией и пушками и сопровождаемой почти восемьдесятю тысячами обозных людей, он точно так же сидел в санях, один, без царицы, оставленной им на восьмом месяце беременности в Москве, и под скрип полозьев и окрики ездовых думал о ней. Он ждал наследника, и месть королю связывалась в его сознании как раз с этим предстоящим событием, которое позволило бы ему, как он полагал, сблизиться с Марией и отбросить отторгавшее от нее: память об Анастасии и Екатерине, о красоте которой знал только по описаниям послов, но к которой, создав для себя в дни сватовства ее образ, странно (и заочно, как мы бы сказали теперь) привязался душой; как и Анастасия, она нет-нет да и возникала между ним и Марией и разрушала всякий раз едва начинавшие укрепляться семейные узы. Потому-то успех предприятия и казался ему символичным, а победа над Сигизмундом, в которую он так желал верить, принесла бы ему победу над собой, над своими сомнениями по отношению к Марии, и восстановила бы чувство любви к ней, в котором он хотел утвердиться. «Господи, — обращался он мысленно ко Всевышнему, ни на мгновение не сомневаясь, что Он, то есть Бог, есть и что в предстоявшем событии не мог не стать на сторону справедливости (кстати, и очевидцы, и историки подтверждают, что Иоанн был набожным и что жестокость и бесчеловечность его никак не мешали ему в этом до сентиментальности трогательном пристрастии). — Ты всемогущ! Внемли, Господи, молитве нашей и утверди истину!» Бесполойство в делах державных должно было уравновешиваться покоем и удовлетворенностью в семье, и Иоанн не то чтобы до конца понимал это, но бессознательно почти (как и любой простолюдин, погрязший в заботах о хлебе насущном), интуитивно испытывал необходимость в удовлетворении этой простой, но вместе с тем и самой, может быть, наивысшей потребности человека.

Но Иоанна интересовали теперь не подробности похода, не само дело — взятие Полоцка, которое осуществилось более хитростью, то есть непродуманностью и малодушием со стороны осажденных, чем отвагой и мужеством войск. Город не продержался и двух недель, разрушенный и подожженный пушками, и, может быть, лишь та минута торжества, когда среди дымящихся еще развалин, на площади, перед собором, подвели к нему схваченных королевских чиновников и вельможную шляхту во главе со связанным воеводой, — да, может быть, лишь эта именно минута торжества, венчавшая дело, когда, оглядывая поверженных, униженных и должествующих представлять унижение польского короля людей, он испытывал удовлетворение, могла еще (по значимости своей) вспомниться ему; торговый, богатейший по тем временам Полоцк был отдан на разграбление, жителей выгоняли из домов, казну изымали, латынские костелы велено было сровнять с землей и окрестить, как свидетельствуют летописцы, литовцев и «всех жидов, а непослушных топить в Двине», и жестокость сия не только не казалась Иоанну предосудительной или излишней, но,

напротив, представлялась делом вполне естественным, даже необходимым, как если бы и в самом деле он истязал не этих безвинных перед ним горожан, а своего ненавистного оскорбителя Сигизмунда. Он не вникал теперь и в подробности того, что относилось к оперативной подвижности войск и включало фланговые и обходные маневры, упреждавшие действия противника; операция, действительно, была проведена блестяще и заслуживала разбора и изучения (что, впрочем, и было сделано, но уже позднее, столетия спустя, историками и военными); вышедший в помощь защитникам Полоцка сорокатысячный отряд литовцев с двадцатью пушками под командованием гетмана Радзивилла был встречен московскими воеводами — князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, и, не посмея даже вступить с этими воеводами в бой, Радзивилл вынужден был повернуть назад; и еще, и еще множество разных подробностей, принесших ему победу и славу, могли бы занимать Иоанна, но не занимали, а все было сосредоточено только на двух словно бы центрировавших все узловых точках: на совпадении его желаний с реальностью и на страшном затем разочаровании, когда все тот же Всевышний, благосклонный будто бы к нему, к которому он обращался с молитвой, жестоко и за что-то, как думал Иоанн (хотя и догадывался и знал, за что), отплатил ему.

До Коломенского оставалось еще далеко, обоз продвигался медленно, полз, переваливаясь по неровностям дороги, кругом по низинам и взгорьям стелился снег, серебристо отсвечивая в полуденной морозной стыни, и монотонность сего заснеженного пейзажа лишь подчеркивала монотонность движения и навевала сонливость, тоску и грусть. Порядком подуставшие ратники, открывавшие обоз и завершавшие его, шли уже не строем, а бесформенными разреженными группами, на них не покрикивали воеводы, и никто из любимцев царя, его вельможных холопов, уже не обгонял монаршие сани и не гарцевал перед ними, выказывая лихость и преданность; как река, скатившаяся с гор, успокаивается в своем равнинном течении, — чем дальше отодвигалась Москва с ее державными проблемами и державным людом и чем шире распахивалась белая заснеженная даль (как белый лист бумаги) с неизмеримостью своих просторов, тем яснее приходило осознание той неизвестности, в какую самодержец России ввергал теперь себя и страну. Какая-то будто подавленность сгущалась над обозом и над людьми — необъяснимая, необъятная, но реальная, как реально бывает предчувствие беды, вдруг охватывающее нас, и мы либо беспричинно раздражаемся на всех и вся, либо впадаем в уныние, с безразличием глядя на все. Минутами и на Иоанна находило это состояние, когда он вдруг терял интерес ко всему, даже к своему страшному замыслу, ради которого покинул Кремль и столицу; и жизнь, и борьба — все представляло бессмысленным, лишь отнимавшим время, нервы и силы и не приносящим ни желанного удовлетворения, ни покоя; духовенство, бояре, народ — все чего-то хотели, требовали, выклянчивали, выжимали, как требовала и царица — молча, холодностью, то есть тем известным и хорошо отработанным за века приемом, каким женщины обычно пытаются подчинить своей воле супругов. Нет, Иоанн не оборачивался к Марии и не смотрел на нее; временами ему казалось, что она спит или дремлет, хотя царица не спала и не дремала, а погружена была, как и он, в думы, но свои, и чтобы не потревожить, не разбудить ее, старался не шевелиться; но мысли его — мысли продолжали работать, и когда сани, скользя и кренясь на раскатах дороги, бились в обочины, от встряски физической он как бы встряхивался и душевно, и память вновь возвращала его к полоцкому походу, к торжеству и славе и последовавшей затем расплате за эти славу и торжество, больно, язвительно (и неоплатно, главное) ущемившей его монаршее самолюбие.

XIX

Замышляя поход на Полоцк, он вместе с тем как бы загадывал, может ли царица приносить ему успех или нет; и, желая как бы помочь ей в этом тайном (и неведомом ей) деле, составил походную свиту так, что включено в нее было больше вельмож иноплеменных, азиатских, нежели своих. Цари Казанские Александр и Симеон, царевичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула... Каждый со своим отрядом, числом и храбростью уси-

ливая общее войско, и это-то воинство, необычное в своих восточных, расшитых серебром и золотом бархатных одеяниях, в своих лисьих и о многом говоривших тогда русскому человеку малахаях, их непонятная скороговорь, разрезы глаз, узкие, со своей особой, равнинной хитростью и скрытностью, — все, все это, молчаливо одобренное царицей и благословленное (хотя и символично, издали и только лишь по настоянию Иоанна) митрополитом Макарием, в красочной своей пестроте и с живостью представало теперь перед ним. То он видел этих царей и царевичей на походе, гордившихся приближением к нему, то в деле, когда брали штурмом внешние городские укрепления, то опять — в центре Полоцка, на площади, у собора, на фоне дымящихся руин в ту самую минуту торжества, запомнившуюся Иоанну не столько видом плененных королевских чиновников и связанного по рукам и ногам воеводы, сколько — сознанием оправдавшихся в отношении царицы надежд, когда в одной только его воле было — наказать или отпустить плененных. Их привели и охраняли конники Тохтамыша и Бекбулата, готовые по одному лишь знаку превратить плененных в кровавое месиво; но Иоанн не подал этого знака, не взмахнул рукой — по состоянию благодушия, как он думал теперь; и хотя то, что не совершено было конниками Тохтамыша и Бекбулата, довершилось потом, в Москве, куда отправлены были сии холопы ненавистного Иоанну оскорбителя Сигизмунда, но — что-то будто подсказывало воспаленному его воображению, что тогда, на площади, он совершил оплошность, возликовав и поддавшись сему соблазнительному чувству, так как торжествовать было нечему, да и не время. Устоявший перед татаро-монгольским нашествием в прошлом и гордившийся этим, Полоцк, казалось, был повержен теперь и разграблен татарами, приведенными им, Иоанном. Об этом не говорили, на это не указывают летописцы; но утонченная, готовая к восприятию душа Иоанна не могла не осознавать этого и не терзаться затем, не мучиться — теми мучениями, в которых он никогда и никому не признавался и не выказывал их.

Власть победителя — власть страшная, если она лишена великодушия. Неделю в городе не прекращались разбой и грабежи, и все эти ужасающие дни бесчинств и беззаконий, утоляя жажду величия, Иоанн пировал, обосновавшись в воеводских хоромах; он, казалось, и засыпал, и просыпался при одной и той же картине бесконечного, ничем не прерывавшегося застолья, что, разумеется, было для него не ново и поддерживалось теперь не только любимцами московскими — князьями Вяземским, Салтыковым, боярами Алексеем и Федором Басмановыми, Чеботовым, Грязным, Малютой Скуратовым-Бельским, — к лицам (и проделкам) которых он уже по привычке, но и холопьями иноплеменными, то есть вельможами, коих он лишь перед походом успел приблизить к себе, особенно князьями черкесскими и ногайскими. Иоанн хвалил сих князей за усердие и храбрость, одаривая своей царской благосклонностью, и, может быть, в эти минуты и в самом деле был искренен перед ними, потому что, делясь славою с ними, знал, что не уменьшал, а увеличивал ее для себя. В городе между тем ни на час не прерывались истязания, одних — несчастных — гнали к церквям, других, не желавших принимать чужой веры, волокли к Двине, чтобы топить в ней, и хотя Иоанн, не раз уже за время Казанского похода слышавший подобные стенания и знавший, как он считал, цену им, — «Все от Бога, и пастыри, и овцы, и — каждому свое!» — был как будто спокоен и не замечал их, но на исходе недели крики и стоны отчаявшихся все же начали по ночам доминать его, он со свечой в руке подходил к окну и затем звал духовника. И пусть хоть малой, хоть незаметной вроде бы складкой, но все же залегла в памяти и эта незначительная будто в размахе общих дел подробность, которой со временем еще только предстоит обнажить и проявить себя, но — будущее было отделено от Иоанна и не беспокоило его; увенчав в упоении славой свой успех благодарственным в Софийском полоцком храме молебном и посадив в сем опустошенном городе воеводой князя Петра Шуйского, он вместе с войском и обозами награбленного добра, надеясь упредить весеннюю распутицу, двинулся к Москве.

Но упредить распутицу не удалось, реки вскрылись, дороги размякли, и уже от Великих Лук, распустив войско и оставив обозы на попечение воевод, Иоанн с отрядом лишь самых преданных ему людей продолжил

путь. Он спешил, подгоняемый каким-то радостным будто, как казалось тогда, и вместе с тем странным, как представлялось теперь, предчувствием, словно боялся, что не доведет, не успеет довести до Москвы, до царицы это свое обновленное к ней отношение, какого жаждал, отправляясь в поход, и какое невиданное, а главное, быстрым успехом было исполнено ему будто бы самим обликом царицы, этой хрупкой, с осиною талией, привезенной по обычаю предков, искавших жен в азиатских степях, из далеких восточных краев. Он не то чтобы верил, но точно — в той сумасшедшей конной гонке — знал, что и это второе супружество его, как и первое, когда из сотен сведенных в Кремль невест выбрал Анастасию, было счастливым; современники отмечали, что как и в гневе, так и в ликовании Иоанн был беспределен и не терпел на себе никаких оков; тем более когда бывал в радости, и кто знает, чем бы обернулось его царствование, окажись рядом с ним действительно тот идеал женщины, какой он искал; и, может, оттого и гнал лошадей, и спешил, не останавливаясь ни в городах, ни в монастырях и огорчая гостеприимных хозяев, что что-то в совершавшемся все же казалось зыбким, неустоявшимся, требовавшим немедленных уточнений. Меня могут упрекнуть, что столь грозное государственное лицо, исполнившее столь важное государственное дело (восстановление целостности России, как трактуют историки), я готов опустить до семейных интриг, то есть чуть ли не до простолодинов; что ж, могу сказать, что там, где есть возвышенное, всегда есть и приземленное, и приземленного даже больше, чем возвышенного, потому что как раз в этом приземленном и бывает скрыта та главная пружина, от которой исходит движение. Как монарх, самодержец, Иоанн объясним и понятен (во всяком случае, с высоты эпох и в трактовках историков); но как человек со всеми его желаниями и страстями — как человек он вызывает куда больший интерес, по крайней мере у меня, и я не могу представить себе Иоанна иным, чем только в этом счастливом опьянении, в каком, переменяя лошадей и загоняя их, он мчался к царице, чтобы обнять ее.

О победе его были уже осведомлены в столице, духовенство и бояре, подняв народ и холопов, готовили торжественную встречу. Митрополит Макарий, получив письменное от Иоанна извещение, что «исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе Москве, что вздут руки его на плечи врагов его: бог несказанную свою милость излил на нас недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал», — митрополит Макарий, готовившийся уже от старости и болезненной покинуть сей неприветливый, содомский (в бесконечной борьбе даже между духовенством за сан Первосвятителя) мир, на время словно воспрянул, польщенный сим личным посланием, и усердствовал особенно, стараясь приравнять успех этого похода к успехам Казанского и тем возвеличить подвиг Иоанна. Первой на подступах к Москве, в Старице — уделе своего сына, князя Владимира Андреевича, тоже участвовавшего в походе и возвращавшегося теперь с царем, приняла его Ефросинья: царевич Иоанн, как отмечают летописцы, в тот же день, к вечеру, ожидал своего отца-победителя в обители святого Иосифа, а другой царевич, Федор, — в селе Крылацком. «Тут был новый пир», как сообщают все те же летописцы, всю ночь длилось веселье, пили, ели, славя русское воинство и похваляясь всякою доблестью, и возбужденный Иоанн, хотя ему только на час перед самым уже рассветом удалось вздремнуть, едва занялось утро, был уже на ногах. Ему оседлали и подвели коня — того самого, на котором он победоносно въезжал в Полоцк; сопровождавшие его воеводы, бояре и ратники были уже в походном строю перед крыльцом; окинув их взглядом, окинув взглядом коня и подбадривающе похлопав его по теплой, заслоненной гривой шее, он с легкостью, как будто и в самом деле не было ни бессонной ночи, ни усталости (ведь какие уже сутки и все — верхом, верхом), вскочил в седло и, отбрасывая словно бы от себя комки грязи, летевшие из-под конских копыт, сначала мелким, еще будто игристым наметом выехал из монастырских ворот.

XX

Он ехал Крылацким (по названию села) полем, чтобы спрямить дорогу. Вокруг все было схвачено мартовским морозцем, прозрачный ледок похрустывал под ногами лошадей, а когда втягивались в полосу не раста-

явшего еще, а лишь осевшего под напором весны, слежалого снега, кавалькада словно вдруг тяжелела, притушевывала бег, кони храпели и разбрасывали пену. Но Иоанн был неудержим, его не останавливало ничто; нерасплесканным, целостным и еще сильнее будто окрепшим он нес в себе то возникшее в Полодье, на площади, перед собором, чувство к Марии, и, трудно сказать, встречный ли ветер, овеяв лицо, пел и резвился в складках его одежды или пела и резвилась его молодая — тридцать лет, да возраст ли это! — удачливая душа. Он был неузнаваем в своем порыве и устремленности, и окружение, поспешавшее за ним, в котором были и князь Владимир Андреевич, и князь Афанасий Вяземский, и все остальные новые и новейшие любимцы вместе с царями и царевичами казанскими Александром, Симеоном, Ибеком, Тохтамышем, Бекбулатом и Кайбулой, — окружение, поспешавшее за ним, лишь удивленно переглядывалось, далекое от мыслей и чувств самодержца и не понимая его. Как и нам, наверное, человеческое в царе должно было представляться им невысказанным, как будто в простоте чувств действительно заложено что-то не то чтобы недоступное, но принижающее для высоких особ; но ничего принижающего достоинство в Иоанне не было, он всего лишь позволял себе быть естественным, и чистота чувств, и чистота мыслей (когда отброшено все наносное, дурное, отягчающее нас) делали его в эти мгновения прекрасным, добрым и сильным.

Впереди, захватывая во всю ширь небо и землю, разливалось ● горизонту утро; оно вставало ясным и с теми весенними уже запахами и красками, которые, сливаясь с общим настроением Иоанна, как раз и вызывали в нем то сознание красоты и гармонии мира (так редко теперь, к сожалению, посещающих нас), когда на меже духовного и материального, где обычно сталкиваются желания и возможности, возникает не борьба, не разочарование, а единство, песенно соединяющее в нас представления о жизни и жизнь. Ни прежде, ни потом Иоанну уже не доводилось испытывать подобного чувства; сделав неверный шаг и увязнув одной ногой в трясины, непременно увязнешь и другой, а затем по бедра, по грудь, по шею, и — лишь в преддверии небытия память раскручивает содеянное и проясняет дороги, по которым следовало пойти, но о которых, когда они открывались в действительности, не хотелось и слышать; чувства, охватившие теперь Иоанна, несомненно, если бы он доверился им, открыли бы перед ним совсем иную, чем та, какою прошел, дорогу; но в том-то и заключен драматизм человеческого бытия (выраженный в пословице: знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил), что в момент решений вдруг словно бы исчезает всякое представление о прошлом и будущем и остается и действует только тот сиюминутный интерес — славы, власти, богатства и почестей (для каждого на своем уровне и несопоставимое с мерами справедливости и добра), — который и приводит к заблуждениям и ошибкам. Ложь не в природе, ложь — в людях; и нет ничего страшнее, чем когда она подается в облике правды. Но что было Иоанну до сей философии, в которой, кстати, можно обнаружить и свои недочеты, и ущербность; в нем дышала естественность жизни, и не столько земли, возвращенные им России (и победа над Сигизмундом), сколько — простор для любви, добытый в этом походе, вызывали в нем не сдерживаемое ничем ликование, и он мчался по этому простору и на коне, то есть физически, ощущая всем телом напряжение и галоп лошади, и мысленно, устремляясь вперед страстями, окрылявшими его. Потому, может, и был столь нетерпелив к боярину Траханиотову, посланному сообщить ему о рождении сына Василия, и, не слезая с коня и горячась вместе с конем, равным удила, кричал на коленапреклоненного вестового: «Говори! Ну говори же!» Скорее догадавшись (по предчувствию), чем поняв со слов боярина, о чем весть, по-разбойничьи дико гикнул (что было тогда внове для него и для всех, но что затем войдет в привычку и будет повторяться в обстоятельствах уже иных и как сигнал к действию), огрел коня плетью, и — не успели сопроводившие уяснить, что произошло, как он уже несся по полю, взрывая подтаявшую землю и снег; князья, цари и царевичи вслед за ним бросили своих лошадей в намет, и лишь боярин-посланец Траханиотов, не успевший еще подняться с колен (и с лицом, заляпанным ошметьями перемещанного с землей снега), обернувшись, удивленно смотрел на удаляющуюся от него кавалькаду.

Панорама Москвы, в каком бы столетии и кто бы из россиян ни подъезжал к златоглавой столице, всегда вызывала одно и то же, может быть, несколько странное (по понятиям иноязычных), но, может, вовсе и не странное, а вполне объяснимое чувство исторического родства и близости ко всему, что было и будет в ней, к ее Кремлю, каменным, но больше (по тем временам) деревянным домам, дворцам, монастырям, ее церквям, соборам и колокольням, с которых на десятки верст вокруг разносится утренний благовест; частью из белого камня, частью просто беленные известью, церкви и соборы как раз и создавали впечатление белокаменной, и Иоанн, как ни торопился теперь, все же хоть на мгновенье, но придержал коня, когда из не растворенного еще солнцем голубоватого марева утра, словно из морских глубин, вырос и открылся глазам сей державный град. Он был необыкновенно прекрасен, игравший позолотою куполов и манивший дымком, поднимавшимся из печных труб — столбами (при безветрии и морозе), редая и обесцвечиваясь в ясной высоте неба; и в центре этой неохватной живой картины, как шнуры, стягивая к себе дороги, величественной чашею возвышался Кремль. К нему с одной стороны, той, с которой подъезжал Иоанн, примыкали улицы и улочки Арбата с торговым рядом, церковью Бориса и Глеба и площадью перед ней, на которую, оповещенный о прибытии царя, уже начал стекаться московский люд, с другой — видна была стена Китай-города, Охотный ряд, Зарядье с разбросанными, как медь по земле, часовенками, и дальше по Москве-реке и Яузе — дома, лавки, кожевенные и гончарные мастерские и опять дома, лавки, объединенные беспросветной нищетой словно бы в лоскутное одеяло. Но Иоанн не замечал этой разноликости и не выхватывал из общего целого те или иные (по социальной обустроенности) островки жизни; перед ним было то, что принадлежало ему, — с худым и добрым, богатым и бедным, было — дарованные Богом народ и держава, и в том состоянии влюбленности и успеха, в каком он пребывал, он ни на минуту не колебался ни в правоте своих деяний, которыми приносил только блага себе и державе, ни в правоте замыслов, коими еще более, как полагал, мог осчастливить народ. Лишь на какую-то долю секунды лицо его вдруг будто затуманилось, он вспомнил, как горела Москва в год его венчания на царство. Укрывшись тогда в Воробьеве (и не только от стихии огня, но и от волнений и бесчинств, учинявшихся безумевшим людом), он вместе с молодой женой, Анастасией, смотрел из дворца на сие ужасающее зрелище.

Москва, к слову сказать, строившаяся с топора, не раз сгорала дотла за свою многовековую историю. Но этот пожар, о котором вспомнил и подумал Иоанн, был особенным, «великим», как тогда же его нарекли в народе. Он принес неисчислимые бедствия, сгорело множество людей, лавок с богатыми товарами, гостиниц казенных дворов и монастырских строений. Свидетели тех событий отмечают, что приступал он к городу двумя этапами, двумя волнами. Первая волна огня прокатилась в апреле и, захватив Божоявленскую обитель, превратила в пепел все, что лежало за Яузой, обездолив гончаров и кожевников. Тогда же огнем поглощены были целые кварталы домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки, взлетели на воздух башня с порохом и часть городской стены, запрудив кирпичом реку, а затем, в середине июня, «около полудни, в страшную бурю, начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице, с церкви Воздвижения; огонь лился рекою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай и Большой посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распались, железное рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь; богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма; силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке, он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь...» Я не случайно привел здесь столь пространное документальное свидетельство: во-первых, для достоверности, потому что речь идет о событии историческом, в котором непростительно было бы что-либо исказить или преувеличить, пусть даже ради художественной правды, правды искусства, и, во-

вторых, чтобы понять замешательство Иоанна. Кроме картины внешней, с живостью красок представшей сейчас перед ним, было в этом ужасающем бедствии и нечто более важное для него. Объезжая на другой день после пожара Кремль, он услышал, как за спиной, с паперти обгорелой церкви, какой-то калека-богомолец крикнул, что «явилось знамение», что это молодой царь обнажил меч на народ и что все, все теперь будет гореть в огне и тонуть в крови. Богомольца заставили замолчать, и хотя никто затем ни при царе, ни без него не осмеливался упоминать об этом случае, но не лишенный суеверия Иоанн не раз мысленно возвращался к этому зловещему предсказанию. Каким-то будто неосознанным, страшным прикосновением то зловещее притронулось к нему теперь; он даже оглянулся — не заметил ли кто движения его мыслей, и, чтобы не загружаться сим тяжелым и ненужным для него сейчас воспоминанием, отпустил поводья коню, подганцовывавшему под ним, и направил его вниз по склону горы к переправе.

XXI

Во всяком деле (в том числе и в событиях исторических) есть то, что зримо и что незримо, вернее, сторона внешняя, которую всегда можно воспроизвести в движениях, красках и лицах, и то, что скрыто от глаз и составляет мир чувств, желаний и мыслей, о которых можно лишь предположить, что они есть и руководят человеком, но в то же время остаются за гранью видимости и вызывают в столетиях иногда не прекращающиеся суды и пересуды. Спешившись на пароме, Иоанн затем, когда паром причалил к противоположному (пологому) берегу, вновь сел на коня и мелким, игривым, парадным или плац-парадным, как можно было бы уточнить, аллюром двинулся к церкви Бориса и Глеба, где на площади, в скоплении разнообразнейшего московского люда знатное духовенство и бояре с хоругвями, иконами и крестами ожидали его. Несмотря, как уже говорилось, на многонедельную гонку — на конях, верхом — и, несмотря на бессонную почти ночь, проведенную в Крылацком за питеем, едой и разговорами, Иоанн не то чтобы казался в глазах жадно смотревшей на него толпы, но и на самом деле выглядел полным сил, веселым и бодрым; молодевавшая осанка его кричала о молодости, царские облачения и доспехи — о воинственности и силе, что, как и всегда-то, могло настраивать лишь на безоглядный патриотизм; и хотя, сняв шапки, народ только крестился и кланялся при виде приближавшегося царя, но за молчаливыми этими поклонами и полными восхищения и восторга взглядами, словно заряд, готовый огласить взрывом округу, таилось безудержное, не подкрепленное ничем, кроме корысти монаршей, выдаваемой за общее, государственное благоликование.

У всякого народа, разумеется, есть в истории свои великие и малые торжества, и мне не хотелось бы теперь, оглядываясь на столь отдаленное от нас прошлое, чем-либо омрачать то победное ликование, самую приподнятость той минуты, какую переживали собравшиеся на площади, перед церковью, русские люди. Мы осуждаем эгоизм личности, но приходило ли нам когда-нибудь в голову, что есть еще эгоизм толпы, народа, наконец, монарший или державный и что — не в сражениях ли, не в убийствах ли людьми одними людей других и не в разрушениях ли налаженной (и каждому дорогой для себя) жизни скрыта вся его неопишимо зловещая суть? Римляне ликовали, когда сравнивался с землей Карфаген, — чему? Чему рукоплескала Великая Греция, когда Александр Македонский, завоеывая Азию и отсылая дары, сел вокруг себя только разрушения и смерть, ломая судьбы и жизнь народов и государств? Что приобрели и что потеряли, если брать в историческом плане, все те аплодировавшие и ликовавшие народы? Разве что — весьма сомнительную, хотя и записанную на скрижалях истории память о «великих» и «славных» походах? То, что Иоанн готов был, как дар, бросить теперь к ногам духовенства, бояр и народа (более — к ногам царицы, что было важнее для него), было, по существу, даром сомнительным. За победой, которую он одержал и которая одна, казалось, только и могла восприниматься народом, стоял разрушенный, опустошенный и разграбленный Полоцк. Он весь был в развалинах, повсюду на пепелищах виднелись трупы, которые некому было предать земле. Берега Двины, словно бревнами, были завалены утопленниками, вынесенны-

ми волной на отмели, а в уцелевших домах, церквях, монастырях раздавались лишь плач и стоны. Но перед глазами народа, собравшегося встретить Иоанна, представляла не эта картина смертей, ужасов и страданий, а другая — торжественно, с победой въезжавший в столицу царь. Он был красив, могущественен и недосыгаем, конь гарцевал под ним, соединяясь с торжественностью минуты, и от этого наполненного будто бы божественным смыслом великолепия все вокруг тоже наполнялось и дышало исторической, как и должно воспринимать ее, но, в сущности, пустой, бессмысленной, ложной гордостью, от которой как до патриотизма, так и до эгоизма — государственного и потому страшного — один шаг.

Как только Иоанн въехал на площадь, он спешился и, слегка поклонившись на три стороны перед народом, двинулся к ожидавшим его царице, духовенству и боярам, сгрудившимся перед церковью Бориса и Глеба и праздничным своим благолепием заслонявшим ее. Ветер с Москвы-реки шевелил развернутыми хоругвями, клонил долу кресты, иконы, забрасывал за плечи длинные седые бороды святителей и бояр. Вот-вот должна была наступить развязка, и перед этой вершиной торжества все, казалось, еще более притихло в напряжении; и в этой тишине, вдруг (и тем неожиданней для Иоанна и всех) — раздался сперва одиночный и звонкий, больно отдавшийся в ухах удар колокола. Иоанн вздрогнул и едва успел взглянуть поверх голов святителей и бояр на колокольню, как оттуда донесся второй, третий удары, и затем, словно решив поддержать сии торжествующие звуки, ударили на колокольнях соседних церквей, в Кремле, по всей Москве, и под этот величественный благовест, приподнимавший и без того приподнятую душу, Иоанн пересекал площадь, вглядываясь в толпу своих придворных вельмож и отыскивая среди них царицу. За ним, оттянувшись на сажень, вели его коня, понуро клонившего теперь голову книзу, словно желавшего замести гривой хозяйский след, и уже за конем, тоже спешившись, как и царь, двигалась свита.

Оттого ли, что так было задумано, или потому, что у митрополита Макария, возбужденного событием, не хватило терпения, — словно крестным пасхальным ходом вокруг церкви, встав впереди святителей и бояр (и с царицей, окруженною вельможными мамками и няньками), он двинулся навстречу Иоанну. Сойдясь, потоки остановились, пережидая в торжественном противостоянии все еще разливавшийся над площадью благовест; когда же колокола смолкли (на ближайших колокольнях, тогда как по Москве долго еще, напоминая переключку, слышался их приветственный перезвон), митрополит по-церковному напевно, велеречиво, но не столь, может быть, твердым и могучим по преклонности лет голосом произнес здравицу в честь царя-победителя, поблагодарив его от народа и церкви за великие ратные труды и подвиги во славу державы; Иоанн ответно воздал хвалу митрополиту и святителям за их «усердные молитвы», кои были услышаны и возымели действие, и лишь после этого протокольного, как мы бы сказали теперь, обмена речами, вперед была выдвинута царица с новорожденным сыном Василием, которого в шитых золотой нитью царских распашонках, простынях и одеяльце держала на руках. Иоанн двинулся было к ней, но тут же остановился: на глазах у толпы, еще более жадно сейчас смотревшей на него, негоже было ему опускаться до простолудинских слабостей; простое, человеческое проявление жизни — да совместимо ли оно с высотой государственных дел? Лицо его слегка налилось гневом — от беспомощности, в какой он вдруг ощутил себя; но, поборов раздражение (он тогда еще был способен управлять собой), Иоанн еще несколько мгновений продолжал молча смотреть на царицу, маленький в руках ее сверток, который она готова была протянуть ему, и за эти мгновения, несомненно показавшиеся ему куда длиннее, чем весь многонедельный, только что проделанный от Полоцка до Москвы путь — все верхом, верхом! — за эти короткие мгновения успел передумать и пережить целую жизнь.

То, что только что представлялось Иоанну завершенным и целостным, — его обновленное чувство к Марии, — и что он, боясь расплескать по дороге, так бережно в своем сердце вез ей, на самом деле не было ни завершенным, ни целостным; вглядываясь в царицу, он опять невольно принялся искать в выражении ее лица, глаз то, что с первого же, казалось, дня, как только увидел, искал в ней. Ему необходимо было ответное чув-

ство, которое принесло бы покой и удовлетворение, и, сделай царица сейчас любое приветливое движение, он нашел бы, как истолковать его. Но он не видел этого движения; царица после родов была еще неокрепшей, сырой, как говорят в народе, прежде смуглое лицо ее выглядело бледным, неподвижным, отдавало холодностью, и не следы радости материнства, которые (может быть, по восточному обычаю) она и старалась стыдливо скрыть в себе, а следы мук, перенесенных ею, — этих известных при родах женских мук, словно бы в укор выставленных теперь супругу, были заметны в ней и смущали Иоанна. Видя и понимая их значение, он в то же время не хотел и не мог объяснить их; чувства его и чувства царицы не совпадали, он нахмуренно сверлил ее глазами и только еще сильнее заставлял пугаться и леденеть душой; и кто знает, чем бы все завершилось, если бы первосвященник Макарий не предложил ему взять младенца, прежде открыв и показав царю маленькое сморщенное личико будущего престолонаследника. И общий ли вид младенца, ощущение ли его живого (сквозь толщу одеяла и простыней) тельца, вызвавшее прилив отцовского удовлетворения и доброты, или та жалкая, болезненная улыбка, какую хотя и на миг, но все же озарилось лицо царицы, но — Иоанн уже не колебался; держа наследника на руках, он медленно, подчиняясь торжественности минуты и сливаясь с ней, направился от Арбата к Кремлю, сопровождаемый царицей, духовенством, боярами и народом — ликовавшим, как если бы событие это действительно принесло или могло принести ему блага, и по всем церквам опять, пока длилось шествие, гремел благовест.

XXII

Всю следующую неделю от воскресенья до воскресенья в церквах и соборах служили благодарственные молебны, в Кремле, в сводчатых палатах дворца не смолкали торжества, Иоанн был весел и со щедростью, присущей монарху, одаривал героев похода — воевод, бояр, князей, царей и царевичей казанских, невольной и еще более милостью этой приближая их к себе. Среди придворных же, как и должно, намечались новые перестановки, завязывались интриги, то есть продолжалась все та же извечная, не знающая пощады борьба (за мнимое, если не сказать больше, первенство между государственными мужами), какая и во все-то времена и при любых правителях ведется вокруг или у подножия тронов. Но Иоанн не воспринимал пока ни наветов, ни оговоров; занятый собой и своим отношением к царице и новорожденному сыну Василию, он не выходил почти из детских покоев; вновь, как и при Анастасии, даровавшей ему сыновей, он испытывал то счастливое чувство отцовства, которым (по крайней мере в те дни, когда происходило все) заслонены были перед ним все государственные и иные дела державы. Это отцовское чувство передавалось Марии, душа ее словно раскрывалась, светлела, и в глазах начали появляться те огоньки любви и жизни, которые как раз и желал увидеть и видел теперь в ней Иоанн. По правую руку от себя он неизменно усаживал князей черкесских, родственников и родичей царицы, вызывая тем недовольство родни прежней, по Анастасии, Захарьиных, чей клан был еще влиятелен и многочислен; недовольство зрело и у князей Мстиславских и Шуйских, которых, как им казалось, оттесняли от трона, но и к этим недовольствам Иоанн оставался глух, ибо что было выше того счастья, какое испытывал он, когда, входя в детскую, заставлял Марию склоненной над сыном. Ему казалось, что он чувствовал и понимал ее так же, как чувствовал и понимал себя, и смотрел на нее с нежностью; немножко еще черкешенка, но уже достаточно русская, Мария и в самом деле являла собой тот идеал, который и был желателен Иоанну и что-то будто нетронутое, доброе пробуждал в нем.

Но как ни велико было счастье, испытываемое Иоанном, время от времени на него все же вдруг находили сомнения, и он начинал беспокоиться, как если бы действительно что-то нехорошее, неотвратимое и готовое вот-вот совершиться подстерегало его. Он то относил это беспокойство к делам державы, к взаимоотношениям своим с князьями и боярами, претендовавшими (по знатности родословных) на влияние и вес, то к духовенству, которое заступничеством за опальных не давало ему править, как он хотел, то к делам семейным, в коих тоже не все было так благополучно, как это

казалось на первый взгляд. Маленький Василий, несмотря на старания всех, кто ухаживал за ним, выглядел болезненным, плохо ел, спал и развивался, и Иоанн, успевший уже привязаться к сыну, сначала лишь недоумевал, надеясь, что все обойдется, призывал лекарей, обещая им награды, но затем, увидев, что улучшения не наступает, помрачнел, притих, и семейные отношения, только что, казалось, так благополучно по взятии Полоцка разрешившиеся для него, теперь вновь и обостреннее возникли перед ним. Может быть, если бы он поделился с кем-либо своими сомнениями и без предвзятости посмотрел на царицу, сына и происходившее с ними и вокруг них, многое предстало бы по-иному и прояснилось для него: но, как большинство сильных или, по крайней мере, мнящих себя сильными людей, Иоанн переживал молча, доверяясь лишь своим посылам и выводам и вызывая у окружающих то ложное о своих сомнениях представление, вернее, ту должную озабоченность, от которой только сильнее запутывалось и осложнялось все. В то время, как от большого отстранялись лекари, все явственнее начинали выдвигаться вперед отцы церкви. Они находили, что болезнь царевича не физического, а нравственного свойства, что тут подается знак Божий и спасение следует искать только в поклонении святым мощам, бдениях и молитвах. За кем-то из родителей значилось прегрешение, и, так как Иоанн не мог, как это представлялось всем, хоть в чем-либо быть запятан, взоры были обращены на царицу, которая, дескать, не до конца, не сердцем приняла православие. Сказать об этом Иоанну прямо никто не решался, но намеками давали понять, в чем скрывалась причина, и в соборах Благовещения и Успения проведены были торжественные (по обелению царицы) службы; соответствующие службы были затем проведены и в других по Москве церквях и соборах, а когда и это не помогло, святители с митрополитом явились к Иоанну и предложили ему вместе с царицей и сыном-младенцем съездить на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь. Обитель та славилась особым благочестием, и церковные иерархи были убеждены, что поклонение мощам святого Кирилла и молитвы возымеют действие и недуг отступится от царского чада.

Но Иоанн не сразу решился на подобное путешествие. Уединившись в покоях, где можно было в безлюдье поразмыслить над сим важнейшим для себя и державы вопросом, он просидел там дотемна, пока не вошли зажечь свечи, но и при свечах — продолжал оставаться все в той же удивленной неподвижности (как при прозрениях, когда в сложных нагромождениях жизни вдруг открывается очевидная и доступная разуму простота), в какой ни прежде, ни потом никто из князей и бояр не видел Иоанна. С ним словно повторялось то, что уже было, и он лишь вступал теперь на тот второй круг жизни, на котором все-все было до мелочей известно ему. Вот так же с первенцем Анастасии Великим Князем Дмитрием в холдную весеннюю пору он отправился на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь и потерял сына: царевич в дороге простудился, заболел и умер. Иоанн помнил, как отпевали Дмитрия в сырой и темной монастырской церквушке (было это уже где-то далеко за Тверью), как затем везли гробик с тельцем и предавали земле (с царскими, разумеется, почестями) в Москве, в каком отчаянии была Анастасия, да и сам он, и народ, как ему казалось тогда, облаченный в траур и ливший слезы по безвременно ушедшему в мир иной наследнику; и хотя после этого неизбежного как будто бы горя, но, может быть, и во искупление его явилось светлое десятилетие: Анастасия родила сыновей Ивана и Федора и дочь Евдокию, да и в делах державы всюду сопутствовала Иоанну удача, но — соизмерима ли была цена счастью, и стоило ли вновь точно такой же ценой добывать его? Иоанн колебался; ему страшно было представить, что и первенец Марии не вынесет поездки и скончается по дороге, страшно было обречь Марию на страдания; он видел, как перенесла их Анастасия, и готовый воспротивиться року, старался найти в этой открывшейся будто бы ясности то, что позволило бы избежать повторения.

Да и так ли уж совпадали события, как это (по большому счету) представлялось Иоанну? Во-первых, десять с лишним лет назад он отправился на моление не по совету святителей, а выполнял лишь обет, данный во время своей тяжелой болезни, когда, вернувшись из триумфального Казанского похода, казалось, лежал на смертном одре, и, во-вторых, если го-

ворить об исторической значимости той поездки, что осознавалось тогда уже многими современниками и чего не мог не учитывать Иоанн, то по своим последствиям она имела куда большее значение для судьбы державы, чем только смерть и похороны малолетнего Великого Князя Дмитрия. По пути Иоанн посетил в кельях двух великих для своего времени (каждый по-своему) старцев: Максима Грека, доживавшего последние свои дни в одном из монастырей близ Твери, и Вассиана Топоркова, инока Иосифо-Волоко-Ламской обители, и разговор с ними (к которому по ходу повествования еще не раз, видимо, придется обращаться), особенно с Вассианом, оставил в душе Иоанна свой глубочайший и невытравимый след. Максим Грек был деятелем прозападных, как мы бы определили теперь, взглядов, выступал за реформизм и послабления не только в делах церковных, но и государственных и числился в еретиках, тогда как Вассиан Топорков, ученик Иосифа Волоцкого, главного и последовательного гонителя еретиков, — Вассиан, пользовавшийся милостями Великого Князя Василия, отца Иоаннова, был ревностным сторонником старины и выступал за незыблемость так называемых русских устоев, утверждавших единство и незыблемость власти церковной и светской (что как раз и должно было импонировать Иоанну), и хотя оба эти старца стояли уже на краю могилы и пора было им более думать о душе, нежели о делах земных, оставляемых ими, но таков уж, наверное, удел сильных личностей, — словно бы обернувшись у последней черты, они надеялись еще повлиять на ход развивавшихся событий. Что касается Иоанна, то он вполне мог бы удовлетвориться той исторической встречей, открывшей ему (с двух сторон) возможности и секреты власти; но державное, определившись, войдя в повседневность, разумелось уже само собой, тогда как личное, отнесенное к похоронам сына, переживаниям Анастасии и своим, далеко еще не стершимся в памяти, — личное продолжало держать Иоанна в напряжении и беспокоить его.

XXIII

Ночью он несколько раз входил в детскую, останавливался у постельки больного, затем молча присаживался возле Марии, согревал в ладонях ее стынувшие пальцы и вновь удалялся к себе; и во все это время (да как и всегда, впрочем) два противостоящих начала терзали его: разумное, под-сказывавшее, что ехать нельзя, что младенец не выдержит дороги и скончается, и суеверный страх перед послушанием (в данном случае послушанием святителей), за которым тоже неминуемо последует кара. Ему не нужно было доказательств, чтобы убедиться в верности этого суждения, перед ним был более чем пример, когда, не вняв предупреждению, вернее, пророчеству Максима Грека, он настоял на своем, поехал и потерял сына; и хотя послушание теперешнее означало — не ехать, то есть было более разумным даже по простым житейским понятиям, но страх перед послушанием, за которым, как тень, зловеще проглядывала расплата, — страх этот в конце концов возымел верх над разумным, и, промучившись в уединении и бездеятельности еще сутки, Иоанн пришел к заключению, что не поехать нельзя, нельзя не внять Божьему гласу, и велел пригласить к себе духовников и митрополита.

Разговор с ними был краток. Объявив о своем решении, Иоанн тут же повелел собираться в дорогу, и во второй половине дня, сразу после службы и благословения в церкви Успения, царский обоз, наскоро составленный и сопровождаемый конными ратниками, выехал из Москвы на Дмитров. Путь и в самом деле предстоял долгий и нелегкий: сначала — по раскисшим проселкам до Песношского Николаевского монастыря, где предполагалось задержаться на день, другой, отдохнуть и поклониться местным угодникам (в первую очередь, Вассиану Топоркову, да-да, тому самому Вассиану, гонителю Максима Грека, навечно успокоившемуся, наконец, в стенах сей «прославившейся» теперь именем и делами его обители), потом, пересев на суда, реками Яхромой, Дубной, Волгой, Шексной прибыть в монастырь святого Кирилла. Иоанн ехал в повозке вместе с царицей (больного царевича, укутанного в простынки и одеяльца, везли отдельно), и, пока преодолевали первые версты, вернее, пока дорога, как и все вблизи столицы, была более-менее сносной, колеса не увязали по

ступицы, лошади не рвали построжки, и повозку не швыряло из стороны в сторону, на душе у Иоанна, казалось, все было спокойно, он был весел, внимателен и предупредителен к Марии; надо сказать, определенность всегда успокаивает людей, особенно неуравновешенных, каким был теперешний самодержец России; несдержанный, не признававший преград своим страстям и желаниям, он вместе с тем панически боялся кары Божьей, Божьего возмездия, и этой несовместимостью сил, изначально как будто бы заложенных в нем, пожалуй, вернее всего можно объяснить характер Иоанна. Стремление освободиться то от одной, то от другой довлеющей силы как раз и бросало его в еще более цепкие их объятия и истощало физически и духовно. Начиналось же все обычно с мелочей, с самых простых иногда житейских неудобств, кои, увы, встречаются и у царей, и первым таким неудобством, вызвавшим раздражение, а затем беспокойство, явилась переправа через речушку, мост через которую был снесен в половодье, а спуск к броду да и сам брод до того круты и разбиты колесами что не только кучерам и холопам, но и ратникам пришлось по пояс входить в холодную воду и подталкивать повозки, помогая лошадям вытянуть их. Притомленные кони то и дело останавливались, крупы их были взмокшими, в клочьях пены, и словно бы в довершение сего испытания небо вдруг набухло тучами, налетел ветер, разодрал и сдернув с повозок чехлы, полоснула молния, и над всей от горизонта до горизонта весенней степью запылаха, загремела одна из тех коротких российских гроз, сопровождаемых ливнями, от которых, кажется, некуда бывает укрыться ни зверю, ни человеку.

Стихию пережидали, сбившись в круг — повозками, конями, людьми, а когда ливень стих, промокшие и продрогшие, свернули к первой попавшейся по дороге небольшой обители и остановились в ней, чтобы обсушиться, согреться и переночевать. Монахи были стеснены, келий не хватало, царской чете отведена была трапезная, а больной царевич помещен в покоях настоятеля. Как прошла ночь для царевича, для других, ехавших с обозом, Иоанн не знал; то ли от вина, которое дали ему выпить, чтобы согреться, то ли от усталости или спокойствия, которое вернулось к нему оттого, что он как бы вновь ощутил себя под покровительством Бога, — сразу же после еды и питья заснул (впервые за мучительную неделю) глубоким, безмятежным сном. Утром разбудили его сообщением, что скончался царевич — тихо будто бы, без крика, слез и метаний, а с Божьей умиротворенностью (что как раз и должно было служить утешением для Иоанна). Поняв с полуслова, о чем речь, будто только и ждал этого (но ведь и на самом деле — ждал!), он вместе с тем жестким, неверящим взглядом обвел духовников, покорно притихших перед ним; потом, одевшись и сопровождаемый ими, направился в палаты настоятеля, где на одре лежало омытое, приготовленное к отпеванию тельце младенца и где полно было уже и дворцовой дворни, и монахов в их однотипных черных одеяниях и пахло хвоей и ладаном. Запах этот, памятный еще с похорон Дмитрия, словно ударом в лицо заставил Иоанна остановиться, и точно так же, как он только что тяжелым, неверящим взглядом смотрел на духовников, посмотрел теперь на тельце покойного, траурно накрытое покрывалом, на царицу Марию, склоненно, в черном, стоящую перед ним, на скорбные лица челяди (вельможной, разумеется, которая только и могла быть допущена сюда) и монахов, пробежав, как по орнаменту, по их изреженным, клиновидным бородкам и длинным, нестриженным волосам, подхваченным надбровными повязками, должными будто бы сближать их с обликом Иисуса. На груди у младенца, зажатая в похолодевших крохотных пальчиках, горела свеча, озарявшая всех вздрагивающим светом, особенно обескровленное и заострившееся за ночь лицо царицы; в таком состоянии Иоанн еще никогда не видел Марию и ни в самую минуту происшедшего, ни позднее, когда вспоминал, не мог с точностью определить, что сильнее поразило и озадачило его: вид ли умершего царевича или вид царицы, о которой только и уместно было сказать, что краше кладут в гроб.

Иоанн подошел к царице и встал рядом с ней. Теперь он не смотрел на нее, а лишь чувствовал ее истощенную, истрадавшуюся плоть, то есть, сказать иначе, ее душевную опустошенность, не дававшую ей даже плакать, и худобу, делающую ее более болезненной и хрупкой; но в то время как Марию он только чувствовал, худое, посиневшее, мертвое личико

сына и столь же обескровленные ручонки и пальчики, державшие непомерно большую по ним горевшую восковую свечу, — все это было перед глазами, и как ни пытался Иоанн отогнать от себя ту мысль, которая еще до поездки начала беспокоить его, что болезненная плоть рождается лишь от болезненной плоти, как ни старался отвести от Марии это ужасающее обвинение, которое, если подтвердилось бы, сделало бы невозможной супружескую с ней жизнь, но реальное, — стоявшее и лежавшее перед ним, — было сильнее всех возможных доводов и опровержений. Он словно попал в ловушку, из которой нельзя было выбраться, не поступившись достоинством личным или достоинством царским. Но ни то, ни другое было неприемлемо Иоанну; он не допускал мысли, что виноват, как не допускал ее ни в чем и никогда, и, чтобы выйти из положения без потерь и унижений для себя и определиться, ему оставалось только прибегнуть к тому средству, к какому в подобных ситуациях прибегают все: перенести тяжесть гнева с истинного предмета негодования, то есть с Марии, на предмет второстепенный, то есть в данном случае на святителей, тем более что на это имелись у него основания. Он вспомнил разговор с ними, когда во главе с митрополитом они явились к нему; и хотя ни митрополита, ни святителей не было теперь возле покойного, но Иоанну казалось, что они находились здесь, и он, обводя всех налитыми гневом глазами, искал их. Он готов был ткнуть, ударить, придушить любого из них независимо от сана и звания, подвернись они ему сейчас, и не сдержался и сделал бы, как позволял позднее — со святителями новгородскими или тверскими, например; но их не было, а был только гнев, была ярость, слепая, безотчетная, и трудно предположить, чем бы закончилось все, если бы не покойный младенец, лежавший со свечою в руках на одре, не истощенная, готовая рухнуть на пол Мария (и рухнула бы, не поддерживай ее под руки), и то чувство достоинства, еще не растраченное к тому времени Иоанном, которое и удержало его от неразумного поступка; окинув еще раз всех гневным взглядом, он решительно повернулся и зашагал к выходу.

XXIV

Спустя час, не простившись ни с кем, один (лишь с небольшой охраной и свитой любимцев) Иоанн спешно возвращался в Москву. Что побудило его к этому поступку, трудно сказать: желание ли повидаться с митрополитом, святителями и объясниться с ними или бросить им в их сытые, умиротворенные лики весь тот гнев, какой давно уже накапливался к ним? Прежняя догадка, что духовенство, как и бояре, состоя между собой в тайномговоре, только и думает, как навредить ему, его семье и помешать царствовать, — догадка представлялась столь явной, что он даже не хотел утруждать себя поисками доказательств. Да и какие еще нужны доказательства, когда они — вот и более чем очевидны: царевич на одре, царица перед ним в полуобморочном состоянии и монахи вдоль стен, в каре, не столь со скорбной, сколь с живейшей заинтересованностью взирающие вокруг. Картина эта, словно застыв, стояла перед глазами Иоанна, и ему неважно было, отчего происходил этот их монашеский интерес, оттого ли, что в кельи их, в их однообразное, в молитвах и бдениях аскетическое бытие ворвалась светская жизнь или оттого, что они невольно явились свидетелями развернувшейся на их глазах трагедии в царском семействе; он видел и воспринимал только то оскорбительное, что было заложено будто бы в их любопытстве и соединилось (в чем он не сомневался) с общей зловецей цепью интриг, свивавшихся вокруг него. Сознать это было мучительно, и, чтобы освободиться от средоточия сих сдавливающих дум, он торопил ездовых, повозку встряхивало, кидало из стороны в сторону, лошади рвались, подстегиваемые вождями, кнутом, окриками; минутами, словно бы выходя из забытья, Иоанн отчетливо слышал и эти окрики, и свист кнута, и грязевые шлепки о борта повозки, и топот, и чавканье конного сопровождения, без коего не было бы ощущения полноты и целостности движения.

Но дорога тем, может быть, и хороша, что, сковывая человека в поступках и действиях, оставляет ему простор для размышлений, не ограниченных ни временем, ни предвзятостью и направлением самих возникающих мыслей, и Иоанн, будучи самодержцем, но оставаясь при этом человеком со всеми его возможностями, желаниями и страстями, — Иоанн не мог не

воспользоваться этим дошедшим и до нас из глубины веков защитным средством и не обратиться к воспоминаниям, которые могли если не оправдать, то по крайней мере объяснить ему происходившее. И для этого не нужно было напрягать память. Подробности сватовства, женитьбы на Марии и жизни с ней — все было так близко и так осязаемо зримо, что оставалось только переводить взгляд от одной подробности к другой, задерживаясь лишь на тех, которые по выразительности, значимости и глубине пережитого более всего могли теперь волновать самодержца.

Конечно, я понимаю, что берусь изложить здесь всего лишь одну из версий того, что могло происходить тогда, но, полагая, что истина чувств не менее важна для осознания истории, чем истина (и последовательность) событий, рискну и впредь придерживаться этого взятого направления и не прерывать более логического развития сюжета. Иоанн не отделял жизнь личную от жизни державной, хотя и была тут своя полоса разграничений — уже по тому чувству привязанности и любви, какое он сперва испытывал к Анастасии, а затем ко второй супруге, Марии, и тому алчному стремлению к власти и упоению ею, каким отмечены все его государственные начинания; не отделял, особенно теперь, потому что сама идея второго супружества как раз и родилась из державных интересов и дел. В том году у него вновь осложнились отношения с Астраханью, и посланный туда для усмирения касимовский царь Шиг-Алей не взял города. Иоанн был недоволен и после пасхальных праздников намеревался заменить неудачливого воеводу, но в самый этот день Воскресения Господня, как отмечает один из позднейших (и безвестных) повествователей — великий день воскресения Христа, — пришло от Шиг-Алея если не странное, то, во всяком случае, любопытное послание. Оно было вручено Иоанну во время богослужения, а затем, после литургии, прочтено в присутствии дяди, князя Никиты Романовича Захарьина-Юрьева и митрополита Макария. Шиг-Алей сообщал (вслед за оправдательной тирадой): «Города Астракани мурза черкасов горских Теврюг Юнгич мне, холопу твоему царю Шихалею, написал письмо за своею рукою русским языком: буде-де царь Иван Васильевич поймет за себя дочь мою любезнейшую в царицы себе, аз-де Астраканью и до усть реки Волги, до моря Хвалынского и по морю улусами, и вверх по реке Яику, и с людьми, которые во всей моей Золотой Орде черкасы горские живут, поклонюся ему и грамоту дам на всю свою державу до века». Предлагалось, в сущности, то, что было уже завоевано и присоединено, но в то же время — наталкивало на размышления. Во-первых, после отказа Сигизмунда так ли, иначе ли, но надо было определяться с невестой, и, во-вторых, куда выгоднее иметь окраины усмирёнными, чем непокорными, и после недолгих одобрительных разговоров с Никитой Романовичем и митрополитом Иоанн продиктовал ответ Шиг-Алею. «Буде по глаголу твоему, — было в ответе. — Только образ ея написав, пришли с устроением лепоты лица ея в златом одеянии... И не подменный образ — вместо ея иной не пиши!» Иоанн не хотел, чтобы его обманули; каким бы развратным ни предстал он теперь перед нами, облепленный былями и небылицами (как, впрочем, и всякая историческая личность, оставляющая след в веках), но, обделенный с детства родительской лаской, он тянулся к семье, как всякий живой росток тянется к свету, — и столь же, может быть, неосознанно, как и в минуты, когда диктовал это свое послание Шиг-Алею, так и теперь (и даже, может, обостреннее), когда пережитое в тех же подробностях повторялось в нем.

Царские возницы между тем продолжали неистовствовать, кони мчались, повозку трясло и подбрасывало на ухабах так, что Иоанн на своем застланном мехами сидении вынужден был, схватившись за поручни, прижиматься к ним. В одной из деревень, где была собрана подстава, сменили лошадей, и вместе с этой сменою тяги с новой и еще более будто обостренной силой потекли мысли Иоанна. Перед ним возникали подробности — вроде бы несущественные, забытые, но которые как раз и переносили его в мир прошлых (и счастливых!) переживаний. Не так уж, наверное, и ждал он от Шиг-Алея описания «лепоты» лица будущей царицы, как это представлялось ему теперь; с некоторой даже скептической остротой он принялся распечатавать второе его послание, косясь на приложенный к этому посланию золотой ларец (будто бы от самой Кученей, так до принятия ею православия именовалась будущая царица Мария), но — для подтвержде-

няя теперешних чувств и мыслей требовалась иная действительность, и услужливая память подавала это иное, окрашенное удивлением и восторгом. Восточная, да, именно восточная «лепота лица ея» и «доброта возраста ея», пересказанные Шиг-Алеем, настолько возбудили желания Иоанна, что ничто уже не могло удержать его от сватовства и женитьбы на ней. Он собирает князей и бояр во дворце, устраивает им торжества и объявляет о своем намерении. Чтобы получить благословение от святителей, щедро одаривает Московскую патриархию, не обходя царской милостью и митрополита Макария, чьим согласием особенно важно было заручиться Иоанну, а чтобы придать предстоящим событиям надлежащую значимость, задумывает направить в Астрахань за невестой необычное (по размаху и пышности, разумеется) посольство: пеших и конных ратников для сопровождения во главе с двенадцатью знаменитейшими воеводами, более сотни вельможных жен, боярских вдов и девиц. «Воеводам же даде одеяние злато, — значит все в том же (позднейшем и безымянном) источнике, — и девицам, и вдовам, и женам летники златы, и всему воинству одеяние златое». В свидетельстве этом есть, наверно, и свое преувеличение, подымающее не столько даже престиж Иоанна, сколько престиж России, — традиция, не исчерпавшая себя и поныне, удивлять не искусством, не тонкостью дела, а массовостью; но мне не хотелось бы теперь вдаваться в подробности, потому что история всегда ясна лишь для историков; для всех остальных же — тем и привлекательна, что существует как тайна, прикрытая тенью веков, чтобы возбуждать воображение. Однако для Иоанна происходившее не было историей, он просто, как всякий человек, но лишь на своем монаршем уровне, творил жизнь, и, как бы ни велики или ни малы бывали радости или огорчения, он откликался на них столь же пространно и чутко, как откликается каждый из нас, дорожа семьей, достатком и счастьем. Видя все в мелочах и деталях, Иоанн вместе с тем как бы держал на себе весь размах тогдашних событий, включавших и подготовку ратников, и их «златое» одеяние, и отбор вельможных жен, вдов и девиц, для которых тоже нужно было пошить наряды — «летники златы», и строительство судов (стругов) в Коломне, откуда по Оке, а затем по Волге посольство за шесть недель должно было спуститься к Астрахани. Самодержец поднял и задействовал, как сказали бы мы теперь, все, что только можно было поднять и задействовать, стучали топоры, до света лучин не разгибали спин оружейники и швеи; Россия, словно восторженно встрепенувшись, готовилась к каким-то будто великим торжествам, хотя они и заключали всего лишь предстоявшее венчание Иоанна; но, обходя теперь воображением весь этот труд, Ion видел перед собой лишь то, что явилось его результатом, когда, прибыв в Коломну, устроил смотр этому своему столь необычному посольству.

XXV

Пешие и конные ратники, предводительствуемые воеводами, и вся женская свита — счастливицы, сумевшие пройти царский отбор, затемно еще были выведены за город и построены в колонну в том порядке, в каком затем предстояло им вступить в Астрахань. Возбужденные горожане — и приездом царя, и сим необычным зрелищем, какое готовилось развернуться на их глазах, — тоже затемно почти высыпали на улицы и запрудили площадь, шумно и не без остроумия пытаясь дать свое толкование происходившему. На реке, приткнувшись к берегу, стояли на приколах струги, готовые принять и ратников, и вельможных жен, вдов и девиц. Почти не спавший ночь Иоанн завтракал после заутрени в кругу своих приближенных, среди которых были и Басмановы отец с сыном, и князь Вяземский, и Грязной, и Малюта Скуратов-Бельский, набравшийся силы и лютоости. С восходом солнца вся сияющая, словно иконостас, нарядами, доспехами и «златом» колонна, двинувшись, начала втягиваться в город. Она должна была, пройдя через площадь, спуститься к судам и, не задерживаясь, погрузиться на них. В центре площади, перед собором, ожидал колонну (позавтракавший уже) Иоанн со свитой и духовенством, коему надлежало освятить посольство и дать ему свое благословение. Иоанн был на коне, как и большинство из его свиты, и, трудно сказать, беспокойство ли самодержца, чувствовавшего себя в роли жениха, передавалось коню,

перебравшему ногами и не желавшему стоять, а желавшему двигаться, или, напротив, беспокойство коня передавалось Иоанну и побуждало его к молодцеватости, положенной (в такие минуты!) жениху, или, может, и то, и другое вместе, и само утро, наполненное светом, и свежестью, и предчувствием счастливых перемен, но так ли, иначе ли, а вид царя был необычен, прекрасен и внушал изумление. «Царь-то наш, царь, батюшки!» — раздавалось в толпе. Иоанном и впрямь можно было бы только любоваться, если бы не сознание дел — самодержавных, творившихся им. Но народ тем и велик, что незлобив и незлопамятен, и сиюминутное впечатление обычно оказывается для него главным; чуть притихнув в ожидании, он готов был к восторгу и ликованию (как, впрочем, происходит и сегодня — в массе своей), не задумываясь ни о сути, ни о последствиях совершавшегося. Но и мысли и чувства Иоанна, все его состояние, выраженное в горделивой, жениховской осанке, может быть, за малым исключением, едва ли возвышались над толпой; сиюминутное брало верх и над ним, и он не мог удержаться от восторга, охватывавшего его.

Колонна между тем приближалась к площади, первые шеренги ее вот-вот должны были появиться перед Иоанном, и в самый тот миг, когда они появились, когда величественная панорама всадников, бряцавших оружием и сверкавших позолотой шлемов и кольчуг, ратников пеших, столь же внушительно отягченных доспехами, сколь и разодетых, и женщин в «летниках золотых» с цветами и лентами, — когда панорама сего неповторимого шествия, словно раздвигавшего перед собой лучи восходящего солнца, открылась Иоанну, все как будто замерло, застыло и, запечатлевшись в памяти, воспроизводилось теперь, когда он спешно, в повозке, возвращался в Москву; воспроизводилось со всеми мыслимыми и немыслимыми подробностями, будоража чувства и ум. Еще не видя невесты и лишь по описаниям Шиг-Алея представляя ее себе — «лепоту лица ея» и «лепоту возраста ея», он создавал уже для нее ту атмосферу величия, в какой только и пристойно было пребывание царицы. Ему казалось (как это, впрочем, кажется нам и теперь), что чем щедрее озолотит он будущую свою супругу, чем обильнее бросит ей к ногам достатка и знатности, тем объемнее все вернется к нему уютом, признанием и нежностью; он, в сущности, не сознавая того, уже в эти начальные минуты любил не будущую свою супругу, царицу Марию, не безвестную ему еще, но уже дорогую Кученей, а всего лишь был в плену тех усилий (и затрат, разумеется), какие вкладывал в нее теперь, и какие, если судить по этим усилиям (и затратам!), не могли не обернуться для него благополучием и счастьем.

Говорят, что только общее видение, только последовательное соединение всех деталей того или иного события позволяют составить целостное представление о нем. Для Иоанна же целостное заключалось в ином. Он фиксировал в воображении лишь узловые моменты, останавливаясь на них и вникая в них, они давали ему и определенный настрой, и возбуждали мысли, и, соединяя ожидавшееся с настоящим, вызывали то новое и неприятное чувство — горечи и тошноты, как после осознания обмана, которое он более всего не хотел, чтобы оно обосновалось в его душе (по отношению к Марии) и терзало его. Картину шествия в Коломне он мысленно переносил на Астрахань, где все это должно было повториться с еще большим размахом и величием; к воеводам и ратникам московским, к вельможным женам, девицам и вдовам в «летниках золотых» присоединилось еще почти двадцатитысячное войско Шиг-Алея со стрельцами и пушками, и, как и было условлено, все это необычное и по-своему знаменитое Иоанново посольство, выстроившись в полночь за городской стеной, на рассвете, с первыми лучами восходящего солнца вступило в город. Иоанн не видел этого зрелища; но он вполне представлял его, соотнося весь этот размах со своим чувством к Марии, и, как в продолжение (или взвинчивание) этого чувства, вновь и вновь мысленно возвращался к тому посланию, какое, едва суда с посольством отплыли от Коломны, было направлено им в Казань. Ссылаясь на благословление митрополита Макария, он просил архиепископа казанского Гурия окрестить Кученей, будущую российскую царицу, и наречь ее именем Мария. «Купель же избери пространную, — писал он, — или повели сделать вскоре древодельцам. А крести ея за подсолнечником со всем освященным собором... Лепоты же и доброты ея телесные да не даси в видение многим!» Как и тогда, так и теперь эти по-

следние вписанные слова особенно волновали Иоанна. Никто, кроме него, не должен был видеть ее телесной красоты, ее стройного тонкого девичьего стана; еще не прибывшая в Москву и не обвенчавшаяся с ним, не ставшая женой, она представлялась уже ему безраздельной собственностью, и, как и в молодости, перед первым своим супружеством, когда он выбрал Анастасию, все до клеточки трепетало в нем любовью и ревностью; и эти всегда сопутствующие (в каждом человеке) два чувства, два исключаящих друг друга и в то же время единых по необузданности своей начала, смыкаясь, борясь и терзая душу, как раз и составляли в нем теперь если не самую жизнь, то страстную и неукротимую тягу к ней. Движение внешнее: повозка, кони, топот копыт, храп, крики ездовых и свист кнута, рассекающего воздух, и движение душевное — все сливалось в нем в единый, неделимый мир, в котором надо было выбирать ориентиры и утверждаться и как монарху, и как человеку, и, может быть, хоть в эти минуты (льщу надеждой себя), минуты искренних душевных прояснений, являлись к нему проблески понимания, что если столь трудна для монарха, то сколь же непосильна (в устройстве благополучия) должна быть жизнь у простых людей.

Прибыв в Москву, Иоанн отказался принять митрополита Макария со святителями, пришедшими утешить его. Он удалился в палаты и до темноты просидел в них один, продолжая, видимо, мучиться в раздумьях и поисках, затем велел зажечь свечи в фамильной церкви и, опустившись на колени перед алтарем и иконостасом, усердно, до изнеможения молился, прося у Всевышнего снисхождения, наставлений и крепости.

XXVI

На следующий день, утром, митрополит и святители вновь явились к нему. Впустив на сей раз и выслушав их, но ничего не сказав в ответ, а только мрачно и отчужденно, как он умел, оглядев их, Иоанн велел затем снарядить людей и подводы за царицей и покойником-сыном и в ожидании, пока они прибудут, — как и накануне, затворился в палатах, чтобы, по версии современников его, предаться уединению и молитвам в той горести, какая постигла его (и державу, как надо было полагать, потому что жизнь монарха и державы отождествлялись, то есть не могли не отождествляться не только самим Иоанном, но и духовенством, боярами и народом), или чтобы, как полагаем уже мы, вглядываясь со своих вершин в отдаленное прошлое, в уединении завершить ту тяжелейшую работу души, которая началась в дороге и продолжала, несмотря на молитвы у алтаря, подавлять вопросами бытия, неразрешимостью сомнений и неуловимостью истин. Он сознавал лишь, что призван повелевать жизнью и миром (иначе какой же тогда смысл в понятиях «царь» и «самодержец»?); но и жизнь, и мир, он видел, не во всем повиновались ему; желания и воля то и дело наталкивались на сопротивление; от чего оно происходило, Иоанн не мог уяснить и ожесточался в непримиримости и бессилии. Он надеялся на согласие и счастье с Марией и чувствовал силы и желание любить ее, но его словно ударили по рукам и отнимали самую возможность проявления благородства и человечности; он ухватился было, как за надежду, за сына, соединив торжество появления его с торжеством взятия Полоцка; но и здесь — кто-то будто уже стоял за спиной с траурным покрывалом. Он переносил этот страшный для себя вывод с дел житейских на дела державные и находил, что и тут все для него повторялось с той же последовательностью, когда и очевидно, и неуловимо ни в корнях, то есть причинах или истоках, ни в персонах, прикрывавшихся заботами об отечестве и народе. «Что даровано Богом мне — народ и отечество, — разве может занимать рабов моих? Лишь безвольем и слабостью я даю им право преступать то, что отроду неизменно и свято!» Ему казалось неестественным, что всякое его слово должно обсуждаться среди думных бояр, а желания согласовываться с Первосвятителем и духовенством; он спрашивал себя: «Достойно ли подобное самодержца?» — и отвечал, что нет, что все, что движет им, есть воля Божья и что потому в делах и поступках своих он подотчетен только Богу. Но как было воплотить это в жизнь? Идея, даже осознанная, он понимал, остается лишь благим намерением, если она не подкреплена делом, и ему впервые (в эти часы уединения и отягченных раздумий) пришла

мысль, что все упирается в уклад жизни, который устарел и не соответствует нынешнему соотношению сил, когда есть самодержец, его воля и есть все остальное, должно подчиняться этой воле; да, да, пришла именно эта мысль о переустройстве устоявшихся общественных связей и отнесении народа и бояр от механизма государственной власти. Ключи должны быть у ключника, а не ходить по рукам, как панельная девка, потерявшая себя и не умеющая остановиться; должна быть система, строго определяющая, кто есть кто, и ее элементы, то есть изначальное: деление общества на опричнину и земство, что будет положено в ее основание (и с помощью чего народ да и боярство, разноликое и влиятельное, будут окончательно отчуждены от власти), — элементы этой системы, которая затем, совершенствуясь и научившись самовоспроизводить себя, мертвою хваткой вцепится в державу и будет из столетия в столетие экономически и нравственно удушать ее, начали появляться и обрисовываться в сознании Иоанна. Но он еще не понимал, что являлось ему, какую страшную участь уготовливал он своему отчеству и народу; чувствуя только, что открывалось нечто великое, что должно вознести его, он торопил мысли, сбивался и негодовал; и если верно выражение, что все великое всегда сопряжено с мужеством и решительностью, то как раз этого и недоставало теперь Иоанну. Самолюбивый, жестокий и трусливый, он чувствовал себя как бы между двумя готовыми опалить его огнями, глаза его были округлены, он смотрел с ненавистью на все, что попадалось, и в этом состоянии необузданности и застал его духовник, осмелившийся ввечеру заглянуть к нему.

Духовник был затем отдален от царя и заточен в обители — безвестной, глухой, забытой даже, может быть, самим Богом; он был прикован цепями к стене в келье, и у него был отрезан язык, потому что властители не терпят свидетелей своих слабостей. И тут Иоанн не являлся исключением. Но, как бы там ни было, появление духовника словно бы отрезвило царя, он вновь до полуночи стоял на коленях перед алтарем и молился, а на другой день, когда вышел из дворца, чтобы встретить покойного царевича и царицу, казался кротким и умиротворенным. Следы мученических раздумий на лице да и во всем облике говорили лишь о том, насколько он тяжело перенес смерть младенца-царевича, то есть воспринимались — и близкими, и народом — совсем по-иному и возвеличивали его. Они выказывали в нем ту человечность, какой, в сущности, даже намеком не гнездились в его душе, и, то ли сознавая сию ложность (насколько можно использовать ее), то ли интуитивно, лишь по инерции, так как все равно не в силах был ничего изменить, он, словно нечто драгоценное, нес этот крест мученичества на себе, ловя сострадание на лицах духовенства, бояр и принимая это сострадание и успокаиваясь им.

Отпевать покойного царевича он велел в той же церкви на Арбате, в какой всего лишь пять недель назад крестили его. Тогда, взяв младенца на руки — в воинских доспехах и пыльный еще с дороги, Иоанн нес его при стечении народа в Кремль; теперь же — понуро, в трауре, следовал за гробиком, который несли на плечах придворные вельможи и новоявленные (по царице) родственники, участники похода на Полоцк, и толпы народа, того самого, что только что, казалось, приветствовал царя-победителя и младенца-наследника, желая им долгие и славные лета, — толпы, грудясь и образуя коридор, молчаливо, со склоненными головами встречали и провожали шествие. То, что Иоанн, ликуя в торжественной приподнятости, прижимал к груди не просто как комочек рожденной им жизни, но как залог счастья, которое, разрастаясь, должно было заполнить собой все, что в обозримом и необозримом пространстве окружало его, он возвращал теперь обратно, как не свое, чужое, ложно взятое им, и осознание этого минутами вновь приводило его в бешенство; он опускал лицо, чтобы не выдать гнева (покойник, пусть и младенец, но сдерживал его), и лишь время от времени искоса, из-под густых (тогда еще!), наплывавших бровей поглядывал на царицу, которую, едва живую, вели и поддерживали со всех сторон.

Во все время панихиды, которую вел Первосвященитель митрополит Макарий, совершенно уже немощный и похожий на покойника серостью своего утомленного старческого лица и впалостью глаз (обрядовая одежда свисала на нем, словно надетая на жердь, и только массивный, в золоте и камнях крест, лежавший на груди, продолжал еще говорить о некоем

величии духа), Иоанн вместе с царицей стоял перед гробом, в котором, обложенное цветами и хвоей, лежало тело младенца-царевича. В скрещенных на детской грудке его руках, в пальчиках, опять как и в обители, когда Иоанн впервые утром, войдя в палаты настоятеля, увидел сына мертвым, была зажата свеча; она казалась непомерной и относительно рук, пальчиков, да и всего тельца, была зажжена, и от мигающего язычка пламени словно прокатывались по мертвому младенческому лицу светлые тени и оживляли его. Явление это казалось странным Иоанну и возбуждало его. Он смотрел неотрывно на розово-разгоравшиеся будто бы щеки сына (что не было, разумеется, галлюцинацией, а возникало от света свечи и густо-малинового бархата, каймой обрамлявшего гроб), и впечатление это — впечатление какого-то затянувшегося обмана, с детства и во всем будто преследовавшего Иоанна, обретало (более, может быть, чем когда-либо) и форму, и смысл и подвигало к новой и страшной волне догадок и действий. Смирившись с потерей сына и опустошившись (на сей счет) душой, он теперь, здесь, у гроба, наполнялся той необузданной силой, которая, разжавшись затем, как пружина, свергнет его и окружающих в непредсказуемую и жесточайшую трагедию мстительных убийств и казней; но — он еще держался и не выказывал себя ни на похоронах, проведенных с великокняжескими почестями, ни на поминках, на которые собраны были духовенство, князья и бояре без разделения еще на своих и чужих; однако более близкие к Иоанну и хорошо знавшие его все же не могли не заметить произошедших в нем перемен и с тяжелыми предчувствиями расходились и разбегались из царских палат.

XXVII

После поминок еще ни минуты не остававшийся во все эти дни наедине с царицей и чувствовавший, что надо зайти к ней (хотя бы извиниться за тот свой поступок, когда, бросив ее с умершим сыном в обители на попечение настоятелей и монахов, спешно помчался в Москву), Иоанн направился в женскую половину дворца, в покои, где, приготовившаяся уже ко сну, лежала Мария на высокой, в перинах и с пологом, кровати; полог с одной стороны не был еще опущен, и при свете горевших свечей было хорошо видно ее смуглое, измятое бессонницей и блестящее бороздками от не просохших еще слез лицо, и видны были руки, тонкие и тоже смуглые, покоившиеся поверх одеяла. Она расплетала на ночь свои густые черные волосы, и они словно бы переливающимся темным овалом обрамляли теперь ее лицо, подчеркивая крахмальную белизну подушек.

Иоанн не раз и прежде, приходя к ней, заставал ее уже отходящей ко сну, и ничего неожиданного и удивительного не было в этой открывшейся ему знакомой картине; все располагалось на тех же местах и в том же порядке, в каком пребывало всегда, и в сем привычном сочетании вещей и красок — расцветки ковра, росписей, мебели, позолоты и бархата — так же неотразимо будто (в своей восточной неповторимости) смотрелась Мария. Но Иоанн — Иоанн был другим после мучительных дум, душевных терзаний и догадок; так же, как он по-иному смотрел сейчас на мир и воспринимал его, он по-иному увидел и спальню жены да и саму Марию, к которой хотя и казалось ему, что определился в чувствах, но (чисто в человеческом уже плане) продолжал жалеть как женщину, связанную еще семейными узами с ним. Ему даже вдруг показалось, что он будто вошел совсем в иной мир, чем входил прежде, и пастельные тона, в кои была расписана спальня и какие всегда раньше отдавали лишь теплотой и уютom, выглядели теперь бледными, безликими, лишенными жизни и наводящими тоску. Безликими были и шторы, и занавески, и полог, и белесый ковер, специально подбирившийся для спальни, и иссиня-белая, сработанная европейскими краснодеревщиками мебель, словно специально поставленная сюда, чтобы собирать на себя и излучать холод; и, как венчающее все — тонкое, болезненно-худое, хрупкое естество царицы. Возле кровати, на столике, в трехчашем бронзовом подсвечнике горели свечи. Вздрагивающий свет их падал на ковер, стены, кровать, лицо и руки Марии, розоватыми бликами разбегаясь и затухая по углам, и хотя, повторюсь, ничего необычного не было и не могло быть в сем явлении и, находясь Иоанн в другом настроении, он не придавал бы этому никакого значения; но

ложной своей живостью блики сейчас же словно бы вернули его к минутам, когда он стоял в церкви перед гробиком и смотрел на крохотную и розово оживляющуюся мертвую головку царевича; то же впечатление, тот же обман — вместо жизни лишь ее видимость, без осознания чувств, желаний, страстей, мыслей; но Иоанна не устраивал обман, он жаждал жизни, и, как на нечто стоящее на пути к достижению этой цели и мешавшее ему, готов был весь свой накопившийся гнев обрушить на Марию. Он впервые с нескрываемой ненавистью, даже с бешенством посмотрел на нее, выжидая, чтобы она дала повод, и, может быть, если бы она пошевелилась или произнесла слово, произошло бы непоправимое; но царица лежала неподвижно, глаза ее были прикрыты. У нее, видимо, имелось свое основание — ни о чем не просить мужа, и Иоанн, холодея от невозможности выплеснуть гнев, подвинулся ближе к кровати и сел на приступку у подножия ее, отвернувшись от царицы, сторбившись не по годам и глядя перед собой в пол.

У каждого человека хоть раз в жизни, но бывает минута растерянности; бывает такая минута и у властителей, и чаще не тогда, когда нужно решать судьбу народа и государства; жизнь своя и удовлетворение ею являлись и для Иоанна главным мерилом бытия, и страдания миллионов не могли замечаться им так, как замечались неудобства свои, с какими вдруг, как теперь, приходилось сталкиваться. В сознании его, когда он только входил к царице, было все ясно, и он знал, что и как скажет ей; в основе этого душевного движения лежало то простое человеческое чувство, вернее, та простая мысль (называемая в народе еще мудростью), которая указывала, что следует не усложнять обстоятельность, а упрощать их, что мир даже худой лучше ссоры и что в конце концов смерть первенца, как показала жизнь с Анастасией, еще не может ничего означать. Иоанн силился вернуться к этой изначальной мысли, но вместо нее, как оно и бывает, когда желания не состыковываются с возможностями, в воображении возникала совсем иная картина и уносила к тем счастливым мгновениям, когда после всех шумных и утомивших его и Марию свадебных торжеств их, наконец, привели сюда, в опочивальню, и оставили одних. Иоанн не снимал с нее одежд, нет, ему и теперь казалось, что он даже не заметил, как все совершилось и по какому волшебству Мария очутилась в постели — с распушенными, как и сейчас, черными по подушке волосами, словно подчеркнутыми своим переливающимся овалом смуглую бледность ее испуганно наполненного ожиданием лица; но он ясно помнил, как сидел вот так же, на приступке у подножия кровати, сняв с себя херувимскую и венчальную золотые цепи и теребя их, — да, сидел именно так, но с иными, счастливыми надеждами и думами, обретая (уже в самые те минуты предвкушения) столь важное для него после пиров, развратных попок и походов семейное пристанище. Он даже, может, и не думал тогда, а просто был убежден, что нет, не оставлен Божьей милостью, что Господь не отвернулся от него и что дверь для очищения, и прежде всего очищения нравственного, вновь и щедро распахнута перед ним. Готовясь войти в эту дверь, он был полон желания оправдать возлагавшиеся на него (Богом, разумеется) надежды и с чувством исполненного долга жил затем с Марией и оберегал ее; но за спиной, на кровати, лежала теперь как будто совсем другая женщина, которая не только не принесла, как ожидал Иоанн, уюта ему и счастья, но лишь постоянно добавляла хлопот и отвлекала от государственных дел. Вырвавшись из зависимости одной — Адашева и Сильвестра, как было при Анастасии, Иоанн чувствовал, что попадал в другую — от родственников царицы и бояр, примыкавших к ним, и против этого нового ярма, уготованного ему, все монаршее самолюбие поднималось и протестовало в нем. Он не оборачивался и не смотрел на Марию. Воспоминания не пробудили в нем интереса к ней. Его обдавало холодком от одной только возможности соединиться с ней, и, как и в обители, когда увидел гроб с тельцем младенца-царевича, — «Да, немощная плоть рождается лишь от немощной плоти!» — резко поднялся и, ничего не произнося, вышел из спальни.

XXVIII

Царица недомогала более недели, оставалась в палатах и общалась лишь с лекарем — то ли немцем, то ли греком, то есть иностранцем, как

и полагалось тогда (да и теперь!) на Руси, где принято считать, что в своем отечестве пророков нет и быть не может, — да с теми вельможными дамами и девицами, какие были приставлены к ней; и во все эти дни ее болезни Иоанн уже не уединялся, не бездействовал, отстранившись от государственных нужд, людей и событий; он принимал послов, воевод, провел несколько важных бесед с митрополитом Макарием относительно учреждения Полоцкой Архиепископии «в честь сего древняго Княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского», как это теперь подавалось им (и что казалось нужным предпринять после разорения и разграбления города), встречался со многими другими духовными лицами, присматриваясь, кем бы из них можно было заменить дышавшего уже на ладан Макария. Именно тогда он обратил внимание на нового своего духовника, бывшего инока Чудова монастыря, а затѣм протоиерея Благовещенского Кремлевского собора Афанасия. Иоанновы любимцы: отец и сын Басмановы, Вяземский, Салтыков, Чеботов, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, от которых не ускользнуло да и не могло ускользнуть его новое отношение к царице, означившееся отчуждением и холодностью, попытались было опять втянуть его в развратные пиры и увеселения; привыкшие удовлетворяться в скоморошских забавах, они не могли понять бывшего соучастника их веселий и, выходя с отказом от Иоанна, искренне недоумевали и пожимали плечами. Жизнь по-разному оборачивается к людям, и хотя звездный час царских любимчиков был еще впереди, как и час расплаты за содеянное — клевету, интриги, оговоры и вседозволенность, — но если цель придворных всегда есть только увеселения и ловля чинов, богатства и званий, то и творившееся при дворе Иоанна было всего лишь естественным ходом событий. Неестественным, может быть, оставался лишь сам Иоанн. Поглощенный как будто заботами внешними, он вместе с тем не прерывал тех глубинных раздумий, которые и привели его не только к осознанию (к чему приходили и до него) царской власти, но и к пониманию необходимости ее теоретического, как мы сказали бы сейчас, обоснования. Тогда как дед и отец его — Великие Князья Государи Иван III и Василий III — старались укрепить свое влияние и власть лишь отдельными, разрозненными, хотя и крупными мерами, Иоанн приходил к мысли, что должна быть воздвигнута некая единая, охватывающая всех и все система управления, и упоенный этой открывавшейся возможностью, которую следовало лишь уточнить, разработать в деталях и провести в жизнь, — упоенный этой идеей переустройства и обновления, он уже не думал о Марии. Все, что было связано с ней, вернее, со смертью сына и теми последующими событиями и переживаниями, мучительно охватившими Иоанна и вызвавшими гнев, — все казалось отдаленным и мелочным в сравнении с этим новым, что занимало теперь. Он даже удивился, когда ему сказали, что царица поправилась, и с минуту стоял в недоумении, вспоминая, как о чем-то далеком, смутном, о своих отношениях с ней.

Царица была на молении, и он, стараясь не прервать ее общения с Богом, тихо, почти неслышно прошел в знакомую до мелочей фамильную при дворе церковь и встал рядом с ней. Мария чуть обернулась к нему своим красивым, смуглым, успевшим слегка посвежеть за минувшие дни лицом и, не давая как следует разглядеть себя, вновь обратилась к молитве. Губы ее беззвучно зашевелились, устремленные к Богу и Пресвятой Богородице. Перед иконой Богородицы, алтарем и иконостасом горели свечи; они были уже на исходе, и все небольшое, стиснутое глухими стенами пространство церкви было заполнено запахом растопленного воска и копотью. От всколыхнувшегося с приходом Иоанна воздуха язычки пламени затрепыхали, и все только что казавшееся неподвижным — лики святых в окладах и ризах, угодники по стенам да и сама Мария в малиновом летнике, в каком Иоанн более всего любил видеть ее, и в накинутом на голову и плечи кружевном черном платке, — все вдруг словно бы ожило, приветствуя появление царя. Иоанн даже вздрогнул от неожиданности. Ему показалось, что то, что давно уже неприятно преследовало его, опять, и столь же неприятно растревоживая память, проявилось перед ним. Но оттого, что он был теперь в другом настроении, и не призрачные, а реальные дела и заботы жизни беспокоили и отвлекали его, вернее, потому, что чувствовал себя в борении, в деятельности, как человек, противостоящий то ли напору воды, то ли ветра (напору державы, как можно

было бы сказать точнее, какую управлял и от которой домогался безоглядного, безропотного и всеохватного подчинения), — Иоанн не поморщился, не отвернулся, не вспыхнул гневом, что опять, дескать, вместо жизни подана лишь ее иллюзорная видимость; мелькание язычков и бликов передано ему, и охватенный состоянием торжества и радости, он совсем по-иному посмотрел на Марию. Она показалась ему теперь полной сил, красоты и молодости, то есть почти такой же, какой накануне свадьбы он впервые увидел ее, и вынесенный им неделю назад приговор ей, решительный и скорый, — приговор тот уже не имел смысла; он не то чтобы отменялся по воле Иоанна, но смягчался всей той возбужденно-ободряющей картиной жизни, которая, развернувшись, открылась перед ним. Просветленным казалось лицо царицы, просветленно смотрели на Иоанна лики угодников с иконостаса и стен, и во всем этом он увидел или, вернее, почувствовал то хорошее предзнаменование, какое важно было ему увидеть в преддверии задуманных им державных перемен.

Но Мария и в самом деле в эти минуты была прекрасна. Хотя трудно поверить, чтобы она могла столь скоротечно смириться с горем, так тяжело перенесенным ею, но в то же время нельзя было сказать, глядя на нее, чтобы она продолжала страдать, вымучивая, как это бывает с женщинами, и себя, и ближних; боль утраты, которая еще оставалась в ней, была перенесена в глубь души и захоронена там, словно преданная земле, и это-то чувство, эта готовность снять ношу не только с себя, но и с окружающих и уловил в ней Иоанн. В простонародье по сему поводу существует изречение, что жизнь со смертью ближнего не обрывается и что надо продолжать ее, то есть входить в обычную колею дел и забот, приносящих хлеб насущный, и так как Иоанн был уже более чем поглощен своими новыми державными замыслами, то и эта не высказанная, а лишь переданная всем видом и состоянием души готовность если не помочь, то хотя бы не помешать ему, была не то чтобы осознана и принята, но принята с той ответной благодарностью, которую он столь же молчально, как это, и происходит между родными, старался передать ей. Он любовался Марией, ее прической, нарядом, явно говорившим, что она ждала его — именно здесь и именно в этот час и минуту (хотя, судя по дотлевающим свечам, вряд ли уже верила, что придет); любовался ее размягченным, с тонкими правильными чертами лицом, и всей ее милой, как ему показалось, головкой, которую готов был теперь же, не медля ни секунды, прижать к груди, погладить и приласкать; но лики святых, устремленные на Иоанна, сдерживали его, и он продолжал лишь смотреть на Марию и находить в ней все новые и новые прелести, прежде даже как будто не замечавшиеся им. Ему казалось, что все это происходило в ней от молитвы, от общения с Богом, которое он не хотел прерывать; и он сам как будто наполнялся той же добротой, что и обычно холодное к нему сердце Марии. В ней, может быть, как никогда ясно проглядывало теперь не то царственное, что дается происхождением и говорит более о высокомерии, чем о величии и достоинстве, а иное, что дается лишь состоянием души, приподнимая простое до великого и опускающая великое до земли.

На следующий день в церквях и соборах прошли торжественные службы в честь выздоровления царицы, и растревоженный призывным, переливным звоном колоколов мастеровой и торговый московский люд высыпал на улицы, облепив кабаки и всякие иные питейные заведения, надеясь на царскую, как это случилось не раз, щедрость. В тронном зале дворца были собраны бояре, духовенство, но не для пиршества и увеселений, как следовало бы ожидать, нет, а для разговора и совета, какой самодержец российский будто бы хотел иметь с ними. Бояре расселись вдоль стен на скамьях, обитых кожей и бархатом, — каждый в соответствии со своим возрастом, положением при дворе и значимостью, выставив перед собой поверх боярских одежд, словно напоказ, седые расчесанные бороды. Полагая многословие пустобрехством, а помалкивание достоинством (что и теперь достаточно читается за кремлевскими стенами, да и не только за ними), — и бояре, и духовенство лишь изредка перебрасывались глубокомысленными (для них) фразами; в их сосредоточенных лицах нельзя было прочесть ничего, они умели скрывать мысли и, может быть, оттого и прозывались думными, что размышляли подолгу и молча, прежде чем произнести слово. Что же касается самих соображений, то, видимо, они все боль-

ше вращались вокруг одного и того же — чего желал бы и чего не желал услышать от них самодержец. В эту-то атмосферу истуканства и тугодумия, какая только и возможна была тогда при дворе, где каждый следил за каждым и боялся каждого, а все вместе боялись равно как гнева, так и милости царской, за которую, впрочем (именно за то, что был обласкан), приходилось затем расплачиваться жизнью, Иоанн и решил привести Марию, чтобы показать всем свое неизменное отношение к ней и пресечь таким образом разные толки, уже начавшие распространяться по этому поводу, и сделать ее соучастницей своего торжества, так как полагал именно теперь, в этот день, объявить о своих намерениях (относительно переустройства общества и укрепления единовластия), в коих хотя и не было еще полной ясности, но виделась та грандиозность, о которой трудно было не сказать.

XXIX

Принято считать, что Иоанн был не только или, точнее, не столько истязателем и губителем бояр и народа, сколько крупнейшим государственным деятелем, завершившим процесс образования Российской державы. Но, чтобы согласиться или не согласиться с подобным заверением, следует прежде всего уяснить, что вбирает в себя понятие «государство», а вместе с ним и «государственный деятель», тем более «крупнейший», отдающий будто бы жизнь этому важному на земле делу, и не заложена ли здесь некая самоцель династических да и не династических (по нынешним временам), но вкусивших от сладости власти правителей, лишь в силу обстоятельств вынужденных поддерживать и укреплять то, что является источником их благополучия, кормит, одевает, обувает, осыпает роскошью и готово удовлетворить любое их амбициозное желание и что вбирает в себя понятие «народ», какова здесь цель или самоцель и насколько желателен, а вернее, необходим народу этот возводящийся над ним государственный аппарат насилия и подавления свобод, аппарат, который разве что только обирает и кормится за его счет и который, чем совершенней он создан (именно с точки зрения обирания и насилия), тем славнее и выше почитается в истории личность такого преобразователя. Справедливо ли это или все же, держась крестьянской рассудительности, вернее было бы сказать, что не тот деятель, который, занимаясь укреплением государства, видит в этом лишь самоцель, то есть, обрстая славою, укрепляется сам, а тот, что дает жить народу, соблюдая его интересы — хоть как-то, хоть на треть, пусть даже на самую малость, — может признаваться исторической личностью? Присоединение Казанского и Астраханского царств, если бы оно происходило бескровно, на добровольных, как мы охарактеризовали бы теперь, началах (коль уж в этом была необходимость и неизбежно надо было объединиться), то есть без погромов, разорений, казней, убийств (вина, разумеется, ложится на обе стороны, одинаково возглавлявшиеся амбициозными и даже сверхамбициозными правителями), естественно, можно было бы говорить о государственной (с учетом интересов простых людей) мудрости Иоанна. Стравить народы, свести их в смертельной схватке — большого ума не требуется; но решить спор мирно, полюбовно — тут необходим действительно государственный ум, каковой, к сожалению, является редко и не всегда, в силу именно своей мудрости и скромности, замечается летописцами и остается в веках. Я вовсе не хочу преподавать здесь урок, тем более что вся сложность того времени многократно изложена в трудах ученых; без единения не выстоять бы тогда народу, равно как и без своей государственности; но — речь идет о другом: действительно ли Иоанн отстаивал интересы державы, или все совершавшееся им совершалось лишь из потребностей личных? Или же, что более вероятно, державное и личное настолько сплелись в нем (как у главы семьи, к примеру, или хозяина дома), что не только он сам, но и окружавшие вряд ли смогли бы провести разделительную черту. Так при чем же тут государственный ум, если из поля зрения его выпадает главное — народ? Завоевание других царств, присоединение новых земель, выходы к морю, укрепляющие могущество державы, да не есть ли это прежде всего укрепление трона — с той внешней стороны, той международной престижности, какая болезненнее всего воспринимается между

властителями? Притеснением же подчиненных и ограблением их в пользу казны укрепляется так называемое внутридержавное стержневое могущество власти, и это-то второе, то есть дела внутридержавные, соединенные, как в острые пирамиды, в личной заинтересованности Иоанна, как раз и занимали его теперь, и со страшной этой мыслью всеобщего и полного почти закабаления, воспринимавшегося им как государственные необходимость и благо, он и сидел перед духовенством и боярами, неторопливо обдумывая, с чего начать с ними разговор.

Справа и слева от него, как бы обрамляя трон своей малиново-золоченой, в мехах, пестротой располагались царица, духовенство с митрополитом Макарием, черкесские и иные князья и любимчики, приближенные на этот период Иоанном ко двору. Все в ожидании смотрели на самодержца, Иоанн словно бы ответно смотрел на них, выдержкой и молчанием лишь подогревая страсти. Кроме митрополита Макария, никто не был посвящен в его замыслы, и оставшиеся в неведении бояре и духовенство терялись в догадках и не знали, что предположить. В напряженности всегда обостряются слух и зрение, и от бояр и духовенства не ускользнуло то странное беспокойство, с каким митрополит Макарий оглядывался то на царя, то на царицу, то на всех остальных, сидевших перед троном, вдоль стен, да и у самого трона. Создавалось впечатление, будто бы что-то черное пролегло между царем и митрополитом и вот-вот должно было обнаружиться и поразить всех.

Но что? Невозмутимость царя только прибавляла загадочности, а суетливость всегда прежде уравновешенного Первосвятителя усиливала ее.

Приглашенный накануне этого дня Иоанном для беседы, митрополит Макарий ясно вынес из нее лишь одно, что царь решил наложить кабалу на всех и всё в державе (на том будто бы основании, что Богом данные ему в подчинение есть все рабы и должны быть одинаково равны перед троном) и что не только вельможи и народ, и без того бесправный и безголосый, но и духовенство отныне будут притеснены и лишены свободы заступничества. Речь пока не шла о разделении страны на земство и опричнину, да и само слово «опричина» не было еще знакомо Иоанну и не произносилось им; но и этого, что он предложил, было достаточно для митрополита Макария, чтобы понять, какое будущее уготовивалось державе.

Должный благословить Иоанна в его замыслах, Макарий не сделал этого; он понимал по своему болезненному состоянию и немощности, что жизнь его подвигалась к концу, и не хотел быть проклятым ни ныне, ни в будущих поколениях. Опираясь на примеры из священных книг, как и было принято тогда (и что использовал затем сам Иоанн в переписке с Курбским), он лишь посмел посоветовать царю не спешить и прежде осмыслить все, чтобы не произвести какой-либо смуты — в народе ли или среди бояр; и, оставив царя в недоумении, почтительно удалился к себе. Ночь провел в молитвах и думах, надеясь еще вразумить Иоанна, но ничего остановить было уже нельзя. Утром Иоанн не принял его, и вот — весь цвет духовенства и бояр, колеблясь между ожиданием то ли великого, что будет оглашено, то ли недоброго, страшного, что должно свершиться, готов был к безропотному послушанию. Митрополит Макарий более чем понимал это и, понимая, судорожно отыскивал, чем можно было бы удержать Иоанна от неразумного шага. Дорого было каждое мгновение, и потому он метался взглядом от царицы к Иоанну и опять к царице, которая одна, как ему казалось, только и могла теперь повлиять на самодержца; и в тот самый момент, когда Иоанн готов был уже начать речь, митрополит, всплеснув руками, двинулся к царице, то ли желая от чего-то спасти, то ли заслонить ее.

— Государь, — по-церковному громко еще, но уже старчески угасающим голосом произнес он. — Государь!.. — направлением рук и всем своим порывом указывая на царицу.

Ему показалось, что Марии стало плохо, в то время как плохо стало ему самому; путаясь в широченной на нем, как на сухой жерди, церковной обрядовой одежде; он не добежал до царицы и рухнул на пол; одни, стоявшие рядом святители, кинулись поднимать его, другие — к царице, побледневшей более от испуга, чем от переутомления и слабости, к ним присоединились князья, бояре, желая каждый выказать себя перед царем,

и в общей суете и сутолоке уже было трудно понять, что происходило на самом деле, кто затеял все и была ли нужда для этого. В конце концов, разобравшись, сначала отправили царицу в полуобморочном состоянии в покои, затем подхватили и понесли митрополита, порывавшегося еще что-то сказать, но лишь бессильно ронявшего голову, и вслед за ними вышел Иоанн, полный недоумения и не налившегося еще гнева, готового подняться в нем. Он постоял перед царицей, вокруг которой, расталкивая всех, хлопотали жены думных бояр и лекари, затем, ничего не сказав, прошел к митрополиту, чтобы посмотреть, в каком тот состоянии, и, не произнеся ничего и здесь, в тяжелой задумчивости вернулся в зал. Бояре и духовенство — все сидели уже на местах; они встретили Иоанна так, будто были в чем-то виноваты перед ним, и, поклонившись, долго не разгибали спин; лишь когда затих шелест царской одежды и, казалось, слышно было, как дышит Иоанн, воцарившийся на троне, бояре вновь опустились на лавки, выставив поверх одежд, на груди, свои пушистые расчесанные бороды.

Минуты душевной работы не остаются в истории, в чьем бы сознании ни происходила эта работа, в сознании ли бояр, как теперь, или сознании Иоанна; но поступки, являющиеся в результате подобных усилий, — поступки способны раскрыть многое, если не все из тайны тайн человеческих переживаний и мыслей. Иоанн был в растерянности. Он опять словно бы наткнулся на нечто непреодолимое, специально уготованное ему, и опять — все связано было с царицей, от которой он ждал, что она принесет ему успех и славу, но с появлением которой только все стопорилось и рушилось, будто на самой этой женитьбе лежало проклятье, возведенное не столько даже Богом, сколько — недовольством бояр и духовенства, давно, тайно и преступно замысливших извести царский род. Но так как сила любви и привязанности к Марии была выше в нем, чем поднимавшиеся гнев и неприятие, и так как в столкновении этих начал верх брало первое (он все же сознавал, хотя и смутно, что она безвинна, несчастна, и жалел ее), то и недовольство и гнев невольно и все более переносились им на бояр и духовенство, на которых он угрожающе-прищуренно смотрел с трона.

Он так и не сказал им в этот день ничего, и точно так же, как, выезжая затем морозным зимним утром из Москвы (под звон колоколов и со всем своим царским скарбом), бросал вызов державе, — бросил теперь вызов им, молча удалившись из зала и оставив их в растерянности и недоумении.

XXX

Воспоминания проходят так же, как проходит жизнь, и если что и оставляют на душе, то лишь повторный след, иногда даже более глубокий, чем сама жизнь. Так было и с Иоанном, когда, покачиваясь в санях вместе с царицей, он перебирал в памяти те прошлые и важные для осмысления настоящего события, в которых — сколько же душевных сил (и впусую, как думал теперь) было потрачено им; и чем дальше обоз увозил его от столицы, чем ближе подвигался Иоанн к Коломенскому, тем расплывчатей, туманней становилось прошлое, словно бы, как и силуэты Москвы, оседавшее за горизонтом; с минуты на минуту должны были открыться впереди колокольня и купола церкви Вознесения, и в то время как он, напрягая зрение, старался увидеть эти знакомые очертания, — напрыгал мысли, стараясь сосредоточиться на том новом и важном для себя, что вот-вот, как и купола, должно было итогом воспоминаний явиться ему. Он не то чтобы пересматривал свои отношения с Марией; не то чтобы, желая восстановить их, искал оправдание ее поступкам и зачерствелой уже будто к нему холодности; нет, если бы даже захотел, не смог бы изменить ничего, как нельзя на исходе лета вернуть отшумевшее буйство трав; но в то время как, испытывая равнодушие к ней, он не оборачивался и не смотрел на царицу, вопрос, способна ли она принести ему успех и славу или только доставлять огорчения, по-прежнему оставался главным, и разница состояла лишь в том, что он не слепо уже, не на гребне чувств, а рассудительностью пытался прийти к нужному ответу. «Может, так было угодно Богу и направлялось им», — думал Иоанн, снова и снова возвра-

щаясь к тому, как оставил царицу с умершим сыном в обители, и к своим ночным затем, в молитвах, одениям, когда ему словно бы вдруг открылась простая, ясная (и страшная, добавим от себя) истина власти, и к событиям в тронном зале, когда то ли по вине Марии, в чем Иоанн не был уверен, то ли из-за самовольства митрополита Макария (кстати, вскоре же скончавшегося) было разрушено столь желанное торжество. Он чувствовал себя тогда оскорбленным, и только предсмертное состояние Макария помешало вылить на всех царский гнев; но теперь — теперь был доволен, даже рад, что не произошло иного, и у него появилось время для более основательного осмысления дела; именно это и представлялось ему Божьим знаком или Божьей десницей, направлявшей события, и, как только он переносил этот знак на Марию, начинал одобрительно думать о ней. Держава, Мария и он, Божий помазанник, со своим отношением к державе и к Марии, — в этом трехграннике и заключены были и вращались теперь его мысли, пока еще спокойные, убаюканные дорогой, видом заснеженного простора, ратников на конях вдоль обочин, сопровождавших обоз, и видом изморози на спине и плечах ездового, одетого в суконный зипун и подпоясанного кушаком.

Зимняя дорога редко когда вызывает к живости ума. Вокруг, сколько охватывает глаз, все белым-бело, неподвижно, стыло и мертво; лишь изредка вдруг обозначится полоса дальнего леса или сметанные рядком стога с наезженной к ним колеей и двумя-тремя санными упряжками и мужиками возле них, навьючивающими сено. Несколько ратников сейчас же направлялись к ним, чтобы узнать, что за люди и не имеют ли злого умысла (охрана всегда есть охрана и, как и теперь, не теряет бдительности), мужики же, побросав работу и опершись на воткнутые перед собой вилы, с удивлением смотрели, как на диво, на царский обоз, длиннющим серым кнутовищем тянувшийся по дороге, а на мужиков, на ратников, пыливших снегом, и на стога оборачивался Иоанн, несколько отвлекаясь от мыслей. Коломенское было уже где-то совсем близко, за взгорьем, у реки, теперь наглухо скованной льдом. Иоанн любил бывать в Коломенском летом, но не менее любил бывать и зимой, обосновавшись в бревенчатом, не очень просторном, но хорошо протапливавшемся своем дворце, своей летней, как позднее стали называть ее, резиденции, в которой отдыхал и предавался раздумьям, на время удаляясь от дел державных, от князей, бояр, воевод и духовенства, часто до ряби в глазах утомлявших его. По складу души, характеру, задаткам и генам, какие были заложены в нем, как закладываются в каждом человеке, и что делает людей людьми и объединяет вокруг общих интересов и ценностей жизни, он более тяготел к делам семейным, личным, как уже говорилось, чем к государственным, и если бы не вирус власти, которым с детства, даже, в сущности, с рождения, было уже отравлено его бытие, он мог бы стать не только примерным семьянином, предпочитающим уют домашний дворцовым церемониям, чопорности и роскоши, но и добропорядочным, отзывчивым на чужие страдания и боль гражданином отечества. Ничто так не успокаивало и не удовлетворяло его, как тихие зимние вечера в Коломенском, куда он на неделю, на две удалялся с прежней, покойной ныне женой Анастасией. Едва начинало темнеть, он входил в гостиную, выдержанную в красных тонах, и, разместившись в кресле перед каминном, погружался в мир неторопливых домашних раздумий. В камине потрескивали березовые поленья, обдавая теплом; теплом обдавали хорошо протопленные кафельные печи, и, казалось, сам красный тон гостиной, зажженные вдоль стен и на столе свечи в грузных, многолапых подсвечниках, да и все, все, что наполняло ее, было начинено этой умиротворяющей теплотой. Вскоре появлялась Анастасия в сопровождении нескольких близких ей боярынь, привнося и как бы добавляя ко всему теплоту женских, материнских чувств. Она устраивалась поближе к мужу и, взяв в руки спицы или иглу, принималась вязать или вышивать. В ней тоже жила тяга к простоте и естественности, к чему обычно тянутся все люди, в каком бы звании или чине не пребывали и сколь ни выказывали бы внешней (и ложной) пренебрежительности к народному быту; в Анастасии Иоанна привлекало именно это, что заставляло забывать о быте царском и приобщало к вековой повседневности, и в такие минуты все вокруг обретало для него тот неповторимый (он и для всех неизбежен и неповторим) житейский смысл, в котором одном только и соединены все исцеляющие человеческую души начала. На чаепитие,

когда вносили самовар, приглашались дети: сыновья Иван и Федор и дочь Евдокия, приходил и бывший служитель придворного Благовещенского собора иерей Сильвестр, ставший главным духовником и советником Иоанна, и за разговорами, за этой домашней открытостью и непринужденностью еще более душа получала удовлетворение и жизнь обретала свой естественный смысл.

Особенное впечатление производили на Иоанна неторопливые и углубленные беседы с Сильвестром. Автор «Домостроя» (тогда он только еще работал над этим своим знаменитым трудом, ныне незаслуженно, может быть, и основательно подзабытым), человек достаточно образованный для своего времени, упоенно веривший в торжество справедливости, в то, что не на основах насилия, а на основах добра должно строиться все: и жизнь личная, семейная, и общественная, — и не только словом, но и делом старавшийся изменить ее к лучшему, автор «Домостроя» был для Иоанна одновременно и учителем, и наставником и самым благотворным образом, может быть, даже не вполне осознавая всего, влиял на самодержца. Самовар пустел, все расходилось, и оставались за столом только Сильвестр и Иоанн. Они, то поочередно прохаживаясь перед столом, излагали друг другу свои воззрения на историю, на основы религии и человеческого бытия, причем больше говорил (и брал верх) Сильвестр, чем Иоанн, тогда умевший еще слушать и понимать не только себя, то переходили к камину, чтобы с новым вдохновением погрузиться в выяснение извечной, но так и остающейся, по моему, невыясненной истины человеческого предназначения и бытия. По два, три раза заменялись в подсвечниках свечи, вычищалась из каминного очага зола и укладывались и разжигались поленья. За окном ветер наметал сугробы, трещал мороз, и в этой непроглядной, стылой ночи, распростершись на сотни меряных и немеряных верст, лежала великая российская держава со своими столь же считанными, сколь и несчитанными проблемами, требовавшая участия и внимания к себе; но она лишь осознавалась собеседниками как некий предмет для разговора; она не была поклажей или ношей, которую надо было взвалить на себя, и не тяготила, не сдавливала ни плечи, ни спину, ни душу, и эта-то неопределенность, когда можно высказывать самые благие пожелания и не предпринимать ничего, ни за что не браться и не отвечать, — эта-то неопределенность как раз, видимо, и нравилась Иоанну и привлекала его. Он не был в такие минуты ни царем, ни самодержцем, а лишь чувствовал себя тем живущим в достатке добропорядочным семьянином, которому отчего бы и не позволить себе пофилософствовать на отвлеченные и возвышенные темы, когда в делах — домашних, семейных — все дышит стабильностью и благополучием.

На исходе недели, иногда и раньше приезжал в Коломенское Адашев. Он не осмеливался тревожить Иоанна вечером, зная и понимая состояние царя, и появлялся у него на следующий день между завтраком и обедом — сухощавый, подтянутый, с округлой русою бородкой, светлым взглядом и светлым лицом. Он замечал недовольство Иоанна, но, так как полагал, что выше дел государственных нет и не может быть никаких недовольств и амбиций, терпеливо исполнял то, зачем приезжал. Он отрывал Иоанна от насладений семейной жизнью, иначе говоря, тех потребностей, которые изначально насущны для всех людей, и вовлекал, вернее, навязывал то, чему надо было отдаваться не по потребности души, а по обязанностям, словно он был не царем, не самодержцем, который только один способен знать, когда и кому что нужно, а волом, должным покорно подставлять под ярмо шею. Минутами у него возникало не просто раздражение, а прямо-таки ненависть к делам государственным; но поскольку за всяким делом всегда стоят личности, то и ненависть переносилась на эти личности, на воевод, бояр, святителей и народ, на все и вся в державе, мешавшее и не дававшее ему жить, как хотел. После отъезда Адашева он еще день, другой оставался в Коломенском. Но душевное равновесие бывало нарушено, он приказывал запрягать лошадей и спешно мчался в Москву в гнев на всех: Адашева, Сильвестра, жену, детей, державу.

Но, приближаясь теперь к Коломенскому, он вспоминал не эти свои гневные отъезды; перед глазами, в воображении, словно распахивалась вся выдержанная в красных тонах гостиная, приманивая забытой уже теплотой и уютом и вызывая к жизни то чувство удовлетворенности, какое так приятно было испытывать ему тогда; и, ни разу не обернувшись за всю дорогу

на царицу, Иоанн вдруг (и что не осталось не замеченным для Марии) с надеждой и нежностью посмотрел на нее.

XXXI

Перед самым Коломенским обоз встретили князь Афанасий Вяземский, боярин Алексей Басманов с сыном, кравчим Федором. Доложив Иоанну, что все приготовлено к его приему и встрече, они затем на разгоряченных лошадях мелким гарцующим аллюром сопровождали царские сани. Смотреть на них было приятно, как всегда приятно смотреть на молодость, ловкость и силу. Их беззаботность, их веселый настрой, должный вот-вот перейти, но не переходивший в озорство, невольно передавались Иоанну, и, может быть, за это-то он и любил и баловал их. Да и что было им не веселиться, когда, в сущности, они ни к чему не прикладывали рук; в Коломенском всем заправлял архимандрит Левкий вместе с настоятелем церкви и еще несколькими монахами, славившимися тем, что хорошо умели исполнить, что повелят им, и держать язык за зубами; что касалось царского дворца, который тоже надо было и протопить, и приготовить, то и тут достаточно имелось и вельможных, и невольможных холопов, чтобы позаботиться обо всем. Весело им было еще и потому, что досужий настоятель Чудова монастыря, то есть преподобный архимандрит Левкий, успел распорядиться и насчет ночной холостяцкой пирушки с местными деревенскими девками, на которую, как тайно задумывалось им, можно было бы пригласить и Иоанна.

Едва с колокольни увидели головные сани царского обоза, ударили в колокола, народ, заскучавший было на морозе, встрепенулся, и архимандрит Левкий со святителями, выставив вперед себя прихожан с хлебом и солью на полотенце, приготовились к встрече. Иоанн въезжал на площадь не как всегда, не лихо, а с какой-то будто крестьянской неторопливостью или бережливостью, жалея коней и сани. С той же неторопливостью, выйдя из саней и отряхнувшись от изморози, двинулся было навстречу подходившим к нему прихожанам с хлебом-солью и святителями с иконами Богородицы и Николая чудотворца, чей престольный праздник собирались в этот день отмечать, и, может быть, все обошлось бы как обычно: приняв хлеб-соль, царь поблагодарил бы прихожан, получив благословение от святителей, поспешил во дворец, чтобы отогреться с дороги, отдохнуть и потрапезничать в семейном кругу и с приглашением только тех лиц, какие приятно было ему увидеть теперь возле себя; однако, вспомнив, что в соответствии со своим замыслом он был теперь не царем, а человеком, решившим в знак недовольства и обиды на бояр, святителей и народ снять с себя тягость правителя, иными словами, осиротив державу, дать ей почувствовать, кого она может потерять и с чем остаться (разумеется, он не собирался отдавать трон, а только пугал и был убежден, что к нему придут, приползут с увещеваниями и просьбой, и тогда-то уж — тогда-то он и предъявит им свои условия), — в соответствии с этим замыслом (и чтобы придать правдивость всему) он не должен был принимать столь высокие почести; но, на мгновение заколебавшись (так как о намерении своем пока что знал только он сам), решил все же не испытывать судьбу, принял и хлеб-соль, и благословение от святителей и даже троекратно обнялся с теми почтенными старцами, кои и всегда-то, выдвинувшись вперед, на правах хозяев от народа принимали царя. Но настроение у Иоанна было испорчено. Он был недоволен собой и, чтобы восстановить душевное равновесие, отказался пойти во дворец, куда пригласили его и где уже накрыт был стол с горячей едой, питьем и закусками; он велел разгружать сани и, окруженный несколько недоумевавшими своими любимцами, стоял и смотрел, как распаковывались и вносились казна и драгоценные вещи, словно опасался, что будет что-либо украдено или разбито. Оставив Москву, то есть оставив, в сущности, державу, а точнее, оставшись без нее, он и в самом деле вдруг почувствовал, что остается ни с чем, и в нем впервые (и заметно) проявилась та осуждаемая в народе житейская мелочность, та скупость, не должная будто бы гнездиться в душах царских особ, которая затем, обретя государственные масштабы, обернется ужасающим бедствием для людей.

Только когда все было занесено, то есть уже почти затемно, Иоанн

позволил себе войти во дворец. Он вел себя столь необычно, что никто не осмеливался хоть о чем-либо спросить его. Все только беспокойно переглядывались. Особенно же волновались святители, которым надо было начинать службу — торжественную литургию в честь Николая чудотворца, покровителя здешней церкви и всего прихода, — и которые не могли и не хотели начинать, пока не появится царь. Народ тоже был возбужден и ожиданием этой праздничной службы, и появлением на ней царя и царицы, и все в нетерпении оборачивались на дворец. Но Иоанн не торопился. Зная, что все приостановлено и ждет его; зная, главное, вернее, сознавая, что он теперь не царь (будто бы не царь) и что у него нет права задерживать народ, он вместе с тем, как ни боролся с собой, не мог преодолеть той своей значимости, за которой все начиналось и заканчивалось на нем, и, дав еще отдохнуть себе после обильного и сытного обеда и затем подождав, пока готовится к выходу царица, прошествовал вместе с ней сквозь притихшую в поклоне толпу к церкви, где уже все было залито огоньками свечей, искрилось позолотой окладов, риз, пахло ладаном и тем особым (от многолюдства) духом, какой и поныне густо стоит в наших сырых, нетопленных каменных церквях. Его и царицу провели на отведенное для их особ место, началась служба, голос священника, хорошо поставленный для таких торжеств, сначала будто взлетал вверх, к сводам, чтобы набрать силу, и затем уже оттуда ливнем слов и звуков обрушивался на стоявших, словно Божьей дланью крестя и придавливая их. Иоанн не раз уже испытывал подобное давление, то как будто, смотря по настроению, возвышавшее, то угнетавшее его, словно он, как и народ, вдруг оказывался под слоем вековых церковных догм. Но они воспринимались им не как догмы, а как реальность, скрытая от нас лишь тайной жизни или, как выглядело бы вернее, тайной смерти (но что тоже — живет и может жить лишь в сознании живых), и соответственно, то трепетал перед этим невидимым, но всесущим естественном, то взрывался и негодовал на духовных лиц, которые, самовластно возложив на себя право вещать от имени Творца, только и занимались в конечном итоге тем, что устраивали свое благополучие. Но теперь давление церковных догм соединялось в Иоанне с давлением совсем иного рода — тех обстоятельств, в какие отъездом из Москвы он поставил себя; и он с еще большей, чем утром и днем, тревогой оглядывался на сие свое деяние, которое еще неизвестно чем могло завершиться, и, едва закончилась служба, удивляя и вводя в недоумение всех своей нелюдимостью и мрачностью, даже царицу, достаточно привыкшую к его столь резким и странным, как ей казалось, переменам, молча проследовал во дворец.

Скинув с плеч шубу на руки подоспевшему холопу, он прильнул щекой, грудью к дышащей теплом кафельной печи, как любил по своей старой привычке делать это, приезжая зимой сюда. Но он не ощутил того прежнего удовлетворения, потому что — и печное тепло, как видно, имеет свои различия и оттенки, согревает ли только тело или согревает и душу. Встречавший неизменным домашним уютом дворец казался теперь безжизненным, словно был выпотрошен, оставлен без сердцевины; отовсюду на Иоанна смотрели только стены, только оболочка, сводчатым узлом стянутая на потолке и способная лишь пробудить воспоминания, а не воспроизвести ту реальность, в какой так хотелось бы вновь теперь оказаться Иоанну. Царица, сославшись на усталость, удалилась к себе, сопровождаемая боярынями, прислуживавшими ей, и Иоанн остался один — в той же, прижавшись к печи, позе, надеясь еще, кроме тепла физического, ощутить душой прилив этой теплоты. Прямо перед лицом его виднелась дверь, ведущая в гостиную. Она была распахнута, у камина и на столе горели свечи, зажженные, видимо, только что, перед приходом царя; они освещали гостиную хотя и тусклым, мигающим светом, но красный тон мебельной обивки и стен оттого казался только привлекательней, и Иоанн (опять же — лишь по воспоминаниям минувшего) не удержался и решительно двинулся к двери. Он прошел к камину, бегло оглядывая все, что находилось в гостиной, и с удовлетворением отмечая, что все стояло, висело и лежало на тех же местах и ничего не изменилось, что даже разожжен был камин, и березовые поленья в нем, сложенные в миниатюрный бревенчатый сруб, как складывал их только холоп Федор, живо потрескивали, охваченные ползучею бахромой огня. Все, все было по-прежнему: стол, скамьи, диваны и кресла, усаживаясь в которые с иереем Сильвестром, Иоанн с наслаждением слушал духовника,

и с еще большим наслаждением сам открывался перед ним. Все это было в прошлом; но, понимая, что все было в прошлом, он все же не мог унять в себе страстного желания, чтобы все повторилось, и, остановившись взглядом на том кресле, в котором чаще всего любил сидеть, — тяжело и с неуловимой надеждой опустился в него.

XXXII

Он ждал, что вот-вот откроется дверь и войдет Мария. Такое было невероятно, но он ждал. Он ждал, что внесут самовар и будут приглашены сыновья Иван и Федор и дочь Евдокия. Но детей не было в Коломенском. Разбросанные по подмосковным имениям и монастырям, они ничего не ведали ни о замыслах их отца-самодержца, ни о его теперешнем желании. И в самом деле утомившаяся в дороге Мария готовилась отойти ко сну. Бодрствовал лишь Иоанн. Но бодрствовал не физически, а душой, беспокойно метавшейся в нем от действительности к воспоминаниям и затем от воспоминаний опять к действительности, столь мрачно теперь окружавшей и настроившей его. Да легка ли жизнь царская? — так и хочется задаться вопросом. Но Иоанн, разумеется, не спрашивал себя и не думал об этом. Он просто всем существом ощущал ее тяжесть. Для него, одиноко сидевшего перед камином, она представлялась непомерно трудной, доставлявшей множество неудобств и хлопот. В то время как ему не нужно было заботиться о хлебе насущном и добывать его (как всякому прочему простолюдину, чтобы поддерживать жизнь свою и семью); в то время как не нужно было заботиться ни о жилье, ни об одежде, где и за какие средства доставать их (что и всегда-то заботило простолюдина, а по нынешним временам — особенно); вернее, в то время как все житейское, составляющее материальную потребность людей, было как бы само собой (и от начала веков!) предоставлено ему, жизнь духовная, то есть та вторая и, может быть, более важная часть целого, объединенного в понятии «смысл и цель бытия», — эта-та духовная жизнь, возведенная в достатке и роскоши до высот и превосходившая будто бы по глубине и основательности восприятия чувства простолюдинов (а впрочем, да так ли это, да можно ли признать подобное?), как раз и являлась предметом забот и составляла всю мучительную сторону царского быта. Простое, домашнее, семейное человеческое счастье было, по существу, недоступно Иоанну и отнималось у него необходимостью вникать в дела державные и улаживать их. Но и дела державные не приносили удовлетворения уже потому, что, во-первых, их было много, бесконечно много и, наслаиваясь одно на другое, они, сколько ни исполняй их, только прибавлялись, а не уменьшались, и, во-вторых, не все готовы были безропотно подчиниться царским желаниям и воле, возникали протесты, являлись интриги и заговоры, хотя и мнимые, ложные, но оттого не менее терзавшие душу и подталкивавшие на жестокость; жестокость же порождала лишь новые опасения и жестокость, и так словно в трясине, в которой, попав одной ногой, затем увязнешь другой, потом по пояс, по грудь, шею, и над тобой уже нет ничего, за что бы можно было ухватиться и спастись. Нет, не думаю, чтобы Иоанн вполне сознавал это, что ожидало его в его венценосной судьбе; но то тяжелое предчувствие, какое испытывает всякий человек перед неизвестностью, в какую толкает его жизнь (пусть даже с согласия или по своей воле, как было теперь с Иоанном), предчувствие этого, во что он непременно должен был втянуться теперь, более чем многопудовой плитой придавливало его и физически, и душевно. Его тяготило одиночество — одна из самых, может быть, страшных человеческих бед; тяготило давно, то затушевываясь и растворяясь в суете дел, то обостряясь, как теперь, когда и в самом деле все было словно опустошено вокруг. Даже самый близкий человек — Мария, — даже она (по непониманию ли, нежеланию ли, он не думал об этом) не хотела разделить его тревог и побыть с ним в эти трудные минуты. Другим же он просто не верил; да и то сказать, мог ли помазанник Божий позволить себе уравниваться с людьми, по рождению уже поставленными ниже его? Нет, не мог снизойти до подобного равенства, которое одно только и способно приносить людям радость от их общения и ограждать от одиночества: každодневно, každочасно, každосекундно он должен был соблюдать дистанцию между ними и собой и ревностно следуя ей,

только удесятерил свое одиночество. В сущности, он давно уже был один, как перст, посреди огромной, многолюдной державы (особенно после кончины Анастасии и удаления от двора Адашева и Сильвестра, которые затем были осуждены и обречены на страдания и смерть); но он впервые именно теперь, здесь, в Коломенском, со всей силой ощутил эту образовавшуюся вокруг него пустоту и испугался ее.

В гостиную несколько раз входил холоп Федор поменять свечи и подложить поленья в камин и отвлекал Иоанна, но затем, когда удалялся, все опять словно сгушалось в тяжелейшем безмолвии, как и морозная ночь над дворцом, над Коломенским, над всей студено притихшей в ожидании бед державой.

Однако жизнь в ту пору, как и теперь, не была однозначной. В то время как в сознании Иоанна она представляла одной, в сознании народа другой, в сознании святителей и вельмож третьей, а если брать отдельного человека, то, что ни индивидуум, свой мир надежд и забот, — под дверьми гостиной, в прихожей, молчаливо толпились Иоанновы любимцы. Их то убывало, то прибывало (чтобы поговорить, они выходили на крыльцо); не понимая, что происходит с самодержцем, но чувствуя, что все же что-то происходит, и, желая помочь ему, они видели выход только в одном — в веселой холостяцкой пирушке, к которой давно уже было приготовлено все и недоставало только Иоанна. К нему надо было войти. Надо было поговорить с ним и пригласить его. Но никто не решался сделать это, боясь гнева и непредсказуемости царя. Старший Басманов, Басманов-отец, призывая к благоразумию, предлагал не тревожить царя. «Пусть он у себя с царицей, ему свое, нам свое», — говорил он, споря главным образом с сыном Федором и с князьями Вяземским и Салтыковым. Но молодые, более верившие в силу веселья и беззаботности и составлявшие свою даже в этом маленьком придворном кругу партию, не хотели отступать; разумным представлялось им не то, что действительно было разумным, а желание, которое они испытывали и которое в эти минуты двигало их чувствами и помыслами. Однако и из них никто не отваживался на смелость войти к Иоанну. Малюта Скуратов-Бельский, как и всегда-то, держался в тени; он ждал своего часа, ждал неделями, месяцами, и теперешняя заминка в прихожей была для него лишь эпизодом в общей цепи выглядываний и ожиданий. Еще менее пытался предпринять что-либо архимандрит Левкий. Он тоже ждал своего часа, ждал не менее терпеливо и изощренно, чем Малюта, но только в отличие от него острее чувствовал его приближение. Во всяком случае, у архимандрита была четкая цель — войти в доверие к Иоанну, стать его духовником, а потом и Первосвятителем России, то есть пройти давно и надежно протоптанной дорогой, по которой большинство святителей восходило на церковный первопрестол. «Господи, Господи», — шевеля губами, безмолвно для себя произносил он, глядя на суетившихся в бестолковости и трусости вельмож и давая весьма нелестную, мягко говоря, оценку им. В конце концов он уговорил их оставить царя в покое и отправиться на свое веселье, благо столы были уже накрыты и ожидали их («Да и девки могут перезреть», — как в шутку будто бы добавил боярин Алексей, то есть Басманов-старший); но, проводив князей и бояр и Малюту, еще не обросшего чинами и званиями, но чем-то уже приглянувшегося Иоанну, как видели это все, Левкий не пошел с ними, а остался в прихожей, словно сиделка или лакей, готовые каждую минуту броситься и услужить. То, что Иоанну требуется помощь, он чувствовал. Чувствовал точно так же, как грифы чувствуют падаль и слетаются на нее, и в то время как за дверью, перед камином, неподвижно в кресле сидел Иоанн, буйствуя душой и мучаясь ею же, здесь, по эту сторону и тоже в кресле, сидел Левкий, откинувшись к спинке и словно замерев всем своим маленьким, заостренным к носу лыстивым лицом; в нем не буйствовали ни мысли, ни чувства, он лишь прислушивался к тишине, которая была за дверью и в которой, как ему казалось, созревало то важное и нужное, к чему он готовился и что должно было теперь вознести и ослатливить его.

Когда в очередной раз явился холоп Федор, чтобы войти к Иоанну, Левкий остановил его.

— Не надо, — сказал он. — Я сам. — И, взяв из рук холопа восковые свечи, тихо, на цыпочках почти, направился в гостиную.

XXXIII

Лишь на рассвете митрополиту Афанасию все же удалось чуть вздремнуть, но, когда надо было становиться к заутрене, находился уже в церкви и готовился к службе. Подлечившиеся в тепле, в мехах, ноги не так сильно, как обычно, беспокоили его. Он ступал твердо, без поддержки, и только когда облачался в тот наряд, в каком всегда выходил из-за иконостаса, попросил служителей о помощи. Бессонница хотя и утомила митрополита, но слабость была только в теле, ощущалась только физически, тогда как в голове, как и накануне, было четко и ясно. Он ни на минуту не забывал, что Иоанна в Москве нет, что дворец в Кремле пуст и что царь не просто покинул столицу, как случалось, когда отправлялся на поклон к угодникам в ближние или дальние монастыри (или с войсками брать Казань или Полоцк), а прихватил с собой и казну, и драгоценности, копившиеся еще Великими Князьями, его предшественниками, и хранившиеся здесь, являя собой могущество царской семьи и державы. Более всего митрополита беспокоило именно это, в чем виделся ему недобрый знак и к чему постоянно, о чем бы ни думал, возбужденно возвращался мыслью. Но ни поговорить, ни посоветоваться, ни поделиться тревогами было не с кем. Епископы и архимандриты, которым с ночи еще были разосланы приглашения, пока не прибывали в столицу. Москвичи же — из бояр ли, духовенства, мастеровых, торговых или разного рода чиновных людей — оставались в неведении, были напуганы слухами; одни из них, что посостоятельней, попрятались в домах, за засовами, другие, с утра успевшие подгулять, толпами бродили по улицам, разбивая лавки и кабаки и затевая потасовки, то есть то, что начато было ими еще вчера, почти сразу же после Иоаннова отбытия, и, как видно, по их мнению, требовало завершения. Кое-кто призывал уже идти в Кремль и наводить порядок, и в этом преддверии смуты, чего как раз больше всего опасался старый митрополит, во всей сей атмосфере непредсказуемости и взрыва он оставался один на один с собой, со своими волнениями и думами. Он понимал, что не может заменить царя; светская власть и заботы всегда были отдалены от него, жили сами собой, и если он когда и вникал в них, то лишь в той степени, в какой видны были ему притеснения и нужды народа; но теперь он чувствовал, что не только духовная жизнь людей, какую всегда руководила да и сейчас пытается руководить церковь, — все, все, словно тяжесть, наваливается на него, прося умиротворения и защиты, и по сану Первосвященителя, преклонности лет и мудрости, какую смогла наделить его жизнь, он не вправе отказаться и не принять этого тяжелейшего и опасного груза.

После заутрени, едва митрополит прилег отдохнуть, к нему началось паломничество известных московских вельмож — князя Ивана Федоровича Мстиславского, прибывшего первым со своим окружением (и служивым людом, который во все время разговора оставался у саней, на морозе), и князя Ивана Дмитриевича Бельского, тоже с многочисленной родней и близкими. Афанасий принимал их в своих кремлевских покоях, в той самой палате со сводчатым потолком, расписанным библейскими сюжетами (на стенах же были изображены Первосвященители и угодники русской православной церкви), в которой он накануне диктовал дьяку-писцу послания для епископов и архимандритов и провел затем почти бессонную ночь, сидя в кресле, не раздеваясь, закутав больные ноги в меха; он сидел теперь в том же кресле, изможденный, усыхающий старец, прикрывший немощные телеса величественной роскошью церковных одежд, и, слушая князя Мстиславского, а потом Бельского, которые хотя и говорили по-разному, но об одном: «Как без царя? Что будет? Что задумал Иоанн?» — только сильнее утверждался в мысли, что некому, кроме него, Первосвященителя, взять на себя тяжесть власти и распорядиться ею в сей судный час. Князю Бельскому и князю Мстиславскому, в сущности, нечего было опасаться, кроме разве что народной смуты; они, как понимал Афанасий, были чисты перед Иоанном. Да и преклонный возраст, когда пора было более думать о вечном, чем о соперничестве и власти, сам собою и защищал их, и определял теперешнюю степенность разговора и направление вопросов. Им казалось, что митрополит знал о замыслах Иоанна, по меньшей мере не мог не знать, и с некоторой даже потаенной угрозой принуждали открыть истину. Но Афанасию

нечего было сказать им. Со словами «Бог вас простит» он не столько с холодностью, сколько с усталостью поднялся и до двери проводил их. Ноги его опять непослушно подкашивались, но едва только, укутав их и попросив горячего чаю, вознамерился было углубиться в свои нелегкие размышления, как ему доложили, что явился с просьбой принять его известный воевода князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с сыном Петром.

Князь этот считался потомком святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, о чем митрополит Афанасий, разумеется, хорошо знал. Кроме того, он был еще и отменным воеводой, ходил с Иоанном в поход на Казань и с самой лучшей, мужественной стороны проявил там себя. Афанасий не мог представить, каким Горбатый-Шуйский был в сражениях и насколько разумно командовал тем войском, каким поручалось командовать ему, но ясно помнил, что в числе героев, которых Иоанн награждал своею царской милостью после похода, был и князь Александр Борисович. Он стоял перед ликом царя, держа в поводу лошадь, — молодцеватый, статный, только-только вошедший в самую зрелую пору ратной, походной жизни, и на открытом, умном, светлом лице его, казалось, выражено было только одно: преданность Иоанну, отечеству, народу. Рядом с ним (и тоже с лошадью в поводу) возвышалась столь же молодцеватая и статная фигура князя Андрея Курбского. Он тоже только что вернулся из похода, отличившись в нем, и принимал царскую милость. Князья эти, как, впрочем, и другие герои, не менее заслужившие исторической славы, мужа ревностные и в делах ратных, как замечали летописцы, и в любви к отечеству, еще даже отдаленно не могли представить, как сложатся в дальнейшем их жизненные судьбы и что одному из них, князю Курбскому, придется спасаться бегством в Литву и Польшу и затем вести переписку с Иоанном, а другому, князю Горбатову-Шуйскому, вместе с семнадцатилетним сыном Петром завершить жизнь на плахе, — нет, князья сии, как их представлял себе сейчас митрополит, были тогда преисполнены величия и славы, они верили не просто в справедливость, но в справедливость царя и жизни и вновь и вновь готовы были пойти на смерть за нее. Однако еще яснее, чем это торжественное, вспомнилось Афанасию и другое: как после суда над Адашевым и Сильвестром Иоанн начал преследовать и изводить под корень всех, кто хоть как-то был близок с этими двумя «государственными преступниками», и в первую очередь гонения и казни обрушились на воевод, героев и участников Казанского похода.

Близкий к Адашеву воевода князь Дмитрий Вишневецкий, чтобы избежать казни, ушел к Сигизмунду, затем с казаками двинулся в Молдавию против Стефана, был пленен им, передан султану в Константинополь и обезглавлен там. Гонимые тем же страхом, тайно перебрались в Литву братья Алексей и Гаврило Черкесские. Затем очередь дошла до Курбского, а после его ухода зловеющая тень Иоанновой подозрительности и недовольства начала нависать и над князем Горбатым-Шуйским. Однако, не считая себя ни перед кем виноватым, князь-воевода не хотел убежать из России. «Лучше смерть, чем скитания по чужим землям», — сказал он юному сыну, возбуждая в нем честь и достоинство гражданина; и, может, по сией твердости духа, дошедшей до Иоанна, а может, и по причине иной, о которой тогда никто еще не мог знать, опала была вроде бы снята с князя (как она была тогда неожиданно снята со многих, оказавшихся в таком же, как и Горбатый-Шуйский, положении). Но поскольку Иоанн был не только непредсказуем в своих поступках, но и злопамятен, о чем знали, и мог через пять и десять лет привести в исполнение свой зловеющий замысел, несмотря на то, что опала была снята, тревога осталась, и эта-то тревога, как полагал митрополит Афанасий, как раз и привела Горбатово-Шуйского с сыном к нему.

У митрополита было свое отношение и к Вишневецкому, и к Курбскому, он не осуждал их, но ближе и достойней представлялся ему поступок князя Горбатово-Шуйского, и потому, когда князь с сыном вошли к нему, поднялся навстречу им и, дав поцеловать крест и руку, троекратно перстом осенил их.

XXXIV

— Я пришел спросить, — после того, как произнесены были приветственные слова, отпущены нужные поклоны и все расселись, кому где было

предложено и удобно, начал князь Александр Борисович, несколько раз прежде оглянувшись на сына Петра, словно искал у него поддержки или хотел подбодрить его. — Неведомо ли вам, владыка, отчего Государь покинул Москву с пожитками и казной? Виданное ли сие дело, чтобы без объяснений и нужды покидать державный град? — Он опять на мгновение обернулся на сына и затем принялся внимательно смотреть на митрополита, на его изможденное старческое лицо с маленькими, круглыми, наполненными беспокойством глазами, надеясь не столько по ответу, то есть из слов, сколько по выражению этих глаз узнать или хотя бы почувствовать истину.

Митрополит, в свою очередь, смотрел на князя столь же внимательно и пристально, словно тоже за этими простыми, заданными князем вопросами скрывалось нечто другое, более глубокое и важное, чего князь не хотел или стеснялся произнести. Бывают разговоры прямые, искренние, когда собеседники выкладывают все, что знают или хотели бы узнать, но бывает и так (и в большинстве случаев), когда между тем, что оглашается, и тем, что остается в уме, хотя и существует связь, но произнесенное соотносится с невысказанным, как части айсберга, что над водой и в глубине. Князя Горбатого-Шуйского, разумеется, беспокоил не сам по себе отъезд Иоанна (царь волен делать все), но то, что могло последовать за этим отъездом, — гонение и казнь, и он оборачивался на сына, зная, что самодержец не пощадит и его; князь как бы указывал митрополиту (и как Первосвятителю, который один только мог возвысить голос в защиту справедливости перед Иоанном, и просто как человеку, способному если не отвести, то хотя бы понять и посочувствовать горю): виновен ли в чем сей отрок и возможно ли, по-христиански ли губить юную душу? «Нет, конечно же, не по-христиански», — хотя и не отвечал, но думал митрополит Афанасий. Насмотревшийся и наслышавшийся об Иоанновых казнях, он весь теперь холодел, глядя на отрока, юного, не успевшего еще ничем запятнать себя, которого ни за что ни про что Иоанн мог лишит жизни, да и на самого князя, статно, в доспехах сидевшего перед ним, и то, что накануне представлялось старому митрополиту общему картиною гибели России, представало теперь в лицах, осязаемо, зримо и еще более побуждало к протесту и действию.

— Нет, неведомо, — когда нельзя уже было далее молчать, ответил митрополит на вопрос князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского. — Ведомо только Господу Богу да Государю.

— Человек — не червь навозный, чтобы помыкать им, — не в согласии с ходом разговора, а в согласии с мыслью, занимавшей его, возразил воевода и князь Александр Борисович. — Трудями семи наших поколений ставилась и держалась русская земля, а теперь того и гляди Бог весть кому в руки отдана будет. Что же, или никто не учил нас, или крымцы уже побиты и рассеяны? Так ведь может статься, что не только некем, но и некого будет защищать на Руси.

— Не о том толкуешь, князь, — прервал его митрополит. — Церковь защищает не силой, а духом, и воля Всевышнего есть превышшая и непреклонная. Все мы под Богом и под царем.

— Воля?! На что? На разорение?

— Не о том, князь, не о том, — повторил митрополит, более чем понимая князя и разделяя его суждения, но не желая втягиваться в этот опасный разговор, который еще неизвестно к чему может привести. Одно дело — думать, и совсем другое — произносить. «В конце концов не словами, а делами вершится все», — мысленно произнес он в самооправдание; и согласно с этим сдерживающим в себе началом, а главное, чтобы не упустить нить разговора, уже будто бы нащупанную им, поспешно добавил: — Не лучше ли теперь порадеть самим, чем ссылаться на прошлое и стенать о настоящем. Царь творит то, что творит, и ответчик не перед нами, а перед Богом. Иного царя у нас нет.

Митрополит говорил не то, во что верил, а то, что по сану Первосвященителя положено было ему говорить, и был недоволен собой и опускал глаза перед князем. В душе его давно уже созревало несогласие между истиной жизни и церковною догмой, утверждавшей, что все творится Богом и по воле его, а не людьми и по их призыву; вечны, как полагал он, только религия и власть, но люди смертны и в грехах, как в одежде, какую при-

крывают свои голые телеса; они вершат дела не по Божьему умыслу, а по тем писаниям (священным!), в коих всегда можно найти то, что готово подтвердить их злые и незлые деяния; но митрополит не мог сказать этого князю, как не мог утвердительно сказать это и себе, и только мысленно и торопливо, как было привычно ему, троекратно проговорил: «Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости!»

— Чем я могу послужить отечеству? Я готов, — сказал князь и поднялся, чтобы подтвердить то, о чем говорит. Он понял митрополита, и порыв его был столь же естественен, как если бы все происходило на поле брани, где готовность к бою или секунда промедления определяют все.

Вслед за отцом и столь же решительно поднялся сын Петр, и по быстроте его движений, по выражению глаз и лица, открытого, почти детского и с едва-едва начавшими пробиваться усами и бородой, которые только еще более обнажали юный, отроческий возраст, было видно, что он готов постоять не столько даже, может быть, за отечество, значение которого не вполне еще, наверное, осознавалось им, сколько за отца, находя в нем идеал справедливости и гордясь им. Эту-то гордость и уловил митрополит и, с удовлетворением отметив, что, слава Богу, не всех еще затронула язва разврата и что есть, то есть: подрастают мужи, способные постоять за себя, народ, землю и веру, — серебряным с камнями крестом, только что лежавшим на столике, рядом, а теперь оказавшимся в руках, осенил и князя-отца, и князя-отрока, словно бы благословляя их на подвиг.

— Ты уже сделал, что мог, — сказал затем князю-отцу, что можно было воспринять двояко: и как оценку дел ратных, в коих, как рассказывали очевидцы и сподвижники князя по Казанскому походу, он не щадил себя, и как похвалу твердости и мужеству, что не побежал, уподобясь иным, искать свободы в землях чужих, но остался искать и отстаивать ее (хотя бы и примером смерти) здесь, в отечестве. Но так как и то, и другое работало на славу князя, митрополит Афанасий не стал ничего уточнять; сказав лишь «Садись», и подкрепив приглашение жестом, и, главное, почувствовав, что тот душевный контакт, те доверительность и открытость, которые соединяют людей, вполне уже установились между ним и князем, заговорил совсем по-иному, как происходит только между близкими или хорошо понимающими друг друга людьми, устремленными к одной высокой цели.

Он начал с того, что не время теперь выяснять причины отъезда Иоанна да и вообще обсуждать хоть какие-то действия царя; надо было подумывать, как сохранить спокойствие в народе, и в связи с этим (и по праву человека, взвалившего на себя тот самый груз и светской, и духовной власти) предложил воеводе, князю Горбатову-Шуйскому направить, во-первых, людей на юг от Москвы, чтобы разведать, не зашевелились ли крымцы или еще какая-либо орда, готовая воспользоваться «нашим послаблением», и на запад, не суетятся ли поляки и Литва с той же целью, во-вторых, пустить глашатаев по Москве, чтобы успокаивали народ, говоря, будто царь отбыл на моление и к Рождеству вернется, обновленный душой и телом.

— А как же казна? — возразил князь Горбатый-Шуйский.

Митрополит, не моргая, внимательно посмотрел на него.

— Наше дело — править свое и не смотреть в царское, — затем проговорил он. — Не то добро, которое делается с оглядкой, а то, которое, по велению души. С нами Бог, будем молиться, в том и спасение наше. — И он встал, давая понять, что хотел бы закончить на этом столь важный и столь доверительный разговор, позволенный лишь из уважения к князю и его отроку, чьи заслуги и помыслы достойны преклонения.

XXXV

Проводив гостей, закутав в меха ноги и попросив чаю, чтобы согреться, так как в палате, ему казалось, было сыро и зябко (несмотря на то, что печи были протоплены еще с утра), митрополит Афанасий вновь погрузился в отягощавшие его размышления. Встреча и беседа с воеводой князем Горбатым-Шуйским породили в нем ряд новых мыслей и соображений. Более всего, как и прежде, он опасался смуты, возможной в народе, и в ряду мер, предложенных им князю, необходимым представлялось прочи-

тать по приходам соответствующие проповеди, канву для которых надо было обдумать, составить и разослать. «Хотя бы по Москве, — полагал он. — Да и главное — по Москве». Но в то время, как он начал обдумывать эту канву, невольно опять столкнулся с тем вопросом, который задавался ему князьями Мстиславским, Бельским и особенно Горбатым-Шуйским, пытавшимися выяснить причину отъезда Иоанна и считавшими, что он, как Первосвященник, не мог не знать этой причины. «Так что же все-таки кроется за сиим отъездом?» — уже сам себя спрашивал теперь Афанасий с той старческой степенностью и неторопливостью, с какими только и можно было в его возрасте и при его сани приступать к делу, и вместе с тем — живостью, так как обстановка и события, грозившие в связи с этой обстановкой развернуться, не позволяли нежиться и топтаться на месте. В сущности, у него не было ничего, за что бы взявшись, можно было раскрутить тайну, и как он ни напрягал память, кроме догадок и предположений, не обнаруживал ничего, что позволило бы приблизиться к истине; выстраивать же ее на непроверенных, ложных основах не хотел. Он отбрасывал догадку за догадкой, но на одной, связанной с кончиной митрополита Макария, сначала лишь на мгновение задержался, припомнив, как митрополит, находясь уже почти на грани беспамятства, все пытался что-то сказать (на что тогда не обратили внимания); но теперь Афанасию казалось, что умиривший знал нечто такое, что нельзя было унести в могилу, и невольно связывал это пророческое со всей той обстановкой, в какой оказались Москва и держава.

К митрополиту Макарию Афанасий всегда относился с уважением, чтил его заслуги перед верой и в спорах с царем обычно принимал (хотя и не явно, потому что положение царского духовника обязывало к другому) его сторону. Это-то и позволяло теперь, во-первых, спокойно и возвышенно думать о своем предшественнике, ушедшем из жизни безвременно, как тогда уже полагали многие, и, во-вторых, со значением относиться к каждому некогда высказанному Макарием слову. Оно тщательно продумывалось и взвешивалось, прежде чем произносилось им, так как не только заключало в себе ту или иную истину, но вместе со значимостью религиозной имело значимость житейскую, формируя общественную жизнь людей и помогая каждому обрести себя в ней. По крайней мере так полагал Афанасий и, став Первосвященником, только сильнее укрепился в этом мнении. Он не был в тронном зале в тот день, когда Макарий, бросившись помочь царице, запутался в своей долгополой и широкой на нем церковной одежде, упал и его чуть живого (с инфарктом, как мы бы сказали теперь) унесли в митрополичьи палаты; не был и при разговоре Макария с Иоанном, произошедшем накануне, после которого тоже хоть на руках выносили старого митрополита; но интуиция, то есть самая простая сообразительность, подсказывала Афанасию, что между этими двумя событиями имелась определенная связь, которая если и не предопределила, то, во всяком случае, ускорила кончину Макария.

Перед смертью, как известно, равны все. Но, может, если бы смерть была явлением лишь физическим, все люди страдали бы одинаково только от недомогания, боли и слабости и не мучались бы каждый по-своему тем, что, покидая жизнь, уносят с собой и весь накопленный ими опыт этой самой жизни, дарившей им в разное время то радость, то огорчения, то ощущение силы духа, когда удавалось хоть в чем-то проявить себя, то бессилие перед той страшной стеной равнодушия и жестокости, какую на заре человечества люди бездумно положили между собой и которая не только с тех незапамятных времен не ветшает и не разрушается, хотя всем и давно ясно ее значение, но, напротив, с приходом каждого нового поколения только укрепляется и растет (каждый раз лишь в более утонченных и изощренных формах правления), ослепляя и оглушая людей, делая их глухими к страданиям ближних, стравливая государства, народы, возводя насилие над добром и укрепляя власть пороков. Думал ли Макарий так или приближенно к этому, история не оставила свидетельств, но все же нечто подобное, что и теперь каждый выносит из жизни, было наверняка и с лихвой познано и пережито им: и коль скоро по сану своему он был обязан защищать обездоленных и сирых, то есть народ, включая опальных и не опальных воевод, князей и бояр, то и страдания их, хотя бы частично, переносил на себя и мучился ими. Но по отдельности, разрозненно, как они возникали в

процессе жизни, они и воспринимались как частности, а не как часть целого, спрессованного в понятии общественное бытие; на смертном же одре, когда подводятся итоги жизни, уже не частности, а обобщенное, целое предстает перед мысленным взглядом человека, и, чем больше он беспокоился и переживал за других, тем тяжелее это обобщенное придавливает его. Макарий умирал трудной, беспокойной, мучительной смертью. Это вызывало лишь сострадание к нему, но не настораживало, не озадачивало. Уже после того, как его причастили и три архиерея совершили над ним таинство елеосвящения, он продолжал еще суетливо что-то искать то ли перед собой, то ли в воображении, и Афанасий, именно в эти последние часы и минуты жизни митрополита оказавшийся у его изголовья, старался теперь деталь за деталью восстановить в памяти все, что довелось увидеть и услышать в тот день.

Для последнего прощания к умиравшему входили и затем выходили от него почтеннейшие епископы, архимандриты, протоиереи, которых Макарий знал и ценил, даже несколько иноков (главным образом из ближнего, Чудова монастыря), как и всегда-то — для внушительности общего фона; удостоил своим посещением и Иоанн с царицей — не столько, разумеется, чтобы почтить Первосвятителя, которым был недоволен, сколько — из приличия и для молвы, с коей не мог еще тогда не считаться. Постав, как обычно, и не сказав ничего, он только чуть поклонился и вышел, думовением от распахнувшейся полы едва не загасив свечи, и после его ухода, вернее с его появлением, как раз и началось у Макария то странное беспокойство (будто он только что что-то имел и потерял), о котором и вспоминал Афанасий. В помутневших, затухавших под нависшими бровями глазах Макария вдруг словно бы обозначились испуганные огоньки жизни, и этими странными огоньками, явно говорившими о пробудившейся мысли, он принялся торопливо шарить перед собой пространство, перебегая с икон, свечей на лица святителей, стоявших вокруг. Афанасий более чем помнил минуту, когда умиравший митрополит, силясь оторвать от подушки голову, но только вновь обессиленно роняя ее, пытался выразить то, что беспокоило его. «Каба-а, каба-а», — сухим, умирающим ртом промычал он, продолжая искать перед собой глазами. «Он искал Иоанна, — неожиданно и только теперь осенила догадка Афанасия. — Да, Иоанна, чтобы сказать ему это слово: кабала. Да, да, кабала», — повторил он, разгадав (и тоже только теперь) то странное и бесвязное мычание. Он даже приподнялся от удивления: наяву ли все происходит с ним? Но перед ним было только пространство до стены и дверей, ковер с густо-малиновыми, желтыми и синими разводами, кресло, скамья, обитые темным бархатом, на которых только что сидели князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с сыном Петром, а получасом раньше, до них — князь Мстиславский и Бельский; да, перед митрополитом простиралось лишь сие безмолвное (теперь!) пространство, способное, разумеется, сказать о многом, но ни о чем пока не говорившее ему, и он, удивляясь уже этому странному, будто наяву, перемещению во времени, лишь пристально оглядел все вокруг себя и перед собой и снова опустился в кресло, чтобы продолжить размышление. Однако ход мыслей был уже прерван, и никакие усилия не помогли Афанасию восстановить его. Слово «кабала» хотя и заключало в себе многое, но вместе с тем не было соединено ни с чем конкретно (разве что с желанием Макария бросить его в лицо Иоанну), и потому трактовать его можно было и широко, прилагая к народу, и узко, прилагая лишь к делам церковным и святителям, которых, Афанасий знал это уже по себе, Иоанн не просто старался стеснить и ограничить в деятельности, но, аки рабов, безропотно подчинить своей воле. Первое, то есть относительно народа и кабалы применительно к нему, казалось Афанасию настолько чудовищным и невозможным, что он отказывался даже думать об этом. Это не соединялось ни с какими заповедями и не имело не только оправданий с точки зрения самой жизни (или истории, если сказать иначе), но и смысла, как полагал он. «Править рабами — для чего?.. Править народом, добротой и справедливостью возвеличивая его, — вот завет Божиим помазанникам, их земные старания, труд и радости», — мысленно говорил себе митрополит. Второе, что могло относиться к духовенству и церкви, он отвергал уже по самой узости, ограниченности дела, так как не-зачем было, чтобы хоть что-либо предъявлять духовенству, отъезжать из

Москвы с казной и скарбом. Получалось так, что, несмотря на осенившую митрополита Афанасия догадку, он вновь чувствовал себя столь же далеким от истины, как и накануне ночью, и час, и два назад; и неведение это, как и вообще любое неведение, только усиливало в нем беспокорство и подогревало к деятельности. Но, чтобы начать хоть что-то предпринимать, надо по меньшей мере знать, что именно, то есть на что-то решиться; и в поисках этого решения он попросил проводить его в усыпальницу для митрополитов, где над могилою Первосвятителя Макария было уже возведено тяжелое каменное надгробье с изображением распятия и надписями. Афанасий молча и грузно, поддерживаемый под руки, опустился перед надгробьем и долго, наклонившись, шептал молитвы, обращаясь к Богу и к Макарию, уже как к святому угоднику, пока не занемели ноги и бессилье вконец не охватило его.

XXXVI

Но терзания его не завершились на этом в сей морозный декабрьский день. Едва он возвратился в палату, как к нему явились шурин Горбатово-Шуйского Петр Ховрин, родом грек, и окольный Головин. Митрополит велел пригласить их. Затем пришли князь Иван Сухой-Кашин и кравчий, князь Петр Горенский, а за ними, чуть припоздав, князь Шевырев и два боярина: Иван Куракин и Дмитрий Немой. Как и над Горбатово-Шуйским, над ними тоже нависала угроза Иоанновой опалы за близость к Адашеву и Сильвестру, хотя ни Адашева, ни Сильвестра уже не было в живых да и сама близость, разумеется, носила лишь служебный характер; просто сии воеводы и князья, как и подобает людям порядочным, честным, старались лишь поддержать в государственных начинаниях то, что представлялось им разумным и могло принести благо народу; но это-то благородство, то есть возможность служить отечеству, а не самодержцу, как раз и не нравилось Иоанну и раздражало его, как оно, впрочем, раздражало и правителей нынешних, с самого начала своего правления сумевших узаконить в стране запрет на самостоятельность мышления и тем более на желание, в чем бы ни заключалось оно, проявить себя. На устах явившихся теперь к митрополиту воевод и князей был только один вопрос: как понимать отъезд Иоанна из Москвы со всеми царскими пожитками и казной? Не затевается ли новых каких угроз и расправ над боярством и народом, и как быть, что предпринять в сей смутный час? Митрополит только слушал и ничего не отвечал им. Да и что мог ответить, когда сам терзался неведением. Но от него ждали, требовали совета, и единственное, что он чувствовал вправе предложить им (и что, может быть, как раз и явилось величайшей и непоправимой с его стороны ошибкой), — это призвать к терпеливости, смирению и молитвам, положившись на Господа и его милость. В сущности, митрополит Афанасий не объединял людей и не возбуждал в них желания восстать против замыслов Иоанна и защитить себя (что только и было разумным и могло изменить ход истории), а, напротив, разъединял и обезволивал, видя в этом именно свое предназначение; в довершение ко всему — из города вновь начали поступать сообщения о беспорядках и бесчинствах, происходивших там, и, чтобы облагоразумить народ, а заодно и самому посмотреть, какова общая обстановка, решил проехать хотя бы до ближайших двух-трех приходов и велел готовить сани и лошадей.

Разумеется, появиться теперь перед возбужденной толпой было не безопасно, и святители, окружавшие митрополита, говорили ему об этом; но, отклонив их увещания и указав место Пастыря, где он должен быть, когда народ жаждет успокаивающего и направляющего слова, — спустя четверть часа был уже за стенами Кремля и сопровождаемый охраной спускался к реке, к той самой арбатской церкви, в которой сначала крестили, а затем отпевали умершего Иоаннова (от Марии) сына, царевича Василия. Иоанн тогда только-только вернулся из похода на Полоцк и был возбужден и победой, и рождением наследника, и, казалось, вся Москва стеклась сюда, чтобы торжественно встретить молодого, удачливого своего царя, своего самодержца, с царствием которого у многих связывались надежды на благополучие и счастье. Теперь площадь перед церковью опять была забита народом, и митрополит издали еще увидел всю эту

разномастную, готовую каждую минуту взорваться бурей страстей людскую толпу; и хотя опыт жизни подсказывал Афанасию, что на духовных лиц, тем более на Первосвятителей еще никто и никогда на Руси не осмеливался поднять руку, но в какое-то мгновение вдруг засомневался и потянулся было сказать, чтобы поворачивали назад; однако в то же мгновение и с большей, чем сомнение, силой ощутил тот самый груз державы, который волею обстоятельств был теперь возложен на него, и, чуть только поколебавшись, вновь откинулся к спинке сиденья и с той возвышающей будто бы его отрешенностью, с какой лишь умудренные жизнью старцы позволяют себе смотреть на людские страсти и скопища, продолжал вглядываться в толпу.

Монах-чернец, правивший лошадьми, сдерживал их. Дорога была жесткой, накатанной, сани скользили легко, с тем привычным (полозьями по снегу) шорохом, который и всегда-то, как и теперь, действовал успокаивающе своей монотонностью и однообразием звуков. Арбатская церковь и площадь перед ней то скрывались за лошадиными крупами и широкой, схваченной кушаком спиной монаха-чернца, то опять, как только чуть разворачивалась дорога, все открывалось митрополиту Афанасию, и противоборствовавшие в нем силы смирения и уверенности (и долга, какой и поднял из теплых палат на сей выезд), — противоборствовавшие силы вновь то склоняли митрополита к тому, чтобы вернуться, то удерживали от этого трусливого шага, и он старался перейти к мыслям другим, более обобщенным, и потому, в сущности, не обязывавшим ни к чему, кроме разве что к поиску слов, нужных для утешения толпы и себя. В какую-то минуту с площади тоже заметили подвезжавшие богатые сани с охраной, и сейчас же часть людей, отделившись, кинулась навстречу митрополиту. С криками: «Кто таков? Кто едет?» — толпа окружила сани. Те, что попроворней, схватили лошадей за уздечки и сдерживали их; другие же, подогреваемые хмельной смелостью, потянулись к саням, чтобы схватить того, кто ехал в них, и вытащить для расправы; обычно надменные ратники из охраны, поняв, что им не справиться с наседавшими и что, неровен час, могут самих смять и растерзать, старались лишь конями заслонить сани митрополита и прижимались к ним. В сумерках, довольно густо уже опустившихся над Москвой и над Арбатом, в толчее и неразберихе, когда задние напирали, а передние пятились, чтобы не угодить под копыта коней, неизвестно еще, чем бы все завершилось, если бы кто-то не разглядел и не узнал Первосвятителя и не крикнул бы, вскидывая руки: «Это же митрополит, стойте, стойте, это же митрополит Афанасий!» При этих словах людская масса, только что с безумством напиравшая на сани, остановилась, отхлынула и притихла. Кто-то потребовал: «Покажи!» Затем призыв этот прокатился по толпе, и митрополит Афанасий, понимавший, что нельзя было ему теперь же не предстать перед народом (собственно, для того и выехал из Кремля), медленно и с достоинством поднялся, на время забыв про больные ноги, и, поддерживаемый монахами и охраной, вышел из саней на дорогу.

Увидев митрополита, толпа попятилась, передние, сняв шапки, кланялись и молились, подталкивая локтями и побуждая к действию тех, кто, зазевавшись или, вернее, удивившись, все еще не мог сообразить, что полагалось делать. Вперед выползю несколько юродивых. Почти босые, в рваной, едва прикрывавшей их худые тела одежде (нам, людям современному, остается лишь удивляться, как еще сии «божьи избранники», зиму и лето проводившие на церковных папертях, не болели и не замерзали), они кинулись в ноги к митрополиту и принялись целовать полы его церковного одеяния. Примеру их последовали и те, кто только что лишь кланялся и крестился, и раболепие это, это безумство было столь же неприятно и страшно Афанасию, как и та иная крайность, когда эти же люди из толпы готовы были учинить над ним самосуд. Столь быстрая, почти неуловимая перемена в настроении черни (он не любил употреблять это слово, обходил его, но теперь оно как единственно возможное определение возникло в сознании и готово было вырваться наружу) не раз и прежде замечалась митрополитом; но то, с чем столкнулся сейчас, поразило настолько, что в первое мгновение он тоже лишь растерянно смотрел перед собой и пытался к саням, пытаясь хоть за что-либо ухватиться, чтобы не упасть. Осмелевшие охранники начали отталкивать от него раболепство-

вавших, а когда пространство перед ним было наконец очищено, чуть подался вперед и, осеняя толпу крестом, произнес:

— Бог простит вас. Бог!

Он повторил это несколько раз и затем, чтобы добраться до церкви, снова сел в сани и велел монаху-чернецу трогать.

— А ну расступись! — гаркнул монах. — Эй, расступись! — Он вскинул над собой концы плетеных вожжей и принялся угрожающе раскручивать их.

XXXVII

У церкви, когда митрополит вышел из саней, вся сцена раболепства вновь и с большей, казалось, унизительностью повторилась вокруг него. Первыми опять ползком кинулись к ногам юродивые. Они старались ухватить Афанасия за полы, облапывая и слюнявя их. Следом и как бы волнобой второй двинулись прихожане, и десятки рук вдруг и одновременно с мольбой потянулись к митрополиту. Они почему-то были оголенными, по крайней мере такими Афанасий запомнил их; к тому же выглядели красными, словно ошпаренные кипятком или натертые снегом на морозе, и, глядя на людей и не понимая, чего они просят, он опять только испуганно пятился к саням. Люди эти не спрашивали об Иоанне, и вообще отъезд царя был для них только поводом к тому, чтобы сбиться в сию хоть на что-то способную стаю; они хотели лишь прикоснуться к перстам или одежде Первосвященителя, как будто подобное прикосновение и в самом деле могло что-то изменить в их судьбе, жаждали чуда, веря в него и ожидая его от церковного иерарха. Но Афанасий знал, что он всего лишь такой же простой смертный, как и все, и святость его лишь в сани да в ритуалах, какие совершались над ним и какие совершал, вернее, должен был совершать он, то есть в том узаконенном жизнью обмане, без которого как без воды, воздуха и пищи человек не способен существовать; и эта крамольно терзавшая его истина, чем старше и умудреннее он становился, как раз и заставляла теперь ужасаться, глядя на народ, и пятиться от него.

— Господи, прости их, — произносил он, вскинутым перстом осеняя толпу.

Лишь с помощью охранников и охотников из прихожан, вызвавшихся помочь митрополиту, ему удалось, наконец, войти в церковь и удалиться за иконостас, где было безлюдно, не протоплено, сыро и где насмерть перепуганный дьячок, суется и стараясь угодить Первосвященителю, беспрестанно повторял, что за настоятелем послано и что его непременно вот-вот отыщут и приведут.

Почему надо было отыскивать настоятеля, Афанасий не понимал. Он лишь чувствовал, что за этим скрывалось что-то странное, чему трудно дать объяснение, и с удивлением думал, что теперь, когда надлежало находиться с народом, настоятеля носило неведомо где. Но, как и полагалось Первосвященителю, ожидал молча, терпеливо, время от времени то прислушиваясь к шуму толпы за стенами церкви, то навязчиво возвращаясь к поразившему его явлению — неожиданной, быстрой и страшной перемене в настроении прихожан, встречавших его. «Что это? Какая сила двигала ими? — спрашивал он себя. — Кто подталкивает души людей к подобным крайностям, за которыми нет и не может быть добрых начал, а есть только порок либо одного, либо другого безумства?» Он опять приходил к давней и терзавшей его мысли о людской слепоте, обстоятельствами и трудностью жизни будто бы накладываемой на народ, и чем больше думал о причинах этой слепоты, тем яснее сознавал, что и сам он, как и народ, пребывал в той же слепоте, постоянно стараясь отыскать истину и не находя ее. Между тем посланный за настоятелем где-то застрял и не появлялся, митрополита начала пробирать сырость, он оглядывался по сторонам и ежился. Ему было невдомек, что настоятель — тот самый протоиерей Федор, которого сам же Афанасий и благословил на этот приход, — забравшись в чулан от народа, под старые перины, подозревал обман и не хотел выходить из своего убежища. «Поклянись, поклянись!» — с мольбой, почти со стоном кричал он из-под перин службе, пришедшему за ним. Служке нечем было клясться, кроме как Богом и своей совершенно юной еще жизнью и честностью, но этого казалось недостаточно протоие-

рею Федору. Он просил позвать кого-либо постарше, и снова глухо, со стоном, доносилось из-под перин: «Поклянись!» — так как вера в слово была тогда еще велика и в народе, и среди духовенства и бояр. В конце концов после мучительных переговоров и пререканий перины были сброшены, чулан отворен, и все еще испуганный и с недоверием озирающийся вокруг себя протоиерей вышел из него. Едва отряхнувшись и не успев как следует привести себя в порядок, он и предстал перед митрополитом — со взлохмаченной головой, в помятой и в пуху рясе и с нечесаной (и тоже в пуху) бородой, красноватым клином облезло спадавшей ему на грудь. В таком отвратительном виде предстал перед Афанасием лишь архимандрит Левкий, да и то только в воображении, когда по расположенности или нерасположенности к человеку тот предстает не таким, каков есть, а каким хотелось бы видеть его. Протоиерей же возникал не в воображении, а стоял наяву — коротконогий, полный, с одутловатыми щеками, напоминавший скорее не пастыря, не служителя Богу, вернее, тем канонам, в которых заключена будто бы истина, а клеща на листе, насосавшегося древесного соку. Митрополит опустил глаза, чтобы не видеть его.

— В церкви народ, — сказал затем, все так же глядя в пол перед собой. — Извольте зажечь свечи и подготовить все к службе, — добавил он, сдерживаясь, чтобы не сказать большего.

Спустя четверть часа митрополит Афанасий, превозмогая ломоту и немощь в ногах, вышел к народу. Он не то чтобы лишь искренне желал добра этим собравшимся в церкви прихожанам, страдавшим от царской власти и боявшимся потерять ее (будто и в самом деле не было и нет иной защиты от притеснений и самовольства бояр да и всякого накатывающегося с чужих земель лиха, чем только воля и власть самодержца), но чувствовал, что именно теперь настал для него миг, когда не на словах, а на деле он мог исполнить свой долг. Под переливом свечных огоньков, тысячекратно, словно капельным блеском отраженных в позолоте окладов и риз, и сам весь в парадном облачении и в белом клобуке с распятым, сверкавшим камнями и золотом (обрядность, восстановленная с избранием его Первосвятителем, но остававшаяся еще внове для прихожан), — он был убежден, что вышел сотворить достойное и великое; но, как это большей частью и бывает в таких случаях, когда желание и возможность разделены чертой, непреодолимо разрывающей их, вся острота мыслей вдруг словно исчезла, испарилась, и, кроме тех обычных слов о смирении, терпеливости и воле Господней, о чем говорил князьям и боярам, приходившим к нему, не мог ничего выдать из себя.

Но, понимая, что делает не то, что нужно, он вместе с тем не мог ничего другого сказать людям, потому что то другое было лишь едва начавшим оформиться желанием, не имевшим пока ни стержня, ни формы, было, в сущности, миражом, какие еще чаще, чем среди песчаных бархан, возникают в душах людей, оставляя затем горечь тяжелых разочарований. Митрополит хотел быть с народом и чувствовал (интуитивно, разумеется, бессознательно, исподволь), что для этого следует освободиться ему от церковных догм и тех принятых тогда условностей жизни, которые создавались, поддерживались и укреплялись этими догмами; но освободиться, даже пусть частично, было не то, чтобы не в его воле (всякая воля хоть на что-то да должна опираться), но просто — было делом невозможным по тем естественным причинам, по которым человек, воспитавшись на определенных принципах жизни, как бы затем в старости ни ломала его эта же самая жизнь, остается во многом приверженцем своих привычек и не видит никакого иного выхода из трудностей, кроме как придерживаться канонів старины. Столетиями церковь призывала к терпеливости и смирению, и митрополит Афанасий, отягченный теперь не только саном Первосвятителя, но и всем навалившимся на него грузом державы, тем более не находил возможным хоть на йоту отступить от прежних уложений и догм. Боялся ли крови, которая прольется, если народ, вставшись, возьмется силой защитить себя? Подобное опасение наверняка возникало, но не оно было главным. При всем желании помочь людям митрополит полагал, что дело заключалось не в укладе жизни, то есть не в той социальной системе, как мы бы охарактеризовали ее теперь, в которой люди остаются притесненными, задавленными, — уклад жизни сам по себе свят, и его нельзя изменять! — а в личностях, которые, впад в неве-

жество и забыв о Боге, способны творить лишь зло и насилие и не способны на добро. Он призывал к молитвам и покаянию перед Господом, прося у него защиты и помощи, как бывало во все трудные времена в прошлом, и, вполне успокоившийся к завершению службы и решивший, что слово это его как раз и может стать канвой для тех проповедей, которые следовало бы прочитать в эти дни по московским церквям, — с крестом и кистью в руках величественно прошелся вдоль передних рядов прихожан, кропя их святой водой, и затем, крестясь, замер в поклоне перед алтарем.

Он простоял так минуту или чуть больше, но ему показалось по ломоте в ногах и усталости, какую вдруг ощутил всем своим старческим телом, что стоял долго, словно переживал тишину, воцарившуюся в церкви. Он не оглядывался, но знал, что за спиной все точно так же, перекрестившись и застыв в поклоне, шептали молитвы; на них будто сходила благодать, столь долго и упорно внушавшаяся им, некоторые успели даже прослезиться от прояснения, хотя кроме известных, сотни раз повторенных «истин» не слышали ничего; но «истины» эти были произнесены высшим церковным иерархом, которого только увидеть считалось благодатью, и произнесены в тот момент душевной растерянности, когда, как на развилке, человек готов пойти туда, куда позовут. Митрополит же звал к смирению, что было, во-первых, привычно и не нарушало устоявшегося течения жизни (а всякая перемена, известно, ведет лишь к ухудшению жизни и не сулит ничего хорошего людям), и во-вторых, укрепляла веру в Бога, который всемилостив и не допустит зла над смиренными и терпеливыми. Да, митрополит знал, что испытывали молившиеся за его спиной, потому что почти то же испытывал сам; но еще более осознавал, хотя и не признавался себе в этом, что никакой благодати не сходит ни на кого, что сия благодать есть только обман, которому привычно поддаются люди и поддавался он сам — тем охотнее, чем глубже бывало в нем беспокойство и чем острее возникала потребность унять его. «Бог во мне; Бог в каждом; он разделен на миллионы частиц, связанных невидимыми с центром нитями, и пробуждение этого Бога в людях, осознание его силы — не в этом ли смысл и цель наша?» Митрополит, разумеется, не мог думать столь категорично и завершено; но именно эта мысль, не раз приходившая ему и вызывавшая еретический ужас: «Господи, прости! Господи, прости! Господи, прости!» — снова и властно завладела им. Жить в обмане — это жить в сладком сне или, вернее, вовсе не жить. Но и вне обмана — только терзания, и ни стабильности, ни основательности, в которых более, чем в чем-либо еще нуждается человек. Митрополит чувствовал это. Он был теперь ближе, чем когда-либо, к истине. Но так как открытие сие не совпадало со всеми заученными, вошедшими в кровь и плоть прежними истинами, — только мрачнел, замыкался (будто от холода и сырости, пробиравшей его) и не захотел после службы ни говорить с протоиереем Федором, ни видеть его.

Афанасий вышел из церкви, когда было уже совсем темно. Ему подсвечивали дорогу фонарями и факелами, и опять — желающих прикоснуться к нему, пригубиться к полам его одежды было столько, что если бы не охрана, кольцом охватившая его, едва ли митрополит устоял бы на ногах и смог добраться до саней. Заезжать еще куда-либо у него уже не было охоты, и он велел править в Кремль.

(Продолжение следует).



Н о в ы е с т и х и

Гидрофойл

Не на галере, не в трюме мышинном,
он задышал в отделенье машинном,
новых элегий коленчатый лад.
Прополоскав себе горло мюзом,
на пироскаф поспешим за поэтом.
Стих заработал. Парус подъят.

Вижу матроску, тельняшку, полоски.
Кушнер — ку-ку! И ку-ку, Кублановский!
Много ль осталось нам на веку?
Якорь надежды. Отчаянья пушки.
Чаек до черта, да нету кукушки.
Это ль ответ на вопрос: ни ку-ку.

Это ли нам завещал Боратынский —
даром растрачивать стих богатырский
на обмиранье, страх в животе?
В русском народе давно есть идея:
жизнь-де копейка, судьба-де индейка.
Петь — так хотя бы о той же воде.

Вижу: волна на волну набежала.
Смерть это, что ли? Но где ж ее жало?
Жала не вижу. В воду плюю.
Вижу я синие дали Тосканы
и по-воронежски водку в стаканы
лью, выпиваю, сызнава лью.

Я, как и все, поклоняюсь Голгофе,
только вот бескофеиновый кофе
с сахаром веры — что оно мне.
Рай ли вдали, юнгианское ль море,
я исчезает в этом растворе —
буква в поэме, нитка в рядне.

Что там маячит? Палаческий Лисий
Нос или плачущий светлый элизий,
милые тени — друга, отца?
Что-то подходит к концу, это точно.
Что-то, за чем начинается то, что
Бог начинает с конца.

Высоцкий поет оттуда

Справа крикает рессора, слева скрипит дверца,
как-то не так мотор стучит (недавно починял).

Тяжелеет голова, болит у меня сердце,
кто эту песню сочинил, не знал чего сочинял.

Эх, не надо было мне вчера открывать бутылку,
не тянуло бы сейчас под левою рукой.
А то вот я задумался, пропустил развилку,
все поехали по верхней, а я по другой.

А другая вымощена грубыми камнями,
не заметил, как очутился в сумрачном лесу,
Все деревья об меня спотыкаются корнями,
удивляются деревья — чего это я несу.

Удивляются дубы — что за окоlesiца,
сколько можно то же самое, то же самое долбить.
А березы говорят: пройдет, переберется,
просто сразу не привыкнешь мертвым быть.

Русская ночь

Пахота похоти. Молотьба
страсти. Шабаш. Перекур на подушке.
«Физиология — это вроде ловушки».
«Да, а география — это судьба».

Разлиплись. Теперь заработало время,
чтобы из семени вывелось бремя,
чтобы втемяшилось в новое племя
пламя на знамени и — в стремяна!

Так извергается ночью истомной,
темной страстью, никчемной домной,
дымным дыханьем моя страна,
место пустое за соломянем.

То-то я нынче, словоломаньем,
словно несданной посудой гремя,
ее волочу за собой, как вино мою,
в свое неминуемое неименуемое.

Сыне Божий, помилуй мя.

* * *

Мы выставляем под мартовский свет
зерна в тарелке.
Каждое — маленький твердый предмет,
мертвый и мелкий.

Трудно поверить, что в каждом зерне
спрятано слово.
Что-то творится на нашем окне,
что-то готово.

Строго до срока не выйдет оно,
но пригревает.
Ярое Око глядит на окно
и прозревает —

сквозь эту гниль, эту слизь, эту плесень
черненьких точек
торкнулся вдруг по команде «Воскреснь!»
острый росточек —

белым сперва, желтоватым сперва,
 после зеленым.
 И наполняет надежда слова
 светом и звоном.

News

1

Рейхнулась Германия
 с рильке в пуху —
 nach Osten nach Westen und
 nach... who is who —
 уже ничего не понятно —
 какие-то звуки и пятна.

Кто скачет над бывшей
 берлинской стеной?
 Ездок запоздалый, с ним
 сын костяной.

Костюмчики в виде матраца
 им выдала высшая раса.
 И йодль, и дудль поют
 голоса —
 так призрак свободы
 потряс их,
 и наши аж дыбом встают
 волоса
 в просторных
 немецких матрасах.

2

Распахнулся помойной
 яминной
 Ленин-Волго- и т.д.-град,
 где с Серебряным веком
 Каменный
 расправлялся полвека
 подряд.

На хоругви лицо Господне,

под хоругвью кишат
 червяки,
 гордо черное носят исподнее,
 брови, челюсти, желваки.
 Крепко пахнет подмышечной
 впадиной
 от идущего впереди:
 Святой Юрий с растоптанной
 гадиной
 расправляется на груди.

3

*Художница Ордариану говорит, что в последние годы станови-
 лось все труднее доставать масляные краски, совсем не было
 белил.*

*The New York Times,
 31 december 1989*

Как всякий старый сталинист,
 был Чаушеску зол и туп,
 хлестнул его свинцовый
 хлыст
 и превратил в холодный
 труп.

От пули цвет лица свинцов,

в крови его каракульча
 и, как всегда у мертвецов,
 течет из брючины моча.

На ошалелый Бухарест
 валом валит свободный снег
 и белым белит все окрест,
 идя к концу, двадцатый век.

Сад пней

Обглоданный скелет матроса
 обрушен как-то криво, косо,
 лет пятьдесят
 он в этом трюме пребывает,
 в глазницы рыбки
 проплывают
 и вверх глядят.

Фильтруется говно в лагуну,
 гниет луна над Гонолулу,

стволы огня
 и крови, что здесь вверх
 летели,
 застыли, превратясь в отели,
 стоят стоймя.

В доходных этих обелисках,
 в их блестях, плесках,
 брызгах, визгах,
 жрут, пьют, орут,

Илья МИТРОФАНОВ

Бондарь Грек

БЫЛЬ

ОТ АВТОРА

В памяти моей дорога к дому всегда одна. От моря Черного к устью Дуная и дальше, вверх по вольной воде, вдоль буйно заросших молодым камышом плавней, тесно усаженных сторожевыми ивами берегов, черепичных крыш первого придунайского порта Вилково, к старинному городу Килия.

Между двумя этими городами крепко вросли в пологий илистый берег крытые потемневшим от времени камышом хаты рыбацкого поселка Салман — давнего и когда-то грозного сторожевого укрепления турецкого султана Салимана-паши. Время не сохранило в сознании старожилов не подкрепленную рождением память о грозе величия турецкого наместника, так же как и появившихся здесь позднее румынских завоевателей, потому что жили в поселке со стародавней поры не потомки турецкого и румынского воинства, а коренные великороссы, рыбаки — люди крепкие телом и духом, перетерпевшие частые смены властей, но сохранившие верность обетованному берегу и нелегкой рыбацкой работе.

Дунай во все времена кормил моих земляков, учил терпению прадеда, деда, отца, держал и мое сердце в упрямой уверенности, что и моя удача в жизни мимо меня не проплывет, уверенности, что и я, где бы ни был, куда бы ни забросила меня судьба, — не забуду свое родовое гнездовье. Да и как забудешь? Самое чистое, трепетное, детское, что западает в душу надолго, питая ее в смутные времена жизни, осталось здесь, в нашей рыбацкой семье.

Дедовская лодка-вентерка стояла на приколе напротив хаты, у старой ивы. Помню запах смолы от ее нагретых солнцем бортов, помню силу упрямого течения в те часы, когда дед, взяв меня с собою, выгребал вкруч на середину реки, к острову Ермаку, зеленоющему напротив поселка. Помню заветное свое желание заглянуть за речную излучину и узнать, что же там, за зеленым, вымытым ветром пространством, и откуда силу берет спокойное сверху, но мощное в глубине своей дунайское течение. Перевесившись через шаткий борт лодки, я опускал руку в воду, глядясь в глаза в непроглядную толщу реки, и, может быть, с той-то детской поры и осталось в моем сердце неподвластное сознанию ощущение — сверять время своей жизни с временем течения Дуная, с неторопливой, насыщенной, лишенной суеты, жизнью моего рода, с уголок земли придунайской — неотделимой частью всей Бессарабии.

Позже, уже в зрелые годы, вспоминая рассказы деда, отца о недавнем и далеком прошлом нашего края, стараясь отыскать в глубине времени корешок ветви нашего рода, стараясь дознаться, откуда мы вышли, где дерево, давшее силу и крепость всем нам выжить и не затеряться в мире, я понял, что труд моего поиска далеко не простой. История бессарабского края не укладывалась в жизнь и судьбу одного моего рода. От поселка Салман, вдоль Дуная, уходила дорога дальше, разветвляясь к другим поселкам — молдавскому Червоному Яру, болгарскому Криничному, немецкому Тарутино, украинской Некрасовке, гагаузскому Камрату. Люди этих национальностей жили своими родовыми общинами, своим языком, миром и укладом жизни, и желание мое объединить их судьбы и ввести, как речушки, в одно вольное дунайское русло казалось неосуществимым. Но по счастливой закономерности единение это случалось.

В летние месяцы, после Ильина дня, когда в придунайских лиманах начинался отлов рыбы и в рыбацких хозяйствах появлялась нужда в дополнительной помощи, стекались к берегу жители соседних с Салманом поселков — молдаване, украинцы, цыгане, болгары и гагаузы.

В теплые ночи у костров, под низким, усыпанным звездами небом, в ожидании утренней общей работы, люди рождались, делясь друг с другом вином, хлебом, словом. И оживало, согретое общим дыханием, в неспешных голосах прошлое Бессарабии. Оживала ее история, вспоенная живой водой личных свидетельств, судьбами, опытом прожитой жизни земляков моих, бессарабцев.

С одним из этих свидетельств мне бы и хотелось познакомить читателя.

Характер в молодости был у меня, что сосна, — сучок на сучке. Чужого приказа над собой не терпел. А приказчиков и в ту пору хватало. Староста в наших Бульбоках — первый. А у старосты дочка была — Виорика. За ней я ухаживал. Староста видел, как я возле его хаты прогуливаюсь вечером, посмеивался: «Что, голоштаный? Посвататься хочешь? С овцой своей сосватать могу. Заходи, выбирай любую!»

Мне обидно стало. Подгадал, когда они всей семьей на ярмарку в Карагмет уехали, на крышу их дома залез и дымарь соломой забил. Глядел — радовался, как они из хаты повыбегали, кто в чем был. Виорика первая...

Как догадалась, что я им такой цирк устроил? Не знаю...

Встретила меня, говорит: «Зря стараешься, Ксентий...»

Точно так — зря. Бук с акацией не спаруешь.

Богатыми они были. Куда нам, Грекам. Тятка мой батрачил. Мать в хате все до кучи сгортала, а только не разбогатели.

Всю жизнь горбаться — богатым не станешь. Богатыми люди рождаются. Но истину эту понимаешь с годами. А в молодости какое понятие? Завидовал.

Староста в Карагмет на ярмарку соберется — две повозки с кукурузой на продажу везет. А сам, в пиджаке, шляпе, — на фаэтоне. Лошади белые, хвосты в косы сплетены, в гривах — ленты. Кнутом стеганет — и-и-и! Лист зеленый! Пылюка столбом. Гляди и дыши...

Подожди, сам себе думал, разбогатеет и мы. Пиджак с жилеткой куплю, часы с цепочкой прикину и шляпу на левое ухо. Может, тогда и не скажет, что голоштаный...

Но думки думками, а жизнь — жизнью. Староста зуб на меня поимел. Запомнил, душа суконная, как я ему дымарь завалил. Как только пошел набор в армию в тридцать девятом году — он меня первого списал из села с глаз долой. И с наказом: «Служи, Грека! Сделают из тебя человека...»

Ничего, думаю — расти пузо. Не родился еще тот начальник, кто душу мою на клепку посадит. Я себе сам человек.

А только зря наперед загадывал.

Погнали нас на станцию, потом на поезд и через мост, в Румынию. В товарняке везли молодежь бессарабскую. С каждого села — самый цвет. А начальство — мелочь, и та нестандартная. Только что с лычками на рукавах. А лычка, что сусло дурное, — всю муть из души человека поднимет. Ты с ним всю жизнь проживи, хлеб-соль дели — до конца не узнаешь. А с лычкой он перед тобой весь, с потрохами. Да такими смердючими, что хоть в Дунай головой.

Так и у меня получилось. Капрал с первого дня в меня въелся. Все не по нем. Стою — не так. Иду — не так. Сплю — не так. Дохнуть не давал. Откуда злоба бралась в человеке? Сам — как стручок фасолевый. Низенький, колченогий. В кармане френча зеркальце носил. Где ни присядет — зеркальце это достанет и прыщи давит. И не схоронишься от него — нюхом чуял.

«Грек! — кричит. — Шапку долой! Смирно! — Сам руки за спину, голову вверх и пошел жилы вытягивать: — Кто перед тобой стоит? Перед тобой твой господин! Капрал Королевской армии Ника Григореску! А ты кто такой есть? Ты есть овечье дерьмо! Повтори». «Так точно!» — я отвечаю.

А сам гляжу на него, сердце в кулак сожму, как воробышка. Эх, думаю, было бы у меня ружье, всадил бы я тебе между глаз...

Не было ружья. В действующую армию нас, бессарабцев, не брали. Лопата и лом были нашим оружием.

Дорогу строили. Укрепления, окопы рыли. Работали, как цыганские лошади. И каждый, кто чином выше был из румынских начальников, тот и стегал.

Я был крепким телом в ту пору, а вечером приведут нас в казарму — с ног падал.

Капрал тут как тут: «Что, заморился? Ниче-е-е! Будешь моим денщиком — жизнь у тебя пойдет слаще...»

Слаще хрен редьки...

Замучил совсем. В ночь-полночь зайвится — раздевай его, чисти мундир. За цуйкой¹ беги.

¹ Виноградная водка (рум.).

А больше всего любил он по стойке смирно меня поставить. Картуз свой капральский на гвоздь повесит, и отдавай честь этому картузу, пока рука не отвалится.

Схудал я. На нервах жил, а терпел. «Ничего, Ксентий, — себе говорю. — Будет этому край...» Вся душа моя в узел связалась, чуял, еще немножко — и лопнут, развяжутся все узелки.

Вот только точного срока не знал.

Пришел срок. Не забыть по гроб жизни...

Ночью явился капрал с гулянки. Я спал. Дверь стукнула. Я голову вскинул — луна светит. Ясно, как днем. Он в каморку шагнул.

«Встать!» — Голос — что ножом по стеклу.

Встал я. Чую — цуйкой от него сильно тянет. Стоит — третью ногу для опоры ищет. Сам на меня из-под лоба. Улыбается. Сладко так улыбается. Нет выше сладости, чем власть над безвластным...

На топчан упал. Ботинки в глине. Сухо было на улице. Где он измазался? Черт его знает. «Снять!» — кричит. Я шнурок на одном развязал. Снял, обмотку раскручивать начал. А сердце в груди как в бочке пустой — раз стукнет — замрет, стукнет — замрет. Господи, думаю, спаси меня! Спаси от себя самого. Оборони, Господи... Чуял, чуял душой, а сейчас уже и умом понимаю — нет у человека врага страшнее, чем сам он в себе самом. Чуял, что вот сейчас что-то случится. Надо себя удерживать: власть моя над самим собой на ниточке держится. «Сейчас он уснет, — себя успокаиваю, — сейчас я второй ботинок сниму...»

Начал шнурок развязывать. Мокрый шнурок был, склизкий от глины. Пальцы трясутся. «Быстрее!» — крикнул капрал. — «Быстрее!» Я голову наклонил, зубами хотел тот шнурок развязать, и тут он меня ногой по зубам и ударил.

Сердце мое остановилось, и ниточка в душе лопнула. Вскочил я, рванул его тело. Рукой в горло вцепился. Он головой дернул. И на меня поглядел.

Как брат родной на брата родного. «Больно! — прохрипел. — Мне больно...»

Но я уже собой не владел. Только в сознании, на самом доньшке мысли. Одна: надо пальцы свои ослабить. Вторая: нет, ослаблять нельзя. Надо глянуть сперва, что с ним дальше будет. В глаза, в самые глаза надо глянуть...

Не надо было глядеть. Снились потом глаза его, долго снились. И голос снился: «Больно! Мне больно...» — жалобный, братский голос. Надо, надо было отпустить его.

Не отпустил. Пальцы мои онемели, как клещи сделались, горло его сжимаю, а сам гляжу на него.

Лицо у него сперва красное стало, потом посинело. Пена пошла изо рта. Все, что пил, ел, — на меня отрыгнул.

Засучил ногами, дернулся и затих.

Луна в окно светит. Тихо в каморке. Стою как вкопанный. Ботинок его с пола поднял. Гляжу на него. Зачем я гляжу на этот ботинок? Бросил его в угол. Слышу, стукнуло в стену: сердце мое проснулось. Холодно на душе стало. И как-то чудно. В окно глянул — вроде бы не луна — человек из меня самого родился и глядит на меня. И я уже в полной власти не своего капрала, а этого человека. «Уходи! — мне говорит. — Уходи, Ксентий...»

Я вещички в рюкзак. Рубаху, белье нательное, кусок мамалыги. Дверь за собою прикрыл — вышел.

Луна, как глаз Божий! Светло, ясно, себя самого со стороны вижу. Каждый свой шаг, стук сердца чую, шепот свой чую. «Все, Ксентий... Послужил ты Романи́и ма́рэ¹... Вышел твой срок...»

Оглянулся — ни души, ни голоса. Годки мои, бессарабцы, спят давно на нарах, может, во сне по домам разбежались, стакан вина домашнего пьют. Часовой и тот придремал.

Я к берегу вышел, а тень моя впереди. Вода, как горячая ртуть; я по пояс вошел, мокроты не почувял. Котомку на голову ремнем пристегнул и

¹ Великая Румыния (рум.).

поплыл. Плыву, течение меня в сторону тянет, а я вкучь загребая. Вкучь надо плыть, иначе снесет, как щепку снесет...

На другой берег выгреб, оделся. Луна в спину уже заглядывает, дорожку мне кажет. Следы своих ног вижу. Мир ночной вокруг меня дышит, как чистая дева... Июль, самый июль над макушкой. Что я? Куда я иду? Сон это? Нет, не сон... Я человека на тот свет отправил своими руками... Живого, теплого человека... Господи, Господи! Закрепи в моей душе обиду и злость на него! Нет ни обиды, ни злости. Ничего в ту минуту в душе против него не осталось. Что ж это так? Он надо мной издевался, жилы из меня тянул, а не злость я уже на него, не могу эту злость в душу обратно собрать. Вся вытекла, вся чисто... Только глаза его вижу, голос жалобный слышу: «Больно! Мне больно...» Голову стиснул ладонями... Господи, Господи... Небо землю придавит, свет вверх дном перевернется, а ничего уже не исправить... Ничего. Господи, Господи... Вот я иду, по чистой ночи иду... Грешный, по гроб жизни грешный... Куда я иду?

Остановился. Луг — не луг. Место низкое. Вода под ногами. Я чуть дальше прошел. Гляжу — стог. Сено пахучее, мягкое. Взгребся я внутрь и, как в черную яму, вниз головой провалился...

Сколько проспал — не помню. Ночь, две — память отбило. Помню только, что молния вдруг полыхнула в потемках сознания. «Где я? Что я? Тут, где я сплю, — спать нельзя. Сейчас меня схватят. Бежать, бежать надо...»

Выгребся я на воздух — ночь, как была, так и есть. Только луны в небе нету. Тучи по небу бегут, тяжелей черного камня. Мне есть захотелось. Проглотил кусок мамалыги, к берегу вышел.

Дунай, как доска отфугованная, лаком сверху покрытая, — ни щербинки, ни щелочки. А вокруг темень густая — ни огонька, ни живого голоса. Вербы стоят у воды.

Смутно мне на душе стало. В глазах засвербело. «Дунай, батюшка, — шепчу сам себе. — Куда мне податься? Выведи ты меня... Спаси... Укрой, схорони...»

Тихо. Ни звука в ответ...

Ничего, сам себе думаю. Буду идти... Против течения, повздох берега буду идти... А там, Бог даст, куда-нибудь выйду...

Потащил самого себя как на аркане. Тяжело идти было. Место топкое: камыш и тростник... Все пятки изрезал. Два шага ступну посуху, остальные — в воде по пояс...

Ночами шел, а днем хоронился. Оголодал, одичал. Кору с верб сдираю. Дубок мне попался. Желудей насбирал. Ел понемногу, да только без пользы: желчью рвало. Неужели, думаю, вот так и загину? Сам с собой, как собака, загину. Нет, надо идти... Меня, может, ищут уже. Снарядили погоню. Схватят, вот сейчас схватят. Только подумаю так — и силы прибавится. Дальше страх меня гонит.

А потом уже, помню, и страха не стало. Вроде главная клепка с души упала. Пусть, думаю, ловят. Отвечать за свой грех буду. Только б уже поскорее... А сам дальше иду. Дальше и дальше. И все ночами. А днем от людей хоронился.

Да только где ж ты от них схоронишься?

Под утро прилегло под копешкой, крутился, ворочался, спал не спал — проснулся. Гляжу — туман. Луговина без края. Голоса услышал. Ну, думаю, слава Богу. Конец мучениям. Пятки мои распухли — коли, режь — ничего не чувствую. Выйду сейчас, думаю, руки протяну — пусть вяжут, пусть в сигуранцу¹ ведут — все край какой-никакой...

Стал я приглядываться. Двоих увидел. В белых рубахах, таких же штанах. Бородатые оба. Но возрастом разные. Младший — мосластый, рыжий, старший — покрепче, седой, и голос грубый. Я ухо наострил, чую — по-русски балакают. Слава те, Господи, думаю. Недалеко я, выходит, сбегал — на русских людей вышел. Значит, где-то по соседству и молдаване, и хохлы, и болгары с гагаузами — вся бессарабская наша нация. Выйду, думаю. Наказываю даже выйти, а что-то меня все же сдерживает. Я уже себя самого не очень-то слушал. Одичал. Уже не уму-разуму — слуху и

¹ Полицейское управление в буржуазной Румынии.

нюху верил... Гляжу — туман чуть подтаял. Солнышко встало. Голоса ближе. Траву, вижу, косят. В пару, дружно, мах в мах. Косы на солнце поблескивают, спины взмокли — пар от белых рубах идет. Старший, седой, остановился, на солнце голову поднял, мосластому говорит: «Гóдя...»

Присели снédать. Рушник на косьбу постелили. Глечик посередке умостили. Хлеб старший нарезал. Круглый хлеб, белый, ломти большие, с поджаристой корочкой. Ешь — не наешься.

Ели. И так аккуратно, дружно, как и работали. Старший напоследок крошечки с бороды собрал и в рот кинул. Встал, перекрестился на сход солнца. Голову повернул — зырк! в мою сторону.

Я в землю телом впаялся — сердце ударило: «Увидал!» И точно.

До сего дня не пойму, как он почуял, что я за копной хоронюсь. Лезу — не дышу. Слышу голос: «Акимка! Дай-ка мою косу... — Ко мне подошел. И голосом, как гром с неба: — А ну вылазь, антихрист! Выла-азы! Што ховаисси?»

Вылез я из-за копны. Гляжу, коса над головой. Жало блескучее — полоснет, не дай Бог, по шее — и прощай, белый свет...

Я голову поднял. Стоит в двух шагах, глядит на меня. Глаза — как синька-квасец. Брови седые — угольником. Телом — матерый. А на шее гайтан, крестик свинцовый висит. «Вставай, вставай! — повторил Акимка из-за спины и старшему: — Глянь, тять... Рябой!» Старший ему: «Цыц! — И ко мне с допросом: — Кто такой будешь? — А сам глазами меня промеряет. Одним в лицо, вторым в душу. — Кто такой, пытаю?»

Я рассказал. Так, мол, и так. Заблудился. С армии, значит, иду...

«Усе ясно, — ответил старший. И крикнул мосластому: — Акимка! Дай-ка хлеба ему...»

Акимка — на вид ему было в ту пору лет, может, с полсотни — подхватился, как молодой, узелок развязал, скубанул горбушку ножом и мне. Не в руки, а, как собаке бездомной, под ноги кинул: «На!»

«Эге-е! — думаю. — Да вы, русские, те еще...»

Обидно мне стало. Пусть я какой-никакой. Но все ж таки — человек, не собака. Но обиду в себе притоптал. Поднял с земли горбушку — смолотил в один мах.

А старший меня глазами меряет. «С армии, значитца, говоришь? — допытывается. — В отпуск чи как?» «В отпуск, в отпуск...» «И куды ж тебе отпуск дали?» «В Бульбоки, — отвечаю. — До дому, до хаты...»

Переглянулись оба.

«Бульбоки? — усмехается старший. — А где ж ета?» «В Бессарабии, — отвечаю. — За Ахиллейским гирлом...»

И снова переглянулись они. Старший бороду в кулак стиснул: «Да ты, служивый, от Ахиллейского гирла сто верст отмахал. Тута уже не Бессарабия...»

Я аж подскочил: «Брешешь!» «Собаки, служивый, брешуть, — усмехнулся старший. — А мы тебе правду говорим, истинную...» «Стойте! Стойте, — я перебил. — Как же не Бессарабия? Вы ж по-русски балакаете...» — «Ну, так что ж, что балакаем? — старший с усмешкой. — Христос, Сын Божий, еще не родился, как мы от тутытка жили и по-русски балакали...»

И снова пошел глазами меня обмеривать.

Хлеба больше не дали. Пошентались промеж собой. Старший спросил: «Что делать умеешь? Какую работу?» «А что скажете, то и сделаю». Я на все уже был согласный.

«Ладно, идем, поглядим...»

Из Божьей общины они оказались — люди известные. Для них понятия границ государственных нету: вся земля — родной дом. Бессарабию нашу взять, Румынию или Словакию, Чехию, Моравию — всюду есть ихние поселения. Я позже дознался про всю их историю жизни от самого корня, с далеких времен. Лет, может, двести назад все они жили в России, а потом воспротивились или не поделили чего с церковным начальством и распозлились по свету, как раки из торбы. Но не куда-нибудь там, в тундру-пески. А в такие места, где и земля, и вода, и птица, и рыба, и климат терпимый, — вот так их родова скрепилась. А иначе нельзя. «Нам, служивый, — Викул Терентьич (так звали старшего) любил повторять, — на

доброй земле положено жить. Потому что мы есть самые чистые христиане. Такытка...»

Может, оно и так. Только чистые — для своих. Чужой, набродный, не ихней веры, обычая — все то же, что и мы, бессарабцы, для румынской власти — овечье дерьмо...

Но про это я позже дознался. А в ту минуту другое думал. «Как же так, — маракую, — я упендехал за сто верст от дома родного? Где ж столько силы во мне взялось? Куда ж меня страх загнал?»

Иду промеж ними, а пятки болят, ступать не могу. Солнце уже поднялось высоко. Луговина сзади осталась, стежка в одну ступню, как змейка, меж вербами тянется, я голову поднял — горы кругом, зелень лесная, птицы поют, свет чистый, дышать легко. Еще немножко прошли, — чую, хлебом печеным запахло, дымом кизячьим. Хутор не хутор, село не село, — хат, может, десять — двенадцать. Стены известковой побелены, крыши камышом крытые — чисто в подворьях, ни щепочки, ни соринки.

Во двор меня привели. Викул Терентьич косы Акимке отдал, рукавом пот со лба вытер. «Калина! — крикнул, — квасу подай...» Старушонка из хаты, как молния, жухнула, глечик хозяину в руки и на меня глянула, как ущипнула: «Кто ж эта, батюшка?» «Ступай, — Викул Терентьич в ответ, бороду вытер. Мне напиться не дал, говорит: — Будешь глядеть за скотиной. Справисси — живи, ничего... А нет — свет широкий. Мы не силуем...»

В сарае, в яслях телячьих, я жить стал. В хату к себе, в сенцы хотя бы — нет, не пустили. Дух у меня нечистый, сказали. Одежу мою солдатскую в первый же день Акимка забрал у меня, дал штаны домотканые белые, все по росту. Веревки кусок дал. Подпоясался я. Викул Терентьич меня оглядел, говорит: «Ну, с Богом! Зарабатывай хлеб насущный в поте лица своего...»

Ничего, думаю, заработаю. Работы я не боюсь, пусть она меня лучше боится. А про себя обиду держу. Про себя думаю: за мной вы не сильно разбогатеете... Запало мне в душу, как они мне хлеба кусок, как собаке, кинули.

Но молчу себе. Время мое — молчать. Пусть, думаю, вы чистые, а я нечистый, зато — бессарабский хлопец. Я вам пригнусь, ниже травы, тише воды буду. Но до срока. А срок придет, голову подниму и плечи раскину...

Живу — приглядываюсь. Глаза есть и уши тоже, слава Богу, глиной мне не замазали.

Изучил их жизнь от зари до заката.

Жили они все гуртом, одной семьей, вроде общины. Жили богато. Коровы, овцы, козы — то был их прибыток. И место, как я уже говорил, для жизни имели хорошее. Распадок, всего понемногу — тут тебе озерцо, там камышок, чуть дальше деревня, а кругом горы. Самое место для винограда. Но виноград не растили. «То есть зелье для искушения плоти...» — так Викул Терентьич сказывал. Хлебом питались. Сеяли жито, пшеницу. Но земле не прикажешь, что ей родить. Она и сама с понятием. Сама из себя свое гонит. Место самое это было не для жита-пшеницы — для кукурузы. Кочан стеребил — вот тебе и мука и хлебово. А по склонам — дичка лоза росла виноградная. Ягоды, хоть и мелкие, но сахар имели. Только нагнись — собери да ногами стопчи, сорок дней не пройдет — вино молодое. Не для искушения плоти, как я считаю, а для радости сердца, по трудам человека...

Но не баловалась община вином. Квас пили. Редьки накрошат — хлебуют. Живот вроде полный, а ходишь и воздух портишь. Ну и хлеб у них — первое был. Мучились с ним. Земля где с камнем, а где выброс песочный, и рожь и пшеница негусто росли. Но справлялись. Каравай круглые, с обрuch ведерный пекли всей общиной. И я немного поел. Есть было сперва непривычно. Хлеб белый, пахучий, а тоже тяжести нет — не бессарабская пища. Вроде наешься, а все думаешь: вот бы сейчас мамалыжки в крутой кипяток, да вывалить ее на рушник, да обкутать, а потом ее со шкварками, да сверху стакан вина. Эге-ге! Лист зеленый!

Нет, не попробовал я мамалыги. Ел, что они ели. Постным они в основном питались. Щи из капусты наварят, хоть бы перчинку для крепости кинули в это варево! Нет! Обходились. Сядут семьей вокруг миски — хлебуют.

Семья, конечно, большая была. Кто чей брат, кто сестра — все в куче.

Хаты у всех без плетней, а от мира живого будто стеной отгорожены были.

Никуда сами не ездили. Дел никаких с людьми не имели. Сами с собой жили. Но охотники поглядеть на их жизнь к ним часто наведывались.

Раз, помню, навоз чистил в хлеву. Вижу, Акимка бежит, как подпаленный. «Ховайся, рябой!» Я оглянулся — с румынской стороны верхом человек за деревьями скачет. Сердце мое упало. «За мной!» — думаю. В закуток приткнулся. «Сеном меня привали, — говорю. — На голову сена кинь!» Акимка сеном меня прикрыл, свет для обзору оставил. «Он вачета цуды не заходить, — сознался. — Он тамытка, на дворе, отдыханть...» «Да кто ж это? За каким таким делом?» — спрашиваю... «Кто! Кто! — осерчал Акимка. — Наш царь-господарь... Цыц мне тутытка...»

Дверь в хлеву прикрыл, а я в щелку все вижу.

Царь не царь, а френч и штаны на нем были богатые. С одного боку сабля, с другого кобура на шнурке. Спешился он на подворье, фуражку с головы сдернул, пот вытер.

Молодицы на голос из хаты выбежали и, как куры, по двору забегали. Викул Терентьич команды дает, а сам шею пригнул, глаза сахарные, гостю в пояс поклон отвесил. Вынес из хаты стул — рушником пыль смахнул. Молодица «царю» глечик кваса на блюде. Он и выпить еще не успел, а ему уже в перевязь, за седлом, торбу муки, торбу пшена, двух ярок и шкуры в придачу. Лошадь бедная и та на задние ноги присела, а «царю» — ничего, улыбается. Сел в седло, в одну руку повод взял, второй — честь к козырьку: «Порядок! Живите дальше!» — И малым ходом уехал, с Богом.

Молодицы за веники взялись, подворье начисто подмели, чтоб, значит, следа царского на земле не осталось. Викул Терентьич сахар ладонью смазал с лица — волком глядит. На сход солнца перекрестился: «Слава те, Господи...»

Глядь — уже с венгерской стороны, из-под кручи каменной, другой царь-господарь скачет верхами. Тоже с саблей и кобурой на шнурке. Только френч цветом — мышиный. А вместо фуражки каска на солнце блестит. «Приветствую всех!» — кричит издали.

И снова та же картина. Снова Викул Терентьич стул из хаты вынес, снова в пояс гостю поклон отвесил. Снова сахар в лице — рад без памяти. Кружку кваса налил из глечика: «Испейте, батюшка...»

Батюшка тем же манером испил. А ему за седло тот же продукт под завязку: ярок, баранины, мяса парного телячьего.

Он в седло — скок! И вместо расплаты — то же словесное пожелание: «Порядок! Дальше живите...»

Да, думаю, таких царей-господарей долго искать не надо — в каждом селе, как собак. Закон известный: вы живите, а мы вашу кровушку пить будем...

Жили. Хорошо жили. До бедности даньщики не разоряли. Знали меру. Баранины, яловочкины, мяса парного хватало. Коровы, телята, овцы — все было у Божьих людей. Коровы, помню, пятнистые, молока каждый день по ведру, — прибыль немалая на карман, если с выгодой продавать. Но за выгоду не держались в общине. Сами во всем домотканом ходили. И босиком — что малый, что старый.

С утра до заката — в поте лица. Кто в поле, а кто во дворах, по хозяйству. Вечером соберутся, сядут за стол, а стол был длинный, широкий, доски впритык, без зазора, миску ведерную посередине поставят и хлебают.

Ну, а мне — что осталось.

С собой не садили вечерять. Я для них был, что чурбак без разума и понятия. Одним словом — нечистый. По имени и то звать не звали, а все: «Эй, рябой! Цуды!», «Эй, рябой! Туды!»

Эх, думаю про себя. Что же вы за люди такие? Что за вера у вас такая? Какой есть у нее закон, что мне до него не взгребтись? Что ж мы, не все люди на свете равны? Почему это вы чистые, а я нечистый? Вошей, к примеру, у меня не было. Я в первый день, как на харч ихний стал, вымылся на совесть. Акимка казан кипятка мне принес — всех вошей ошпарил. Может, с парочку на приплод оставил. Но то не считается. Значит, и я такой же, как вы все....

А потом, думаю, — стой! Как же такой? Что ты себе говоришь, Аксен-

тий? Ты человека живого на тот свет спровадил. Молчи себе, живи тихо, гонор не смей выказывать. Спасибо скажи, что хоть кормят-поят и в душу не лезут. Грех у тебя на душе. Грех великий...

Задумаюсь — и пошел себя самого на щепки колоть. Все в мыслях возвращаюсь обратно, все вижу глаза своего капрала, голос его слышу жалостный. Господи, Боже мой! Душа как в тиски стянется. Ночью не сплю. Хоть бы до зорьки дожить. А там легче. Вилами навоз начнешь шурудить и забудешься.

Работой спасался. Потом — ничего, obtупилась память, сам на себя вроде обруч накиннул, внатяг, без зазору. «Держись! — себя самого успокаиваю, слабину стягиваю. — Держись, Аксентий! Что ж теперь делать? Видно, у тебя жизнь такая, как поле навозное... Босиком посуху не пройдешь — измазюкаешься. Не по воле, по случаю — все равно измазюкаешься. Что ж теперь делать? Судить себя будешь? Клясть, проклинать? А в смерть не засудишь. Нет, себя самого не засудишь. Это все одно, что заживо в гроб лечь, крышку, может быть, и накинешь, а гвоздями пришить не сумеешь... Так что живешь, думаю, и живи. Авось грех твой простится. За жизнь не отмолишь, срок придет помирать — покаешься...»

На пресных харчах душа, что стамеска без правки. Ни работа не в пользу, ни отдых. Так и текла моя жизнь. Сейчас вспоминаю и кажется, что то время стояло, как в плавнях вода. Солнце с утра, с ночи — месяц. Один какой день вспоманешь, внакладку его клади на все остальные, что готовый шаблон, бери карандаш, обведи — и один к одному, впритык.

Прижился я, пригляделся, людей общинных различать научился.

У хозяина этого, Викула Терентьича, своих детей было числом десять душ. И все хлопцы женатые, с детьми все — мал мала меньше. Гуртом соберутся — с одного краю смех, с другого — слезы, а все разом, как пчелы в улье. Викул Терентьич бороду в кулак соберет, глянет на них, как шилом кольнет: «А ну, цыц!» — И тишина, как струна. Особенно по субботам. Я субботные дни хорошо запомнил. По субботам они не работали. В бане помоятся, сперва мужики, посля молодичицы с детьми. Выйдут распаренные и в цепок на подворье станут. А Викул Терентьич бороду распушит, рубаху под перевязкой с кистями наденет, вынесет из хаты дощечку, шириной с ладонь, толщиной в палец. И начинает судить своих ближних. Какая провинность за кем за неделю случилась — ножиком на дощечке отмечено.

Чудно мне было поначалу глядеть из своего закутка на эту картину. Страх в душу всбирался. Глаза у Викула Терентьича холодней льда. Посреди двора станет, плечи распрямит и голосом страшной грома небесного:

«Колька! Слухай чуды... За тобой три пореза! — И пальцем в дощечку ткнет. — Первый! Камыш негоже связал... Второй! Стойку в косяк срубил... Третий! Топор, песья вера, втерял...»

«Тятя! Родимый! Топор я найду! Ей-бо найду!» — просит пощады жалостный голос.

«Цыц! — Викул Терентьич в ответ. — Сымай порты!»

Где ж, гляжу, Колька? Кто он? Пацан? Недоросток? Не-ет! Борода до пупа, детей народил душ пять або шесть, а голову вниз. В страхе, в покорности выйдет из ряда, глаза долу, а в голосе еще больше жалости: «Тятя! Прости, Христа ради...»

«Бог простит! — отвечает судья. — А ну, наклоняйся!» — И по голому месту Кольку крестом перекрестит: «Гляди мне, не балуй... Топор чтоб нашел...» «Спаси Христус, тятя! Найду!» — Колька в ответ. Штаны — смык! И, как ни в чем не бывало, в строй станет, на место.

И так каждому, кто провинится, вжаривал таким вот манером. Я как увидел в первый раз эту учуе — душой оробел. «Эге-е! — думаю. — Сейчас и до тебя доберутся, Ксентий. Может, хозяин твои порезы на дощечке впрок собирает. Потом, глядишь, сыпанет принародно — не сядешь...»

Сховаюсь в хлеву, пикнуть боюсь. Но напрасно робел! Ни разу меня

не тронули. А момент был. Я, хотя и работал, как надо руки прикладывал, но все ж раз ошибся. Навоз убирать, — оно дело нехитрое. Тут главное — не все в кучу валить. По отдельности. Коровий, к примеру, — на удобрение. Лошадиный с овечьим — то стройматериал, раствор для обмазки стен. В саманных хатах — первое дело. С глиной его смешал, побелил посуху. И — лист зеленый! Солнце в упор свети, ветер, дождь косяком — стена не треснет. Сцепка покрепче цемента. Тут я справлялся. Я на скотине порез заработал. Веревкой одной корове бодливой шею стянул, чтоб знала хозяйскую руку. Стянуть — стянул, но холку натер. Викул Терентьич увидел, брови в угольник: «Ты что ж ета? Антихрист трисподний. Рази ж можна душу живую терзать?» Губы стиснул, глаза, как два шила — насквозь прожигают. Ну все, думаю, жди, Ксентий, субботы, грех твой хворостиной схлестают.

Но до суда не дошло. Обида и злость тоже равенства требуют. А я им неравный был. Они меня за своего не считали. Я для них, как уже говорил, что чурбак, что скотина: ест, пьет, пользу дает, а душой на низшем развитии. Так что субботний суд помимо меня проходил. Я был только свидетелем, зрителем вроде. Сижу себе и гляжу...

Отпустит Викул Терентьич грехи своим ближним, рукой знак подаст: «А чичас помолимся, братья и сестры!»

Вся община за стол. А кому места нет — лавку из хаты вынесут, сядут в кружок, притихнут. Сам хозяин дощечку с порезами с глаз долой. Выходит из хаты уже в другом обличье, лицом строго суровый, а взглядом поверх голов смотрит — на горы, на небо. На груди крест с ладонь нацепи. Вроде священника. И не своим ходом из хаты выходит. Две молодницы под руки ведут. Вкруг стола три раза по солнцу его обкружат, на красное место усадят и книгу на красном бархате в руки дадут. Книга, помню, большая была, застежками-клепками стянута, страницы руками захватаны, а поверху черной кожей обшита. Викул Терентьич закладку откроет и пошел пальцем по строчкам мусолить. Голосом бу-бу-бу... А про что? Не поймешь. Слова вроде русские, но малопонятные. Да еще нараспев, в нос гундосит. Умолкнет, воздуху в грудь набрать, а молодницы в поддержку с припевкой: «Господи! Возьми нас! Господи, спаси нас!» И мужики хором за ними, все головы в небо, глаза, что стекло, у старых и малых. В хаты иди, добро забирай, огнем подпали — как глухие, слепые, не слышат, не видят. Гуртом руки вскинут и снова: «Господи! Возьми нас! Господи! Спаси нас!»

Мужики басами выводят. А молодницы поверху тонко вызванивают: «Святый Боже! Святый крепкий...»

Уши соломой заткни, в сено заройся — все одно услышишь. И слышал, слышал не раз, а не отзывалась душа. Почему? Вот бы и мне встать на колени, руки в гору и подтянуть за свое спасение. А не мог, противился, заслонка в душе была. «Не верю, — шепчу сам себе, — не верю я вашим молитвам. Может, нечистый я, по вашему разумению, но тоже живой человек, под Богом родился, крещеный, как все в нашей семье крещеные. И в церкву меня мать водила, и колядовал я на Рождество, и Пасху помню. В хате тепло, бабушка мне парочку крашенок даст, и я бегом на улицу — цок на цок с хлопцами. Чистая, теплая радость была на душе. А сейчас вот песни ихние слушаю, слова непонятные, и не верю, не верю, что с Богом они беседу ведут. Вроде бы не по Божески эта беседа идет, а с каким-то натягом. Почему? Не могу объяснить. Но так для себя понимаю, что если вы люди верующие, если вскипело желание в ваших сердцах к Богу приблизиться, то разве так надо делать? Это ж не так должно быть. Храм должен быть Господний. Я ж это все помню. Свечечки, помню, горят, батюшка ходит, кадиллом машет. Он — главный, он над всеми стоит, он души людские как овец пасет, он людей сперва подготовить должен, стружку с каждого, как с завалающей доски, шкрубануть исповедью, причастием. Вот тогда, может, и сподобишься к Богу приблизиться.

А вы? Вы разве по-божески делаете? Книгу открыли, руки свои протянули в гору и думаете, Бог вас услышит? Да это ж любой, каждый может книгу открыть. Каждый может сказать: «Господи, прими нас...» Только разве услышит Он? Где тайна? Тайна должна быть в вере. Тайна великая.

Так думал и думаю...

Но все про себя эти мысли. Не мне их судить и учить. Пусть себе делают, как понимают.

Прислушаюсь — голоса стихли. Викул Терентьич книгу закрыл. Все братья и сестры в очередь стали, приложились губами к застежкам. Молодицы-послушницы Викула Терентьича из-за стола подняли, снова три раза кругом обвели. И разошлись почивать по хатам.

Тихо делалось в мире. Сяду себе в закутке. Щепочек тоненьких настругаю, масло в ступочке у меня было. Лучину зажгу. Огонек вспыхнет, и вот оно, мое электричество, — свету негусто, а себя самого не боишься. Огонек подрагивает, как птенчик замерзший, тени сбегутся вокруг меня гостевать, а чуть подальше, с потемок, глаза коровьи выглядывают. Каждая с вниманием и пониманием. «Ну и чего, — спрашиваю, — глядеть на меня? Поесть я вам дал? Дал... Почистил за вами? Почистил... Почивайте себе. И я от вас отдохну. Может, какую работу поделаю...»

Не мог без работы. Дощечку сухую нашел, скребок ржавый наточил на камне и давай эту дощечку мучить — дерево мягкое, липовое. В тех местах липа сильно в рост гнала. Дотронься ногтем — стружку срежешь. Крутил, выстругивал — глядь! — ложку и выкрутил. Обшваркал ее скребком, руками до глянца обтер. И — лист зеленый! — кашу давай на пробу, авось мимо рта не промахнусь.

Викул Терентьич это дело приметил. Он каждый день раза по три ко мне навдывался. За порядком следить заходил. Глянул на ложку, бороду свою пегую ладонью к груди прижал и вроде бы улынулся, а может, мне так показалось: «Ты ж гля! — говорит. — Бравая ложка...»

Чурбаков мне братья его натаскали, столик приладил я в яслях. И вот тебе мастерская, по соседству с коровами.

Начал работать...

Может быть, с той поры и полюбилось мне с деревом разговаривать. Может быть, с той поры и понял я, что всякий предмет неживой дожидается своего рождения. Камень взять, железа кусок, щепку какую — не ленись, приложи руки — поможешь рождению. И легче станет. Душа твоя через руки в предмет переходит, и мысли в душе веселее. Не так уж скучно на свете жить...

Наловчился я ложки резать. Разных фасонов. И под хлебово — ребенку и взрослому, и черпаки, и мешалки — лопаткой, под мамалыгу. Вилки и те вырезать пробовал, на три зубца, а больше, прикинул, не надо — дерево мягкое. Если бы «братья» и «сестры» этот товар у меня не подчищали, продал бы кому проезжему и табаком про запас разжился.

Куриль хотелось — аж уши пухли. Дома, в Бульбоках, листья табачные с малолетства посмаливал. А тут — хоть бы крошечка табака завалась. Нет, ни переноски не было — куревом общинные люди не баловались. На дух не переносили. К ним как приедут цари-господари за данью, те было курили. Тот, что в сером френче, — сигару смоллил, в зеленом — цыгарку толстенную. У меня, как дымок почую, — слюней полный рот. Выгляну в щелку, стараюсь подметить, где ж они выбросили окурки. Да где там подметишь — уедут цари-господари, община двор метелками выцарапает, ладаном пообкурят — ни следа и ни памяти. А мне не легче. Дошел до того, что кизяк с травой смешивать начал, трубку из корня вишни выточил — втихаря кашлял. Если бы меня увидали за этим занятием «братья» и «сестры», точно б всадили пучок хворостин в одно место.

Но, слава Богу, сумел схорониться. Хотя скажу, надзор за мной был. Работаю, вроде никто не следит, а все чуял глаза на спине. Акимкины или Калины. Обед и вечерю оба носили. Акимка чаще обед. Он был старшим сыном Викула Терентьича. А вечерю — хромая Калина, сестра Викула Терентьича. Занозистая была старушка. Телом худая, как доска, — кожа и жилы. Щей в мою миску «нечистую» нальет, губы в нитку и с наказом: «Ты гляди мене... Штоб работал бравинька!» «А то не работаю, что ли? — я ей в ответ. — Коровы у меня чистые, ни репьяха, ни пушинки. С поднизу у каждой сухо — соломой застелено. Да еще вот вилки-ложки строгаю...» «Не нада нам твои ложки поганые! — отмахнется Калина. — У нас и свои есть...» «Может, и есть, — говорю. — Может, мои и поганые. А только что ж вы их у меня забираете? Печку топить?» «Поговори, поговори у мене!» — Калина в ответ. Сама сядет в сторонке и в рот мне заглядывает,

как я щи с миски выхлебываю, и тут тоже с попреком: «Что сербаешь-кривисся?» «Чего мне кривиться? Сербаю, что даете...» А сам думаю: когда б в животе не сосало — не сербал. Нету в вашей еде развлечения. Хоть бы перчинка-чесночинка в ложку попалась. А то, что с верху хлебаешь, что со дна, — никакого разнообразия. Эх! Пресный, вы думаю, все же народ, хоть и богомольным считаетесь. Не утерпел раз: «Бабушка! — говорю. — Вы бы мне хоть зубок чесночка принесли или косточку, может, какую...» Калина аж подпрыгнула как на пружинах: «Косточку? Ты ж гля на ево! Сами скоромное не едим... А ему косточку... Ишь ты, цыган рябой...»

В миску уткнусь — молчу. А что скажешь? Рябой я лицом от рождения. Разве ж я виноват, что таким родился? Что ж ты меня подпекаешь, думаю, душа сучкастая! Мазануть бы тебе ложкой по лбу за такие слова.

Но — терплю. «Спасибо, бабушка, — говорю, — нахлебался...» «Крестися теперя! — Калина в ответ. — Как, как ты, идол трисподний, крестися? Двумя перстами крестися... Щепотник, антихрист!»

А я отвечаю: «Крестюсь я, бабушка, как мать с отцом научили. Так что извиняй. Рука в два перста не сворачивается...»

Как жаром в лицо ей мои слова. Вскочит, руками, как курица, взмахнет — и пошла вокруг меня хромать-пританцовывать. «Удю! Удю! Удю на тебе! Поганый! Антихрист! Нечистый!» «Да где ж я буду чистым? — я ей в ответ. — Вы ж баню мне не истопите...» «В баню? Тебя, идола, в баню? Дух чистый поганить? Удю на тебе! Удю! Удю!» Раскричится, разбежится, глаза как у припадочной, вот-вот пена пойдет изо рта. А потом, залыпавшись, палец сучкастый вверх встроит: «Пагади-и-и-и! Пагади, семя твое поганое! Арханделы протрубят! Арханделы усе-е видют! Усех вас, поганых, на суд Божий покличуть! Кипеть будете в казанах, в смраде адовом кипеть будете. Все, все! Все! А мы к Богу у сенцы, у райскую жись пригарнемся...» — И захихикает, аж голова трясется, все тело трясется, вот-вот кожа порвется и лопнут жилы. Рот расщерит: зубов и в помине нету — все съедены.

«Да, — себе думаю. — Тебе, бабушка, только в сенцы к Богу — святых пугать. Хоть бы ты уже вышла, думаю, скорее, оставила меня одного».

Вижу, она притомится, мучениями адовыми мне погрозит — и, слава те, Господи, дверь хлопнет...

Один остаюсь. Посижу чуток. Послушаю, как щи в животе кишки ополаскивают. Эх, думаю, жизнь, скука тошнотная. Да что тосковать? Опять за работу примусь. Чурбак липовый меж колен стисну, сижу, маракую: как бы его расщепить, без отходов? Долго лучину жгу. А глаза смеркнутся — выйду из хлева, к стене прислонюсь и на небо гляжу.

Тихо вокруг — ни огонька, ни блесточки. Только стены хат белеют — спит община или детей производит, Богу угодных. А я сижу себе, и сон меня не берет. О чем только не передумаешь, глядя на небо! Какая бы жизнь у тебя ни была, длинная или короткая, а все вспомнишь. Все закутки в памяти пересчитываешь и все теплый один отыскать захочешь. Долго сижу, гляжу в небо. Иной раз, если в субботу, то голоса «братьев»-«сестер» прокручиваются в сознании: «Господи! Спаси нас! Господи! Сохрани нас...» Я голову в небо вскину, аж шея хрустит, — где ты, Господи? На какой живешь звездочке? Ты, может, выше всех нас, а только и я не соринка в мире и не пустой цвет, я человек, на муку родился, работать родился, думу в себе носить, надежду на радость. «Спаси нас...» Да как же ты можешь меня спасти? Как же ты можешь за всеми с верха уследить? И от кого спасти? Разве есть на свете враг, пострадавшей, чем я сам в себе? Да ведь самое трудное в жизни — врага этого победить, себя самого сохранить от зла, от мысли неверной. Что ж мне от Бога спасения ждать? Где он был? Что ж он меня не спас, когда я руками своими сгубил человека. Что ж он не видел? Что ж не сказал? «Аксентий! Не смей! Не смей, Аксентий, руку на человека ложить... Пусть он тебя терзает, пусть жилы с тебя вытягивает. А ты стерпи, стерпи...»

Что ж не сказал так? Значит, не видел меня. Выходит, не видел... А может, он и не каждого видит? Кто ж его знает...

Голову опущу, глаза прижмурую, себя самого закрыть на все клепки хочу. А только не получается — напрала вижу. И хоть бы раз в злобе, досаде, насмешке он мне явился — нет, в жалости. Глядит на меня, как брат на брата, руками мои руки гладит, просит, жалобно просит: «Пусти... Боль-

но! Мне больно...» Я ладонями уши стисну, спрятаться сам в себе хочу, чтобы не слышать, не видеть, — и снова ничего не выходит. Все во мне. И никто меня не спасет от себя самого. И не будет мне больше покоя в жизни. Куда б ни пошел — всюду себя самого буду нести. Сам я себе и тюрьма, и могила.

Так и сижу онемелый, во тьму ночную гляжу. И на душе темно, и в мире просвета не видно. «Выбраться надо, — стучит в висках, — на свет надо выбраться». А куда? Куда? Что впереди будет — не знаю. В обратное заворачивал, в Бульбоки память тянула. Хату нашу вспоминал, мать, отца, сестер своих, старосту и дочку его, Виорику. И вся та жизнь мне близкой казалась. Сердце замрет, потом, как воробушек, вздрогнет, сквозняком обдастся, и вроде из себя самого руки протягивает, каждый денек прожитой жизни на ощупь взять хочет. Вот они все, вот ближний самый... На винограднике мы всей семьей. У каждого по корзинке. Сестренки мои младшие, Флоричика и Ленуца, за юбку матери держатся, виноград едят. Рубашонки засахарились, личики замурзанные. И я виноград собираю. Мать оборачивается, глядит на меня из-под руки: «Все! Бросай, Ксентий! — кричит. — Вечерять пойдем!» И ко двору идем. Солнце нам в спину светит, и тихо так, мирно в закатном часе... А вот уже другой день — зима. Рождество. Отец из Карагмета приехал. Стоит на пороге. В черной шапке бараньей, и пахнет от него махоркой и базарным вином. Улыбается нам, и мы знаем — гостинцев привез. Были такие пряники расписные — лошадки, петушки, жаворонки, — твердые, не угрызешь, да еще на морозе окрепли... А нам радость. Во двор выбежим. А там дядя Михайла — резчик, сосед наш по дому, кабанчика нашего заглом: лежит он, соломенной обложен, и дух стоит жаркий от огня, шмалено! Кожицей пахнет. Мать, сидя на корточках, обшмаливает спину кабанчика пучочком горячей соломы. Сестры бегают вокруг дяди Михайла: «Дядя! — кричат. — Отрежь уха!» Михайле не жалко — чик ножиком! И вот вам, пожалуйста, солью посыпьте и ешьте, не подеритесь...

Праздник! Вижу, все эти давние дни вижу, и на душе моей легче станет.

Что же так? Что же так получается, что только на чужбине свою родную сторонку душой и сердцем оглядывать и понимать начинаешь. И вроде ты уже там, дома, вроде вернулся...

Встрахну головой: нет, сижу на чужом подворье — беглый не беглый, батрак не батрак — один сам с собой. Один сам в себе. И темень ночная вокруг, а сверху, с боков звезды глядят на меня. Может, кто из родных моих тоже на звезды глядит, может, бабушка моя Доминика из хаты вышла, глянула в небо. «Бабушка, — шепчу сам себе. — Услышь ты меня... Звезды над нами одни... Помнишь, как я еще малым был и мы вместе с тобой во дворе сидели вот так же ночью, и я тоже на звезды показывал пальцем? «Глянь! Вон там в кучку собрались. А там ковшик с ручкой!» А ты мне ответила: «То не ковшик, сынок... То повозка одной вдовы... Видишь, дышло?» «Вижу, вижу! А вдова где?» И бабушка мне рассказала, как жила одна вдова в Тихих Троянах, что через поле от наших Бульбок. Одолжила она под субботу волов у соседа и поехала в Карагмет, на базар. Ехала, ехала да по дороге заснула. А когда протерла глаза — глядь! Повозка стоит. И волов нет. Воры украли... Вдова осерчала. Слезла с повозки и пошла по дороге волов искать.

Бабушка Доминика мои волосы погладила, глянула в небо: «Так и стоит эта повозка. Дышло в землю уперлось. Видишь?» — «Вижу, вижу», — шепчу. И голос свой, себя малого слышу, себя самого вижу поздним вечером возле хаты. И бабушку вижу, и сестер, и отца с матерью. Может, они сейчас все на звезды глядят и меня вспоминают. А я здесь, в чужой стороне. Сколько же мне здесь сидеть? Господи! Да что я, в тюрьме? На каторге? Не-ет! Хватит. Завтра хозяйину за хлеб-соль спасибо скажу и пойду себе с Богом к дому родному...

Так и задумал. Только жизнь мою думку опередила.

К обеду, на другой день, только-только успел я хлев почистить, гляжу — с румынской стороны царь-господарь скачет верхами. Я дверь на затулку и в яслях сховался. А мог бы, скажу наперед, не хвататься. Штаны на мне домотканые, рубаха такая же. Чем я не человек Божий? А потом

думаю — не-е-ет! Поставь меня в ряд среди общинных людей, слепой углядит, что не ихней породы. Любого, каждого из них взять — все на одно лицо: русоволосые, ясноглазые, а я, что бук среди осины вклепаюсь, и волосы у меня черней смолы, и гляжу в косяк из-под лба.

Посидел я в яслях чуток, к двери подошел, выглянул в щелку.

Царь-господарь с коня слез. Обличьем не тот, что раньше бывал, — посуше и строже. С ним человек с карабином, вроде охранника. Царь-господарь фуражку снял, пот с лица вытер, френч зеленый оправил, расслаживаться долго не стал — на крутояр все оглядывался. Бумагу из френча вытащил и резким голосом Викулу Терентьичу:

«Слушай приказ! Коров и овец гоните в город. За неподчинение — смерть!» Бумагу Викулу Терентьичу в руки. Сам в седло скок, ни овцы, ни мяса парного не взял — ускакали.

Пыль осесть не успела — снова копыта стучат, только с венгерской стороны крутояра. Еще один царь-господарь скачет верхами. В сером френче, в каске блестящей. И тоже обличьем мне незнакомый. С ним трое карабинеров на мыльных конях. Спешились, дух перевести не успели, а бумага уже наготове.

«Слушай приказ! — выкрикнул царь-господарь. — Коров и овец гоните в наш город! За неподчинение — смерть!»

Братья и сестры сбились в кучу, как овцы покинутые. Викул Терентьич поперед вышел, царю-господарю поклонился и говорит:

«За что ж ты нам, батюшка, смерть обещаешь? Мы — Божьи люди... Мы с властями усякими жили в мире-согласии. А что с нас причитаеца, мы завсегда исправно и в срок отдавали. Пошто нас сичас забижаитя? Жизньность и хлеб — наша крепость...»

«Молчать! Большевиков ждешь?» — распалился голосом царь-господарь. А карабинеры затворами щелкнули.

«Никого мы не ждем! Хрест даю! — забожился Викул Терентьич. — Хрест! Истинный... Никого мы не ждем... Никого нам не надо... Миром могу побожиться...» — И упал на колени: бороду ветерком обдувает, в глазах слезы стоят. И все, кто был во дворе, на колени попадали. Мужики затянули басами: «Господи! Услышь нас! Господи, спаси нас...» А молодичи, и дети малые, и старики старые в припевку им подтянули: «Святой Боже! Святой Крепкий...» И вдруг — чудо! Молния в ясном небе сверкнула, и гром пронесся над крутояром.

Братья и сестры утихли, руки вверх вскинули. Сестра Викула Терентьича, хромая Калина, вскочила, задрожала, заплакала: «Божье знамение! Братья и сестры! Божье знамение! Арханделы в трубы трубят! Бог нас услышал... Бог! Бог...»

Царь-господарь каску снял, похлопал себя по карманам, сигару достал. Пых-пых! — прикурил, на братьев-сестер глянул как на детей несмышленых, в усы усмехнулся:

«Бог... У вашего Бога тяжелые пушки...»

«Под землей не спрячетесь!» — поддакнул карабинер из охраны. И снова все на крутояр глянули. Оттуда и вправду — не Божье знамение — пушки постреливали. А братьям и сестрам все радость. В пыль землю ногами топчут, руки вверх тянут: «Бог! Бог нас услышал...»

Только Викул Терентьич, вижу, утих, тоже на крутояр поглядел, голову опустил — и царю-господарю:

«И что же нам делать теперича?»

«Что делать? — Господарь пепел с сигары стряхнул. — А что в приказе написано: скотину гоните в наш город...»

«А самим куды?»

«К Богу ступайте!» — И усмехнулся, а карабинеры захохотали. Прыг на коней — и только пыль из-под копыт.

Крик в общине поднялся. Люди, как в улье распуганном, забегали, запричитали. Старики молятся, дети плачут.

Викул Терентьич в хату вошел, рубаху субботнюю надел, на грудь крест, под мышку книгу с застежками.

Встал посреди двора, перекрестился, книгу поцеловал и руку поднял.

«Братья и сестры! — крикнул во весь голос. — Пришел край нашему стойбищу христианскому! — И к крутояру голову повернул. — Антихрист

идеть! Он не помилуеть... Ни креста! Ни могилы! Все пожгеть и порушить... Сбылось! Сбылось Святое Писание. За грехи наши сбылось...»

Братя и сестры на землю попадали — криком кричат. Викул Терентьич сызнова руку поднял:

«Цыц! — И голосом громче грома небесного: — Слухай мене! Все добро оставляйте! Детей малых берите, стариков, матерей. И с Богом! Вера с нами! С нами Господь-спаситель...»

К хлеву, гляжу, направился. Акимка следом, не в обгон, а сбоку. «Тятя! — кричит. — Что ж будем делать, теперича? Куда скотину погоним? В какой город?»

«Мы с ими в расчете... — Викул Терентьич в ответ. — Телят, овец выводи... А коров яловых, тельных Богу на милость... — И на меня глянул. В первый раз, может, за все время, как на равного глянул, даже голос его был не приказной, а схожий с отцовским: — Ну, бессараб, спаси Христос тебе. Ступай с Богом... Я тебе уже не хозяин.»

Взял я котомку, спустился в распадок вдоль кручи. Передохнул, оглянулся.

Огнем хаты горели. Жаром в лицо стегало. А по сердцу кнутом.

Сколько воды с той поры утекло к морю с Дуная, а забыть — не забуду, как скотина кричала. Человека закрой на запор — все едино, а животное, оно ж бессловесное, ни ума, ни понятия, а жить тоже хочет: в стены рогами бились, плакали в голос — на волю просились.

Да где там та воля? В руках Божьего человека...

Все коровы сгорели, все хаты, сараи в пепел осели. А куда сами братья и сестры ушли, по какой тропке, в какое место, что к Богу поближе, — про то я не знаю.

Не скрестились в будущей моей жизни наши пути-дорожки. Как набрел я на них случайно, так случаем сам с собой и ушел. Не обжился, не зажился — все богатство на мне, ноги босые, и пяток ложек в котомке. Было бы из чего хлебать. Да казана не дали.

Так и шел сам с собой дальше и дальше, в кручу и в кручу. Слава Богу, что хлеба краюху взял, а вода была всюду — где ручей, где протока. Присел передохнуть — виноград-зеленец пощипал — терпко на языке, а водой запил, и вот тебе жив-здоров и на солнце гляжу. Днями оно как маяк над горами светило, птицы веселые пели, воздух душистый, обзорный для виду. А ночью боязно было идти. Темень меня кругом как обручем стянет, тропки не видно, птицы кричат, да не весело, душу выматывают. А то огнем полыхнет над горами. Вроде кто прикурить собрался, да спички сырые. И вот сидит — чиркает, громом ругается: «Та-та-га!» Устанет, передохнет и сызнова: «Та-та-га!» А с другого боку — «Бах-ба-ба-бах!» Кто там? Антихрист? Архандел? Сам Господь Бог? Другой кто? Как тут скумекаешь? Но чую, что пушки тяжелые. Так иной раз разбушуются, уши заткни — не уснешь. Ночь-полночь — небо красное, луна кровавым глазом в лицо мне глядит. Голову вниз опуцу, иду себе, не оглядываюсь.

Долго шел. Вкручь забирался. Ноги об камень до крови стер. Рукава с рубахи сорвал, обмотал пятки, вроде полегче стало, а потом еще хуже, материя к коже присохла, коркой стянулась, мучился сильно, и мысль душу точить начала: «Помрешь ты, Аксентий... Сильный напор ты дал. Передохни немножко...»

Сел меж камнями. Трут у меня был, кресало, сушняки насбирал, костерок распалил — для смелости палево жгу, темень огнем пугаю. Рукам, животу тепло, а спина по ночам мерзла. Сижу, пошевелиться боюсь — все чудилось: шепчется кто-то за спиной. Сейчас, думаю, дадут по микитке — умру без прощенья и покаянья. Умру и мать с отцом, бабушку и сестренку своих не увижу... Пригреюсь, тело печет, ноги болят, и мысли слабеют. «Пусть, — стучит сердце, — пусть и умру. Выгоды от моей смерти все равно никакой не будет». Какая выгода? Что у меня может взять лихой человек? Рубаху без рукавов и душу грешную? Не великий прибыток. И вроде бы осмелею. Камень нагреется — я жар разгребу, притянусь до тепло-го места — и голову в небо.

Низкое в тех краях небо. Звезды одна одной больше и все глядят на меня, душу вытягивают, и вдовья повозка стоит, дышлом в землю упер-

лась. «По дышлу пойду, — сам себе думаю. — Напрямки пойду... Все одно край этим горам будет. Выберусь, ничего, на свет, к людям выйду...»

Какая сила толкала меня? Понять до сих пор не могу, ноги все сбил, иду, как по углям горячим, а все же иду. Шаг ступню — и иголкой до сердца, еще шаг — и еще иголкой. А я зубы стисну — в себе самом остаток крепости удержать хочу. Споткнусь, упаду — и, как в темную яму, вниз головой. Не помню, не слышу, где я и что я. Только в потемках сознания, как звездочка с хмары, высверкнет и зовет, тянет: «Аксентий! Вставай... Вставай, Аксентий. Надо идти, надо дальше идти...»

Голову подниму — гляну в небо. Где ж, думаю, дышло повозки? Нету перед глазами, перекинулось выше, к самому крутояру. Ничего, думаю, я и до крутояра дотянусь. И снова встаю, десять шагов ступню. Где на коленках, где на руках себя вытяну. Сердце в груди на нитке висит, вот-вот оторвется и упадет и я сам упаду камнем с кручи. И снова встаю, снова падаю. И как в яму. Ночь, день шел — время перевернулось. А только в один час почуял — кто-то в спину меня толкает. Я голову поднял.

Двое стоят. Кто они — разглядеть не могу. Один фонариком в лицо светит, второй автоматом пощелкивает. «Ну, все, — думаю, — пришел твой конец». А в сердце хоть бы ударило — нет, молчит сердце.

«Добро пожаловать!» — один говорит. «Здравствуйте, добрые люди», — я отвечаю. А сам встать хочу. Только руками уперся, второй автомат под лопатку: «Кто такой?» «Аксентий Грек, — отвечаю. — Семеныч по батюшке...» «Румын? Мадыар?» — тот, что с фонариком, спрашивает. Голос, чуя, по-дружески, любопытный...

«Нет, братки. Мы с румынами и мадыарами не родня. С Бессарабии, я, из села Бульбоки...»

«Беглый значит?» — И фонарик с лица убрали.

Глаза в темноте блеснули. Молодые оба, а бороды черней ночи. «Беглый...» — повторил снова дружеский голос. Второй усмехнулся: «Знаем мы этих беглых!» «Подожди, Иштван, подожди...» «Что подожди? — Иштван автомат с плеча перекинул за спину, плечи мои стиснул руками покрепче тисков, общупал от шеи до пяток. — А ну, посвети, Стефан», — говорит. И котомку мою вывернул наизнанку. Прусели вокруг меня, ложки разглядывать стали. В ладонях их греют, ко рту подносят с примеркой, меж собой пересмеиваются.

Чудно глядеть на них было, ей-Богу...

Золото, серебро, драгоценность какая была б в той котомке, и то радости столько не было. А тут вроде детей малых стали! Глаза у обоих блесят, по плечу меня хлопают и меж собой повторяют: «Мастеровой! Мастеровой!»

Стефан поднялся. «Вставай, брат! — мне говорит. — Пойдем с нами...»

И повели меня под руки. Иштван впереди. Тихо, как кошка, идет. Шаг ступнет, оглянется. Где кукушкой, где вороном крикнет, и в тот же час кукушка и ворон из темени отзовутся. Стефан сзади, рукой мою спину подерживает. Тропка в ступню шириной. Темень с боков — глаза выколи, а сердцем чуя: живая темень. Шагов с пять пройдем, голос услышим: «Пароль!» «Жаворонок!» — Иштван в ответ. «Проходи». И дальше идем...

Долго шли. Глаза к темноте пообвыкли, сердце стучит, ног не чувствую — два бруска деревянных роднее. Упаду сейчас, как они меня понесут? Спросить, думаю, надо: куда вы меня ведете? А речь ихнюю не понимаю. Иду. Не упасть стараюсь. Голову поднял, вижу — светом теплым блеснуло, дымом запахло, житным хлебом, варевом. Вижу — поляна. Табор не табор, люди сидят у костра, бородатые. Ремнями плечи обтянуты, винтовки и карабины в стойку поставлены. И голос тоненький, вроде девичий, с лаской, с печалью вытягивает:

Запей ми, приятэл, запей ми-и-и...
Майка ти ке ти оздрави-и-и,
Майка ти ке ти оздрави-и-и,
Татко ти ке го пуштима-а-а!

¹ Спой мне, дружок, спой мне.
И мать твоя исцелится.

Мать твоя исцелится.
Отец придет из темницы (серб. нар. песня. Здесь и далее перевод автора).

Меня увидели — как срезало песню. А голос девичий еще в душе моей тянется, и все мне увидеть хочется, кто это пел, кто из сердца такую печаль и тоску выговаривал.

Пригледелся — хлопец у костерка сидит. Чуть постарше меня, безбородый, лицом, и вправду, что дивчина: волосы черные, чуток горбоносый, а в глазах грусти нет, глаза смеются, нас увидел, крикнул:

«Иштван! Где вы встретили этого франта?» А Иштван в ответ: «Пой, пой...» Сели к огню и меня посадили. Каши дали, хлеба дали. Снова меж собой загомонили, ложки мои разглядывать начали. Еще один человек к огню подошел. Все умолкли, потеснились, место ему дали к теплу поближе. Человек присел. Сам невысокий, в очках, плечи в коже, лицом квелый, в кулак покашливает. Взглянул на меня, а глаза сквозь стекло, как каленые гвозди, — насквозь прошивают.

«Мастеровой! Мастеровой!» — в один голос Иштван и Стефан ему, и ложки мои показали. Старшой и не глянул на ложки, ко мне повернулся: «Покажи руки!» На ладони мои поглядел. Что там глядеть — мозоль на мозоли, навозом затертые. «Мастеровой! — кивнул. — Точно...» «Мастеровой! Мастеровой!» — голоса подхватили. Вроде слово это силу какое имело. Все заулыбались, по плечу меня хлопают, старшой очки снял, а глаза, вижу — усталые, может, не спал человек и давно уже не спал.

«Пойдешь с нами?» — спросил. «Можно, — я отвечаю. — Только какой из меня ходок? — И на ноги свои показываю, пятки аж посинели. — Мне б до дома, до хаты...»

Старшой кивнул: «Ладно, ночуй с нами. А завтра иди... — И снова на меня глянул внимательно. — Да-а! На франта ты очень похожий».

Дали чем тело прикрыть. Один куртку кинул, поверху кожей, а снизу мех; второй — штаны солдатские. Шапку дали.

«Носи на здоровье!» Взял я одежду в охапку: «Спасибо, люди вы добрые. Век вас не забуду... — И ложки свои в руку старшому. — Вот, возмите... Чем богатый...» А он очки надел и руку мою сильно стиснул. «Нам не надо, — сказал и закашлялся, голову поднял на горы, на звезды, себе самому наказал тихо: — Война кончится, у каждого своя ложка будет и хлеб свой будет...»

На зорьке они с места снялись. Костерок затоптали, винтовки, карабины, диски с патронами за плечи, узлы, амуницию ремнями связали. Быстро, ладно — люди военные. Каждый меня по плечу: «Счастливого пути, мастеровой!» И на сход солнца дорогу мне показали.

Пошел я. Пяти шагов ступить не успел, слышу зовут: «Бессараб! Бессараб!» Оглянулся. Тот паренек, что песню про мать и отца пел девичьим голоском у костра, следом бежит. Я его с вечера больше не видел: он в дозор пошел вместо Иштвана. А сейчас, значит, уже сменился. Догнал меня, говорит:

«Вниз идти будешь, село будет по правую руку... Минуй... Дальше иди, еще одно будет. На левую руку... Каледец... Хата крайняя, под черепицей... Моя хата. Зайди... Савко Торбич, скажи, жив-здоров!»

«Ладно, — я отвечаю. — Зайду...» Он мне руку пожал, на ноги глянул, — а я их обвязал шкуркой от овечьей холки, дали добрые люди — ступать не так больно. Вижу, он головой покачал, присел на камень, ботинки снимать начал.

Хорошие были ботинки: до самых колен, кожа желтая, на шнурках, да только не на мою ногу стачал их сапожник — ладонь еще можно сунуть, а ногу, да еще, как мою, распухшую — не получится.

«Спасибо тебе, — говорю, — Савко! Спасибо от сердца. Мне босым легче...»

Он кивнул. Шарфом своим, теплым, овечьим, шею мою обвязал, по плечу похлопал:

«Каледец! Запомнил? Савко Торбич жив-здоров!»

«Запомнил, запомнил...»

Обнялись мы. Щеки у него были, точно как у дивчины. Глаза блестят.

«Счастливого пути!» — крикнул.

Я дальше пошел. Спать не спал — шел. С горы идти легче. И сила у меня в душе выросла. Откуда взялась — не знаю. Ночь у костра погрелся с людьми. Кто они? За какое дело воюют, про то я не знал, а на душе легче. Согрели меня, куртку дали, штаны крепкие. Ботинки Савко с ноги снял. На, Ксентий, носи, от сердца, от теплого тела...

Кто и когда вот так последнее мог с себя снять и отдать? Не помню такого случая в жизни. Лишнее — да! А последнее... Нет, этого больше не было.

Иду — греюсь душой, голоса этих людей слышу, лица их вижу — всех: старшого, Иштвана, Савки. И песню Савкину про мать и отца вспоминаю. И легче мне, и теплее. Вроде они мою душу подняли и крепкой клепкой склепали — живи, человек, помни: есть добрые люди на белом свете. Крепкие люди. Сильные. Что ж в них за сила была? Где они ее брали? А, видно, была, видно, верили, что скоро война окончится и каждый простой человек будет иметь свою ложку и хлеб свой. Каждый... Дай Бог им, думаю, всем удачи, здоровья. А мне пути скорого...

По солнцу, по звездам шел. Под утро, уже не помню, какое, проснулся. Вижу: стою на склоне горы. Воздух рассветный, что Божье вино, — пьешь, не напьешься, а снизу, в долине, как легкая шаль, туман стелется — где травка, где дерево, где кусты — все в росе, и листья где рыжие, где с подпалиной, а где с зеленой, и крыши видать чуть дальше, красные черепичные, и густо так, как соты медовые, пораскинулись. Между домами улочки сохлыми ручейками стекают в долину, а по склону лошадка мухортая ящик на двух колесах катит. Возница шляпой прикрылся — спит, а может, скучает в печали-тоске, где б душу грешную опохмелить. Копыта цок-цок по камням стеклянными палочками вызванивают.

«Первое будет село — минуй! — наказ Савкин вспомнил. — Кругом минуй, а второе, на левую руку, — зайди».

Минул. Кругом пошел. Полею, по кукурузе, потом виноградником. Сердце забилось; земля, воздух, с бессарабским схожий, и кукуруза, точно, как и у нас, сухая уже, и лоза тоже убранная — ни гроздочки на кустах, листья посохли. Я немного еще прошагал склоном, и вот оно, точно, увидел село, что Савко сказал. «Не к своему дому ты, Ксентий, идешь, — самого себя упрекаю. — Не туда, где ночами дышло повозки показывало». А надо, надо зайти, человек попросил, надо уважить. К тебе отнеслись полюдски, и ты будь человеком.

Спустился со склона, крайние хаты прошел. Окошки, гляжу, камнем подбитые, занавески на окнах расписные. Ни звука, ни голоса, а мне чудится, что за мной из окошек этих следят, еще шаг ступню — схватят, в упораву сведут. Начнут разбирать: кто я? Откуда? Что скажу? Ни паспорта у меня, ни справки — одна душа, без печати. Ничего, думаю, заранее помирять не буду.

Подкрался к калитке, хромать позабыл. Легонько нажал — на запоре, как и положено. Я подождал немного, пока сердце утихнет. Стукнул легонько — собака залаяла. Да с такой радостью, что вся собачья родня ее с краю села отозвалась. Сейчас и люди на ноги, думаю, встанут. Сердце забилось, как у зайца в силках, — вот-вот из груди скаканет. Ноги без приказания сами в обратный ход бежать навострились. Только шагнуть думал — чуло, кто-то во дворе дверью хлоп! «Цыба!» — собаке. Та утихла в момент. Калитка, гляжу, приоткрылась. Молодица в черной шали стоит. Лицом белая, глаза, как маслины, а брови — дугой. Глянула на меня, будто ожгла по лицу. Сейчас, думаю, хлопнет калиткой, и нету. Я тут же и высказал: «Савко Торбич велел передать, что жив и здоров!»

«Слава Богу! Слава Богу!» — Молодица руками всплеснула, во двор меня потянула, калитку закрыла. Глядит на меня. Шарф, что Савко мне подарил, ладошкой поглаживает, по-своему что-то лопочет. Имя Савкино повторяет. А глаза у самой так и светятся, щеки порозовели. «Слава Богу! Слава Богу!» — повторяет и в глаза мои, как на полку, заглядывает, потом ноги мои увидела, головой покачала. «Пойдем! — повела меня под навес, позвала во весь голос: — Отец! Отец!»

Вышел из хаты старик. Крепкий, сухой, как лоза. В теплых носках, в постолах, в куртке овечьей. Нос, как у Савки, с горбинкой, усы, брови се-

дые. Коршуном на меня глядит, так глядит, вроде я виноват, что Савко жив и здоров.

Я молчу, он молчит. Только глазами с меня смерок снимает и вширь и в косяк. Потом усмехнулся, усы прижал двумя пальцами, спросил: «Вот такие оборванцы воюют?» Молодица на него зырк глазами. И что-то свое забалакала, резкое, быстрое. Старик от нее отмахнулся и приказал: «Корми человека». Сам трубку из куртки вытащил, закурил, дымком на меня пахнул, да таким духовитым, что я гляжу на него и, сказать что, не знаю — или сперва закурить попросить, или напиток, а может, поспать суток с двое...

Дали мне и напиток, и выспаться. Но сперва накормили. В кухню меня повела молодлица. Огляделся я, и почудилось, будто в хату родную попал. Суслем живым, виноградным пахнет. Чесночок висит на стене. Братик двоюродный, перчик — рядышком.

За столик меня усадили. На столике — не щи Божьих людей, наша, бессарабская пища — брынзы овечьей кружок, мамалыга, еще горячая, на рушнике с петухами. И глечик вина посередке. Цветом — темнее чуток, чем наше, домашнее, а вкусом — не отличишь. Начал я есть, пить. А молодлица со стариком сели рядышком, по-своему что-то балакают меж собой. Сперва непонятно мне было. Потом раскумекал. Они слово по-русски скажут, два по-хохлацки, третье молдавским приперчат, а все в кучу смешать. вином размочить — и будет по-сербски. Все понимать начал. Сидим мы втроем. Столик низенький, как и у меня дома. По-людски сидим, по-родственному. И я уже не «нечистый», как Божьи люди меня считали, я такой, как и все.

А что еще человеку надо, когда к нему как к брату, без всякой преграды!

Я еще стакан выпил. Молодица мне третий налила. Я и третий сумел усадить. Брынзой и перцем жареным закусил. Ем — за ушами потрескивает с непривычки. А они на меня глядят. Старик, отец Савко, и жена Савкина. Платок свой черный сняла — лицо белое, с розовинкой, что яблочко круглое, в ушах серьги, как два полумесяца, на шее монисто вишневое, а руки быстрее глаз бегают и за мною ухаживают. Тут, гляжу, дверь скрипнула — дети вышли, две девочки, крохи малые, и мальчонка лет семи худенький, смуглявый, глазенки горят — вылитый Савко.

Молодица ему: «Миклош! Что босый? Тут зябко...» А Миклош не слышит, усталлся на меня, и боязно ему, и любопытно, что это за гость такой ранний пожаловал. Я его пальцем поманил: «Иди, иди, усюбнуйся, — хлопчик, сюда...» Он на деда глянул, на мать. Молчаливое одобрение получил — подошел. Теплый, сонный еще, волосенки черные, тоненькие, мягкие, и такой весь, как лозинка, худенький. Эх, думаю, был бы какой-никакой гостинец — свистулька глиняная или ножик, — подарил бы тебе за знакомство, а так извиняй — нет у меня ничего. В котомке для вида пошарил, ложку достал, что размером поменьше была. «На! — в шутку сказал. — Будешь борщик хлебать...»

Тут отец Савко голову вскинул. То сидел чинно-смирно, по-хлебосольному, по-хозяйски — трубку покуривал. А ложку увидел — глазами колючими зырк на меня: «Купил где?» «Нет. Сам сделал...» «Сам? — Ложку взял, общупал ее, в пальцах помял, на вес опробовал, усы пальцем разглядил: — Мастеровой... — И крикнул невестке: — Эй, Христина! Вина принеси...» Налил мне и себя не забыл, на полный размах: «Выпьем, мастеровой!»

«Во-о-о! — говорит Христине. — Дело жизни! Власть за тебя работать не станет... Тито придет, другой кто придет. Что? Они будут работать? — И в окошко на горы голову повернул. — Свобода простому народу... Знаем мы эту свободу!»

«Отец!» — Христина заволновалась.

«Что — «отец»?» — И снова на горы глянул.

Христина глазами сверкнула, и пошли меж собой ругаться... У нее голос звонкий, у него — на басах. Тут вино уже не подмога — ничего непонятно. Потом, вижу, старик хлоп кулаком по столу и на меня показал.

«Вот! Он — чужак. А мне ближе. Он — мастеровой. А Савко что? Песни мастер спевать твой Савко!»

Христина Миклоша за руку, ногой стулец откинула и как ветром с кухни — хлоп дверью!

А я и не рад уже. Сижу, в стол гляжу. Ни есть, ни пить уже не хочу. Пропал аппетит. Жалею, что ложку с котомки вытащил. Из-за меня, получается, поругались люди...

Хозяин, гляжу, приутих. Вина мне подлил, говорит:

«Что мне новая власть?» — И руки свои показал мне. Глянул я. Куда там моим мозолям! У него ладони — кора дубовая, гвоздь бей — не пробьешь. Пальцы скрюченные, побитые, измученные: лозу под корень сруби — будут похожи, а жилы в запястьях стянулись — вот-вот кожа лопнет. «А? Видишь? — глазами меня высверливает. — Тито будет работать? Другой кто будет работать? Не-е-ет! Они погонять будут. А ты войой за них».

Утих. стакан вина выпил и руку свою на плечо мое положил: «Пойдем...»

Вывел во двор. Собака сперва на меня заурчала, а увидала хозяина — и в будку задним ходом. Старик под навес, за калитку, к сараю. Дверь открыл, гляжу — бондарня. Солнце пробилось за нашими спинами, огнем полоснуло по стенам — все в один мах осветило: верстак, инструмент — шершебуки, рейсмусы, циркули, фуганки, киянки разных фасонов. А в закутках, всюду, где место свободное было, — бочки, бочонки, какие готовые — на продажу, какие в работе, а где клепки, гляжу, под прессом. И деревом чисто пахнет. Стою, дышаю, приглядываюсь.

«Вот она, свобода простому народу, — хозяин мне говорит. — При любой власти»...

Подошел к верстаку, киянку и долото взял, обруч на клепках подправил. И на меня глянул:

«Ну что? Спробуешь?»

Что мне было ответить? Извиняйте, простите? За хлеб-соль вам спасибо — и дёру?

Нет, не сумело такие слова сердце вытолкнуть.

Надо, думаю, подсобить. С меня не убудет. До дому, до хаты всегда успею.

Стал работать с хозяином. Тудором его звали. Тудором Торбичем. Мастер-бондарь он был, каких уже в тех краях нету, а в наших — и говорить нечего. Бондарное дело свое понимал. А бочки клепать — не ложки точить. Тут мастерство, тут работа — вспотеть вспотеешь, а высохнуть некогда. В две руки без подмоги не просто управиться. А Торбич справлялся, хотя обиду на Савко в сердце держал. И я его сейчас понимаю. Савко был его помощь, как обруч для сцетки. А тут — на тебе! — соскочил, в горы подался. Семью бросил, детей, жену. Какая от этого старику радость? Как ему одному было с работой-хозяйством справляться? В годах уже был человек, силы не те, что у молодого. А бочку от клепки до чопы собрать — и голову и здоровье надо. Дуб, акация — легче дерево на распилил не годится. А тяжесть какая? Акацию взять. За межой этих акаций лес добрый стоял, а одной дрючины прямой не найдешь. Каждая с заковыкой. Спилить ее, ошкуришь, она вроде гладкая, а после сушки в расколе глядишь — одно волокно в шерсть, второе против, а посерединке сучок с загогулиной. И вручную пилить было надо, без техники, старым способом. От дедов-прадедов у Торбича приспособление было. Под крышей бондарни два бруса лежали. Торбич бревно туда вгонит, пилу под комель подстроит. Один конец на толстой резине, второй в руки — и пошел пластовать. Вниз резина с натягом, вверх сама себя тянет. Подергай, попробуй. Дергал. Не год и не два — всю свою жизнь. Жилы на шее, как у лозы пасынки, толщиной с палец, рубаха мокрая, опилки на шляпу дзурчат. А он стоит себе, ноги в упор и вжик-вжик! Вверх-вниз! С полчаса потягал — на ладонь длины пропилил, клин в распиловку вбил, сел на чурбак у двери — грудь ходуном ходит, табака в трубку набьет — пальцы трясутся. Затянулся раз-другой, и весь тебе перекур. Встал, поплевал на ладони — и снова за пилку: вжик-вжик! Вверх-вниз! Дышит как загнанный, с лица пот течет, схудал лицом, один нос торчком, а упрямства на двух толстых хватало. Христина в бондарню войдет: «Отец! Пойдем есть!» А он и не обернется, скажет на выдохе: «Успеем». И знай себе на ручник нажимает: вжик-вжик! Вверх-вниз! К обеде, глядишь, два

локтя в длину акации распилил. Норма. Он эту норму держал — ни больше, ни меньше — два локтя. Чтоб упрямство в душе щелку не заимело. И что интересно: меня не силовал. Не попросишь помочь — не прикажет. Попросишь — пожалуйста. Я впересменку стал, за ручник пилки взялся — как лаком ручник был покрыт от рук Торбича, — нажал, и быстрее дело пошло. В первые дни руки мои были, как деревянные, — хоть отруби и выброси. И вроде молодость и здоровье имелись. А сноровки не нарастил. Спина ломила, мозоли на пальцах до крови натер. А тоже характер держу.

Тут Торбич с советом: «Ты сильно не дергай! Не дергай, Ксениш...» И стал мне показывать. Как конструкцию делать, как клепки гнуть на шаблон, где какую поставить.

Сколько жить буду — а не забыть, как первую бочку сделал. В бондарском деле есть чудо. Возьми клепки в россыпь — куча дощечек, а собрал — новый предмет родился, пальцем стук — воздух внутри гудит. Значит, живет бочка. Радость была, когда первая родилась... И я телом окреп, и силы прибавилось, и душе легче. Уставал уже меньше, в хозяйстве обжился, балакать по-ихнему научился. На жизнь Торбичей поглядел.

Зажиточно они жили. Но себя не обжимали, а все в меру. Хлеб даром не ели. Работать — работали, но и отдых не миновали. В каждое воскресенье, а особенно, помню, на Славу¹, старый Торбич черный костюм надевал, жилетку, галстук, шляпу с пером — глянешь на него — министр. Я еще в ту пору заметил, что в том краю среди людей не было расфасовки, кто ты — бондарь, сапожник, строитель — неважно: там мастерство ценилось. А по одежде, что мастеровой, что высокий чин, — не отличишь: все парадный выход имели. Хозяин особенно, помню. Шляпу с пером на левое ухо нацепит, тросточку в руку, голову вверх, спину дугой — и со двора на площадь. Христина тоже причепурится, платье наденет, по моде, с оборками, жакетка по талии, сумочка лаковая на локте. Дочки, две девочки, в белых платьицах. Миклош в матросском костюмчике — в церковь пошли.

Под вечер все село на площади скутится: старики в корчме винцом греются, молодые танцуют. Скрипка смеется, барабан с перезвоном гудит. А я во дворе сижу — слушаю.

На первых порах боялся на улицу выйти, думал — жандармы схватят. Старый Торбич меня успокоил: «Кому ты тут, хлопец, нужен? Сейчас вся земля на раскол пошла... Мимо Каледца много люду проходит. А мы тебя за родню впишем...»

В управу сходил, начальство подмазал — живи себе и не бойся...

Сильно ему по душе было, что я не ленюсь до работы и дело бондарское уважаю.

В воскресенье пару стаканчиков хлопнет в корчме, домой под вечер вернется и давай сам себя завинчивать: «Кто я есть? — спрашивает. — Я есть Тудор Торбич... Мастер... А что есть такое мастер? Киянкой стучать? Не-е-ет! Киянкой стучать и клепки насаживать — это тебя все научат. А вот, как душу свою не втерять в мастерстве, это — наука! — Динар из жилетки вытащит: — О! Видишь? Одна монета! А душу может закрыть без зазору! — И палец вверх: — Не гонись за динаром... Знай, главное дело — умрешь, а душа твоя в клепке. И клеймо. Понял? Люди глянут: кто бочку делал? Тудор Торбич. Клеймо на поддоне...»

Я слушаю. Все верно, все правильно, думаю. Не знаю, как душу, а потом моим клепки смочены. Клейма, правда, своего у меня еще не было. Это хозяин, как бочку склепает, на днище прижмет «ТТ» — Тудор Торбич. Но ничего — клеймом разживемся, а динаров парочку мне бы сейчас не помешало. Обносился, как цыган бродячий. Штаны, что в горах мне люди добрые дали, сопрели, протерлись на лытках — грех видно в ширинку. Стыдно было перед Христиной. Сказать бы хозяину, думаю. Но он и сам увидел: «Тебе надо, хлопец, обнову! Мастер и с виду должен быть мастер...» В Белград поехал, костюм мне купил, шляпу, ботинки лаковые, галстук. «На, меряй... На глаз бра...»

Глаз у него был — верный. Все впору пришлось. Сукно на костюме добротное, табачного цвета. Прикинул пиджак, шляпу на ухо нацепил. Другой человек.

¹ Праздник святого покровителя семьи у православных сербов.

Вечером бондарню закроем, хозяин на площадь. А Христина — по хате хозяйкой. Детей спать уложит, выйдет во двор — чую, мается. Руки на груди скрестит, за село поглядывает. А иной раз затынет, не голосом — сердцем. Тихо так, жалобно:

Крылат орлэ-э савхр о горэ-э-э,
Зелен борэ са срдг горэ-э,
Бору сграну осушишэ-э-э,
Орлу крыла опадышэ-э-э¹.

И утихнет, пригорюнится, голову долу опустит. На меня глянет, и, где б я ни был в тот час — на подворье, в бондарне, — спиной глаза ее чую. Сердце затерпнет — утешить ее хочу, а робею — все же хозяйка. Рядом станет, а на приступке вроде. Раз подошла ко мне — я трубку курил за бондарней, чую шаги и дыхание — мятой, чистым теплом.

«Расскажи о себе...» — И в глаза мне глянула, как пером лебединым щекотнула по сердцу. «Можно, хозяйка», — я отвечаю. Стал рассказывать. Про Бульбоки наши, мать, отца, сестер вспомнил, про то, как в армию меня взяли. Как и что там у меня было с капралом, про то умолчал, а про Божьих людей не забыл, все их привычки, обычаи, пищу какую ели — все это вспомнил. Христина молчит, слушает. Нет-нет да и вздохнет, глянет на горы: «Боже мой, Боже мой. Скорее бы Савко вернулся...» «Ниче, — говорю, — хозяйка. Вернется... Даст Бог, войне конец будет».

И оба утихнем — Савко меж нами, как сумерки встанет, — я его вижу: глаза улыбаются, и неловко мне перед ним.

«Война, — Христина вздохнет. — Будь она проклята...»

И снова умолкнем, прислушаемся, глянем на горы. А они, как безмерный ковер, с одного краю зеленый, с другого — темней сажи. Иной раз прогремит, будто коляска бесшинная по камням пролетела. А иной раз огнем полыхнет. Ночью частенько. А днем тихо — жизнь в селе мирно текла. Люди работали. Старики в корчме соберутся, винцом подогреются и пошли о политике спорить. Одни говорят, что Михайлович — хороший. Другие, что вроде предатель. Тито — хороший. Он за народ. А где они оба — Тито и Михайлович? Кто ж про то знает? Кто победит, того и власть будет в этом крае. А ты работай. Тебя победители с собой в ряд не поставят и за свой стол не усадят — там все стулья загода заняты. Ты для них только бочки клепать будешь. Это так — старый Торбич по правде сказал наперед, и на-много вперед.

Постоим мы с Христиной, гляну я на нее, вроде сворую и лицо ее белое и шею с монистами. Самому то жарко, то холодно. А она на меня не глядит, она про меня уже позабыла, молчит, свои думки под сердцем греет. Раз, помню, тоже под вечер, в новой блузке из хаты вышла, в глазах бесенята скачут: «Ксениш! А девушки тебя любили?» «Про то, хозяйка, сказать не могу, — отвечаю. — А за дочкой старосты — было, ухаживал». «Ну-ка, ну-ка. Мне интересно...» Рассказал я про свое ухажерство, как дымарь в хате старосты соломой заткнул. Христина смеялась, потом утихла, на меня глянула. И пальцем легонько к моей щеке прикоснулась: «Рябой... Девушки рябых не любят...»

Я голову опустил — кожу с лица содрать хотелось, и обида вспыхнула в сердце. Глянул на хозяйку, а она улыбается: «О-о! Сердитый какой...»

Постоит, повздыхает — и пошла к себе спать. А я во дворе сижу.

Ночь в тех местах быстрая. Только что солнце на небе играло, глазом моргнуть не успел — черным рядом крыши и горы накрыло: ни блестячки, ни огонька. Вверх как со дна колодца глянешь, а там — рай Божий: звезды мигают, всполохи промелькнут и погаснут, и вот она, перед глазами повозка стоит. Дышло в землю уперлось. Где ж ты, вдова? Где волы твои? Где ты, бабушка моя Доминика? Где мать? Отец, сестры? Может, уже по-вечеряли. Мать лампу задула, чтоб керосин зря не жечь, сидят все за столом во дворе. Мать за плетень выглядывает, шепчет: «Вернись, мой сынок... Вернись, мой родной...» Головой тряхну и в ответ ей: «Как я вернусь, мама?» Может, сейчас в нашей хате жандармы сидят, меня поджи-

¹ Летит орел над горами,
Лес зеленый меж горами,
В лесу ветви высохли,
Крылья у орла ослабли (серб. нар. песня).

дают. Кто ж мне простит смерть капрала? Не такая румынская власть, чтоб прощать. Может, уже и веревку на шею мою намылили. Я ж не своего земляка бессарабца жизни лишил, а ихнего. «С высшей нации...» — как староста любил повторять.

Сильно румыны себя за высших считали. Вспомню, и сердце сожмется — обиду в себя поджигает, чтобы не так было больно себе самому.

Все понемножку вспомнил. Вспомнил, как с отцом в Карагмете с базара шли — офицер пьяный навстречу. Отец шапку не снял, не поклонился. Офицер его в сигуранцу забрал. По пяткам резиновой плеткой стегали. Сутки держали. Вспомнил, как бабушка Доминика глаз засорила — черешню собирала за хатой, порошок в веко попала. Врач-румын двести лей с нее взял и бумажку дал: «На, прикладывай к глазу».

Простую бумажку...

Высшая нация... Быдлом мы для них были... Быдлом последним... Как я вернусь? Разве меня за капрала помилуют? Нет, мама. Нет мне дороги обратно.

Доказываю сам себе, успокаиваю, вроде душу свою от прошлой жизни клепками отгораживаю. Чтоб ни щелинки, ни зазоринки не осталось. А только не получается.

Мыслям заслон не поставишь. Все мысли дома были. Там земля моя. Птица какая и та гнездо имеет, а я человек, там моя хата, там Дунай, там мой воздух, я им дышал, я дунайскую воду пил. Что? Что ж это так? Что же такое родина? Закуток, где я вырос? Мой край бессарабский? Нет. Больше, больше, чем край, — это я сам, судьба моя. Никуда от нее я не денусь, где б ни был, где б ни бродил...

«Так, так, — сердцем шепчу, — сердце тебя не обманет». Голову стисну, гоню все мысли, все думки, и уже вроде не думаю ни о чем, а только на душу камень давит, меркнет душа, будто шашель ее подтачивает.

Хоть бы скорее солнце на небо вышло, хоть бы скорее хозяин бондарню открыл. Буду работать, буду себя спасать. В работе легче, сам себя не сжигаешь, все мысли в руки и в пот через спину выходят. Но это днями, а ночью спасения не было, под звезды тянуло, вроде какая потребность была душу свою поморочить. Я и место себе подыскал: за хатой дрова у Торбичей были сложены, чурбачок рядом. Христина на нем дрова рубила. Вот там и сижу, сам над собой часовой...

Хозяин заметил... Вечером как-то ко мне подошел. Трубкой своей — пых-пых! А я уже и сам табаком был богатый. Добрый табак был — турецкий, цветом, как порох, а запах: не хочешь — закуришь. Старый Торбич возле меня сел. Глаза в темноте блестят. «Ну? Что зажурился, хлопец?» «Не спится, хозяин...» Он руку свою положил на мое плечо: «Плохо тебе у меня?» «Почему плохо? Мне у вас, как в родной хате... И вы для меня, что отец родной...» Сказал эти слова, а у самого сердце открылось, и камень с души сдвинулся. Все рассказал.

Торбич слушал, не перебивая, трубку покуривал. Потом по плечу меня легонько похлопал: «Брось, хлопец. Сам себя сточишь на нитку...» «Что ж делать, хозяин, мысли сами в голову лезут...» Он аж зубами закрипел: «Мысли! Человек сейчас легче пепла... Глянь на горы — день и ночь мастеров убивают». «Так то война! Война... А я, выходит, своими руками...» «Ну и что? Клеща с шеи скинул и каешься?.. Эх ты-ы! Он — Савко! Сейчас, может, с десятком таких капралов, как твой, на тот свет отправил. И ничего! Не кается... Свобода простому народу... А сам забыл, как на бочке донный обруч насаживать...»

И умолк, долго молчал, на горы глядел, потом сказал, вроде сердцем выдохнул:

«Ничего-о-о! Вернется... Никуда он не денется...»

Вернулся... Только не своим ходом. Двое друзей в ночь-полночь привели его под руки.

Дождь, помню, сильный шел. Молния, гром гремел, небо прорвалось, и лило три дня и три ночи без перекуру. Куртка на Савко кожаная была. Сверху от дождя мокрая. Снизу — от крови...

Христина лампу зажгла, лицом белая сделалась: «Савко! Савко, любимый...» А он на нее глядит, не может признать. Христина в слезы. Ста-

рый Торбич на нее цыкнул, калитку закрыл. Друзья Савко в большой комнате, под иконами, положили. У дверей как немые стали, шапки в руках мнут, друг на друга не смотрят.

Тихо в комнате стало, только слышать было, как дышит Савко. Тяжело он дышал, с хрипом, с кашлем. Старый Торбич лампу взял со стола, подошел к нему:

«Что, сынок? Добился свободы простому народу?»

Христина слезы утерла: «Отец! Отец...»

А Торбич свое: «Добился?»

Савко молчал. Не узнавал никого. Я стоял рядом. Ботинки с него снял. Те самые, высокие, до колен, на шнурках. Вспомнил, как он мне давал их. Каблуки с металлическими подковками — носить не сносить. Да, видно, думаю, не надеть ему этих ботинок. Лицом побелел, губы жаром обдало, потрескались губы.

Всю ночь мы не спали. И он не уснул. Товарищей звал. А больше, помню, кричал: «Мишко! Подкинь патронов! Мишко! Подкинь патронов...» Всю ночь кричал. Друзья, что его привели, до рассвета в хате пробыли. На рассвете ушли.

Дождь кончился, солнце в окно заглянуло. Савко вроде бы полегчало. Лицом посветлел, огляделся, тихо позвал: «Отец!»

Старый Торбич вскинулся и уже без обиды, упрека, стал перед ним на колени: «Что, сынок? Что? Вот я, вот я тут...» А голос дрожит. Христина тоже к нему подошла. Савко руки к ней протянул: «Христя... Отец... Я дома... Дайте вина»...

Христина ветром махнула из хаты, вина принесла, налила ему полстакана, голову поддержала — он выпил. «Доброе наше вино. А? Самое лучшее наше вино... Верно, отец? А? Отец! Что вы такие грустные? Я дома, дома... — И руки вскинул. — Не надо грустить... Споем... Нашу споем...» — В ладони легонько хлопнул и одними губами не спел — прошептал:

Урану зору, зору...
Кад сванэ дан...
Я идем кучи...
Сам на крестан...!

Ещё одно слово хотел досказать, но не сумел — кровь из горла пошла. Старый Торбич встал, потушил лампу, вышел из хаты.

После похорон неделю не выходил. Тихо стало в подворье. На хату гляну — вроде подпорка упала. Крыша на месте, стены на месте, а человека нет.

Я утром встану, в бондарню иду. Работа стоит, делать надо. Мельник из соседского села бочку заказал на пятьдесят ведер. Расчет клепок мы с хозяином сделали. Под прессом стяжка уже была. Надо докончить.

Работаю и оглядываюсь.

Нету Торбича.

Я сам за клепки. Сам уже понимал, что к чему. Не с руки одному было работать. Но что поделаешь? Работаю. А на душе беспокойно. Клепки до кучи собираю — одна лишняя.

Христина в бондарню пришла: «Отец болен... Ты отдохни, Ксениш... Пойдем есть...» А я будто не слышу.

Стыд меня мучал за Савкину смерть. Вроде я виноват перед ним остался. Сяду перекурить — думаю. В чем я перед ним виноват? Нету моей вины, а виноватым себя все равно чувствую. Вот и сижу, живой и здоровый, а он в землю закопан. Он воевал. За свободу простого народа. Что ж это за свобода? Кто они, Михайлович, Тито? Ясно, что не им бочки делать. За что ж тогда люди в горах воюют, раз они это знают? Значит, что-то еще знают другое? Значит, есть на этом свете дело важнее, чем бочки клепать? Что же я этого дела не знаю? Что ж я не знаю, за что мастера на смерть идут? За что Савко погиб? Видно, он знал за что. Он умирал веселым. Он и там, в горах, людям радость нес, он песни им пел. И все они знали что-то такое, чего мне старый Торбич не досказал. У них семьи,

¹ Ранним утром, утром...
В начале дня...
Я возвращаюсь домой...
Под хмельком... (серб. нар. песня).

дети, жены и сестры остались. А они все равно воюют. А ты? Ты, Ксентий? Кто ты? Ты, выходит, как эта лишняя клепка, места себе в жизни найти не можешь. Нет, нет, себе самому возражаю, я не лишняя клепка. Я работаю. Надо работать. Надо себя самого отругивать начисто...

Трубку в карман — и за дело. С утра до ночи не выходил из бондарни. Бочку мельникову собрал. Утром, только хотел ее выкатить под навес, гляжу — скрипнула дверь, старый Торбич в бондарню вошел.

Я сперва его не узнал. Стоит в дверях старый старик. Рукой держится за косяк. Рубаха в штаны не заправлена, волосом пегим оброс, остроты в глазах нет, как слепой. Телом, лицом — что сохлый стручок на акации.

Душа моя захолонула. Не приходилось мне еще видеть в ту пору, не понимал я, что человек в горе своем за несколько дней все непрожитые годы может прожить. Подскочил к нему. Помог сесть на чурбак у двери. Гляжу в глаза, может, что спросит или указание даст.

Ничего не сказал. Хотел закурить. Табак рассыпал. Я свою трубку ему набил, сам раскурил: «На, хозяин». Он голову поднял, взглянул на меня. В глазах ни блесточки, ни огонька. Трубку мою взял, а руки трясутся, ноги врасхлест, дрожат, вроде самый крепкий обруч с тела упал.

Христина пришла, отвели его под руки в хату.

Спал Торбич отдельно, в своей комнатенке. Жил по-простому. Топчан, резной шкаф и столик — вся мебелировка. На стенах рушники, картинки.

Тихо, чисто в комнатке было и как-то тревожно. Будто каждая ниточка на рушнике, морщинка на топчане и та приболела.

Положили мы с Христиной Торбича на топчан. Легкий он на вид казался, а на вес поднять — тяжесть в костях большая. «Отдыхай, отец... Отдыхай...» — сказала Христина. И рядом Торбича по грудь накрыла, а он все руки высовывал, чтобы поверху были, и рядом это пальцами сожмет, разожмет — пальцы работать привыкли.

Но телом совсем ослаб человек. Христина поесть ему принесет, он ложку одну протолкнет в горло, а больше одной уже съесть не мог, шею вытянет, глядит в потолок. И ни слова. Ни просьбы и ни наказа. Раз только, помню, уже под осень, Христина в бондарню ко мне прибежала: «Ксениш! Ксениш! Отец зовет...»

Я бросил работу, пошел.

Торбич лежал на своем топчане, у окна. Волосом пегим лицо обнесло, руку хотел поднять, но не смог, а голос прорезался.

«Ножницы... — тихо сказал. — Мои ножницы...»

Я в бондарню бегом. Принес ему. «На, хозяин...» Торбич лезвия потрогал. В дужки пальцы правой руки продел и начал ногти себе на левой руке срезать.

Христина ножницы отняла. «Другие есть! Другие, отец», — закричала.

Все верно. Ножницы эти были для железа. Кто ж ими ногти подрезает?

Детский ум к человеку вернулся...

Все на плечи мои упало. Хата, бондарня, слабый хозяин, Христина с детьми.

Поташил. Было здоровье. Себя самого забывал. Работал. Сам акациевый чурбак на подпорки поставлю — и вжик-вжик пилой: вверх-вниз! вверх-вниз! Пол-локтя пройду, сяду на перекур. Так этими перекурами и мерялось мое время...

Не все у меня получалось. Расчет клепок, к примеру, на бочку у меня с литражом не сходился. На стене, в бондарне, пометки были. Старый Торбич их для себя записал. Гляну: вроде с моими сходятся, а общий подсчет начну собирать — конус есть, литраж на два ведра меньше. Вот и кумекай... У кого спросишь? Кто знает? К Торбичу в хату зайду — а он когда плачет, а когда маму зовет...

Сам догадался. Своим способом расчертил весь расчет. Сбил первую бочку, сбил вторую — конус вытянул, все клепки на место стали.

Дело пошло. Заказчики не обижались. Разных людей повидал. В основном крестьяне из Каледеца, из соседних сел приходили люди. Каждый со своим. У кого заказ на новую бочку. У кого мелкий ремонт. Разные бочки. От пятиведерной до двадцати, а почти у каждой на донной клепке клеймо — «ТТ». Дед Тудора Торбича ставил. Ясное дело, вечного ничего нет.

Где клепка рассохлась, где трещина по кольцу. Сколько лет эти бочки людям служили! Сколько людей добрым словом Торбичей помянули. Каждый, кого ни взять, в бондарню войдет, первым делом: «Как здоровье хозяина?» «Лежит», — говорю. Заказчики шапки наденут, а мне с поклоном: «Бог даст — выздоровеет. Мы за его здоровье с нового урожая выпьем... На, получи...» И динары мне за труды в руки.

Все чин по чину. Вот он, заказчик, бочку уже на повозку закатывает. И я сбоку стану, наказываю, чтоб осторожнее, вроде бочка стеклянная. И гордость в душе — я ее делал, всю, до последнего обруча. В моих руках она родилась, и прощаться с ней — грусть на сердце. А клеймо свое на клежке прижечь не хватало духу: «ТТ» выжигал на поддоне. И динары, что мне за работу платили, тоже за свои не считал. В кулаке их сожму и все как один — хозяйке: «На, получи...»

Христина взглянет на меня, улыбнется, а я и сердце свое впридачу к динарам готов отдать. Динары в ту пору легкие были. Власть неизвестно чья, Тито или Михайловича, — времени не было у меня на площадь ходить спрашивать. Но пачка по виду толстая. Христина динары под кофту спрячет, и мне пяток в руку: «На, Ксениш...» «Зачем мне? — спрашиваю. — Ём, пью, одет, обут...»

Гляжу — улынулась, будто бы пожалела: «Простой ты, простой... Возьми... Ты трубку куришь, чарку пьешь...» Динары в карман мой всунула и ладошкой по щеке провела.

Я голову опустил — сейчас, думаю, скажет, что рябой...

Не сказала. Рябой не рябой, а куда друг от дружки денешься? Под одной крышей живем, один хлеб едим, бок о бок весь день от утра до заката. Я ее, может, весь день не вижу, я свое дело делаю, а все одно как на нитке привязан. Голову подниму или сяду на перекур, знаю, примерно, — сейчас она Миклоша моет. А сейчас вот в лавку пошла. Иной раз работаю, спиной чую — глядит на меня. Не оборачиваюсь, киянкой стучу. Да только не по стамеске — по пальцам своим. Не вытерплю — оглянусь.

Стоит у дверей: «Ксениш!» «Что, хозяйка?» «Рубашка у тебя лопнула на спине»...

Ясное дело, какой материал вытерпит? Не просыхала спина.

«Ничего, хозяйка! Бочку сделаю, динары получим, новую куплю...»

«Что ждать до новой? — она мне в ответ. — Давай я зашью... Давай... Идем в хату... Идем...»

Иду. Как телок на веревочке. Она у окошка сядет. Руки проворные, иголка с ниткой за пальцами не успевают. Раз на стежок взглянет, раз меня глазами уколёт.

«Пóтом от тебя пахнет, Ксениш... Приятно пахнет...»

Что отвечать — не знаю. Скорей бы, думаю, заплату поставила, а то куртка старого Торбича спину щекочет. Сижусь и молчу. И она — ни слова. Про себя что-то думает. А что? Угадай попробуй — задача покрепче, чем клепки в литраж по размеру собрать.

Раз, ночью, сидел во дворе, чую — дверь хлопнула, вышла из хаты. Дыхание, чую, ближе и ближе. Прижалась ко мне: «Ксениш! Что ты на звезды глядишь? Ты здесь замерзнешь, Ксениш... Идем в хату... Идем...» — И за руку меня, как дитя малое, повела. Иду, а сердце вот-вот из груди выскочит.

Руки, ноги как не мои — онемели. Головы поднять не могу: глаза Христины угольями жгут, тело горячее жаром дышит, ладошка мою руку гладит — сердцу щекотно: «Ксениш, Ксениш, — шепчет в ухо. — Какой ты простой...»

Эх, Христина, думаю про себя. Разве на это дело ум надо? По ночам твоё тело, грудь белая снились, да так снились, что стыдно сказать.

Утром проснусь, за стол сядем, голову поднять робею. Все казалось, все мои сны она знает. День выбрать — признаться бы мне самому, — да не мог. Как клин в слабину свою вбил. Понимал — пусть она есть вдова, а все же хозяйка моя, мать своим детям. Старший, Миклош, сам уже на девчат поглядывал, усы перед зеркалом в нитку выщипывал. А я, значит, что? В женихи к его матери приклепаюсь?

А приклепался. выходит. Впотьмах за Христиной в сенцы вошел, потом в горницу. За стеной старый Торбич лежит, за другой — Миклош. А мы

с Христиной друг дружку в потемках разглядываем. Да так догляделись, что и не заметили, как петухи зорьку пропели.

Весь день после той первой ночи киянка в руках тяжелой молота мне казалась. Всю силу свою хозяйке ночью отдал. А на вторую ночь новая появилась. Отведал скоромного, как Божьи люди говаривали. Надо поститься. Да куда там — не постные дни пошли. Добрался медведь до меда — понравилось...

Пообжились, пообвыклись вместе. Динары, что я зарабатывал, Христина уже от меня не прятала.

Женщину взять любую — женщиной и останется. Думок, как клепок, — полно в голове, а обруча нет. А у Христины в уме все было в сборе. Счет понимала. Хозяйство вела. За старым Торбичем глядела. А за ним нужен был глаз да глаз: под себя ходил человек. А в комнату к нему как ни войдешь — чисто и убрано, в белой рубашке лежит, стены, меж ружниками, мятой обвешены. И дети ухожены, и сама — хоть сейчас на площадь иди. Волосы соберет в пучок, лицо чистое, белое, черная юбка круто на теле натянута, а снизу оборками, и туфли на кнопках, каблучком стукнет — все ладно, все по здоровью на добром теле.

И у меня душа чистой водой умылась. Веселей на жизнь глядеть стал. Спину распрямил, вроде хозяин. За стол сяду обедать, Христина мне первому миску подаст, дети рядом сидят, чистые, смиренные. А только гляну на них, и вот он. Савко, стоит в глазах. Девочки, сынок Миклош — все на отца обличьем. Голову опущу, и сердце затерпнет. Христина видит, что я ложку на стол положил, вздохнет про себя, вслух — ни слова. Чуюла весь мой настрой. Со стола уберет, в горнице окна закроет и молится Богу. А то ни с того ни с сего начнет детишек ласкать. Девчушек-сестричек к груди прижимает, целует.

Выйду во двор. Она следом. Обнимет сзади и через себя, как через перелаз, тихо-тихо вздохнет: «Идем... Идем, Ксениш...».

И снова все хорошо, снова жарко и телу и сердцу, и снова я как на дымной круче: душа замрет, век бы вниз не глядеть. А гляну — лицо ее вижу. Снова как тенью от тучи накрыто.

«Что случилось, Христина?»

Молчит...

Раз ночью уснул, она встала, подошла к шкафу, где Савкины вещи висели, шляпу достала. Вещей остальных там, по правде сказать, уже не осталось. Все, что Савко носил, Христина после похорон отдала соседям. Рубашки, какие остались, мне не подошли. Я ростом повыше, чем Савко. Ботинки его старые, помню, в бондарне висели: примерять попробовал — полноги еле втиснул.

Так что все людям на память пошло. Ну а шляпа в шкафу осталась. Желудевая цветом. Поля твердые, как из картона. Христина ее в руки, как ценность какую взяла, и мне тихо так, жалостно, вроде, стесняясь: «Ксениш... Ты спишь? Надень, надень, Ксениш...» «Зачем?» — спрашиваю. «Надень, — зашептала, — прошу тебя...»

Встал я с кровати, шляпу надел. Размером она была на меня маловата, на ухе держалась.

«Ну? — спрашиваю. — Дальше что?» А она на меня поглядела, в глазах холодок как в студенном колодце мелькнул, рукой махнула. И голосом, как во сне, тихим шепнула: «Туда, туда стань... К окну... Нет, не лицом... Спиной...»

Встал я спиной. В окно глянул. Месяц по двору гуляет. Щепочку, соломинку — все видно, как днем. Стою, как дурак, в этой Савкиной шляпе.

Оглянулся. Христина в подушку уткнулась — плачет. Глухому, слепому понятно, что Савку сейчас вспоминает. «Эх, Ксентий, ты Ксентий, — себе говорю. — Вот она с тобой вместе лежала, телом твоим тело грела, а мертвый ей ближе к сердцу... А ты? Кто ж тогда ты здесь есть? Не батрак и не муж... Подмена при лунном свете...»

Больно мне стало. Так больно, что хоть зубы сожми и скроши в порошок. Вышел во двор. Месяц свет свой ослабил. Звезды яснее стали, с холодком на меня глядят, и повозка моя глядит. Ни волос, ни хозяйки — дышло за горы показывает. «Хватит! — себе говорю. — Подамся и я до дому, до хаты...»

Легко было только сказать. А сделать — что камень с земли на живот подорвать. Не хотелось мне уходить в тот момент. Рано, думал, мне возвращаться? Динаров немножко хотел подкопить. А то что ж получается? В одних штанах ушел, в тех же заплатанных и вернусь? Нет, это не дело. Вот такая думка меня держала. А о капрале своем я уже не скорбел. По всему Дунаю, газеты писали, новая власть склепалась. А власть новая, что новая хата, — без костей человеческих фундамент непрочный. Так что, авось и мне этот грех спишут на общее дело. Не страшно. А вот динаров немножко скопить — это надо...

Но, раз такой поворот, характер, думаю, удержу...

Утром встал, не пошел в бондарню. «Прощевай! — говорю Христи-не. — Раз я живой не в силах тебе мертвого заменить — извиняй!...»

Только сказать успел — она в слезы. Руками меня обхватила, в глаза заглядывает. «Ксениш! Ксениш! Ты что? Ты что? Куда ты поедешь? Как я без тебя буду?»

Вот и пойми женскую душу. Стою, молчу и вроде бы я виноват. А она распалилась, детей привела. «Дядя Ксениш нас хочет бросить!» Миклош, старший, в сторонке встал, губы поджал, молчит. А малые в голос заплакали, что котят в руки мне вцепились. Глазенки горят. Я их головы глажу: волосы летним солнышком пахнут, чистым, тобой, далеким и безвозвратным... Господи, Господи... Как я вас брошу? Пусть не мои вы, а вместе жили, за одним столом хлеб ели. Как я вас могу бросить?

Остался. Миром остался. А на душе, на доньшке самом, вроде шашель, как в дереве, завелся, нет-нет да и подточит, голосом ржавым врежет под сердце: «Поддался... Поддался ты, Ксентий... Родней все равно не станешь... Зря самого себя не послушал. Самого себя всегда надо слушать...»

Зубы стисну, в тело напряг возьму — ржавый голос утихнет. Так и держал себя самого на аркане. Сперва давило, потом притерпелся. Может, думал, и ничего. Может, слетят заусенцы. Жизнь скрошит. Что в ней есть, в этой жизни, главное? Динары? Хвальба? Нет, это не главное. Главное, чтобы эта женщина твое имя шептала, чтоб только ты в ее сердце нашел закуток. А все остальное — морока пустого ума.

Ничего, думаю, авось еще будет, все хорошо будет...

Христина, и вправду, повеселела, как пташка по двору, по хате летала. Гляну — душа радуется. Стал, как и раньше, работать. Только, помню, сказал ей: «Хочу письмо написать в Бульбоки... Сообщить, значит, что я жив и здоров...» «Ради Бога!» — Христина в ответ.

Написал письмо. Я писал. Где по-молдавски слово, где по-сербски, где русским покрюю. Там разберут, думаю, где я есть, как живу. Ответ получу — как там мать моя, отец, сестры, бабушка Доминика, живы-здоровы — узнаю...

Ответа мне не пришло. Дальше жил. Осень, зиму... А потом года посыпались, как опилки из-под пилы.

Раз утром Христина глянула на меня: «А ты уже весь седой, Ксениш...»

К зеркалу подошел: и правда — не спутаешь с молодым. Акацию расшивать на клепки непросто — соль из тела во все поры идет, где волос попался, там через волос.

«Может, помощника взять в бондарню?» — Христина мне говорит. «Нет, не надо. Сам управлюсь. А вот ленточную пилу с мотором в Белграде надо купить...»

Купил ленточную пилу. Живей дело пошло. Больших бочек люди сперва не заказывали, а по трудам своим, для себя — на пять, десять ведер. Динары были еще легкие. Потом, когда Тито к власти пришел, — потяжелче стали. Каждый заказчик уже старался не для себя держать вино в бочке, на продажу. А это литраж и литраж — успевай киянкой стучать. Стучал — заказов хватало. Тито крепко у власти стал. Волю всем людям дал. Хомут на шею не накидывал и, как овец, в общий загон не загонял. Каждому — по трудам. Ты, к примеру, сапожник? Имей свою мастерскую! Ты бондарь? Бочки клепай! Виноградарь? Расти виноград на своем хозяйстве. Каждый натурой жил, а государству прибыток.

Я бондарню расширил. Лесу хорошего прикупил, дуба, акации. Все думка была у меня: Миклош, старший сын Савко, в дело вступит. Но не

вышло по-моему. Шкипером захотел Миклош стать. Поехал в Белград на баржах работать. Кто его надоумил? Речки, озера не было на пять верст от Каледеца. Дождь идет — люди Богу молились. Кто в бочку, кто в брезент воду в запас собирали. Сидел бы себе на хозяйстве! Нет — шкипером...

Не знаю, что он там делал в Белграде, учился или подметки камнями строгал, а только приехал через пять лет, привез такую же, как и сам. Может, с баржи снял, а может, сама, как репьях, прицепилась. Каблуки на ней в два моих пальца длиной, юбка в ладонь — сама плоская, как двадцатка доска. Миклош ее под руку. Мне — ни привета, ни здрасте. К Христинине пошли — жениться ему приспичило. Я фартур снял, в хату вошел, сел. Сидел сперва как засватанный, потом не стерпел, встрял в разговор.

«Дело доброе, — говорю. — А где жить будете?»

«В Белграде...» — Миклош в ответ.

Ясно, думаю. Легкого хлеба уже попробовал, к тяжелому не привадишь.

«А на какие динары жить будете?» — спрашиваю.

«А мне моя доля положена!» — Миклош в ответ.

«Это ж какая доля?»

«Дом! Бондарня...»

«Бондарня? А ты работал в бондарне? Ты хоть знаешь, с какого боку обруч заклепывают?»

Голос у меня дай Бог — громкий. Христина голову вниз — онемела. А Миклош стоит, усмехается и усы языком облизывает.

«А что ты мне указываешь? Ты сам кто здесь?»

«Я? Кто я? Ах ты, сучок незаструганный!» — Руки мои в кулаки сами сжались. И Миклош, вижу, лицом побелел.

«Прошу не оскорблять меня в моем доме! — сквозь зубы мне говорит. — Я здесь родился. Мой отец, Савко Торбич, за свободу простого народа погиб... А ты... Ты — бродяга!»

Рука моя сорвалась с плеча: Миклош к стене отлетел. Христина вскрикнула. Невеста Миклоша — с хаты вон. Миклош встал, кровь на губе вытер ладонью, сплюнул под ноги:

«Бродяга, бродяга! На, бей...»

Стою. И молчу. Как из камня все тело сделалось. «Вот и подошел твой расчет, Аксентий, за все труды твои... Вот она, правда себе самому, куда вылезла, вот твой аркан, что ты сам на себя натянул...» Телом напрягся — душа заплакала, голос ржавый врезался ножом в сердце: «Не послушал себя... Поддался, поддался... На чужом добре власти схотел? Эх, ты, Аксентий...» В глазах у меня защемило. Как на опору последнюю на Христину глянул. Слова подмоги хотел от нее услышать. А она кровь на губе Миклоша увидала, подскочила к нему, как квочка к цыпленку, обняла — и мне, как врагу, как бандиту, как самому распоследнему человеку на свете, крикнула:

«Ты! Ты! Моего сына? Ты Савкиного сына?.. Сына ударил? А? Ты ударил?..»

Ничего я ей не ответил. Не нашел слов ответить...

Всю дорогу в поезде у окна простоял. С билетом и паспортом, а как чужой самому себе. В зеркало гляну — вроде я, Грек Аксентий Семенович, тело мое, а душа еще там, в Каледеце.

Душу паровоз не потянул — нет такой тяги. Стою — деревья, дома, горы бегут — пропадают — Христину вижу, Миклоша вижу. «Бродяга! Бродяга!» — голос в висках стучит. «Бродяга! Бродяга!» — повторяют колеса. Зубы стиснул... Боль моя, сердце мое! Что ж это так? Как это в жизни выходит? А так и выходит, значит — не пришьешь и на гвоздь не посадишь чужое с кровным. Бродягой, выходит, ты был Аксентий, бродягой остался. За что? Миклош, Миклош... Слышал бы ты меня. Какой я бродяга? Помнишь? Ты малым был, я тебе свистульку выточил с дерева и лошадку... Ты плакал, а я тебя успокаивал. Болел ты, а я тебя с Христиной до знахарки водил. Тяжкой твоим был, кормил, одевал... Какой я бродяга? Работал, держал в руках хату, хозяйство. Как бы вы без меня прожили? Куры б вас загребли... А выходит — бродяга. Эх! Жизнь, жизнь! Где твой смерок людей по совести? Нету смерка — работай, гор-

баться, а не твое твоим не станет. Как собака бездомная, домой возвращаюсь...

«Чай! Чай горячий!» — Проводник ко мне подошел.

Чай пил. Первый раз за всю жизнь, а вкуса не помню. Все мысли, как клин, без растяжки, застряли — не вытащить. Стою у окна, стекло поднял, пусть хоть тяжесть с головы выветрится. Ветром дунуло. «Ничего, — шепчу сам себе. — Все позади, все промелькнется, все отрезано, отрезанное и болит. Ничего, ничего, терпи, Ксентий. Домой едешь, домой, в Бессарабию едешь... Вот и Дунай из-за гор высверкнул. Солнце играет, пароходы плывут, баржи тянут. До дома, до хаты... А вон чайки кричат. Им сверху все видно. Может быть, бессарабские, наши чайки. Потерпи, потерпи, Ксентий. Мать, бабушку Доминику, отца своего сейчас встретишь, сестер встретишь...»

Знали, что еду... Не в один день собрался. Пока на таможене визу мне в паспорт впечатали, пока бумагу прислали, еще одно письмо писарь с Каледец домой написал под мою диктовку. Телеграмму я тоже ударил, чтоб знали, какой поезд, какой вагон.

Скоро, скоро уже. Вот и границу проехали. Пограничники вещи прощупали. «Вы на территории Советского государства», — сказали. Я снова к окну: где она, эта территория? Не могу разглядеть. Хаты, как были и раньше, крытые камышом, а где черепицей, зеленой от старости, — так и остались. Только вишня, черешня, яблоня — цветом цветут и флаги красные над плетнями — праздник.

В Кишиневе из поезда вышел. Народу — не протолкнуться. Речь слышу родную, а мне непривычно: сперва в звук голоса вслушаюсь, а потом, про себя, по смыслу слова раскалываю. Отвык. В людей вглядываюсь — лица у всех вроде такие, как и в Каледце. Только мороки больше в глазах. Бегут, друг дружку толкают. Один смеется — как плачет, второй плачет — вроде смеется, третий буянит, четвертый песни поет. Кто с флагом, кто с красным бантом, а кто и отпраздновал — спит на скамейке. Я голову вытянул: где ж вы, родня моя? Разминулись, думаю, телеграмму не получили? Вдруг за спиной услышал: «Вы будете Аксентий Семенович?» Оборачиваюсь — девчонка стоит. Чернявая, худенькая, глаза быстрые, не глядит — ощупывает меня с ног до головы. «Здравствуйте... Я — Оля. Ваша племянница». Поцеловал я ее, к груди прижал, а она раскраснелась: локотком меня в бок по-свойски толкнула: «Ой! Какой у меня современный дядя! А это ваши чемоданы? Ой!» «Постой, постой, дочка! Ты что, одна тут?» «Да нет! Вон мама стоит... Мама! Иди сюда! Ну что ты стоишь там?»

Я оглянулся — сердце остановилось.

Мать моя в закуске меж людьми стоит. Мать? Нет, стой, себе самому говорю, Аксентий — не мать, сестра. Твоя сестра, Ленуца. Господи, Боже мой! Ленуца, и вправду, Ленуца. А годами как мать. Телом сработанная — кожа и кости, руки скрестила, кофтенка на ней то ли застиранная, то ли от солнца пожглась.

Глаза замороченные. Глядит на меня, вроде боится чего. «Сестра! — крикнул. — Ленуца!» И крикнул громко, чтоб в душу быстрее голос вживить, чтобы свыклась душа с пониманием, что это не мать, это сестра моя младшая, Ленка, Ленуца...

Подбежал к ней, обнял, прижал к груди. Она голову подняла: «Ксения... Ты это?» «Я, я, Ленуца...» Она кофтенку оправила: «Не признала тебя... — И руками меня трогает. — Не признала... Какой ты...» «Какой? Какой?» «Начальник...» «О, Господи! Да какой я начальник? Ленуца, сестра моя... — Снова обнял ее: — Где мама? Отец где?» — спрашиваю. Она лицо сморщила, слезы выдавливает, а слез нету, глаза сухие: «Одни мы с тобой...» «Как так одни?» «А вы разве письмо не получили? — впряглась племянница. — Мы вам письмо послали в югославское посольство...» И по сторонам, на людей поглядела — пусть все слышат, что письмо послали в посольство. «Не получил я письма», — отвечаю. «Мы написали, — сестра подтвердила. — Мама, отец, бабушка и сестра в голодовку поумирали... Одни мы с тобой, Ксентий...» И снова заплакать собралась, а слезы из глаз не идут. И смысл ее слов до меня не доходит. Смерть не вмещается в душу. Только досада. Не за смерть досада, а за то, что письма не получил. Если бы получил, легче бы было сейчас известие это услышать...

Чемодан поднял, второй носильщик помог донести до такси. На автостанцию едем, а я все шепчу сам себе: «Не получил, не получил». Вроде заслонку в себе устанавливаю, чтоб покрепче душой быть, чтоб не сразу по сердцу ударило, что нет теперь у меня ни матери, ни отца. Нет... Знаю, что нет. А не могу привыкнуть. Как привыкнешь, когда я их помню живыми, когда я о них вспоминал, разговаривал, прощенья просил. И мать, и отец, и бабушка в самом теплом жили закуске в моем сердце. А выходит, что мертвые в теплом жили...

Гляжу на сестру, а она молчит. И я все никак не могу к ней привыкнуть, все мысленно представляю ее молодой и себя молодого хочу увидеть... Господи, Господи, жизнь человеческая — детская распашонка и та длиннее. Как и куда время успело перебежать? Сестра пожилая, и я пожилой. Но я только лицом пожилой, а в душе я тот самый, что парнем был, моя молодость в душе, как в стеклянном шаре, осталась. Разбить бы его, этот шар, а сил не хватает, и боязно как-то, вроде на мороз голым выйти.

В автобусе едем, молчим. Племянница на чемоданы мои поглядывает, расспрашивает, как я там жил, в Югославии. А я и не знаю толком, что рассказывать. Слова родные с сербскими путаю, рукой махнул — после поговорим. Сам в окно гляжу, на людей гляжу: как сон наяву жизнь вокруг — ничего признать не могу, все вразной, хаты в селах где камышовые, а где под шифером, цинком, а черепичных мало. Узнавал села, что мимо проехали, по названиям только: Фурманка, Светлое, Алуат, Табаки, — племянница мне перечисляла. «А вот, — говорит, — и наши Бульбоки...» И Бульбоки я не признал. В памяти другими они остались. С дороги свернешь — дубы в три обхвата росли, а чуть дальше — акации для заслона от ветра и снега. А тут — голая пустошь — как рот без зубов. «Распахали дубы», — сестра говорит.

Слава Богу, хоть кладбище распахать не успели. Из автобуса вышли, сестра с племянницей за чемоданы, до хаты направились. А я говорю — нет! «Пойду, — говорю, — отца с мамой проведу. Сестренку проведу, бабушку Доминику...» Сестра запротивилась. «Да что ж, с чемоданами в гору идти?» «Ничего, — говорю. — Пойду с чемоданами. Своя ноша не тянет...»

Пошли... Оля, племянница, отпрыгнулась, танцы в клубе вот-вот, сказала, начнусь, надо причепуриться. «Ладно — иди! — говорю. — А мы с твоей мамой оттанцевались». Пошли оба в кручу.

Кладбище наше старое. Я в детстве, помню, играл с хлопцами в казак-разбойников — безмерным казалось. А сейчас вроде усохло — годы поджали площадь. Хотя издали увидал, жильцов много прибавилось. Вечным сном спят. «И для меня тут место найдется», — подумал. Без страха подумал. Мысли о смерти не было, нечаянно как-то подумал. А вроде полегче в душе стало. «Есть, слава Богу, — думаю, — и для тебя место, Аксентий. Место хорошее, на виду, на обзоре, всем ветрам бессарабским открытое в сухости и на солнце...»

На ощупь, по памяти, прошел меж могилами. Где наш род Греков лежит, где дедушка мой, брат его, дядя Петро, что шинок в Тараклии держал, — не нашел.

Сестра подсказала: «Вот они, тут все...»

Я на колени встал: «Здравствуй, мама, — шепчу. — Здравствуй, отец... Вот я, ваш сын, Аксентий... Простите меня...» Поклонился, землю поцеловал — бугорки травой заросли. Кресты покосились, краска обсыпалась — ни имени, ни фамилии.

«Что ж ты, сестра, — говорю, — подправить не могла?»

Голову опустила: «Времени нету, Ксентий. Жизнь такая пошла, что саму себя забываешь...» «Да что ж она, жизнь? Вот она тут... Все мы тут будем...» «А ты на меня не кричи! — глазами сверкнула. Недобро сверкнула. — Что кричишь? Мотался по свету, ни слуху ни духу. А теперь, значит, приехал мораль мне читать? Где ты был раньше?»

Молчу, гляжу на нее — точно узнать не могу, уже не лицо, не морщины — душа для меня чужая. Я ж ее помню девочкой маленькой. Тихая сердцем была, сядет где в закутке — мать ищет, не дозвется. А тут как другой человек. «Эге-е-е! — говорю. — Да ты, Ленуца, кусачая стала...»

«Будешь кусачей, — сестра мне в ответ. — С утра до заката в работе. Времени нет».

«Ладно, — я говорю. — Не место нам тут ругаться...»

Присел на траву у могилки, закурил. Гляжу на заросшие бугорки. Сердце тисками сжало. Гляжу — не могу поверить, что тут мать моя и отец. Бабушка и сестренка. Тут, в мягкой земле. Как же так? Как к смерти привыкнуть? Я ж их живыми помню. О живых думал. Голову поднял: «Как хоть они умерли?» «Я ж говорила... Голод у нас сильный был, — вздохнула сестра. — Такой голод — не дай Господь...» «Это ж когда было?» «А через две осени, как Советы до нас пришли...»

Прикинул я те года. Да, все точно, все правильно. И у нас в Каледееце неурожай был. До голода, правда, не дошло дело. В общину люди собрались, хлебом делились, всем миром. Это я помню.

«Что ж, Советы, выходит, людей накормить не могли? Вон они какую силу земли имеют...»

Сестра на меня поглядела, как на ребенка малого.

«Силу... Какую силу? Кто в начальстве ходил — те и спаслись. А кому мы нужны? Кто о нас когда думал?.. Ой, говорить не хочу даже... Сама себя мучаю... Мама меня в Карагмет к тетке отправила, там и спаслась. У них кукуруза была... — И умолкла, глянула на меня: — Пойдем до хаты... Не могу я стоять тут...» «Нет, — говорю. — Ты иди. А я посижу немного. Иди, иди... Чемоданы я сам принесу...»

Сколько сидел — не помню...

Душа онемела. Гляжу на могилки. Трава из земли тянется, а в глазах моих — дерево, потянул его с силой, а вырвать никак не могу, корни глубокие, и вроде рукой кто споднизу держит... «Мама... Мама... — шепчу. — Прости ты меня... Простите, отец... Бабушка и сестренка, простите... Не обиходил я вашу старость. Я ещё крепкий, работать могу. Были б вы живы, на лавочке вас усадил рядком. Сидите себе, на солнышке грейтесь. Я прокормил вас...» А теперь и голоса вашего не услышу. Не узнаю, о чем вы думаете там про меня. Знать бы, о чем... Только б одно мне знать, что вы там на меня не в обиде. Что вы там не считаете, что я на чужой стороне хлеб даром ел...

Только бы так не считали.

Встал с земли. В село пошел.

Все чужое вокруг. Ничего узнать не могу. Иду между хатами. Фонари городские горят, а тени от спины моей нет. На площади остановился.

Справа, где были сады, — пустырь, чуть дальше — хаты чужие, телевизоры в окнах светятся. «Стой, — себе говорю, — не туда я иду. По левую руку должна быть усадьба старосты». Нету усадьбы. Нету ни старосты, ни дочки его Виорики, ни фаэтона с конями и лентами в гривах... «Стой, стой, — шепчу, — я же по памяти молодой иду. Мне эту память надо в себе затоптать... Вот, вот, справа усадьба. Так, точно так...» Только, гляжу, на усадьбу не похоже — на сарай больше. Длинный сарай, и все окна настезь. В каждом девчата и хлопцы, ногами побрыкивают. А из крайнего окна песня в рупор на все село. Всю не запомнил, а только запевку. Такая примерно:

Давайте жить по солнечным часам!
И станем, значит, все добрее...

Только запевка окончится, хлопцы снова песню заводят, и снова летит над селом, до самого неба:

Давайте жить по солнечным часам!
И станем, значит, все добрее...

Голос у певца звонкий, радостный. Вроде сам он уже по этим часам солнечным давно живет, давно уже добрым стал. А теперь и людей уговаривает.

А где они, эти солнечные часы? Ночь кругом. В небо глянул — ни звездочки. Тучи тяжелей камня над всем краем собрались, и луна над холмами подбитым глазом глядит. Вот-вот «арханделы» затрубят и конец света настанет, как люди Божьи предсказывали.

Я шаг сделал, а голос певца снова вроде петлю на шею накиннул и тянет, ласково тянет:

Давайте жить по солнечным часам!
Давайте!..
Давайте!..

Тьфу ты, Господи... Скорей бы до хаты добраться.

Быстрее зашагал — ни души навстречу. Село как вымерло. Где ж она, наша хата? Спросить не у кого. Иду по памяти. Знаю, еще пару шагов, и будет бугор, за бугром — колодец, а чуть дальше — огороды соседские. Глянул — ни огородов, ни колодца, ни травинки, ни кустика — черное поле распаханное. Остановился у края — стою, как слепой и немой. Чую, меня кто-то в бок толкает. Оглянулся: племянница моя, Оля. «Дядя, что ты стоишь тут? — мне говорит. — Мы там волнуемся: куда ты пропал?.. Давай чемодан. Давай понесу...» «Ниче, ниче, дочка... Я сам... — И спрашиваю: — А где ж наша хата?» «Какая хата?» «Наша, наша!» «Ой, я не знаю, дядя. Здесь все поносили. Мы в коттедже живем...» «Как это — все поносили? Тут хаты стояли крепкие, тут огороды были — помидоры, перец, орехи росли — рукой не обхватишь. Зачем их сносить? Какая от этого поля польза?» «Ой, дядя! Ну мне-то откуда знать?» — племянница отвечает. «Ты постой, постой, дочка... Что ж расти будет на этом поле?» Плечами пожала: «Говорят, пшеница...» «Пшеница? На этой земле? Да она с испокон веков кукурузу родила...»

Племянница, вижу, обиделась: «Дядя! Ну, что я, агроном, что ли? Мне все равно, что тут будет расти. Я с землей связываться не собираюсь. Я в торговлю хочу устроиться». И за руку меня потянула. Я оглянулся — сердце сдавило. Легче бы было, если бы хата наша стояла. Пусть голые стены, пусть в полном разоре, но чтобы стояла. Я б хоть во двор зашел, посидел у порога, там души моих отца, матери, бабушки, там все наше, всех Греков. Хоть камушек, хоть кирпичек увидеть...

Ни камушка, ни кирпичика.

В чужую хату вошел. Точно, не хата — коттедж. Восемь комнат. В одной все гуртом живут. Остальные на свадьбу для Оли держат. Машина, гляжу, во дворе, виноград на шпалере — все чисто, при деле. «Хозяйский, — думаю, — муж у сестры». И не ошибся — точно. Хозяин, да и на видной должности — бухгалтер. Лицом худощавый, глаза узенькие, в очках: не глядит — обсчитывает. Руку мне протянул, ладонь, что подушка, — ни косточки:

«Ну, здравствуй, здравствуй, заморский житель! — мне говорит. — С приездом тебя в родные края!»

Сели за стол, выпили, закусили — все, как положено. Сестра, как прислуга, из кухни в комнату ветром летает. Характер припрятала, на мужа побито поглядывает, каждое его слово ловит... Племянница вроде на танцы собралась, но передумала, не ест и не пьет — на мои чемоданы поглядывает. А я сижу себе, выпиваю, размякла душа, и что-то вдруг Торбичей вспомнил, не жизнь всю и не работу, а тот, давний-предавний день, когда я за стол с ними сел, когда Миклошу из котомки ложку достал в подарок. Нету уже тех ложек. Так что особой ценности я не привез. Тряпки, бижутерию — на динар куча! Встал я из-за стола, замками на чемоданах щелкнул. Господи, Боже мой, что тут случилось! Радость. Такая радость, что и передать не могу. Глаза у всех разбежались, вроде золото увидали. Сестра кофтенку на плечи примеривает, шурин — майку дешевую, а племянница этикетки зубами тискает.

С ума походили. Да эти кофтенки и майки в любой лавке можно купить. Чему же тут радоваться? А радуются, как малые дети, ей-Богу. И хоть бы сами были — беднота с бедных, нет — в хате ковер на ковре. Да я б барахло это — за рубаху отдал домотканую, ту, что в детстве когда-то носил...

Гляжу, чуток успокоились, тряпки порасхватали. Племянница спрашивает: «А диски ты, дядя, привез?» «Какие диски?» «Ну, эти... пластинки, ансамбли, те, что «Мани, мани» поют...» «Нет, — говорю, — не привез, дочка... Извиняй. Ума не хватило...» «А жаль... Сейчас «Мани, мани»

в моде...» Приемник включила, пластинку поставила. И снова петлей мне на шею:

Давайте жить по солнечным часам!
Давайте!..

Господи Боже мой! Крестись и с хаты беги. Сестра на Виорику прикрикнула, чтобы певец трюшки потише «давайте!» кричал. А я говорю: «Ты б, дочка, что-нибудь из нашего лучше поставила. «Повздоь берега Дуная» или «Марица, Марица»...» Племянница — в смех. «Ну ты и дремучий, дядя! Кто сейчас такие слушает?»

Кто ж его знает? Может, и никто. А под стакан бы сейчас пошло, самое то, что с детства запомнил, когда теплым вечером на площади все собиравались. Цыган на скрипке играл, в барабан били, хлопцы с девчатами в круг станут — и только пыль столбом. Куда веселее было для сердца, чем это «Давайте!».

«Ладно, — думаю, — Бог с тобой. Может, я и в самом деле дремучий. Может, и вправду время сейчас другое. Что ж тут поделаешь...»

Сижу себе за столом, самому спеть захотелось Савкину песню, про мать и отца. Но что-то не получилось. В горле пересохло, а хозяева мои в мой стакан не подливают. Сестра со стола убирать начала. Шуряк тоже на часы стал поглядывать.

Встал я, вышел из хаты во двор, шуряк — за мной, закурить у меня попросил: «Дай-ка, побалуешь...» — говорит. Пыхнул дымом, закашлялся, очки запотели, но терпит, нахваливает: «Пахучие сигареты. Сразу видать — заграница...» А я стою себе, молчу. В небо гляжу — тучи как были свинца тяжелей, так и стоят, и луна над холмами бандитским глазом глядит.

Муторно на душе и неловко, вроде галстук мой давит. «Брось ты, Аксентий, — себя самого успокаиваю. — Все хорошо. Встретили тебя чин по чину...» А только ж сердце свое не обманешь. Только выходит, как и было, — из чужой хаты в чужую приехал. «Ничего, — думаю, — все еще впереди. Было б только здоровье. Что-нибудь дальше придумаем».

Стою, молчу, а сам в себе эти думки в кулак собираю. Шурин покашлял, очки протер, начал расспрашивать. Да такие вопросы, что и не знаешь, как на них сходу ответить. Все на политику югославского государства напирал, все о ценах на мясо, на молоко, остальные продукты.

Что знал — отвечал, а что не знал — говорил: не знаю. «Как так не знаешь? — обиделся. — Ты ж там полжизни прожил...» «Ну и что, что полжизни? Я ж не министром работал. Я в Каледече жил... Село Каледеч... Бондарь я...» «Бондарь?» «Ну, да — бондарь...» Шуряк усмехнулся: «По виду не скажешь». «А что по виду? Вид у меня самый обычный...» «Да нет, не скажи. В чем, в чем, а в этом я разбираюсь. Ты больше на инспектора финотдела похожий... — И губами зажевал, повторил с усмешкой: — Бондарь... Так, так...»

Чудно мне стало, а больше досадно. Сколько я прожил там, на чужбине, ни разу случая не было, чтобы к моей специальности отнеслись с усмешкой. И соседи, и заказчики, и когда ленточную пиду торговал в Белграде... Нет, не помню. Там люди, все до единого, уважали мое мастерство. Кто б ты там ни был: бондарь, сапожник, столяр, — ты мастер! А здесь, выходит, что все иначе?

«Так, что ли?» — спрашиваю.

«Как бы тебе объяснить, — шурин мне говорит. — Бондарь — это, конечно, специальность. Но у нас роль играет пост человека».

«Как понимать — пост?» «Ну, значит — кто ты? Начальник или подчиненный. Власть или не власть...»

Ну, думаю, и дела. «Мне в посольстве сказали, что здесь у вас власть рабочих и крестьян».

Шуряк усмехнулся, и ладошкой своей бескостной легонько меня по плечу похлопал: «Теоретически оно так... А фактически — сам поживешь — увидишь...»

Увидел. На второй день, с утра, когда пошел в управу. Ночью при фонарях не заметил за пустырем трехэтажный дом. Окна высокие, флаг на

крыше, а снизу стены фанерой заставлены. На одном листе — коровы, на другом — овцы, на третьем — фляги, по виду, что с молоком, на четвертом — кукурузный початок и виноград в рост человека. И цифры. Сколько, значит, в этом году добыто, а сколько добыть надо в будущем.

К ступенькам подошел. Над дверями надпись:

«АГРОКОМПЛЕКС ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ, ВИНОГРАДАРСТВУ И ЗЕМЛЕДЕЛИЮ СОВХОЗА БУЛЬБОКИ».

Животноводство — понятно: животных разводить. Виноградарство — виноград. Земледелие — землю возделывать. А совхоз — что? Я и это слово пополам расколол — советское, значит, хозяйство. Раньше хозяином был помещик. У каждой семьи был надел. Сам помещик жил в Бухаресте. В Бульбоках командовали арендатор с учетчиком. А сейчас, значит, земля советская. Общая. Ладно. Понятно. А вот почему агрокомплекс — не ясно. Слово какое-то и не русское и не молдавское — пополам не расколешь. Да и не слово само я не понял, а чудно стало мне на фанерных коров и овец глядеть. Откуда столько мяса, молока, кукурузы и винограда люди добудут, если площадь земли осталась та, что и раньше была? Зачем было дом этот строить в три этажа? Зачем столько машин у ступенек? Все легковые машины. Раньше, помню, у арендатора был фазтон, да и тот больше стоял, а сам он пешком ходил, а тут на тебе — целый гараж; шофера сигареты смолят, ждут не дождутся хозяев. «Эге-е, — думаю, — вот она какая власть крестьян и рабочих...»

По ступенькам поднялся. Куда ткнуться? Не знаю. Одна дверь — заведующего животноводством, другая — заведующего семенным фондом, третья — инженера-электрика, четвертая, слава Богу, — директора, а рядом, гляжу, еще выше — генерального директора. Людей в коридоре — клепка на клепке. «Господи, — думаю, — сколько ж ты, власть народная, нахлебников насажала на шею? Тут от силы над нашим хозяйством трех погонщиков хватит, да и тех много...» Стою у двери. Куда войти, думаю, — к директору или к генеральному?

Слава Богу, шуряк надоумил, в коридор вышел, очки протер, но курить не стал. «Запарка, — сказал, — в работе. Зарплату начисляем». Все понятно, думаю: зарплата — заработанная плата. «А к кому мне идти?» — спрашиваю. «К заведующему капитальным строительством. По коридору — налево...»

Пошел я налево. Точно, есть такой заведующий. За столом сидит. Стол — шириной как три верстака в бондарне старого Торбича. Правда, успел углядеть я, что дерево ненатуральное — спрессованные опилки, покрытые лаком, и сам начальник тоже вроде лаком покрыт: лицо круглое, плечи круглые — ни сучка, ни морщинки, как выструганный. В обеих руках по трубке от телефонов держит. В одну — заверяет, в другую — матом кроет.

Меня увидал — обе трубки прижал к груди, глянул, а глаза, как стекло на морозе, — белыми сделались.

Я потом уже понял, что костюм мой и шляпа его с толку сбили. Но ненадолго. Струганный был человек.

«Подождите, пожалуйста, — говорит. — Я сейчас занят...»

Тут секретарша его подскочила, вежливо, но крепенько за локоть меня взяла: «Стефан Петрович занят. Посидите в приемной...»

Сколько сидел — не помню, но успел узнать, что сейчас короткое в моде, что мясо в магазине одни кости — так секретарша по телефону кому-то рассказывала. Я ее, правда, вполуха слушал, а все на дверь кабинета поглядывал, и все мне казалось, что там не один этот Стефан Петрович сидит, а двое — голоса были разные.

Слава Богу, дождался...

Секретарша губы подкрасила. «Идите, — сказала. — Стефан Петрович освободелся...»

Вошел я. Начальник навстречу мне встал из-за стола, улыбается кругленько, ладошками круглыми мои руки жмет, глаза светятся, как слюда на солнце. И голос — куда там певцу, что по «солнечным часам» проживает. Не говорит — медом мажет:

«Грек? Аксентий Семенович? Как же, как же... Слыхал... Садитесь! Прошу... Позвольте вас, так сказать, лично поздравить с благополучным прибытием в родные края... Был и я в Югославии по турпутевке. Страна,

доложу вам, хорошая... — И пальчик бескостный свой вверх, к потолку, потянул. — Но Бессарабия, так сказать, роднее. А? Да-а-а! Родина, так сказать, есть родина...» — И зашагал по кабинету, руки за спину — туда-сюда, туда-сюда... А я сижу в мягком кресле, от стола сбоку. Не знаю, куда голову поворачивать. Как специально кто эти кресла поставил. Тебя со всех сторон видно, а ты в одну только можешь глядеть, зато слушать — пожалуйста.

Долго мне заведующий про Югославию рассказывал. Какие там горы, реки, сколько ему денег советских на динары сменяли, какие в Белграде магазины... А я слушаю, а сам думаю: «Для чего ты меня просвещаешь? У меня еще пыль югославская с ботинок не стерлась...»

Но молчу — наше дело молчать.

Гляжу — утих. Закурил. Я тоже сигареты достал из кармана. Ну, сейчас, думаю, зайнусь о деле. Куда там! Пачку заморскую увидел — глаза заблестели: «О! Позвольте, позвольте! Подышим благородным дымком. — И снова как с обруча съехал: — Да-а-а! Югославия — оч-чень красивая страна... А какое там море! Вы были на Адриатике?» «Нет, газда, не приходилось...»

Стефан Петрович умолк как подрезанный, за стол сел.

«Простите, что означает «газда»?»

«Хозяин означает. Хозяин... Так там говорят...»

«Хозяин? Я вам не хозяин...»

«А кто ж вы будете, извиняюсь?..»

Гляжу, покраснел он, завилал глазами, ладошками начал стол протирать.

«Я, — говорит, — руководитель вверенного мне отдела агропрома...»

Руководитель... Сколько ж слов непривычных... Хозяин, значит, от слова — хозяйство... А руководитель? Попробовал и это слово пополам расколоть, выходит — «руками водить...»

Господи, лучше б мне было смолчать.

Стефан Петрович пиджачок свой на все пуговицы застегнул, с лица круглота слетела, глаза острые стали, ладошкой по столу — хлоп!

«Вы эти шуточки бросьте! Вы в советской стране находитесь... А не где-нибудь там...»

«Извиняйте...» — говорю. А слово «газда» само на язык выскакивает, я его обратно в себя заталкиваю. «Извиняйте...» — гляжу на него, «руководитель» никак выговорить не могу, никак оно на язык не ложится.

Голову опустил, шляпу в руках мну, хоть провались сквозь землю. Ладно — была не была.

«Я к вам насчет работы...» «Вот это уже конкретный вопрос, — полегчал голосом Стефан Петрович. — Какая у вас специальность?»

«Бондарь я...»

Стефан Петрович брови поднял, на костюм мой глянул и сказал точно так же, как и шурик, — слово в слово:

«Да-а-а! По виду не скажешь...» Но написал на бумажке — куда мне идти, к кому обратиться. Повеселел, даже рукой по плечу похлопал: «Бондари нам нужны!..»

На прощанье руку мне протянул, но не пожал, а дал подержать, и снова острота в глазах появилась.

«А насчет хозяев запомните... — говорит. — У нас власть Советов. И я являюсь ее представителем».

«Спасибо... Запомню... Будьте спокойны...» А сам думаю — скорей бы мне фарук бондарский надея, скорей бы киянку взять в руки. Скорей бы как все рабочие люди стать.

Не простое это было дело...

В первые дни я себя чувствовал малым ребенком. Будто мне заново надо было учиться ходить...

Чудное дело. Не камень заморский топчу ногами, земля родная, моя, я по ней босиком в детстве бегал, холмы над Бульбоками видел, солнце в лицо мне светило, дождь плечи мочил. Воздух родной, и дышу я опять этим воздухом. А все казалось, не так дышу.

Неловкость в душе жила. Вроде я виноват. Мало что перед матерью, отцом, сестренкой и бабушкой Доминикой — перед всем селом своим ви-

новат. И что еще я заметил: на кого ни гляну — все люди как люди, а только заговоришь, чую — у каждого человека вроде обруч невидимый душу обхватывает. Каждый из себя самого как из бочки выглядывает: головой покрутил — хлоп! — и крышкой прикрылся. И узнать никого не могу.

Друзей, моих погодков, мало осталось. А те, что остались, рядом со мной поставь — я пожилой, а они совсем старики. Хоть костюмы наденут, хоть в праздник, а все лицами замороченные. И каждый при встрече с одним и тем же вопросом: «Какие там цены на продукты, в Югославии? На мясо, на хлеб, кукурузу, на виноград, молоко...» Знал бы заранее, переписал на бумажке и в руке ту бумажку носил, а то язык заболел отвечать. «Да что, — сам с собой думаю, — они все про цены спрашивают? Они одинаковы всюду. Я четыре класса румынской школы окончил, читать по складам научился, в финансах особо не разбираюсь, но думаю так. Государство, любое взять, хоть Югославию, хоть Россию, хоть Турцию, его ж не обманешь. Оно, как хороший бондарь: клепки в зор не стянёт, а все впритык, да так, что палец не всунешь. В центре, где конус меньше, — слабее обруч, донный — в полный натяг. Так и цены у государства. Мясо, к примеру, оно послабит, зато на товары другие внатяжку спрессует. Зарплату рабочему больше даст, зато налог скубанет за жилье, за электричество, топливо, воду. А в сбое все взять — жить будешь, конечно, ноги не вытянешь, но обруча ребра стиснут и в полную силу дышать тебе не дадут. А иначе нельзя. Иначе клепки у государства посыпятся».

«Так и я думаю, — шурина говорю. — И вообще что вы так переживаете за эти цены? Вон у вас все наперед написано на фанере и про мясо, и про виноград, и про молоко — на пять лет вперед просчитано...»

Шурин смеется. «Да какой дурак, — говорит, — этой фанере верит? Самих себя прокормить не можем... Насчет дефициту я вообще молчу...»

И я молчу. «Дефицит» для меня тоже было новое слово. Как ни старался, а пополам его расколоть не мог. Но слово такое есть, каждый день его слышал.

На все «дефицит», на самую пустячную мелочь. Все, что там, в Югославии, каждый бездомный имеет, тут и во сне не видели. Племянница, та хорошо в «дефиците» кумекала, не давала проходу.

«А почему там босоножки? — спрашивает. — А почему джинсы? А телевизоры?»

«Господи, Боже мой! Да не знаю я, дочка! Я ж не в лавке служил, я, дочка, бондарь, я клепки распаривал, обручи резал, не в телевизор глядел, а все сам, все молча: вверх-вниз! Вверх-вниз! — пилку тянул с перекуром».

Племянница обижалась: «Нет! Ты дремучий... Ты отсталый...»

Ладно, думаю, пусть отсталый, мне бы скорее работать начать.

Но и тут получил подковырку.

Вечером, после встречи моей с заведующим капитальным строительством Стефаном Петровичем, шурина говорит: «Дисбаланс у тебя с пенсией получается. То, что ты там работал, то здесь не в счет... С нуля начинать придется...» «Ладно, — говорю. — Пусть не в счет. Пока руки киянку с зубилом держат — не сдамся. С нуля и начну...»

Слава Богу, что на работу бондарскую у власти советской «дефицита» покуда нету. За это спасибо.

Стал я работать в совхозной бондарне. И тут, я скажу, с первого дня увидал не слова на фанере с овцами и коровами, не цифры, что есть и что будут, а живую натуру жизни.

Хорошей бондарни совхоз за всю свою власть советов не заимел. Закуток был бесхозный, а не бондарня: крыша худая, ветер и дождь — все твое. Замка на двери, и того не было, в закутке стружек навалено, спичку кинь — огнем все сгорит, пол земляной не подметен, верстак ходуном ходит, и паутина на стенах. Видал бы это хозяйство Торбич, в гробу бы перевернулся...

Что делать?

Я утречком встал, рукава засучил, метелку нашел, вымел все, вычистил, привел в Божий вид. Солнце уже полнеба прошло, гляжу — мастера завялились. Один — пожилой, старше меня годами на вид, рыжий, помятый

лицом, глаза враскосьяк. Второй помоложе, но оба, видать, ночью овец считали — руки трясутся.

Пожилой покрутил носом и говорит молодому: «Гляди, Васька! Что значит человек заграничный. Какой графарет навел! — И руку мне пальцами в растопырку протягивает. — Здоров, Ксентий! Не признаешь? Это я — Володя Бузок, через три хаты от вашей жил...»

Вгляделся в его лицо — вроде знакомый. Вспоминать начал. Точно, жили через три хаты от нас Бузки. Старший куртки овечьи шил. Одну продаст — на две гуляет. А вот Володьку что-то припомнить никак не могу.

«Чего лоб наморщил? — Бузок в подсазку: — Не помнишь? А кто у меня свистульку отнял? Тятка из Карагмета привез. Вспомнил?» «Так это не я у тебя отнял, — говорю, — а ты...» «Ну-ну! Неважно! Главное — память!» «Эт-то точно! — подмигнул Васька. — За память надо жахнуть... Это во-первых! А во-вторых, за прописку на новой работе. Как рацуха?»

«Спасибо, — им отвечаю. — Я не против. И за память, и за прописку — за все вам поставлю. Только после работы...»

Бузок палец вверх: «О! Учись, Васька!»

Васька цвиркнул слюной, усмехнулся:

«Да-а-а! Надрочили тебя буржуи...»

«Жахнем, жахнем!» — дохнул на меня перегарцем Бузок.

«Нет, — стою на своем. — Я работать пришел...»

«Работать, — скривил губы Васька. — От работы кони дохнут. А мы пока еще с дядей Володей не кони...» Глянул по сторонам, вытащил из кармана то, что кони не пьют, высосал и не поморщился. Сам папиросу в зубы и на верстак, как на стул, уселся.

В душе у меня засвербело, я голову опустил — глядеть не могу. Грех! Грех! Нет хуже греха... Верстак — твой кормилец, радость твоя и терпение, ты его своим потом мочишь, ты с ним беседу ведешь, он живой, он как отец твой родной, а ты на него задом садишься... «Эх, — думаю, — был бы ты у меня под рукой, я б тебе хвост прищемил...» Да где ж там — прищепишь... Не хозяин я тут, не судья.

Глянул я на Володьку Бузка, говорю: «Ты извиняй, конечно, но дело такое: своим инструментом я пока не разжился. Можно твоим попользуюсь?» Сказал, а неловкость в душе. Сам виноват — тряпками чемоданы набил, а киянки и долота в бондарне не взял. Хотел взять, конечно, Христина б и не заметила, да не тот был настрой. Раз та бондарня не моя — пускай и инструмент Миклошу достанется.

«Это всегда пожалуйста! — Володька ящик открыл. — Бери, сосед, пользуйся...»

Глянул я в ящик — и сердце упало. И зачем же ты, думаю, замок такой нацепил? Даром твой инструмент никому не нужен... Стамески зашерблены, ручки на них сосновые, без окольцовки. Раз ударь — и расколется. Киянок путевых и тех нету. Одна без держала, вторая по трещине изолентой обмотана. «Да-а-а! Мастера вы те еще!» Но про себя. Вслух ни слова. Выправил кое-как долото, в ручку киянки клин вбил. «Показывайте, — говорю, — работу...»

Васька с верстака спрыгнул, шею вытянул — глаза в растяжку на лоб полезли.

«Ты глянь, дядя Володи! — Бузку говорит. — Он и вправду буржуй... — И мне, как дитю малому: — Какая работа? Мы повременщики...» «То есть как понимать «повременщики»? А сам про себя это слово уже по привычке скорей на раскол: «По времени, значит?» «Не по времени, — Володька поправил. — По часам... По часам нам платят...» «Это по каким? — спрашиваю и вдруг песню вспомнил. — По солнечным, что ль?»

Заулыбались оба. «Во-во! По солнечным, точно! — Васька поддакнул. — По ним, родимым...» Глаза прищурил, на солнце сквозь бутылку взглянул — побежал за новой.

Володька Бузок остался. На корточки сел у двери, нахохлился, как воробей, на меня не глядит. «Ты, Аксентий, таво... — учить начал. — Сильно не тужься... У нас тут трошки не так, как там, за границей... трошки не так, говорю... Васька верно сказал: повременщики мы. День до вечера — и туши свет...»

Ладно, думаю, говори-говори. А до вечера надо дожечь. Буду работу делать.

Подкатил к верстаку бочку. А стояли они вповал, под навесом — все вперемежку, как хлам какой, — оглядел ее, пальцем по днищу постукал — звук костяной, слепому понятно, что днище с другого боку вспучило.

Это случается. Вовремя кипятком не запарили — вот клепка донная и разохлась. Повертел ее так и этак — конус есть, а клейма не прижгли. «Кто ее делал?» — спрашиваю. «А хрен ее знает», — Бузок мне в ответ. Ладно, думаю, пусть будет хрен. Мы его в клин забьем — станет Батьковичем. Снова бочку внимательно оглядел: материал, вижу, старый — щель на щели свистит, клепка в развод пошла. Ничего! Мы тебя быстро спаруем — послужишь еще годков пять. Обруч сбил донный, две планки на полгвоздя засадил, третью дал поперек и, дело простое, — днище, как крышку с колодца, снял.

«Обед!» — кричит за спиной Бузок. А я и не слышу... Сердце в груди расходилось, телу жарко, рукам весело. «Время!» — Бузок мне снова. А что оно, время? Какое время? Какие часы? Повременные или солнечные? Разве все в этом дело? Главное — я в работе, я — человек, я себя уважаю, я отвечаю за то, что делаю, мне жить не страшно, мысли пустые меня не морочат, руки левая с правой спорят. Что время? Вот оно, вот самое главное — я дело делаю.

С первой бочкой управился, вторую из-под навеса выкатил.

Та же картина — конус есть, клейма нет. Но я уже мастера по работе угадываю. «А ну, глянь! — Бузку говорю. — Основа дубовая, а ты сосновую клепку сырую впендюрил...» «Сойдет и сосна!» — Бузок отвечает. «Как так сойдет? Она у тебя неделю под суслom потерпит, а родней дубу не станет. Течь даст — смолой не залъешь». «Ниче-е-е-е!» — Бузок отвечает. — «Обратно починим...»

Тут я уже не стерпел. Киянкой по верстаку маханул — ручка в раскол. «Ты что? Как же так можно? Ты ж мастер! Мастер? Я тебя спрашиваю... Ты для кого делаешь? Для людей?» «Для общества», — огрызнулся Бузок. «А общество, что, не люди?»

Гляжу — осерчал: губы в нитку, окурок в землю втоптал и на меня косяной, в один глаз. «Ты, сосед, вот что... Ты учить меня, значит, приехал? Не на-а-адо... Я, слава Богу, ученый... Я тут с первого дня Советской власти... И все на моих плечах держалось...»

«Эге-е-е! — говорю. — Держалось? Я ж видел твою работу».

Володька Бузок голову в плечи втянул и дверью — хлоп!

«Мастеруй! Мастеруй!» — крикнул он. — Мы еще поглядим...»

Ладно. Начал мастеровать. А настрой, чую, уже не тот: мысли щель нашли, сердце подтачивать стали. И не обидно мне даже стало — удивился я сильно. Гляжу Володьке вослед. Эх, думаю, крученная ты душа. Что ж это за власть тут такая? Что ж она так душу человеку скрутила? Это ж душа, не клепка, ее ж за сто лет не выпрямишь. Что это так? Как же так получается? Что есть на свете главнее всего? Кто ты есть? Ты — человек, не заусенец, не стружка. Для чего ты на свет родился? Что после тебя останется? Кто вспомнит, что жил ты на свете, если ты дело свое не любишь? Если ты мастерство свое губишь... Мастерство — вечная сила на свете! Мастерство все пережить может... Я ж это знал, знаю и по гроб жизни знать буду. Я плавни, горы прошел, по чужим людям жил. Но я мастерство не утерю. Я — мастер! Все видели, что я мастер. Я ж этим и спасся. А тебя кто спасет? Какая власть на твоих плечах удержится? Если ты работать не будешь... Потом, думаю, стой. Но ведь удержалась власть. Вон флаг на ветру, дом трехэтажный, вон люди ходят. Есть, есть власть. А бочки под навесом — все хлам, все на выброс. Нет — брешешь! Не на выброс. Можно исправить. Надо скорее исправить, Аксентий...

Как подстегнутый подхватился, забыл о часах: день, вечер забыл, есть-пить забыл, одно в голове — счет: сколько бочек стоят под навесом, сколько по силам сделать успею.

Помню, как сон: сестра приходила. Что говорила — не помню. Племянница забежала — тоже голос слышал. Помню, темнеть стало. Я включил электричество. Еще, помню, кто-то наведалься. Потом вроде забыли, и я себя самого забыл. Клин с верстака упал, я нагнулся — сквозняком по ногам дало. Голову поднял — небо в окне, как латунь, и с краю холмов красным жаром посыпано. И чудо дивное: солнышко сонное выглянуло — значит, утро в разгон пошло. Я двери настезь открыл. Люди стоят. Рабо-

чие с винпункта, технологи, парни, девчата — все в кучу сбились, глядят на меня. Кто с интересом, кто вроде с угрозой, а кто и пальцем покручивает у виска. Васька, напарник Володьки Бузка, людей растолкал, выскользнул на простор, руки в карманы засунул, как вьюн закрутился, головой помахивает, людям подмигивает и на меня показывает.

«Гоп! Стоп! Тра-та-та! Вот как работать надо! Гоп! Стоп! Тра-та-та! Давай, давай, дядя Ксентий! Шуруй в светлое будущее! А мы за тобой! Гоп! Стоп! Тра-та-та...»

Я молчу. Закурить хотелось, а сигареты кончились. Руки, спина — не мои. В голове киянки стучат. И смеяться, и плакать хочется. Гляжу, начальник капитального строительства, Стефан Петрович, ко мне подходит. Взглянул на меня как на брата родного, обнял, крепко обнял. «Ну ты и стахановец, Аксентий Семенович. — И руку мою крепенько ладошками пухлыми стиснул. — Все! Все! Иди домой... Тебе отдохнуть надо...»

Я пиджак на плечи накинул, вижу, он бочки починенные оглядел, киянку взял с верстака, крепенько сжал в ладошке, вроде и сам захотел «стахановцем» стать. Что это, кстати, за слово, я тоже не знаю.

Стефан Петрович на Ваську глянул и крикнул с укором:

«Что расплясался? Работник! Один человек все ваше месячное задание за сутки сделал... — И снова на меня уважительно глянул: — Иди, иди, Аксентий Семенович... тебе отдохнуть надо».

Люди начали расходиться. А я стою посреди бондарни, гляжу на Стефана Петровича, и вдруг как кто сердце толкнул, сказать что-то ему захотелось, тоже ласковое, человеческое, и людям тоже что-то сказать захотелось. А слова из головы нужные вылетели. Забыл все слова: сербские, румынские, русские, — все в кучу сбились. Голову поднял — солнце в небе играет, флаг над правлением светится. В глазах у меня защемило. «Ниче-е-е, — сказал сам себе. — Будем жить. Будем работать...»

Через неделю-другую все бочки, что хламом ненужным дождем мочило, привел в Божий вид. Васька с Володькой Бузком с утра в бондарню войдут, посидят, посмеются — я не встречаю, хотя мне досадно, конечно, было. Володька — тот ладно, больше полжизни отмерял. За Ваську обидно было. Ты ж молодой, думаю, тебе еще жить и жить. Ты подойди ко мне, погляди на мою работу. Я тебе все расскажу. Как меня старый Торбич учил, все тебе передам. Кто ж после меня тут останется?

Раз не утерпел. «Что ж ты работать не хочешь?» — спросил. Он глаза сплющил и губы скривил: «Работать? Труд облагораживает человека, но делает его горбатым. Усек? Так что давай — горбатся!»

Что тут ответить? Слова без пользы. Бывает такое дерево. Акацию взять, орех, яблоно — с виду оно молодое, распилить — подгнило с корня. До нитки доску стругай — гниль проступает. И ничего уже тут не исправишь, а это досадно. Погляжу на него, как он с Володькой языком молотит. Бог с вами, думаю. Делайте что хотите. А я себе свое знаю.

Через неделю, помню, перекурить сел, только пачку достал из кармана, заходит один в бондарню. В шляпе, с кожаным ящиком через плечо, по виду не сельский. Глаза верткие, и шеей крутит, вроде кто за ним гонится. Закурить у меня попросил, видит, что «Ляну» курю, улыбнулся: «Что, кончились заграничные?» Откуда он, думаю, знает, что я за границей жил? Наверное, кто из людей сказал. «Кончились, — отвечаю. — Ничего. Нам и «Ляна» сгодится...»

Разговорились, сидим курум. Фокус он, что ли, знал какой или иначе как? Только так разговор повел, что получилось, что я ему все рассказываю. Не рассказываю даже — доказываю. Кто я? Откуда? Кто моя мать была. Кто отец. Он слушал внимательно. Потом ящик свой кожаный с плеча снял, аппарат вытащил, линзу протер, оглядел бондарню. «Освещение, — сказал, — здесь неважное... Ладно... Попробуем вытануть. — И на меня глянул. — Возьмите-ка молоток в правую руку...» «Это киянка...» «Ничего, ничего, пусть будет киянка. Та-а-ак! Взгляд веселее... Радость, радость! Вас заполняет радость... Огромная радость... К бочке поближе... Та-а-ак!» И кранц аппаратом. Еще раз — кранц! «Порядок! — руку мне протянул, левый глаз прижмурил. — Да-а! Хороший типаж!»

Что за слово «типаж», я спросить не успел. Он кожаный ящик схватил на плечо — и как не было.

Через неделю сестра моя вечером прибегает. «Ксентий! — кричит. — Ты погляди!»

Глянул. Газета — на сморок по ширине моих две ладони. В центре портрет. Племянница у сестры газету выхватила и в голос пошла читать.

Все про меня написано. Но немножко с подбрюхом. Вернулся, значит, в родные места Аксентий Семенович Грек, бондарь высокой квалификации. И что, значит, отец его бондарем был, и дед, и прадед — весь род, называется «трудова династия».

Какая династия? Что за слово чудное? Киянки в нашем роду никто, кроме меня, в руках не держал. Дальше тоже опилок подсыпали. Вроде я в партизанах был и в Югославии вместе с Тито Советскую власть помогал устанавливать. Но не смирился с этой властью, потому что она — кулацкая. Вернулся домой. Ну, не брехня? Какая там власть? Кулацкая или нет, разве ж я знаю? Разве в этом причина, что я вернулся? Зачем брехать? Это ж неправда, а люди поверят. Ладно. Что тут уже исправишь? Слава Богу, что хоть портрет вроде мой. С киянкой стою. Радости, правда, в глазах сильной нет — перепуганный вышел, зато видом лет на десять моложе. Усы не седые — черные. В лице ни оспинки — защекатурили. «Да ты, Аксентий, — шуряк говорит, — герой производства!» Газету забрал — почитать. А мне совестно. Какой я герой? Что я геройского сделал? Я делал свою работу. Если это у вашей власти героизмом считается, то тогда всех людей-мастеров из Каледец сюда привезти надо — бумаги у вас не хватит портреты печатать...

Но это так, про себя подумал. Что ж тут поделаешь? Когда хлеба мало, и мамалыга — хлеб.

Зато, конечно, щекотно было на сердце, когда по поселку шел. Люди приветствуют: «Грек! Грек!» А кто не читал газеты, слыхом слышал, тот переспрашивал: «Это не ты сутки работал?» Каждый за руку лично приветствовал. А у меня сердце вроде бы на пружинах, все вверх-вниз скачет. Нет, думаю, от такой жизни, глядишь, душа лаком покроется. Надо дальше работать...

В бондарню утром пришел, только фартук собрался надеть, Володька Бузок прибегает. «Шабаш! — кричит. — В правление зовут. Давай, давай! Явка всем обязательна!»

Гляжу, люди на винодельню работу свою побросали и из цехов, как овцы в отаре, пошли к проходной.

Что ж, думаю, такое случилось? Умер кто? Умер, думаю, точно. Иначе как же так? День белый вокруг, виноград в сбор пошел, машины с лотками стоят, сусло на землю течет. Точно, наверное, кто-то умер. Пришел я в правление. Вижу — ошибся. Скупщина¹ в зале сидит. Начальство тоже из кабинетов вышло. На сцене за красный стол стиснулись. Володька Бузок вроде от профсоюза, хотел ближе к столу, но начальство его фугануло со сцены. Самим не хватало места. Скамью принесли — вторым рядом вклепались. Сели — молчат. Радио на полную громкость включили. И на весь зал голос понесся. Про что толком — сказать не могу, запомнил, что повторял много раз: «Дорогие товарищи!» А дальше слова шли, что камни речные, обточенные, круглые, без заусенцев. Одно длинное, скажет — передохнет, губами почмокает и два коротких добавит.

Потом, слышу, притих, может, пошел отдыхать человек.

Каждый из начальства на сцене тоже начал выступать. Каждый тоже — сперва «Дорогие товарищи!». А потом — слова круглые.

Заведующий капитальным строительством Стефан Петрович под самый конец слово взял. Цифры с фанеры начал читать. Потом голову поднял и в зал поглядел: «Кто за это встречное решение?»

Вся скупщина — руки вверх. Я растерялся, Володька Бузок меня в локоть толкнул: «Голосуй! Голосуй!» «Для чего?» — спрашиваю. «Молчи! — шепчет. — Так надо...»

Надо так надо. Я руку вверх поднял. Вижу: все опустили, и я опустил. Дальше сидим.

Стефан Петрович на главное начальство глянул. До этого часа он од-

¹ Собрание (серб.).

ним боком к ним стоял, другим — к скупщине, а тут всей спиной повернулся, вроде разрешения попросил, а потом в зал крикнул:

«Есть здесь товарищ Грек? Встаньте, пожалуйста... Вот вам, товарищи, конкретный пример делового подхода к решению производственной задачи. — И палец вверх поднял. — Неделю! Всего неделю человек проработал в совхозе. А успел показать нам достойный пример активности и социалистической сознательности по отношению к делу... Похлопаем, товарищи, Аксентию Семеновичу...»

Скупщина в ладони ударила, но что-то не в лад.

«Тише, тише, товарищи! — поднял руку Стефан Петрович. — У меня есть предложение: отметить Аксентия Семеновича Грека премией в размере двадцать пять рублей. А также вручить ему грамоту за активное участие в строительстве нашего социалистического общества...» Со сцены спустился, грамоту мне вручил, а двадцать пять рублей, сказал, чуть позже выпишут, когда кассирша в банке деньги получит.

Скупщина кончилась. Люди начали расходиться. А куда? Сами не знают: на работу поздно, домой вроде рано. Я хотел в бондарню пойти, но Стефан Петрович меня задержал, снова ко мне подошел и ладошками пухлыми руку мою обхватил.

«Еще раз... — сказал. — От меня лично, Аксентий Семеныч...»

Васька сбоку притерся. На ногах еле стоит.

«Петрович! Слышь, Петрович? Ты б и нам для стимула червонец написал...»

«Я тебя для стимула, — осерчал Стефан Петрович, — траншею пошлю копать для теплотрассы... И не дыши, не дыши на меня! Сгинь с глаз! Нарушитель производственной дисциплины... — И снова ко мне обернулся: — Еще раз позвольте поздравить... Трудитесь, Аксентий Семеныч. Руководство в долгу не останется. Путевки будут, к морю поедете. Не Адриатика, сами понимаете, но питание профсоюзное...»

«Спасибо, Стефан Петрович... На добром слове спасибо, — я отвечаю. — Мне путевки пока не надо... Мне б инструментом разжиться...»

«Выпишем инструмент!» — пообещал мне Стефан Петрович.

«И лесу, товарищ руководитель. Лес тоже надо... Сушилку надо... Я знаю, как делать сушилки... Два дня работы... Материал должен сохнуть...»

«Будут и лес и сушилка. В ближайшей перспективе будут, — заверил Стефан Петрович. — Главная суть не в этом. Главное, что вы проявляете активность и сознательность. Так сказать, подаете пример для молодого поколения. Образец, так сказать, творческого подхода к труду...»

Много еще говорил разных слов непонятных. Ничего неделаешь: такая работа у человека — людей вместо кнута словом подстегивать. А мне этих слов не надо, я дело задумал. Я уже пораскинул мозгами насчет сушилки. Тут штука простая. Кладешь две трубы, друг от дружки на два локтя, сверху земли на штык, а выход — на топку. Вроде теплицы. Сильного жара не надо. Материал черствеет, акация, дуб сильной сушки не любят. Надо, чтобы и влага осталась. Так у Торбича было. У него сушилка была. Дерево — звон, клепок нарежешь — усадки не будет. И крышу! Господи, крышу забыл заказать... Крышу в бондарне покрыть. Чтоб бондарня была на бондарню похожей...

Ладно, успею сказать. День еще впереди есть...

Вечером к дому сестры иду. Грамоту в трубочке, в кулаке держу, сам как на крыльях.

Вечер ясный. Небо — звездочка к звездочке. Голову поднял — и вот она, моя вдовья повозка, дышлом в землю уперлась. Стоит — ни волос, ни хозяйки. Сколько же раз я видел ее за горами, сколько мыслей переморочил сердцем, и у Божьих людей, и во дворе у Торбича! Вот они, звезды, такие же, как и в том крае, к небу приклепаны, а здесь они кажутся ближе, здесь — свет мой, жизнь моя, здесь я весь до последней кровинки сердца.

Легко на душе стало, вроде десяток лет с плеч скинул. Шагом широким ступаю, обвыкся уже в темноте из бондарни шагать. Вот и бывшая усадьба старосты. Свет горит в окнах — девчата и хлопцы подсолнухи лузгают, гитара звенит, песня про солнечные часы крутится. Я уже к ней при-

вык. Я уже ее понимаю. Шутка это. Пустячная шутка. Никто по этим часам не живет — они как цифры на фанере у правления. Все их читают, все знают, а каждый поет свою песню. А эта для «общества», как Володька Бузок говорил. А общество, как я понял, это — скупщина, где руки вверх тянут. Скупщина кончилась, и каждый пошел свой хлеб домой есть. И я буду есть. По своей песне работать буду. Моя песня — работа. Буду, буду...

Жарко стало на сердце, телу легко. На ощупь иду, в небо гляжу. «Ничего, — шепчу сам себе. — Ничего, Ксентий. Есть на каждого человека у Бога свой смерок. Не все он дороге тебе стелит. Даст и тебе закуток...» В проулок свернул. Коттеджи рядком стоят под горкой. Начальство совхозное телевизоры смотрит: агроном, зоотехник, инженер электричества, винодел и бухгалтер — шуряк мой. А я уже размечтался. Не буду всю жизнь бродягой... Поживу немножко у них. А разгляжусь, где чего, и хатенку свою склепаю. Поближе, где с матерью и отцом жил... Непременно склепаю. Не хочу век доживать не в своих стенах. Глина, камыш за поселком найдутся, и досок найду. Где для бочек клепки, там и стояк нестандартный. Будем, будем жить...

Свернул я со стежки, грамоту, помню, ощупал в кармане, сестре сейчас покажу. Шаг еще один сделал и как в стену с размаху уперся. Сперва ничего не понял. В глазах молния сверкнула. Хотел вздохнуть — не могу. Еще один шаг ступнул и в землю со всего маха упал, как подрубленный. А сверху, с далекой кручи, голос услышал:

«Получай! Морда буржуйская...»

Я хотел встать, но потемки глаза накрыли — и поплыл по Дунаю, по теплой воде поплыл...

Очнулся, гляжу — потолок. В углу известка обсыпалась, почернела от сырости. Огляделся — лежу на кровати. Руки, ноги вроде чужие. Пошевелиться хочу — не могу. «Где я?» — спрашиваю. А голоса своего не слышу, губы как деревянные. В голове шумит, жаром печет, вроде гвоздей кто горячих набил. Каждый покалывает. Пить захотел. Глаза скосил — старушку увидел. Личико сморщенное и цветом, как запеченное яблочко-дичок. Стоит в белом халате.

«В больнице, сынок, ты, в больнице...» — сказала.

По губам догадался. Чудно, помню, мне стало. Что ж, думаю, такая врачиха старая? Личико ее, вижу, ко мне склонилось — губы шевелятся, а про что говорят — не пойму.

Семнадцать дней я слышать не мог. Потом немного легче мне стало — слова, как сквозь вату, начали доходить до сознания.

Старушка эта за мной ходила. Кормила, поила из ложечки, как дите малое. Радовалась, душа простиая, что я очнулся. «Слава те, Господи, — говорит. — Я думала, что не жилец... Сильно много ты крови из головы потерял, сынок...»

«Сынок...» — повторяю. Какой я сынок? Крови много потерял... Где же я потерял свою кровь? Вспомнить стараюсь, а память сделалась, как клубок прелых ниток. Потянешь — порвалась.

Сестра пришла — плачет. А мне ее жалко. Племянница приходила. Посидела немного, покрутила носом, ушла. «Очень тут дух тяжелый, дядя...»

А где ж ему легкому быть? Палата — название только. В длину — два моих роста от двери и до окна, а в ширину и половины не будет. Рядом с моей еще две кровати. На одной годок мой лежал из поселка Криничного, весь от лица до пяток зеленкой помазанный. Днем врачиха его помажет, а вечером он рубаху нательную скинет и чешется. На другой — татарбунарский болгарин, ноги поджал к подбородку, сидит с трубкой в легких. Кашлять начнет, а откашлянное в баночку сплевывает. Где ж тут духу легкому быть? Нас всех по отдельности надо бы расселить, но это, врачиха сказала, в будущей перспективе намечено.

Так вот втроем и лежали, теснее, чем овцы в овчарне. А тут еще сырость. Когда дождя нет — у нас сухо, а чуть небо расколется, известка на потолке набухает, старушка — Иляной ее звали, нянечкой в этой больнице работала за харчи — таз под это пятно положит, и слушай — кап-кап!.. Как-кап! Как по темени все равно.

«Господи, — думаю, — был бы здоровый, я сам бы потолок починил».

Пустяк дело. На чердак залезть надо, временно хоть железный лист положить или фанеры кусок любой, хоть той, что с цифрами у правления «агрокомплекса», — все капать не будет. А то невозможно. Уши закрой — услышишь. Сплю не сплю. Так и лежал. Глаза, помню, открыл, снова сестру увидел, принесла немного харчей, на тумбочку положила. «Горе, ты, горе. Господи, Боже мой... Васька, — сказала, — тебя ударил... Каменюкой сзади ударил...»

Какой Васька? Не могу вспомнить. Снова из клубка прелого нитку тяну — вот-вот вытяну. Нет, ничего не выходит — рвется, хоть плачь.

Как дитя малое стал. Имя свое и то вспомнить не мог...

Счастье мое, что не дал мне Господь беспамятным до конца жизни остаться. Вывел меня на ту стежку, под звезды, в тот вечер, когда я шел из бондарни домой после скупщины. Вспомнил, все вспомнил: и как в стену уперся, и как упал, и как «мордой буржуйской» меня обозвали, и голос вспомнил.

Все верно. Васька, напарник Володьки Бузка, ударил меня чуть выше шеи.

Больно мне стало... Голова — ладно. Сердцу больно... Люди, люди! Хорошо с вами дело иметь. А не иметь — еще лучше. Что я плохого сделал кому? Я приехал домой... Я старался, работал всю жизнь... И там я работал, и тут, для вас, на родной земле, для вашей Советской власти... За что ж вы меня наказали? За что ты меня, Васька, ударил? За то, что я мешал тебе и дальше пить то, что кони сроду не пили, за то, что жить мешал временно?

Выходит, что так...

Больно на сердце было. Так больно, вроде кто мне чоп в грудь забил. Вся моя жизнь в груди комом стиснулась. Все мои стежки-дорожки — все там... Божьих людей вспомнил, Торбичей вспомнил, Христину. Но все они в памяти недолго держались, а вот капрал приходил, маленький, узкогрудый, прыщавый. Уставился на меня. И потянул главную жилу из моего сердца. «Больно мне, — зашептал, — больно. Пусти...» «Я тебя не держу, — отвечаю. — Не держу...» А он свое: «Больно! Мне больно...»

Господи, Боже ты мой... Неужели меня его смерть покарала? Неужели Бог услышал и послал на меня беду? Так, так. Выходит, что так. Выходит — расчет подошел. Плати, Аксентий. Вот оно что... Ясно, теперь мне все ясно. Теперь я уже понимаю: люди не виноваты в твоей судьбе, никто в этой жизни не виноват, кроме тебя самого. Так, так, выходит, что так...

Зубы стиснул. «Ничего, — шепнул себе самому. — Ничего, перетерпишь. Теперь только это перетерпеть осталось... А дальше полегче пойдет жизнь твоя...»

Ильяна ко мне подойдет: «Что, сынок? Болит голова? Губы сухие... На, водички попей...» Руку мою погладит. «Что ты меня, — спрашиваю, — бабушка, утешаешь? Ты — старая... Тебе самой покой нужен...» Ильяна улыбнется, головой покачает: «Мэй, мэй, мэй! Сынок... Где ж тот покой на свете? Я уже девятый десяток живу, а покоя и не видела... Мне одной скучно смерти своей дожидаться. Вот я всех болящих и утешаю. Так легче мне, легче, ей-Богу, тебе говорю...» «Откуда сама ты будешь?» — спрашиваю. «Из Алуата... Рядом с Бульбоками вашими. Я и бабушку твою, Домку, царство небесное ей, помню. И отца твоего, и мать. Всех я помню... Ты, сынок, спи-усни. Болезнь во сне слабеет».

Не мог я уснуть. Все нитки прелые с клубка связывал в узелки. День, вечер, ночь — все одно для меня. Тут уж точно, по солнечным часам жизнь пошла. Сестра когда наведается, когда — нет.

Лежал я в районной больнице, в Кирилловке. Полсотни километров от наших Бульбок в одну сторону. Автобусом не наездишься. Да еще и работа у сестры, хозяйство, коттедж — все на ее плечах. Я и не обижался, что редко навывалась. Сам с собой куковал. Соседи мои по палате прознали мою биографию. Тот, что с трубкой в легких лежал, — ничего, молчаливый был. Сам в себе жил человек — ни слова. С утра как сядет — глядит в одну точку. А зеленой помазанный рта не закрывал. «Эй, рябой! — кричит. — Ты как насчет пожрать? Я б лично сейчас свинины постной с лучкой рубанул... Слышь, рябой? Почему там свинина в твоей Югославии?»

Не хотелось мне отвечать. Разговаривать не хотелось. Отвернусь к

стене, вроде сплю. Глаза закрою, чуток задремлю, а душа настороже. Душа без сна и без отдыха. Вроде ждет чего... А чего? Чего, думаю, ждешь ты, душа моя? Начал нитки из памяти по одной вытягивать. Все, как одна, там запрятались, какая покрепче, какая потоньше, а споднизу одна, как солнечный лучик, тянется. Утро в том лучике, небо латунное, флаг над правлением. Скупщина... Люди мне хлопают... Грамоту Стефан Петрович вручает... Вот, вот она, эта ниточка! Вот почему мне тепло и тревожно... Я же его жду, сердцем жду... Начальника своего, Стефана Петровича... Глаза его вижу, ладошки теплые, слова, что мне говорил насчет труда и отдыха, слышу. Вот, думаю, мне бы точно сейчас путевка к морю не помешала бы. Он обещал, обещал, с профсоюзным питанием... Потерпи, Аксентий, — придет. Сейчас дверь откроется... Должен прийти.

Не пришел. Дело ясное — занятый человек. Телефоны на столе звенят без передыху. В одну трубку заверять надо, в другую — лаяться. Скупщину проводить надо, цифры фанерные людям с бумажки читать. Где ж у него время найдется меня проведать?

Нет, выходит, у начальства для меня времени — ни солнечного, ни поврежденного — никакого.

Так что Стефана Петровича я не дождался. Другой гость наведалься.

Утром раз, помню, проснулся, Ильяна ко мне подошла: «Ксентий! К тебе...»

Я голову к двери повернул. Точно — ко мне. Напарник мой, Володя Бузок, стоит. «Здравствуй, Аксентий!» «Здорово, Володя! Садись...»

Присел у кровати. Боком сидит, вроде стесняется. «На вот тебе гостинец, — мне говорит. Айву положил на тумбочку. Спелую, желтую, как масло коровье. — Ешь, поправляйся...»

Слово по слову — разговорились. Все вроде на месте в Бульбоках осталось. И правление, и флаг на правлении. И бондарня на месте. Крыша, правда, не перекрыта осталась, и сушилку для материала тоже не сделали. Стефан Петрович не успел заказ дать. Перевели его выше. Объединением руководить. «В областном масштабе, — Бузок мне сказал. — По жилищному и капитальному строительству... Такие дела, Ксентий...» Помолчал, голову опустил, на соседей моих оглянулся и одеяло мое потрогал. «Слышь, Ксентий, что я скажу, — зашептал еле слышно. — Такое дело выходит... Ты, значит, на Ваську в суд не подавай... Выпимши был он... Сам понимаешь...» «Он, что ли, тебя послал?» — спрашиваю. «Да как сказать... — замялся Володька. — Родители, в общем... Пьяный, я ж говорю... Не подавай в суд...» «Эх, Володя, Володя! И думки не было у меня в суд подавать. Не было... Так Ваське и передай... Бог с ним... Грех на его душе... А про суд я и не думал... Что суд? Ну, скажу я в суде, что он меня камнем ударил. Ну, посадят его, дурака. Что ж, он в тюрьме помучится? Мастером станет? Нет, не станет... Я про себя думал и раньше, а сейчас и тебе говорю. Он как доска... Распили — с одного боку гнилая. До нитки строгай — гниль не выстрогаешь...»

Володька повеселел. «Спасибо тебе, Ксентий! Спасибо...» «Это тебе спасибо, что навестил. Иди... Иди с Богом...» «Пойду... Ага... Пойду... Если что надо — скажи...» «Ничего мне не надо...» «Выздоровливай...» «Спасибо... Выздоровлю как-нибудь...»

Не вышло, как думал.

В область меня возили. Снимок головы делали. Спицы прикручивали на лоб и макушку. На манометр глядели. Стрелка прыгала, а легче не стало.

Болит голова. Если спокойно лежу, ни о чем не думаю, вроде немеет сознание. А как мысль какая завернет в голову, снова каленые гвозди торчком поднимаются и колют, и колют.

А по манометру — сказали, колоть не должно, здоровый, сказали. Выписали из больницы, чтоб место не занимал. Ильяна меня провожала как сына родного. Поцеловал я ее: «Спасибо тебе, душа ты простая». Плачет: «Езжай с Богом...»

Думал, сам и уеду. Но сестра подросла к выписке. С ней и поехали. В автобус сели. Гляжу на нее — я ослаб, и она поддалась: телом схудала, лицом как в воду опущенная. «Ты чего, Ленуца?» «Да так... — вздохнула. Потом на меня глянула: — Зря ты, Ксения, в суд не подал на Ваську... Зря, ей-Богу... Глядишь, гроши б какие высудил... Родители Васькины цветами

в Тучкове торгуют... Дом новый купили... На «Жигулях» год поездили, продали — новые в гараже стоят... Рубли не считают...» «Ничего, сестра, — я отвечаю. — Может, Бог даст, и без суда выберемся».

Легко сказать выберешься... Покуда до хаты с автобуса шли, земля вокруг меня, как наждачный круг, на тысячу оборотов крутилась. То под ноги, то с горы. Допьяну так не напешься, как мне трезвому было идти...

В коттедж пришли, до кровати еле дополз. «Полежу немного...» — думаю.

С первых дней, как приехал из Югославии, в горнице спал, а с больницы вернулся — меня в маленькую комнатку переселили. Как дитя малое сделался. Лежу — ничего. А попробую встать — потолок кружится. Глаза закрою — все одно кругом идет.

Шуряк молчаливый сделался. Ни о политике, ни о ценах со мной больше не разговаривал. Раз зашел ко мне, поверх очков глянул. И с тем же упреком: «Зря ты в суд не подал. Очень зря. Юридически все права на твоей стороне... Расходов много...» И пошел загигать пальцы. «По самой вышей расценке возьмем... Уход за тобой по рублю в день выходит. Так? Дорога автобусом. Перевозка в область... Издержки... Питание... Фрукты, овощи... Мед Ленуца тебе покупала. Орехи грецкие — все с базара... — Умолк, глаза под очки спрятал. — Ты только чего не подумай... Мы с тобой как-никак в родственных отношениях. Ухаживать за тобой наша святая обязанность. Но... с юридической точки зрения... Сам посуди... Эти расходы должны компенсировать родители Васькины... Ты меня понимаешь?» «Все понимаю. Понимаю, милый ты человек, — отвечаю. — Только вот крест даю — не хочу я с судами связываться. Ей-Богу, скажу тебе, не хочу...» «Очень зря!» — шурин в ответ. И снова «с юридической точки зрения» начал меня уговаривать.

«Странный ты человек! — говорит. — Ведь пенсии у тебя не будет! Стажа у тебя нет непрерывного...» «Все равно в суд не подам...» «Зря! Очень зря!» — опять шурин в ответ. И дверью крепенько хлопнул. Я тоже разволновался. Вспомнил и мед, и орехи грецкие — я их не ел, сосед по палате, зеленой мазанный, смолотил. А все ж досадно. «Да, — сам себе думаю про шуряка, — память у тебя бухгалтерская и душа тоже. Все мое горе на счетах прикинул...»

Стыдно, неловко, обидно было. Есть захочу, а кусок не идет в горло. Сестра принесет, а меня слезы душат. «Вот оно как поворачивает, — сам себе думаю. — Вот тебя и на земле родной попрекнули куском хлеба... Ничего... Ничего, думаю, не вся еще моя жизнь прошла. Направлюсь... Работать начну. Ничего...» И снова гвозди каленые в голове торчком встанут. Надо уснуть, уснуть надо...

А как уснешь? В больнице хоть в тесноте, зато, слава Богу, тихо было. А в коттедже стены тоньше фанеры. С одной стороны — племянница музыку заведет. Только про солнечные часы певец пропоет, другой впере-сменку как резаный закричит и в барабан — гуп-гуп! Колотушкой по голове.

Уши зажму — вроде тихо. С другой стороны начинается. Голос шурина слышу. Ласковый, как у женщины, только тоном вроде тупой пилой по живому. Сестра в ответ что-то скажет жалобное, защиты просит. А шурин ее ласково перебьет — нудит и нудит. Сил терпеть моих нету.

Хотел встать, выйти, а потолок кружится. Ночью спал не спал, утром глаза открыл, вижу: сестра сидит на моей кровати. Каши тыквенной принесла. «Ксентий, ешь... — на столик поставила у кровати. Сама на меня не глядит. — Ты извиняй, Ксентий... — И на дверь оглянулась, одеяло поправила. — Извиняй... Заморочил мне голову... Хотела узнать... То есть... Не я — он. Ну, в общем, скажи: у тебя деньги какие-нибудь остались? Сбережения... Он говорил, что ты там, в Югославии, богато жил... Динаров, говорил, много имел... Может, привез сколько там... На черный день... Только извиняй, что я про это выпытываю... Замучил он меня. Замучил, ей-Богу».

Глянул я на нее. Эх, сестра, думаю. Вот она, жизнь у тебя какая...

Больно на душе стало. Но придержался. В руки себя самого взял.

«Да, — отвечаю, — богато я жил в Югославии. И динары у меня были. Много динаров... Хату можно построить.. От пола до крыши. А только

когда их на вашей таможене в рубли обменяли, то вышло, что и неделю с хлеба на воду не проживешь...»

Сестра ладонями лицо закрыла:

«И ничего не привез?» «Ничего, Ленуца... Вот подарки... Да в чем сам одетый... Правду тебе говорю... Я ж говорю: толстая пачка была динаров, а в рублях похудела...»

Умолк. И она — ни слова. Вроде уснула, сидя. Глядит в одну точку. Губами шевелит. «Съест... — шепчет. — Он меня съест... Господи, что ж ты за жизнь такая? — И на меня глянула. — Ксентий! Прости... Ксентий, брат мой... Прости... Глянь на меня... Глянь, как я схудала... Сколько я мордовалась, работала... Глянь, глянь на мои руки... Я кирпичи тягала... Сама гараж ему строила... Ему нельзя... Тяжелого поднимать нельзя... Он образованный. У него институт. А меня попрекает, что я четыре класса окончила... Не хотела тебе говорить. Ксентий, Ксентий, братик ты мой... Ты веришь, я сама в этих стенах чужая...»

На грудь мне упала, телом трясется. У меня сердце сжалось. Волосы ее глажу рукой. Седые, совсем седые волосы у сестры моей. А были русые, помню, легкие, как пух тополиный... Когда? Давно, в детстве, очень давно. И тоже вот так, помню, плакала. За хатой сидела, колючку в пятку загнала. Я вытащил, она плачет, я волосы ее глажу: «Не плачь, Ленуца... Не плачь...» Плачет. Так же, как в детстве, плачет, трясется телом — вроде не в пятке, а в сердце заноза — клещами не вытащишь.

Жизнь! Жизнь... Что же ты так устроена, что обруч на нас заготовлен с рождения, крепкий, поддонный обруч, он крутит тебя, стиснутый старается. Сломать тебя хочет. Не-е-ет! Поддаваться нельзя. Человек — не клепка из акации, не дубовый шпион. Нельзя свою душу сгибать и ломать. Никак нельзя...

«Глянь на меня, Ленуца, — сестре говорю. Она голову подняла, глянула мне в глаза, и сердце мое к ее сердцу прорвалось, забилося, как два детских сердца. Вроде и жизни не было длинной, вроде мы снова с ней малые дети. Были детьми и остались. И я сейчас не худую, не старую ее вижу, а ту давнюю, прошлую, детскую... Обнял ее, поцеловал: — Не плачь... — говорю. — Плакать не надо... Я отлежусь... Ничего... Ты вот что... Костюм... Я в нем приехал... Шляпу... Чистый фетр. У вас таких нету. И костюм шерстяной... Ты продай. Он модный. И шляпа модная... «Дефицит», как у вас называют... Продай... Может, рублей сто пятьдесят выручишь... Отдашь мужу... Пусть он... Пускай... А мне ничего не надо... Мне каши сварить... Воды глечик... Пока я лежу... Сделай, как я сказал... Ниче... Выздоровлю, даст Бог...»

Выздоровел. В бондарню пришел. Все то же самое. Ни порядка, ни дела. Начал сызнова бочки клепать. А только голову не заменишь. Стучать начинаю — и в голове киянка стучит.

Не смог я работать. В охранники перешел. Ночью, по службе, не сплю, всю свою жизнь вспоминаю. Ничего, слава Богу, живу. Он есть, есть Бог на свете. Не зря, нет, не зря Божьи люди ту книгу читали. Где только сейчас они сами? Куда подались? Может, и есть на земле место такое, где с Богом можно беседу вести без оглядки? Может, и есть...

Голову подниму, гляну по сторонам.

Ночь вокруг меня. Темная ночь. Тихо в поселке, как в хате заброшенной. Собаке бродячей — и той неохота брехать. Ни огонька на земле, ни живого голоса. Только звезды сверху глядят на меня. И повозка пустая с дышлом стоит. Куда это дышло показывает? Где та дорожка к земле, где бы я был при месте, при деле, в мире, в покое?

Где?

Бог знает...

Ефим ЛЯМПОРТ

П р о ф а з а н а

* * *

*Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
(В качестве эпиграфа)*

Фазан — это птица
которая снится
кронпринцам
начальникам
ведьмам девицам

Про это известно и даже про то, но ведь про Фазанов не знает никто.

— Полиция взорвана бомбой из тола,
преступников ищет весь штат Интерпола.

— Все школы закрыты, всё ахи и охи,
неужто и впрямь так дела наши плохи?

— Увы, это правда, увы, не обман, спасет положение только Фазан.

— Диктую по буквам. Включитесь, Панама: Ферма́. Абрикос. Здесь в истерике дама.

Такие творятся события тут, погас в кино свет, и никак не зажгут.

Никто ведь, подумайте, в мире не знал, что наша Земля — лишь большой кинозал. И ищет содружество множества стран то место, где водится этот Фазан.

Фазан как жар-птица
исполнит желания

как Феникс —

— недаром созвучное имя,

а может быть Сирий

под новым названием

а может Фазаны прописаны

в Сирии

Как счастье в ненастье, калоши в распутицу, как пресс-конференция в жажде сенсации, как контрмеры в снижении преступности, как Витте по поводу девальвации.

Ограблены склады ямайского брома, начальник охраны повесился дома.

Темно — выстрел будет источником света, сие означает, что песенка спета.

То ли песенка не та
только лесенка крута
только мыло да петля
а живу я только для
малых деток да жены
лишь они ко мне нежны
может стали мы не те
только трудно в темноте
Я объехал много стран
покажись скорей Фазан

Как камень для окон, вредитель для сева, как Евы поход по фруктовому саду, весьма притягательна эта беседа, быть может, последняя наша усада.

А п о к р и ф ы н о в о г о в р е м е н и

РАССКАЗЫ

Отдых на пути в Индию

Некоторые утверждают, что теплохода «Генералиссимус» никогда не было. Это не так. Корабль был, и какой: самое большое в мире судно, чьи гребные винты выплескивали из берегов Волгу; его тоннаж составлял 88 тысяч брутто-регистрационных тонн. Строили его с вполне определенной целью. Перед экипажем была поставлена задача: достигнуть берегов Индии и открыть там город Багалпур, находящийся в округе Орисса, в Западной Бенгалии, на реке Ганг и железнодорожной линии Калькутта — Дели, население — около 69 тысяч жителей (по состоянию на 1921 год); вывоз: рис, пшеница, кукуруза, горох, просо, индиго. Запланировано было также по пути открыть Францию, территория которой 550.965,5 квадратных километров, население 41.834,9 тысяч человек, из них 760 тысяч итальянцев и 67 тысяч русских, индекс резиновой промышленности (первый квартал 1935 года к уровню 1913 года) — 760, текстильной промышленности — 61.

Экипаж был укомплектован опытными моряками, учеными, военными, а также пышущими здоровьем колхозницами из спортивного общества «Динамо» и писателями в звании от майора и выше — сообразно заслугам перед отечественной словесностью. Пароход загрузили провизией, живым скотом и птицей, самыми крепкими в мире велосипедами «ЗИФ» и лучшими в мире галошами фабрики «Красный треугольник».

1 июля 1952 года «Генералиссимус» двинулся из Москвы по направлению к Балтийскому морю. На палубах беспрестанно играли духовые оркестры. Через каждые полчаса украшавшая нос судна бронзовая сирена с плоским монгольским лицом и острыми собачьими сиськами исполняла «Марш энтузиастов». За кормой вздымался алый от рыбьей крови пенный бурун. Горели золотом на солнце красиво зарешеченные иллюминаторы. С бортов свисали пышные гирлянды цветов, которые было нипочем не отличить от живых. Именно таким — не корабль, а полная чаша — и увидели мы теплоход «Генералиссимус» ранним августовским утром 1952 года.

Многие и тогда и позже гадали: почему именно в нашем городке капитан «Генералиссимуса» решил сделать короткий привал. Ларчик открывается просто, если рассмотреть все обстоятельства: предпоследний город перед выходом в открытое море; удобная пристань, где баржи-самоеходки все лето грузятся отличным песком и высококачественным гравием, запасы которого в окрестностях — едва ли не самые большие в районе, а может, и в мире; баня на шестьдесят помывочных мест; две столовки — Красная и Белая; бумажная и макаронная фабрики; другие предприятия легкой и пищевой промышленности; средняя школа с часами на башенке, в которой проживает ржавый Золотой петушок; школа-интернат для умственно неполноценных детей, куда многие записывают своих чад задолго до их рождения; парикмахерская, где до избрания на пост председателя поссовета (официально, на бумаге, наш город почему-то числился поселком городского типа) трудился Кальсоныч; дурочка Общая Лиза, употреблявшаяся как дворник, говновоз, рассыльная, а иногда и

как милиционер, если участковый впадал в очередной запой; ее дочь от неведомого отца — Лизетта, щеголявшая зимой и летом в сшитом из заплатанных простыней балахоне, чтобы вернее ощущать себя вольной птицей попугаем и не создавать трудностей мужчинам, на просьбы которых она охотно откликалась; дед Муханов, из упрямства и вредности вознесший дощатую будку туалета выше черепичной кровли своего дома, укрепив ее при помощи жердей и ржавых труб, перевязанных проволокой (и дважды в день с немалым риском для жизни дед поднимался в свой скворечник по шаткой лесенке, и через минуту зоркие жители городка могли издали наблюдать за полетом экскрементов из дырки в полу будки — в ржавый таз на земле); удобные улицы, вымощенные булыжником и поставленным на торцы кирпичом; водопад на Лаве; шлюзы на Преголе; устойчивая телефонно-телеграфная связь с близлежащими и отдаленными населенными людьми пунктами; изобилие парного молока, собак, майских жуков, а также яблок сорта «белый налив»; наличие в болоте возле бумажной фабрики настоящего водяного, чьи необыкновенные мужские достоинства вызвали справедливое негодование женщин, сравнивавших их с достоинствами своих мужей, — словом, если все это честно суммировать, становится ясно: нет ничего странного в том, что ранним августовским утром белоснежный гигант, спрямивший на всем ее протяжении русло узенькой речушки и выдавивший из нее всю воду, ошвартовался у нашей пристани под приветственные клики Кальсоныча, Общей Лизы, Лизетты, деда Муханова и других жителей, числом более пяти тысяч (без заключенных местной тюрьмы).

Сняв сапоги и портянки, Кальсоныч поднялся по ковровой дорожке на борт судна, держа перед собой на вытянутых руках хлеб-соль на полотенце с черным больничным штампом и служебное удостоверение на имя Кацнельсона Адольфа Ивановича в развернутом виде. За ним под звуки оркестра последовали и остальные ликующие жители.

До сих пор помню, как капитан — мужчина трехметрового роста, с усами, аккуратно разложенными по плечам, и бронзовой грудью — показывал нам корабль и знакомил с поющей сиреной и прочими членами экипажа. Среди них, помнится, был человек, перед которым поставили задачу поразить воображение туземцев Багалпура и Франции. В груди у него была небольшая дверца, а за ней — искусство сделанное из стекла и металла сердце производства Челябинского тракторного завода; сердце исправно, гораздо лучше природного, перегоняло кровь, а по мере надобности его можно было проветривать. Капитан дал мне свой бинокль, и я, помню, смог разглядеть содержимое карманов моих сограждан, а также — огромную волосатую родинку на Лизеттином животе, слева от пупка. Это было забываемое зрелище. Сейчас таких биноклей, увы, не делают. Капитан показал нам также машинное отделение, где в полной темноте восемь тысяч отборных велосипедистов, сидя на специальных станках с педалями, приводили в движение гребные винты. В кают-компаниях нам предложили фрукты, но мы, говоря это с сожалением, не отважились их попробовать, хотя они были так похожи на настоящие...

Кульминацией встречи стал футбольный матч между командой «Генералиссимуса» и нашими спортсменами. Надо ли говорить, что игроки с парохода не оставили никаких шансов нашим ублюдкам? Гости продемонстрировали высокий класс, забив только в свои ворота более пятнадцати мячей. Особенно отличился их центрфорвард. Человек ангельского терпения, он в конце концов не смог вынести наглую выходку нашего вратаря, который, получив от него бутсой по челюсти, попытался подло покинуть поле. Разумеется, мы не дали негодяю уйти и задержали, чтобы отдать его в руки центрфорварду гостей. Но этот великодушнейший человек позволил нам самим расправиться с невестой, что мы и сделали, выбив мерзавцу кишки через глотку.

Весь день до захода солнца на корабле играли оркестры, их выступления перемежались сольными номерами флейтиста, чье имя не могли повторить даже отъявленные матерщинники. Божественные звуки флейты погружали слушателей в транс. Захваченные грезами дети не хотели уходить домой. Их, впрочем, не особенно и понуждали.

Всю ночь до восхода солнца мы таскали и возили на судно провизию. Мы отдали — подчеркиваю, добровольно, — все, что у нас было, и даже то, чему только предстояло быть. Со слезами на глазах благодарил нас капитан, от всего сердца упрекавший нас за щедрость, чреватую голодовкой. Но это нас несколько не пугало.

Наутро, повесив и расстреляв наших футболистов, явно с коварным умыслом проигравших паровой команде, экипаж «Генералиссимуса» отдал швартовы. Заглушая крики провожающих, оркестры на всех палубах грянули с такой силой, что у некоторых стоявших ближе к воде мозги вылетели через нос и уши. Корабль ушел, оставив после себя сухое русло и сглаженные, словно утюгом, берега, забрызганные рубленой рыбой. С тяжелым сердцем возвращались мы к себе. И только дома обнаружили, что на судне ушли все дети. Вероятно, их зачаровала прекрасная музыка. Мы завидовали нашим детям, получившим такую возможность повидать мир.

И только Кальсоныч, Общая Лиза и дед Муханов, не разделившие всеобщего ликования, тайком от всех отправились вслед за «Генералиссимусом». Увязая в зловонном иле, они с трудом одолели полтора километра пути и на исходе дня увидели корабль. Его черный проржавевший корпус лежал поперек русла, сквозь огромные дыры в бортах проросли дикие травы и кустарники, в каютах поселились змеи и мыши. Плосколицая сирена с собачьими сиськами, когда ее попытались выволочь из ила, чуть приоткрыла бронзовые глаза и тихонько пробормотала: «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» Это были последние ее слова.

Кальсоныч опустил на корточки и дрожащими пальцами кое-как свернул козью ножку. Он вдруг почему-то вспомнил своих детей и жену, погибших в печах Освенцима, — и заплакал.

В густом ивняке у кормы обнаружили старшего сына Муханова — он не узнал отца и не смог ничего рассказать. Пока его вытаскивали из кустов, пропала Общая Лиза. Считается, что она ушла искать своих детей. Кальсоныч и дед Муханов с сыном вернулись домой, но никто не поверил, что они нашли корабль, тем более — погибший корабль. Судя по сообщениям печати, он успешно пересек моря и океаны и приближался к первому индийскому порту — Кальяю. Мертвый? Черный? Ржавый? Нет! нет! — в нашей памяти он навсегда остался огромным белоснежным красавцем с золотыми буквами на борту и высоким ценным буруном за кормой, алым от рыбьей крови...

Седьмой холм

Мне отмщение, и Аз воздам

Приходите — и я расскажу вам! Приходите сюда, на этот холм скорби, на Седьмой холм, вознесенный самой природой выше других к небу, по которому густыми августовскими ночами с тихим шелестом проносятся стаи мирных ангелов, взирающих светло-огненными очами на дольний мир, на средоточие, центр и пуп этого мира, на город городов, раскинувшийся на семи холмах, между двумя желтыми реками, на наш городок-поселок, чьи алые черепичные крыши то утопают в жирной летней зелени лип и каштанов, то стынут под пахнущими йодом зимними ветрами, на эту паршивую горсточку домов и сараев, воняющих плесенью и ваксой, свиньями и керосином, дышащих смертью — елью и туей, обступившей со всех сторон Седьмой холм, пашню для сева без жатвы... Вот тут, между могилами городской дурочки Общей Лизы и старухи по прозвищу Синдбад Мореход (прославившейся неутомимостью в походах за пустыми бутылками), рядом вон с тем безымянным дрожащим деревом, и находится место последнего упокоения Лаврентия Павловича Бери, ассенизатора, и его подручного — ветерана африканского партизанского движения негра Вити. Та самая могила, из-за которой и пришлось закрыть кладбище.

Приходите — и я расскажу вам типично русскую историю: с фабулой, но без сюжета.

Появившись в нашем городке вскоре после официального сообщения о своей смерти, Лаврентий Павлович был тотчас опознан Андреем Фотографом, который, схватив пришельца за левое ухо и едва ворочая языком, пробормотал: «Если сбрить бороду, нос сделать вот так, а уши — так, — будете вылитый!» Преследуемый городскими псами, незнакомец бежал и укрылся в Красной столовой. Наливая клиенту умеренно разбавленное пиво, Феня как бы между прочим поинтересовалась: «А пенсне где потеряли, Лаврентий Палыч?» Мужики кое-как оторвали человека от Фени и на всякий случай выбросили

на помойку, где он и приходил в себя до утра в компании Кольки Урблюда, цыгана Сереги и дюжины дикорастущих котов.

В начале жизни в нашем городке он предъявил документы, выписанные, разумеется, на чужое имя. Впрочем, кого интересуют бумаги, если человек устраивается подручным к Пердиле, паромщику, жившему в покосившейся дощатой будке на берегу, где он гнал самогон из ивовых прутьев и каждый вечер принимал женщин. Лаврентий Павлович послушно топил печку, лалял на прохожих и управлялся с паромом, пока начальник спал, дрых или подрывал. По утрам на береговом песке паромщик освобождал нутро от переполнявших его газов с такой силой, что доверчивые уклеики всплывали вверх брюхом, и долго прочищал глотку матерщиной по адресу рабочих, возводивших деревянный мост близ паромной переправы. Мост грозил лишить паромщика верного куска хлеба с верным стаканом водки, подносимым ему каждой свадебной или похоронной процессией. Несколько раз Пердила подсылал Берию на стройку с бидоном керосина, и всякий раз вылазки завершались безрезультатно: сырое дерево гореть не желало. За это экс-министр бывал жестоко бит.

В конце концов мост построили, а паром разобрали на дрова. Паромщик запил и забузил. Через неделю его обнаружили в прибрежном ивняке с трехгранной напильником в затылке. И хотя осудили и посадили за это Ваську Петуха, жена которого иногда навевывалась в домик у реки, мы-то понимали: виноват Берия. Только он мог так воткнуть напильник, что его не смогли ни выдернуть, ни выломать, ни вырезать, почему и пришлось хоронить паромщика лицом вниз.

Во всем, во всем виноват был Лаврентий Павлович — и никто другой. Из-за него тонули телята в вонючих канавах на Стадионе, залитых мазутом с толевого завода. Из-за него четырежды за десять лет не уродилась картошка. Из-за него молния спалила два дома на Семерке и один — за Фабрикой. Из-за него утонули отец и сын Мухановы — в лодке, бездарно изготовленной руками сына; их тела не обнаружили, хотя и говорили, что браконьеры, глушившие рыбу тротилом, взрывом подняли обнявшихся Мухановых с илистого дна Преголи, — и так, обнявшись, они спустились по течению, пересекли Балтийское море, без лощмана прошли Большой и Малый Бельты, Эресунн, Каттегат и Скагеррак — и отправились в вечное плавание по бескрайним погостам океана... Из-за Берии мальчики выросли хулиганами, мечтавшими об исправительной колонии, а девочки — бесстыжими девственницами, мечтавшими о хулиганах. Из-за него месяцами лили дожди и зеленая плесень проедала дома до людей. Из-за него в июне было тридцать дней, а в июле — тридцать один. Из-за него мы рождались и умирали. И хотя и находились умники, пытавшиеся утверждать нечто иное, мы-то понимали: виноват Берия. И больше никто.

Женился он на бабе по прозвищу Мясо. Эта бесформенная колода то и дело попадала то под поезд, то под сокращение на службе, то под пьяного мужика, и рожала что придется: котят, мышей или даже зеленых чертиков, которые — неспроста же! — все чаще являлись почти трезвым мужикам. Само собой разумеется, что он все отрицал, утверждая, что никакой он не Лаврентий Павлович, а Николай Николаевич, и не грузин, а родом из Скотопригоньевска, и никогда не был министром, поскольку умеет считать и писать, и вообще его прабабка пугалась то ли с евреями, то ли с какими-то другими негодяями. Вздор. Кого могут убедить подобные доводы!

Однажды он попытался дать деру из городка, но был настигнут при попытке пересечь Волгу вплавь и возвращен. Убедившись, что никуда ему от нас не деться, да и на мякине нас не проведешь, Берия затих и затаился в должности городского ассенизатора. Оседлав протекающую во многих местах вонючую бочку, он методично объезжал дворы и четыре места общего пользования, лицемерно отказываясь вступать в политические разговоры о погоде и видах на картошку. Ходил он во френче, застегнутом на крашенные чернилами костяные пуговицы, и в высоких болотных сапогах. Поскольку в долг он никому никогда не давал, мы были уверены, что Берия копит деньги, заворачивая купюры в презервативы и пряча в задний проход.

Так мы и жили до появления в городке негра Вити, ветерана африканского партизанского движения, знавшего семьдесят пять эпитетов к слову «песок» и наизусть цитировавшего Полное собрание сочинений Генералиссимуса.

Спасаясь от преследования колонизаторов, Витя в одиночку пересек пустыню Калахари, питаясь сухими колючками и каплями росы, собиравшимися под утро на вороненом стволе автомата ППШ. Его следы затерялись в непроходимых джунглях Экваториальной Африки, а обнаружались в непроходимых зарослях бузины между баней и базаром, куда Витя выбрел, ориентируясь на запах женского туалета и не утратив в пути ни идеалов, ни четырехзубой вилки, бережно хранимой за сапожным голенищем.

В нашем городке он сразу почувствовал себя как дома. Он полюбил сушеного леща под слегка разбавленное пиво и вопящих от неожиданности и восторга русоволосых женщин, иногда забредавших к нему на огонек выразить солидарность с борющимися народами далеких от городка стран. Бабы и обнаружили на покрытой шрамами Витиной груди некий предмет, вросший под кожу. То была спрятанная от врагов металлическая фигурка Генералиссимуса, служившая Вите чем-то вроде амулета. Утверждали, что и Витина мужская сила зависела от благорасположения фигурки, и когда Генералиссимус был добр к негру, женские вопли из его каморки привлекали со всей округи судорожно мяукающих кошек...

Поскольку ничего, кроме как стрелять по неуверенно движущейся цели, Витя делать не умел, его и приставили помощником к Лаврентию Павловичу, и с первого же дня Берия люто возненавидел бедного негра. Во-первых, за то, что тот беспрестанно приставал с расспросами о Вожде. «Дерьмо,— отвечал Лаврентий Павлович,— дерьмо и дерьмячье дерьмо — вот и все, что меня интересует». Во-вторых, за то, что Витя любил спорить — хлебом не корми. «А спорим, что Сталин — сын Ленина? Незаконнорожденный!» В-третьих, за то, что с утра до ночи Витя распевал во все горло бессмертную зулусскую поэму «Вопросы ленинизма». Издание одиннадцатое. Государственное издательство политической литературы. 1945 г. Уполномоченный Главлита № А32018. Печать с матриц 1941 г. Цена 3 р. 50 к. Первая Образцовая типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР. Москва, Валовая, 28. Заказ № 3907». «Дерьмо,— прерывал его Лаврентий Павлович, останавливая лошадь возле Красной столовой.— Наидерьмейшая дерьмятина». «Ты должен быть расстрелян,— заботливо качал головой Витя.— Ты народный враг». И оба шли пить пиво, которое любили.

Столкновение между ассенизаторами было неизбежно, и даже удивительно, как оно не случилось раньше пятого августа, дня получения.

В тот роковой день, как на грех, в Красную столовую завезли свежее пиво. И как на грех, Лаврентий Павлович по такому случаю заказал на одну кружку больше обычного. «А спорим,— загорелся Витя,— тебе не выпить сто кружек! Спорим?» Берия с ненавистью воззрился на негра — и вдруг сдавленно прошипел: «Спорим. На сто рублей». Это была вся Витина получка. В столовой воцарилась тишина. Мужики переглянулись: ясно, кто мог спорить на такую сумму... Витя весело шлепнул деньги на стол и велел Фене наливать. Он хохотал, как безумный, не спуская глаз с давящегося пивом Берии. Но когда тот, все так же давясь, осилил семьдесят пятую кружку, негр лишь кисло улыбнулся. Собравшиеся в столовке мужики зорко следили, чтобы враг народа незаметно не улизнул в сортир. Но Лаврентий Павлович только все больше раздувался и все более злобно выдыхал после очередной кружки. Допив последнюю, он сгреб Витины деньги, плюнул негру под ноги и, тяжело чвакая сапожищами, направился к выходу. Толпа подхватила понурившегося Витю и выплеснулась во двор.

Лаврентий Павлович с трудом вскарабкался на бочку, откинул люк и принялся стягивать сапог, из которого хлынула желтая струя.

Несколько мгновений мужчины остолбенело наблюдали за Берией, пока Колька Урблюд не воскликнул: «Да он где пил, там и ссал!»

Как смеялись мужики! Как они хохотали! И чем больше они веселились, тем ярче разгорались гневом глаза ветерана партизанского движения. «Обдурил! — наконец не выдержал он.— Обдурил, кровавый палач!» «Зато честно обдурил», — попытался урезонить его Урблюд.

Витю не успели остановить. Выхватив из-за голенища четырехзубую вилку, он птицей взлетел на ассенизационную бочку и одним могучим ударом в сердце лишил жизни бывшего министра Лаврентия Берия. Оба, не удержав равновесия, рухнули в открытый люк.

Наши попытки извлечь их тела оказались безрезультатными. Так и пришлось их похоронить — в бочке, полной дерьма. И хотя в могилу высыпали

полторы тонны негашеной извести, сами понимаете, кладбище вскоре пришло закрыться.

С тех пор стаи мирных ангелов норовят поскорее прошелестеть над средоточием, центром и пупом этого мира или даже обогнуть город городов, раскинувшийся на семи холмах, украдкой обогнуть и скрыться в густой тьме августовских ночей, пахнущих плесенью, туйей и ассенизационной бочкой, вместилищем смерти и скорби...

Хитрый Мух

Настоящая фамилия этого скрюченного человечка с плоской, как блин, макушкой и косящими глазами, наезжающими на клубничину носа, наезжающего на неровно вырезанные губищи,— Мухоротов. Леонтий Мухоротов. Но в городке его знали только по прозвищу — Хитрый Мух. Сторож парка культуры.

— Чего ты там охраняешь? — выпытывали мужики. — Ломатую качель? Или бабу с веслом?

Леонтий хитро улыбался.

— Секрет.

— Какой такой секрет?

— Я знаю, что я знаю, — уходил от прямого ответа Хитрый Мух, тщетно пытаясь натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха. — Тайна.

В парке среди лип с гнилым нутром и буйных зарослей бересклета белели остовы аттракционов, увитые воробьиным виноградом, скрипел дверью пневматический тир, где за обитой мятым алюминием стойкой лязгал протезными руками и ногами сизоносый Виталий, всегда державший для дружков дежурный «маленьковский» стакан, и высились там и сям гипсовые фигуры спортсменов с гипсовыми мускулами, рыбаков с чудовищными гипсовыми осетрами в руках и шахтеров — в позах, заставлявших предполагать вывих тазобедренного сустава. Забора не было, зато были ворота — всегда аккуратно выкрашенные ядовито-синей краской и всегда при замке, который Хитрый Мух ежеутренне торжественно отпирал и ежевечерне запирали, по-хозяйски покрикивая на пробегавших вдаль прохожих: «Парк закрыто! Закрыто!»

Из окон его домика открывался вид на аллею с монументальной задницей девушки с веслом на переднем плане. Скульптуры были главной его любовью и заботой. С утра до вечера бродил он по парку с ведерком разведенного мела и тщательно замазывал трещинки на гипсовых локтях и пятнышки на гипсовых коленях. Особым вниманием пользовалась девушка с веслом, чьи гипсовые формы Мух обихаживал с неподдельной любовью, непрестанно бормоча при этом какие-то заклинания.

Жил он одиноко и замкнуто, даже в общественную баню не ходил, что заставляло подозревать наличие у него какого-нибудь физического недостатка — вроде хвоста или крыльев. А поскольку вдобавок он и водку не пил, и держал свой дом открытым для бродячих кошек, которых иногда кормилось и роилось у него до трехсот, и вдобавок безудержно занимался селекцией животных и растений, — почитали его за полупомешанного.

Да, селекция была его страстью, неуправляемой и бестолковой, как всякая страсть. Он скреживал все со всем: смородину с крыжовником, репу с малиной, кошек с козами, овец с летучими мышами... Результаты опытов буйно цвели, росли, бегали и орали в саду и в парке, пугая случайных прохожих и дружков сизоносого Виталия. То вдруг мыш дерзко мяукнет на слабонервную Граммофонику, то овца какнет с дерева на Кольку Урблюда. К счастью, большая часть тварей просто дохла, не оставляя потомства.

— Бросал бы ты это дело, — хмуро советовал Виталий. — На кой тебе это?

— Да что ж, — жмурился Хитрый Мух. — А вот если кошку с собакой скрестить, какая животная получится?

— С драной жопой, — тотчас отвечал Виталий. — Морда вечно будет на хвост кидаться. Ты лучше женись.

Хитрый Мух задумчиво кивал.

Раз в три-четыре года ему и самому приходила в голову эта мысль. Свахи предлагали ему невест, Хитрый Мух ходил в гости, пил чай, глядя в стол

и то и дело норовя натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха,— и в конце концов отказывался.

— Не,— отмахивался он от упреков Виталия,— нам таких не надо. Глухая она.

— Да зачем тебе слуховитая? — яростно лязгал протезами Виталий. — Скрести ее с курой — яйца несть будет. Польза. А?

Хитрый Мух долго мялся, пока наконец не выдавливал из себя, словно великую тайну:

— Некрасивая она...

— А ты! — срывался Виталий. — Помесь негры с мотоциклом! Кому ты нужен?

— Нужен,— хмурился Мух,— не может быть, чтоб никому не нужен.

Виталий долго смотрел ему вслед, машинально выборматывая ругательства, но в душе восхищаясь Хитрым Мухом, хотя и не мог даже себе ответить — почему.

На зиму сторож тщательно укутывал статуи соломой и мешковиной, но к весне дрянной гипс растрескивался, и с каждым годом приходилось трахать на поддержание скульптур все больше замазки и мела.

Зимой в заснеженном парке, кроме Муха, каждый день появлялся сизоносый Виталий, упрямо просиживавший свой рабочий день за стойкой, потягивая самогон с крепким чаем и читая «Братьев Карамазовых».

А весной Виталий рехнулся. Однажды в полдень он вдруг выскочил на крыльцо тира с пневматической винтовкой и, вопя что-то невразумительное, открыл беглый огонь по кошкам, Муху и Буянихе, забежавшей к Леонтию за солью. Когда примчалась «скорая», Виталий забаррикадировался в своем вагончике и отстреливался до последней пульки, потом обделался и свалился под стойку, откуда его, нестерпимо воняющего и неуправляемо лязгающего протезами, кое-как извлекли и засунули в машину. Стальная его нога заклинила дверцу. Санитар плюнул и велел ехать. Машина тронулась под истощенный вопль Виталия: «Свободу братьям Карамазовым! Урра-а-а!»

Оставшись один, Хитрый Мух как-то незаметно сдал. Он пристрастился к чтению «Трех мушкетеров» и «Братьев Карамазовых» вслух под сенью девушки с веслом. Время от времени он вдруг замолкал и пытливо вглядывался в гипсовое лицо. А когда наступила зима, перетащил статую в свой дом.

В первую же ночь отогревшаяся девушка отставила весло в сторонку и, стыдливо пунцовая, стянула с себя трусы и майку. «Жмут,— смущенно прошептала она, робко взглядывая на приподнявшегося на локте мужчину,— и натирают».

И Хитрый Мух, наконец-то уразумевший, зачем он живет на этом свете, задыхаясь, принял ее в объятия.

Через несколько дней алкоголик Митроха, по привычке забредший в парк, наобум толкнулся в дверь к сторожу. Хитрого Муха он нашел в обледенелой спальне. Рядом с ним безмятежно спала девушка без весла. Ее заиндевевшие волосы красиво разметались по подушке. Митроха на цыпочках удалился.

При осмотре и вскрытии никаких физических изъянов у Хитрого Муха не обнаружилось. В поисках клада добровольцы перерыли весь дом, сад и парк, но — ничего не нашли. Так мы и не узнали, в чем же заключалась хитрость Хитрого Муха и в чем — тайна.

Гипсовую девушку бросили в кусты бересклета — растрескавшуюся, с вытянутой вперед рукой и чуть приоткрытыми чувственными губами. Буяниха положила ей на веки два медных пятака. В голове у нее помутилось, горло сдавило, и Буяниха медленно осела наземь, глотая слезы и массируя грудь: сердце ныло и не отпусало.

— Господи,— прошептала Буяниха,— жизнь это наша — или сон Твой?..

Аллес

Да-да, счастливы только слепые, так уж устроен мир. Только на их долю не выпали все те волнения, которые чуть было не привели к гибели городка. Только они не могли и не смогли прикинуть к глазку в стенке ящи-

ка, стоявшего посредине задрапированного алым плюшем помещения, над входом в которое этот мошенник повесил написанную от руки табличку: «Ателье «Исполнение желаний». Цена договорная». Кто-то говорил, что владелец ателье проник в городок под видом разложившегося мертвеца в западном цинковом гробу, кто-то вспоминал какого-то племянника Светки Чесотки, которого днем она якобы держала под замком в подвале, а ночью выпускала в огород, где он выращивал такую морковь, что женщины стеснялись брать ее в руки при свидетелях... Как бы там ни было, когда освободилось помещение старой аптеки, этот человек — метр с кепкой, утопленные едва не до затылка глаза и скрипящие на весь городок ортопедические ботинки — и устроил здесь свое ателье: алый плюш на стенах, черный ящик на треноге, цена договорная, дети до шестнадцати.

Что означает договорная цена, выяснилось в первый же день и вызвало в городке неподдельное веселье. «Чем хотите, тем и платите, — объяснил хозяин. — Договоримся. А после смотрите сюда — и аллес».

— Чего? — не поняла Буяниха.

— Аля-улю, — перевел на русский язык Колька Урблюд.

— Жулик! — возмутилась Феня из Красной столовой. — Вот я выведу его на чистую воду!

Собственноручно отловив и умертвив крупную рыжую крысу, Феня вернула ее в салфетку с надписью «общепит» и решительным шагом направилась к ателье, у дверей которого уже собралось почти все взрослое население городка. Медово улыбнувшись, Аллес недогнувшей рукой принял крысу и театральным жестом пригласил Феню к аппарату.

— Вы увидите себя, — прожурчал он, — вы увидите исполнение самых — самых! — сокровенных своих желаний, о которых, быть может, и сами не подозреваете. Вы заглянете в свое будущее.

Через десять минут в дверях показалась бледная Феня с физиономией дохлой крысы. Она слепо шагнула на тротуар. Толпа раздалась. Феня сделала несколько неуверенных шагов.

— Неужто видела? — остановил ее дед Муханов.

— Видела, — прошептала Феня. — Видела, господи боже мой.

И рухнула могучим бюстом в лужу.

— Кто следующий? — сладко пропел Аллес, обводя толпу глазами-утопленниками.

И мы поверили — и повалили.

Расплачивались кто чем мог. Кто десятком яиц, кто рублем, а кто и горстью дохлых мух, — все безропотно принимал Аллес. На подгибающихся ногах приближался клиент к черному ящику и, поглубже вдыхая запах нафталина и стеклянню скрипя позвоночником, принимал к глазку. Пять минут для выстроившейся за дверью очереди тянулись как пять лет, но мы не роптали, ибо каждый пытался понять, почему счастливы, побывавшие в ателье, ничего никому не рассказывают. Ничего и никому. Кто-то выходил оттуда посмеиваясь, кто-то с перекошенной физиономией, кто-то сразу направлялся в Белую столовую напротив и требовал у Люси «триста без закуси», кто-то же убрел на кладбище и дотемна сидел на лавочке у могилы родителей... Но — никто никому ничего не рассказывал. Мать — дочери, сын — отцу, жена — мужу, подчиненный — начальнику — ни гу-гу. Известная склонностью к словесному недержанию Граммофониха, не полагаясь на свои силы, без наркоза зашила себе рот рыболовной леской.

После посещения ателье председатель поссовета Кальсоныч вдруг отказался от своей ежедневной порции самогонки с куриным пометом и прогнал с глаз долой дурочку Общую Лизу, явившуюся, как всегда, исполнить последнее дневное желание начальника — оно же первое ночное.

Директор музыкальной школы по прозвищу д'Артаньян наконец решился и сделал предложение руки и сердца Алле Пугачевой, с портретом которой он тайно сожительствовал в одной комнате уже восемь лет.

Лесхозовский бухгалтер Глаз Петрович утром тщательно выбрился, надушился и, глядясь в помутневшее зеркало, чтоб не промахнуться, аккуратно перерезал себе горло от уха до уха.

Одновременно начались в городке и странные исчезновения. К примеру, исчезла неведомо как, когда и куда булыжная мостовая от тюрьмы до Банного моста. Разом пропали все собаки черного цвета, а также рыбы сорта

уклейка из Преголи и Лавы. За ними — пишущие машинки, у которых отсутствовали литеры «ч», «р» и «т». Грузинский чай высшего сорта, которым дед Муханов набивал свои сигареты. Плакат над вывеской магазина головных уборов — «Шляпы партии — шляпы народа». Ночной шелест ивовых зарослей между базаром и баней. Запахи туи на старом кладбище. Мухи.

Однажды дед Муханов не обнаружил ступенек у сберкассы, на которых обычно собирались старики, чтобы рассказать друг другу одну из тридцати трех любимых историй, — и словно пелена спала с его глаз. Он узрел труп городка — без позеленевших от вечной сырости заборов и гудящих над помойками мух, без плывущего по Преголе дерьма, без пишущих машинок, у которых отсутствовали литеры «ч», «р» и «т», без неукротимого бабника Глаза Петровича, чей стеклянный глаз излучал энергию, прожигавшую женские юбки до трусиков, без шляп партии и шляп народа... Узрел, ужаснулся и воскликнул:

— Аллес!

Откликнувшиеся на его призыв мужчины и подростки до шестнадцати лет бросились к ателье «Исполнение желаний», но, разумеется, уже не застали там Аллеса с утопленными до затылка глазами и скрипящими на весь городок ортопедическими ботинками. Никто не внял просьбам деда Муханова пощадить черный ящик для науки, — аппарат разбили на мелкие кусочки, каковые истолкли в ступе, облили керосином и сожгли, а пепел доверили сожрать Аркаше Стратонову, поскольку твердо были уверены: уж из него-то, кроме говна, ничего не дождешься.

Акция возымела успех. Постепенно в городок вернулось все, что исчезло, вплоть до Фениной дохлой крысы, завернутой в салфетку с надписью «общепит». Волнение улеглось, и только счастье, кажется, ушло от нас навсегда — от всех, кроме слепых, разумеется. Так уж устроен мир: счастливы только слепые...

Чудо о Буянихе

Поэма

Елью и туей пропах городок, елью и туей, — Буяниха умерла!

У Капитолины вода в чайнике внезапно забила ключом и превратилась в кровь, и старуха поняла: Буяниха умерла.

Дряхлеющий Афиноген вдруг почувствовал, как пустота во рту заполнилась живой плотью — это вырос язык, оторванный сорок лет назад осколком фугасного снаряда, и первой мыслью Афиногена была: «Буяниха умерла», а первым словом:

— Подлецы!

Но это уже относилось к зятю и его дружкам, допивавшим в саду последний флакон одеколона «Сирень». Митроха опрокинул пузырек в рот и чуть не задохнулся: в горло посыпались пахучие цветы сирени.

Весть о кончине Буянихи передавалась из уст в уста, из магазина в магазин, из автобуса в автобус, с бумажной фабрики на макаронную, с маргаринового завода на мясокомбинат, из леспромхоза в городок нефтяников, — и последним, кто ее услышал, был Прокурор.

Он бросил собакам еще один кусок мяса, вытер руки полотенцем, висевшим на спинке стула, чьи ножки, казалось, вросли в землю (после смерти прокурорши стул не убрали со двора ни зимой, ни летом; ранней весной Прокурор сдирал с его железного каркаса толстую кору ржавчины и огромной маховой кистью вымазывал весь стул светло-голубой краской, которая еще кое-как держалась на деревянных планках сиденья и спинки, но к середине лета облезала с каркасных прутьев, словно они были сделаны из какого-то особого металла, обладавшего неукротимой способностью сбрасывать с себя краску), и, обратив к собеседнику длинное лошадиное лицо, воскликнул:

— В пору пожалеть, что у нас нет ни одного колокола.

Он опустился на стул и, широко расставив ноги и упершись руками в колени, вновь заговорил своим бесстрастным, невыразительным голосом, который вполне мог принадлежать какому-нибудь неодушевленному предмету — ну, скажем, его поношенным, но аккуратно начищенным ботинкам.

— Такие новости следует возвещать под аккомпанемент траурного колокольного звона. Подумать только: Буяниха умерла.

Откинувшись на спинку стула, он поставил правую ногу на сиденье и обхватил руками худую лодыжку. В такой неудобной позе он просиживал с утра до обеда, глядя прямо перед собой крохотными серыми глазками, но не замечая ни приветствовавших его прохожих, ни собак, гревшихся на солнышке или рывшихся под заборами, собак, на содержание которых, по достоверным слухам, он тратил большую часть своей пенсии. Даже не взглянув на часы, ровно в двенадцать он отправлялся обедать. А после обеда, вернувшись на привычное место и водрузив на стул уже левую ногу, он дремал, пока некий внутренний часомерный механизм не подсказывал ему, что пора пить чай. Вечера он проводил на том же стуле с книгой в руках. Иногда это были стихи, но чаще — один из томов «Истории Государства Российского», аккуратно обернутый белой бумагой. В дождливую погоду поверх полотняного костюма он надевал прорезиненный плащ. Посетителей (а они не перевелись и после того, как он вышел на пенсию) он принимал тут же, во дворе, сидя на своем стуле под окном кухни, и только сильный дождь заставлял его пригласить человека в дом, в холодную полутемную комнату с портретом прокурорши на стене, с застеленным клеенкой столом, на котором красовался бронзовый чернильный прибор, с разнокалиберными шкафами, набитыми потрепанными книжками.

Внезапно он пошевелился.

— Неужели она умерла дома?

И впервые в его голосе прозвучало нечто очень отдаленно напоминающее печаль или недоумение.

— Нет, — сказал Сашка, — на базаре.

И это было недалеко от истины.

С трудом преодолевая боль, терзавшую ее вот уже два года, никем не замеченная (что само по себе можно считать чудом), она кое-как добралась до базара, где и обнаружил ее участковый Леша Леонтьев. Простоволосая, рыхлая, старая, больная женщина сидела на земле, привалившись спиной к стене бывшей керосиновой лавки. Она не отвечала на Лешины вопросы, только качала головой, глядя широко раскрытыми глазами на разор и запустение, постигшие базар после того, как он лишился ее попечительства: керосиновую лавку давным-давно превратили в мебельный склад; ее «резиденция», а также буфет, где красные с мороза мужчины в распахнутых полушубках принимали из рук вечно простуженной Зинаиды свои сто пятьдесят и конфектку, — стали пристанищем пауков и мышей; холодный каменный мешок, где когда-то размещался хозмаг, был отдан под водочный магазин, а скобяным товаром торговали в недавно выстроенном стеклянном ящике возле бани; под навесами, откуда, казалось, еще не выветрились запахи махорки, копченостей, ваксы, лука и жареных семечек, громоздились ящики из-под вина. Исчез и угол, образованный двумя кирпичными стенами, — тут привязывали лошадей, тут толкались торговцы тряпьем, ветхой обувью и самодельными ножичками, тут подпившие Васька Петух и цыган Серега плясали под буянову гармошку, плясали на спор — два полуголых, мокрых от пота, алых от водки, азарта и мороза мужика, которые схватывались в пляске каждое воскресенье, но так и не выяснили, кто же из них самый ярый плясун. Угол снесли, когда строили этот стеклянный ящик для хозтоваров.

Бережно поддерживая женщину под руки, Леша кое-как усадил ее в мотоциклетную коляску. Всю дорогу он не мог выкашлять застрявший в горле ком. Буяниха сидела с закрытыми глазами. На этот раз ее видели десятки людей — они останавливались и долго смотрели вслед мотоциклу, который, развалисто покачиваясь, медленно полз по булыжной мостовой.

У больницы Леша помог ей выбраться из коляски, и вот тут-то силы окончательно покинули ее, и она грузно осела на дорогу. Мгновенно собравшиеся вокруг люди были так поражены случившимся, что никто даже не сообразил как-то помочь умирающей или хотя бы заплакать.

Сашка нахлобучил кепку на затылок и с гордостью добавил:

— Ее положат в клубе, чтобы все могли с ней попрощаться.

Когда он ушел, Прокурор с внезапной и острой болью вдруг почувствовал: от того камня, который обычно он называл своей душой, что-то откололось и безвозвратно кануло в бездну.

— Что бы это могло быть? — пробормотал он, проводя кончиком языка по пересохшим губам. — Что кончилось?

— Пятница, — печально откликнулась Катерина, повесив на забор последний мокрый половик.

Доктор Шеберстов не стал слушать робких возражений жены, детей и внуков. Презрительно фыркнув, он вставил искусственную челюсть, взял в руки тяжеленную трость с ручкой в виде змеиной головки и зашагал к больнице — гибрид бегемота с портовым краном, как говаривала Буяниха. На углу Седьмой улицы он вдруг остановился — у него занялось дыхание от простоты и скорбной мысли: отныне он станет иным. И радоваться тут было нечему, ибо лишь одну метаморфозу — смерть — считал он более или менее пристойной в его годы.

Погрозив палкой жене, неосторожно высунувшейся из-за угла ближайшего дома, доктор Шеберстов уверенно преодолел сто метров до больницы. Толпа расступилась, и он важно прошествовал мимо безмолвных людей наверх, на самый верх, в крохотную комнатку под крышей, где под белоснежной простыней на оцинкованном столе покоилось тело Буянихи.

Главный врач — молодой человек с льняной бородкой и руками молотобойца — растерялся, увидев на пороге огромного старика с круглой лысой головой и закрученными кверху длинными усами. Дряхлая старуха Цитриняк, притаившаяся сюда из голубоватой полутьмы своего рентгеновского кабинета, прищурила красные слезящиеся глазки и быстро-быстро закивала сморщенной обезьяньей мордочкой:

— Проходите, Иван Матвеевич, пожалуйста, легкий мой...

— Сядь, Клавдия!

Переложив трость в левую руку, Шеберстов правой откинул простыню.

— Умерла! — Никто не понял, чего больше было в этом возгласе — растерянности или возмущения. — Буяниха! — Он резко обернулся к медикам. — А какая баба была! Походка! Грудь! Сон и аппетит, да, сон и аппетит!

Старуха Цитриняк — мумия в белом халате — всплеснула своими обезьяньими лапками.

— Вы так и умрете бабником, Иван Матвеевич, легкий мой!

Махнув рукой, Шеберстов вышел из комнаты, шаркая подошвами своих чудовищных башмаков.

Внизу на крыльце он остановился, обвел гневным взглядом притихшую толпу и, сильно стукнув палкой в мраморную ступеньку, воскликнул с возмущением: «Умерла, черт побери! Умерла!»

Когда врачи и медсестры покинули кабинет, главный врач сдавленным голосом спросил:

— Это там... что это, Клавдия Лейбовна?

Она посмотрела на тело под простыней — и внезапно улыбнулась, а в голосе ее прозвучала гордость:

— Это единственная женщина, которая не ответила на домогательства доктора Шеберстова.

Главврачу показалось, что сквозь стойкую желтизну на лице рентгенолога проступила красная краска.

— Простите... — Он поймал себя на том, что говорит суше, чем ему хотелось бы. — Что у нее на спине... и на животе?

— Звезды, — тотчас откликнулась обезьянка. — Это память о минском гестапо, легкий мой. Их семь — и столько же у нее детей. Не ее детей.

Молодой человек вспомнил этих пятерых мужчин и женщину (вторую, ее сестру, он знал лишь понаслышке) — шесть, а с той, которую он знал лишь понаслышке, семь безупречных копий Буянихи.

— Вы хотите сказать... — Он запнулся. — Ага, значит, эти шестеро... то есть — семеро...

— Ну да, конечно, легкий мой. — Обезьянка покивала крохотной головкой. — Ведь они ровесники. Говорят, она привезла их в мешке, как котят, — но это неправда. Никуда и не надо было ездить: детдом тогда был возле старой лесопилки.

Она вытряхнула из мятой пачки папиросу и закурила, крепко прикусив гильзу мелкими черными зубками.

Когда в комнате стемнело, она вдруг очнулась и с горечью подумала, что

опять осталась одна и опять не может вспомнить, о чем думала все это время. Держась за стенку, она поплелась вниз — за нею шлейфом потянулся запах крепкого табака и сапожной ваксы, которой она ежедневно начищала свои сморщенные туфли. На площадке второго этажа она остановилась, пораженная внезапной мыслью: «Кто же ее похоронит? И вообще — возможно ли это?»

Окошко телеграфа закрывала чья-то широченная спина, обтянутая выгоревшим брезентом. Из-за фанерной перегородки доносился плачущий голос Миленской:

— Дежуренькая, будьте добреньки, проверьте заказ на Мозырь! Мозырь!

Ее сестра Масенькая сидела в уголке на жестком стуле со своей Мордашкой на коленях и сердито разглядывала образцы почтовых отправлений, которыми была заклеена стена напротив.

— Нет, но когда в городе будет порядок? — раздраженно спросила она, не глядя на Леонтьева, за которым с треском закрылась входная дверь. — Некоторые полагают, будто психам можно разгуливать где им вздумается!

— Он же никому не делает плохого. — Леша постучал согнутым пальцем по брезентовой спине. — Разрешите?

Спина отодвинулась, и в образовавшуюся щель Леша увидел Миленскую с наушниками на шее.

— Буян не отправлял никаких телеграмм? — спросил Леша. — Ну, детям?

— Буян? — Миленская глубоко вздохнула. — Да ведь он и не знает, где почта. Ох, горе-то! — Она схватила телефонную трубку и отчаянно закричала: — Дежуренькая, ну как там Мозырь?.. Тебе чего еще, Леша?

Леонтьев просунул в щель сложенную вдвое бумажку и мятый червонец.

— По этим адресам пробей телеграммы про Буяниху. — Немного подумав, уточнил: — Срочные. — И добавил пять рублей.

— Я напишу заявление! — с угрозой в голосе сказала Масенькая. — Ты обязан отвечать на заявления граждан и гражданок!

Проснувшаяся Мордашка зарычала на участкового.

Он вздохнул.

— Тогда лучше сразу жалобу на меня пиши. Без подписи.

Виту Маленькую Головку он увидел издали: сумасшедший стоял у перил, напряженно вглядываясь в темноту, его мопед лежал посреди моста. Леша затормозил, заглушил двигатель. Вита Маленькая Гловка отчаянно замахал руками.

— Оно туда поскакало! — И снова вперил взгляд в темноту, в которой утонул базар, с трех сторон окруженный зарослями ивняка и бузины.

— Ага. — Леша кивнул. — Какое оно?

— Голова обезьянья, шея и лапы лошадиные, а тулово — слепой собаки...

— Тулово слепой собаки, — задумчиво повторил Леша. — Ты зачем с Масенькой поругался?

Склонив голову набок, Вита внимательно посмотрел на участкового.

— Я говорю, с Масенькой...

— Лахудра! — сквозь зубы процедил Вита. — Ардухал. Лахудремудрия. Муруроа. Аорурум!

И снова, в который раз, Леша подумал: «Никакой он не чокнутый. Просто дурит. Чуть больше других».

— Не ругайся больше. И не лезь в темноту.

Ну, впрочем, в этом-то он был уверен: в темноту Вита не полезет. Ночи напролет он гонял на своем мопедишке по городку — и только по хорошо освещенным улицам: темнота вызывала у него панический ужас. Спал он днем — в комнате без штор, занавесок или хотя бы клочка тюля на окнах. С наступлением темноты он выводил из ветхой сараюшки свой битый-перебитый мопед («Интересно, — подумал Леша, — кто ему его ремонтирует? Ясно, что не Калабаха — этот и с родной матери сдерет. Или уж Моргач?») и принимался курсировать по засыпающему, по спящему городку — громоздкая туша с маленькой головкой на длинной шее, верхом на жалком дребезжащем мопедишке, неведомо как попавшем ему в руки. Он был дозорным, готовым в любой миг предупредить городок о внезапном нашествии исполинских муравьев, инопланетян, пьяниц или детей. К нему привыкли, как привыкли и к Желтухе — она то-

же иногда раскатывала по городку на велосипеде, если не прыгала через скакалку, или не размахивала гантелями, или не пожирала морковку, любовь к которой с небывалой силой разгорелась у нее к семидесяти годам (она занимала морковью весь огород и каждый день съедала ее не меньше килограмма); как привыкли и к Масенькой с ее капризами, с ее горбом и ее собачонкой, с ее обшарпанным лотком — с ним, сжав в ниточку ярко покрашенные губы и презирая весь род людской, она торговала на автобусной станции, в двух шагах от женского туалета, плоскими пирожками с капустой, рыбой или повидлом...

Только свернув на Седьмую улицу, Леша сообразил, что же не давало ему покоя с той минуты, как доктор Шеберстов возвестил о кончине Буянихи: это был все усиливающийся запах ели и туи — запах смерти, печали, грядущего преобразования и памяти. Черепичные крыши, бегущие собаки, позеленевшие от нескончаемых дождей заборы, тусклый свет уличных фонарей, стены домов, дым из печных труб (спасаясь от сырости, многие топили печи и в разгар лета), — все источало запахи ели и туи, густой, как сироп, как темно-зеленое смолистое вино, от которого кружилась голова...

В буяновском доме (здесь жили еще три семьи, но дом называли буяновским) было темно и тихо. Леша постучал — звук гулко разнесся по пустой квартире, точнее — по опустевшей, ибо та, которая могла с избытком заполнить работой, суевой, голосом, да просто плотью своей любое пространство, даже такое, что не было заключено между четырьмя стенами и накрыто кровлей, лежала сейчас на третьем этаже больницы, под самой обыкновенной простыней — и ее с лихвой хватило, чтобы сокрыть от глаз людских ком плоти, лишь по инерции именуемый Буянихой, — всего-навсего еще одна смертная и мертвая женщина, пусть даже и промчавшаяся по жизни подобно смерчу, вихрю, урагану... И вот теперь незанятое ею пространство гудело — эхом ее голоса, отзвуком ее поступи, ее жизни, — гудела отсутствующая жизнь: она отсутствовала в пропахшем плесенью коридоре-прихожей, она отсутствовала в кухне, она отсутствовала в детской, где по голому полу бесшумно пробежал какой-то бесхвостый зверек, она отсутствовала в гостиной, она отсутствовала в спальне... Леонтьеву казалось (более того, он готов был поклясться, что так оно и было и будет), что оставшиеся без хозяйки вещи, книги и мебель рассыпались, разваливались, истлевали, растворялись в этой пустой темноте с умопомрачительной быстротой, и стоит ему покинуть эту квартиру, как спустя несколько мгновений вещи, книги и мебель превратятся в пыль. В гостиной только сундук да шкаф с треснувшим зеркалом стояли где обычно, остальная мебель исчезла, как пропала куда-то и картина, занимавшая всю глухую стену, — написанная безвестным мастером копия «Трех богатырей», на которой у всех богатырей были окладистые зеленые бороды. Сундук, о котором так много говорили. (Таких в городке было всего два, но первый, принадлежавший Тане-Ване, не таил никаких секретов — уж это-то Леша знал наверняка: он присутствовал на церемонии вскрытия старухиной укладки, где, к изумлению и невыразимому огорчению многочисленных родственников, чаявших огромного наследства, был спрятан ржавый самогонный аппарат; давным-давно, утрашившись леонтьевских увещаний, Таня-Ваня убрала аппарат в сундук, да так и не нашла времени ни сдать его в милицию, ни выбросить.) Леша взялся за замок — он рассыпался в прах. Тяжелая крышка поддалась без скрипа, но не успел Леша прислонить ее к стене, как из сундука ему в лицо ударил какой-то мягкий, рыхлый, тотчас рассыпавшийся по комнате ком. Крышка с грохотом опустилась на место. Слабо освещенная уличным фонарем комната наполнилась плюшущими снежинками — тысячами крупных мохнатых хлопьев.

— Ну и моли! — Бабушка Почемучето включила свет в коридоре, и теперь и Леша увидел тысячи бабочек моли: стравивая с крылышек пыльцу, они бестолково толкались в дверном проеме.

Участковый захопнул дверь и провел по лицу ладонью.

— Ты почему здесь, Андросовна?

— Почемучето меня за книжкой послали. Буян говорит: в спальне она, на этажерке.

— А где сам?

— В сарайке.

Он вышел во двор. Из темноты кто-то проворчал: «Никуда он не пойдет». Но сколько ни вглядывался участковый, никого не смог разглядеть, кроме старого коняги Птицы, который что-то жевал, прислонившись боком к стене до-

ма. Из-за сарая несло нечистотами — значит, где-то там стояла ассенизационная бочка, точнее — деревянный ящик на колесах с квадратным, плохо пригнанным люком наверху и вечно слезящейся задвижкой сзади, — верхом на этом ящике, влекомом спящим одром, Буян методично объезжал дворы, оставляя за собой специфический запах и вызывая восторг у детей — едва завидев ароматический выезд, они начинали хором кричать: «Жук навозный, жук навозный! Прокати на говновозе!»

Леша подергал замок на двери, из-за которой доносился визг плохо разведенной пилы, потом позвал Буяна, но тот не откликнулся. В сарае было темно.

— Может, тебе свет включить? — с надеждой спросил Леша.

— Мне свет не мешает, — проговорил Буян так вятно, будто и не было между ними никакой преграды. — Ты сам видел, Алексей Федотыч?

— Конечно, — ответил Леша и лишь после этого сообразил, о чем спросил его Буян. — Теперь уж, наверно, ее перевезли в клуб.

— А потом?

— Что — потом? Суп с котом.

— Ага. — Буян помолчал. — Значит, вы решили ее похоронить... это самое, в землю закопать...

— А ты что решил? — сердито спросил Леша.

Буян засмеялся.

— Увидишь. Все увидят.

«Чокнулся, — подумал Леша. — Хотя ведь все мы... Никто не верит, что она взаправду умерла. Чего ж тогда верить, что ее похоронят?» Да, не стало той, которая всем старожилам, да и многим из молодых, казалась такой же неотъемлемой частью, такой же характерной приметой городка, как древняя готическая церковь на площади, как краснокирпичная водонапорная башня у железнодорожного переезда возле старого кладбища, как водопад на Лаве, как черепичные кровли, алеющие в разливе липовой зелени, как Цыганский Квартал, как горбатые прегольские мосты, булыжные мостовые, заросли бузины и шалеры туи, и многое, многое другое, без чего невозможно представить этот городишко, разрезанный на три части двумя реками, чьи мутные воды неспешно текут в низких глинистых берегах, опушенных зарослями ивняка и боярышника. Сколько помнил себя Леша в этом городке, она всегда была тут, рядом, — казалось, сразу во многих местах, казалось, не только рядом с ним, Лешей Леонтьевым, но и рядом с каждым жителем городка — еще в ту пору, когда он назывался Поселком. Она была здесь и повсюду, сейчас и всегда. Она была всевездесущей и бессмертной. Летом — в не очень свежем халате, застегнутом на две пуговицы, и домашних тапках на босу ногу; зимой — в черном жестком пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике. («Она сама изловила его и задушила собственными руками», — понизив голос, в котором сквозил восторг и священный ужас, говорил пьяньский Буян, и почему-то ни у кого не поворачивался язык назвать его брехуном.) Целыми днями она носилась по улицам и магазинам, встревала во все разговоры, которые тотчас приобретали бурный характер, карала и миловала, подбирала выпавших из гнезда птенцов, больных кошек и бродячих собак, обличала пьяниц, драла за вихры драчунов, царила и правила на базаре, а кое-кому — особенно детям — казалось, что вдобавок ко всему она повелевала облаками и сновидениями, — и все это она проделывала с одинаковым и неослабевающим пылом, так что оставалось только удивляться, как она находит время и силы, чтобы вести домашнее хозяйство, воспитывать семерых детей и работать: сначала — лет десять — упаковщицей на макаронной фабрике, а потом — сметригельницей — или как там это называется — на базаре, а летом, по вечерам, билетершей на открытых киноплощадках... Казалось, энергия, выработанная этой женщиной, продолжала жить и после ее смерти, — а можно ли положить в гроб и похоронить энергию — вихрь, смерч, ураган?

Весь дрожа, задыхающийся Васька Петух кое-как выбрался из-под тяжелой мокрой сети сна и с трудом разлепил распухшие веки. Несколько минут он бездумно смотрел в потолок, прислушиваясь к удаляющемуся топоту копыт. Голова болела, тело разбухло, сердце при каждом движении превращалось в комок мурашек, как если бы это была отсиженная нога. В темноте что-то чавкнуло, и Васька понял, что если сейчас он не выпьет хотя бы воды, ему никогда не избавиться от ощущения, будто он наелся горячего пепла. Превоз-

могая головокружение и боль в груди, он поднялся с постели и, растопырив руки, кинулся к двери. Уже в кухне спохватился: кто же это был в комнате, этот, чавкающий? Или примерещилась толстогубая мордича, покрытая лягушечьей слизью? Васька нашарил выключатель — его несильно ударило током. Вспомнил: давно пора починить проводку. Схватив со стола замызганный стакан, он едва не упал в раковину: от резкого движения вся кровь бросилась в голову, сердце бешено заколотилось, а тело от темечка до пят покрылось горячим щиплющим потом. Из водопроводного крана ударила струя водки. «Так, — подумал Васька. — Или с Буянихой что-то случилось — или пора в дурдом. Но сперва опохмелиться — со святыми упокой». Зажав пальцами нос и зажмурившись, он залпом проглотил содержимое стакана — и только после этого слышал скрип половиц и еще такой звук, будто через дверной проем с трудом протаскивали огромный кусище мокрого брезента. Он открыл глаза и так и замер: со стаканом в правой руке, с зажатым пальцами носом и вытянутыми в трубочку — на выдохе — губами, — и последней его мыслью было: «Господи, какой же тогда у него хвост?!»

Восемьдесят пять самых крепких мужчин, у каждого из которых было не менее двоих детей, благоговейно вынесли из больницы тело Буянихи, источавшее аромат только что распустившихся пионов, и погрузили его в полуторку — единственную на весь городок, чудом уцелевшую — вероятно, лишь потому, что с незапамятных времен ее использовали только как катафалк. За рулем выкрашенной черным лаком машины сидел Никита Петрович Москвич, чья желтая борода ниспадала до пояса, закрывая надетые по такому случаю фронтовые награды. Тело бережно опустили в лодку (ибо не нашлось пока подходящего гроба). Никита Петрович поправил портрет Генералиссимуса на ветровом стекле и, заклинив клаксон, повел машину к клубу.

Восемьдесят пять самых крепких мужчин, у каждого из которых было не менее троих детей, благоговейно сняли лодку с машины, торжественно внесли в паркетный зал, где по стенам уже сидели старушки — одна к одной, как горошины в стручке: печеные лица, белые платочки (тотчас смененные на черные), черные юбки и жакеты, — и водрузили ее на крытый алым плюшем постамент.

Первой заплакала Капитолина, за нею Эвдокия, у которой не хватало шести пальцев на руках и двух на ногах, потом Валька, потом Геновефа на пару с Данголей, а за ними и Веселая Гертруда, столетняя сумасшедшая, завсегда тай похорон, от которой никто никогда не слышал ничего, кроме «Зайд умшлюнген, миллионен», — за ними остальные женщины — те, что в паркетном зале, и те, что в парке за клубом, и те, что на прегольской дамбе, и те, что на заречных сенокосах, и те, что в бане (пятница — женский день), и те, что в супружеских постелях, и те, что в роддоме...

Когда мужчины, толкаясь и сдержанно покашливая, покинули клуб, оставив покойную наедине со старухами, в паркетный зал стремительно вошел закутанный в ветхий плащ человек — с него ручьями текла вода, словно он только что вылез из реки. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он поинтересовался, кто из родственников покойной соблаговолит принять от него тридцать талеров — долг, который, по словам незнакомца, тяготит его вот уже скоро двести сорок лет. Ему попытались втолковать, что Буяниха умерла шестидесяти пяти лет от роду, но незнакомец только горько усмехнулся и спросил, как, в таком случае, ему добраться до ближайшего постоялого двора. Его, конечно, отправили к Зойке-с-мясокомбината. Черный незнакомец удалился, оставив на полу огромную лужу воды, которую двенадцать женщин полтора часа собирали и выносили ведрами, взятыми на время у Калюкаихи, Сунгорцевых и у Славки.

И только после этого появилась наконец бабушка Почемучето с любимой книгой Буянихи. Рыдания стихли, явственнее запахло пионами, когда Капитолина раскрыла потрепанный том, обвела женщин строгим взглядом и звучным, торжественным голосом продекламировала: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!»

Рано утром Мороз Морозыч обнаружил, что все розы в его палисаднике этой ночью превратились в пионы, благоухающие елью и туей. Выпив сырое яйцо и стакан подсоленной воды, он отправился в клуб, где в бывшей буфетной уже собрались доктор Шеберстов, Прокурор, Капитолина, Леша Леонть-

ев и Веселая Гертруда — она спала, прислонившись спиной к круглой железной печке и смущая всякого входящего строгим взглядом широко открытых глаз. Как только Мороз Морозыч, аккуратно прислонив к стене свой костыль, опустился на стул, доктор Шеберстов, словно продолжая разговор (хотя до прихода библиотекаря они хранили молчание), спросил у Леонтьева:

— Значит, хоронить ее нам?

В его вопросе не было ничего от вопроса, если не считать слабого намека на специфическую интонацию, — более того, библиотекаря даже показалось, что в голосе доктора он уловил что-то вроде удовлетворения.

Леша пожал плечами.

— Я дал телеграммы детям.

— Не в счет! — Доктору Шеберстову не сиделось, он вскочил и, размахивая палкой, тяжело прошелся из угла в угол. — Гости к столу! — Он взмахнул палкой, заставив всех отшатнуться. — Итак?

Прокурор вынул из кармана крохотный блокнотик в самодельной обложке и, не раскрывая его, стал говорить своим сухим, бесцветным голосом, который вполне мог бы принадлежать тем фигуркам, которые он иногда вырезал из бумаги, — собственно, это был реестр обязанностей родных и близких усопшей: надо было заказать гроб, позаботиться о костюме для покойной, о катафалке, могильной яме, памятнике (хоть это и не к спеху), поминальном обеде и т. д. Слушая этого костлявого старикашку, который даже в такой день не изменил своей канцелярской манере говорить о чем угодно — о любви, разделе имущества или проблемах мелвилловской метафизики, Мороз Морозыч вспомнил, как однажды Буяниха сказала о Прокуроре, что он и дышит только из упрямства да еще, может, назло ей. Тогда он, Мороз Морозыч, с присущей ему выпренности сказал, кажется, примерно следующее: если горстке обреченных защитников уже почти поверженной твердыни понадобился бы флаг — символ стойкости или хотя бы только упрямства, на эту роль вполне сошелся бы Прокурор, чье тощее туловище запросто сойдет за древко, а слишком просторный полотняный костюм — за полотнище; и даже если крепость падет, а человек-знамя, человек-символ уцелеет, он вопреки очевидности сохранит уверенность в том, что твердыня устояла, дело не проиграно, и никому не удастся его переубедить, так что останется одно — уничтожить его физически, перепахать землю, в которой его похоронят, и запретить людям даже приближаться к этому месту, дабы и случайно не заразиться упрямством. И тогда доктор Шеберстов согласился: да, упрямством с Прокурором могут сравниться немногие. Ну, Стрельцы. Ну, Уразовы. Ну, наконец, сама Буяниха. Умудрилась же она — о, разумеется, только из упрямства — выйти замуж за этого человека, точнее, умудрилась взять в мужья такого человека, как Буян, который в конце концов сошелся только на то, чтобы более или менее регулярно чистить выгребные ямы, так ведь, если постараться, этому можно научить и ветхого конягу Птицу... «Вы это говорите только потому, — закричала Буяниха, — что я отказалась выйти за вас, бабника чертова!» Она швырнула книгу на стойку и ушла, сокрушая каблукми гнилую библиотечную лестницу. «Может, и так. — Огромным клетчатым платком доктор Шеберстов вытер жилистую шею. — Но ведь все дело в том, что она упряма — разве нет? — Он уставился на библиотекаря своими выпуклыми глазами. — Она дала слово — и вышла за того, кому дала слово. Слово!» «В конце концов она отказала всем, — заметил Мороз Морозыч. — И вам, и Прокурору...» «Прокурору?! — вскричал доктор. — Воображаю! Не руку и сердце — брак! Не желаете ли зарегистрироваться?» «Он читал ей стихи, — возразил Мороз Морозыч. — Кажется, Пушкина. Но не Блока — это точно». «Стихи! — Шеберстов был ошеломлен. — Откуда вам знать?» «Это произошло вот тут, где вы стоите. — Мороз Морозыч ткнул пальцем под ноги доктору, и тот от неожиданности поспешно отступил в сторону. — Она стояла здесь. Он — тут. И она ему отказала». «Еще бы! — закричал доктор. — Она отвергла всех самостоятельных мужчин, чтобы помыкать этой устницей!»

— Значит, осталось выкопать яму и сварить кисель! — заключил доктор Шеберстов нудную (иной она и быть не могла) речь Прокурора, и Мороз Морозыч понял, что пропустил почти все, ради чего они здесь собрались, и чтобы не остаться в стороне, спросил:

— А оркестр?

— Это — Прокурор! — Доктор Шеберстов повелительно взмахнул пал-

кой.— Ты, Леша,— родню! А ты...— Он резко повернулся к Капитолине.— Ты — поминки. Баб много.

— Тебе всегда их не хватало,— язвительно напомнила Капитолина.

— Ты была за двоих! — прокричал доктор, хлопнув по плечу утратившую дар речи старушку.— Итак!

И, гроя палкой по деревянным половицам, вышел из буфетной.

Прокурор помог библиотекарю спуститься по крутой лестнице. На улице, глядя прямо перед собой, то есть как бы в никуда, он проговорил:

— У меня странное предчувствие...

— Сегодня день предчувствий,— живо откликнулся Мороз Морозыч.— И воспоминаний.

— Мне кажется, будто все это от начала до конца придумано самой Буянихой. И будто после того, как она исчезнет, все это тоже исчезнет. Или нет?

Они помолчали.

— В конце концов,— голос библиотекаря прозвучал, как всегда, мягко,— любое изменение — это исчезновение чего-то. И возникновение чего-то.

— Просто мы все перемрем,— сухо сказал Прокурор.— А она останется.

Он не договорил. Едва не задев крыши домов, на поляну перед клубом плюхнулся штурмовик Ил-2. Из него выпрыгнул пилот в окровавленном комбинезоне. Приволакивая левую ногу, он прошел в паркетный зал и, сдернув шлем, припал к плюшевому постаменту.

— Чиримэ... шени чиримэ...— Он смахнул что-то с ресниц и обратился к старухам: — Как это произошло?

Ему рассказывали о кончине Буянихи, а он кивал головой и печально шевелил губами. Его отвели на перевязку, а потом уложили в бильярдной.

Сбежавшиеся люди молча стояли вокруг самолета, и никто не осмеливался приблизиться к машине, чье жестокое тело еще не остыло от ярости войны.

— Смертью пахнет,— вдруг проговорил слепой Дмитрий. Он подошел к самолету, приник щекой к броне и заплакал.— Ангел мой...

И с той минуты началось паломничество ко гробу Буянихи. Первой в сопровождении пятерых прелестных детей явилась дородная красавица, державшаяся с тем самообладанием, что сродни высокомерию, и люди вспомнили некую чрезвычайно взбалмошную семнадцатилетнюю девочку, которая с презрением отвергла ухаживания заезжего артиста — фокусника, чревовещателя и гипнотизера. Махнув рукой на гастроли в Париже, Юрбаркасе и Рио-де-Жанейро, он застрял в городке, изнывая от безнадежного чувства. Утром его видели в парикмахерской, где По Имени Лев тщетно старался соорудить на голем черепа клиента хотя бы подобие прически; обедал он у Фени, в Красной столовой; вечерами, облаченный во все черное, он прогуливался по Седьмой улице, осторожно ступая между коровьими лепешками и норвая взглядом прочежь стекла неприспущной красавицы. Чтобы привлечь ее внимание, он давал бесплатные представления на улице: доставал из шелкового цилиндра пахнущих нафталином живых кроликов, выпускал из рукавов стаи голубей, читал мысли, предсказывал прошлое и глотал шпаги, а когда они кончились — кухонные ножи и безопасные бритвы. Вскоре он наскучил даже детям, но так и не удостоился ни одного знака внимания от жестокосердной красавицы. И тогда он объявил прощальное представление в клубе — на него собралось почти все платежеспособное население городка. Продемонстрировав каскад умопомрачительных фокусов, он перешел к гипнозу. Желающих подвергнуть воздействию его колдовского взгляда было предостаточно, но не было среди них той, единственной, — и тогда, употребив свои чары, он вывел ее из зала на сцену и заставил маршировать, и она маршировала, почему-то припадая на левую ногу и визгливо распевая какую-то дурацкую песенку, начинающуюся со слов «Солдат Маруся...» Она послушно выполняла приказы артиста, а он стоял в глубине сцены со сложенными на груди руками и мрачно шептал: «Ватерлоо... Ватерлоо...» Внезапно посреди хохочущего, стонущего и плачущего зала поднялась Буяниха. Мановением руки она установила мертвую тишину, поднялась на сцену и что-то вполголоса сказала артисту. Забыв про свой плащ, цилиндр и треножник, он вылетел из клуба, кинулся в поджидавший его черный автомобиль, который тотчас превратился в черного, как гнилой зуб, коня, и прынул за стоячее облако. Буяниха вынула девочку из петли и отнесла к себе. А через месяц, получив благословение от парализованной бабушки и средства от Буянихи, девочка уехала на ленинградском поезде. И вот

спустя пятнадцать лет она явилась к гробу женщины, благодаря которой никто не осмеливался в глаза называть ее Солдатом Марусей. Следом явился Резаный — тот самый, что когда-то покинул городок, восседая на ассенизационной бочке за спиной Буяна. Нет, не Буянихе принадлежала заслуга разоблачения этого дельца, который тайно занимался торговлей леденцовыми петушками, самодельными конфетами, подержанной мебелью, поношенной одеждой и обувью, а также самогоном, — разумеется, через посредников: старичков и старушек (им перепали крохи, и это при том, что именно они ходили по домам и выпрашивали старье якобы для себя, и получали его бесплатно), многие из которых даже не знали, на кого работают. Нет, не Буяниха разоблачила его, но восьмилетний Алеша Рязанцев и жалкий пьяница Сергеюшка. Против выданный ему сахар, Сергеюшка, чтобы как-то выйти из положения, залил формочки водой, подкрасил и выставил на крыльцо — дело было зимой. На что он рассчитывал? Очевидно, на то, что взрослые обычно не пробуют купленные для детей сладости. Потому-то так и испугался он, когда к его лотку неожиданно подошел Алеша, потому-то и бросился бежать от мальчика, который упорно преследовал его с пятачком в кулачке. В конце концов мальчик заполучил бледно-розового петушка, и тут-то и обнаружилось, что леденец — ледяной. И именно Буяниха, с пристрастием допросив Сергеюшку, выяснила, на кого пьяница работал. И именно ей принадлежит знаменитая фраза, произнесенная в присутствии ста семидесяти шести ошеломленных свидетелей, — «У нас так не делают», и именно она повелела выдворить негодяя Резаного из городка верхом на вонючей бочке, что и было сделано под бдительным присмотром Миши Рубщика, Васки Петуха и Аввакума Муханова. Пришла проститься Граммофониха, благодарная Буянихе за то, что некогда та спасла ее дочь от дьявола, вознамерившегося обесчестить ее дуру-дочь и дурака-зятя, — все знали эту историю, в которой Буяниха выступала в героической роли экзорцистки: с ружьем в руках она бесстрашно вошла ночью в сад, где дьявол, по некоторым сведениям, назначил несчастной свидание, и могучими и безжалостными ударами приклада загнала притаившегося за кустом смородины Князя Тьмы в Гнилую Канаву, куда толевый завод спускал мазут... Тысячи и тысячи людей шли и шли по Седьмой к клубу, толпились в паркетном зале, где смеющиеся старухи нараспев читали любимую книгу Женщины-Вихря, Царицы Базара, Повелительницы Облаков и Сновидений. Прощались с Непорочной Девой, Попечительницей Слабых и Убогих, с Девой-Богатыршей. Прощались со Сводницей и Воровкой — так кричала Носиха: ее новоиспеченного зятя буяновская дочка увела из «честной супружеской постели». Прощались с женщиной, при появлении которой в городке ржавый Золотой петушок на школьных часах выскочил из своего домика да так и замер навеки — с открытым клювом, выгнутой шеей, распахнутыми крыльями и застрявшим в глотке «ку-кареку». Прощались с Ведьмой и Змеей — многие, многие женщины, чьи мужья когда-то, словно обезумев, наперебой ухаживали за Буянихой, знали наверняка, что в карманах, пришитых к ночной рубашке, Ведьма и Змея носят сушеные сердца многочисленных возлюбленных, своими глазами видели, как по ночам Ведьма и Змея летала в ступе (на помеле, на красном быке, на белом льве, на черном вороне, на ассенизационной бочке, на Буяне, на Недотыкомке, на сложноподчиненных предложениях с придаточными образами действия, меры и степени), видели, как, оставив свою лживую плоть в постели, она ползала по спящему городку в образе прекрасной Змеи, высасывая молоко у коров и вызывая сексуальные галлюцинации у несовершеннолетних. Прощались с Буянихой...

...И снова, как и часом ранее, он подумал: «Все, что я делаю, придумано не мною». Он остановился на мосту, невидящим взглядом скользнул по играющей бликами воде и громко проговорил:

— Это переутомление.

Конечно, переутомление. Эта женщина и после смерти способна утомить кого угодно, заставив кого угодно делать то, что она задумала. Недаром же когда-то ее считали колдуньей, с усмешкой подумал Прокурор. И вовсе не исключено, что все это было ею задумано и продумано от начала до конца, во всех деталях. О, она позаботилась обо всем: о том, чтобы умереть именно там, где умерла, и именно так, а не иначе; о том, чтобы своей смертью взбудоражить весь городок и вывести из равновесия даже тех, кто почти ничего не знал о ее прошлом; о том, чтобы ее уложили в лодку, пока кто-то — только,

конечно, не ее близкие — будет хлопотать о более или менее достойном месте для ее мертвой плоти; о том, чтобы все цветы во всех палисадниках в одну ночь превратились в ее любимые пионы; о том, чтобы все разговоры — о ком бы и о чем бы то ни было — в конце концов обязательно становились разговорами о ней; о том, чтобы ее положили в паркетном зале, куда непременно потянутся люди — некоторые действительно проститься, другие — чтобы погрузиться в воспоминания о событиях, атрибутом которых была Буяниха (а в городке не было сколько-нибудь заметных событий, к которым она не имела бы отношения), — таким же атрибутом, как истончившиеся до прозрачности золингенские бритвы, дамские ботики и бурки, кергазы, утратившие цвет лепестки шиповника и рассыпающиеся в прах крылышки бабочек между листьями пятого (Барыкова — Бессалько) и пятьдесят девятого (Француз — Хокусаи) томов шмидтовской энциклопедии, третьи — просто поглазеть; о том, что скажет доктор Шеберстов и что ответит ему Прокурор, как будет чертыхаться Данголя и сколько бензина спалит Вита Маленькая Головка... Она все это придумала, как придумывала события, имена и людей, которые почти безропотно поддавались яростному напору этой базарной магии. Нет, она никому не давала прозвища — она нарекала телефонистку Анастасию Миленькой, горбатенькую Марию — Масенькой, Ивана Андреевича с его ватной бородой и ватной шевелюрой — Морозом Морозычем, а вздорную и болтливую старуху Граматко — Граммофонхой, и с той минуты никому и в голову не приходило, что у этих людей были когда-то другие имена, а события можно толковать не так, как их толкует Буяниха. Это был мир, который она сотворила — точнее, перевосоздала по своей воле и разумению, и именно этот мир (быть может, и мало чем отличающийся от того, который мог существовать и без Буянихи, но все же — иной) должен исчезнуть, кануть в небытие. Водокачка Буянихи. Мостовые Буянихи. Голуби Буянихи. Водопад Буянихи. Шлюзы Буянихи. Облака Буянихи. Сновидения Буянихи. Дожди Буянихи. Солнце, Луна и Звезды Буянихи. Пространство Буянихи. Время Буянихи. Наконец — Красная столовая Буянихи, не без иронии завершил этот реестр Прокурор, который еще никогда не чувствовал себя таким старым, немощным и никому не нужным. И уже склонив голову под низкой аркой входа, откуда тянуло прохладой и запахом кислого пива, он вдруг подумал: «Да ведь мне больно. Больно».

Договориться с музыкантами Прокурору неожиданно помог черный незнакомец. С него по-прежнему текло ручьем, так что Фене пришлось усадить его за столик поближе к сливному отверстию в полу и строго-настрого запретить менять место. Когда Гриша, выкрикивая обвинения по адресу всех «больно умных» и «больно грамотных», заявил, что за обычную плату они на этих похоронах играть не согласны, черный вдруг оторвался от макарон с пивом и вмешался в разговор:

— Обойдемся и без вас.

Его попытка приподняться — вероятно, для вящей внушительности — была тотчас пресечена грозным взглядом Фени, которая, как обычно, дремала под жалобной книгой с портретом Софии Ротару на обложке, но при этом, как всегда, бдитительно надзирала за каждым посетителем. Со вздохом закурив, незнакомец бросил спичку в бокал — пиво вспыхнуло голубым пламенем.

— Это как же? — язвительно поинтересовался Гриша.

И тотчас сваленные в углу инструменты вылетели из обшарпанных футляров и, повиснув в воздухе, согласно запели траурный марш Шопена. Придя в себя, музыканты бросились ловить свои трубы и тарелки, но инструменты мигом поднялись под потолок, где их было не достать.

— Итак? — задумчиво спросил черный.

— Ваша цена? — простонал Гриша.

Прокурор выложил деньги на стол.

Степан Муханов, двадцать лет странствовавший неведомо где и изредка присылавший отцу письма с обратным адресом «Сибирь, до востребования», вернулся в городок, чтобы прославиться как создатель самых кособоких в мире гробов и самых ненадежных в мире лодок. Он наотрез отказался взять деньги за домовину для Буянихи («Только не подумайте, пожалуйста, что я бессребреник, боже упаси! Просто это не тот случай: ведь уже сегодня все будут знать, что я взял деньги за этот гроб. А мне здесь жить. Понимаете?») и предложил Прокурору выбирать изделие по вкусу.

— Берите вон тот.— Он кивнул на какое-то сооружение в углу сарая, отдаленно напоминавшее баркас.— Поди уложи такую кобылу в обычный ящик.

Прокурор договорился с Андреем Фотографом об эпитафии, которая, разумеется, должна была украсить надгробие,— и Фотограф, обычно хладнокровно сообщавший клиентам, что за строку прозы на камне он берет пять рублей, а за стихотворную — червонец, наотрез отверг предложенный гонорар.

— Наградой будет результат,— пояснил он.— Пока я даже приблизительно не представляю себе, как достойно запечатлеть в нескольких строках наше представление о ее жизни: сирота, партизанка, труженица, Пенелопа, знахарка (тут Прокурор едва удержался от улыбки), возмутительница спокойствия и великая примирительница, вихрь, смерч, ураган,— словом, женщина, пытавшаяся исчерпать все возможные варианты бытия... Кстати, а кто оплатит памятник? Неужели вы? Или доктор Шеберстов?

Прокурор сжал губы и зашагал быстрее.

— Не обижайтесь,— сказал Фотограф.— Пожалуй, мне не стоит браться за это дело. В конце концов все, что мы можем о ней сказать, вмещается в одно слово — «Буяниха». И что тут добавишь?

Вита Маленькая Головка пообещал к вечеру вырыть могилу — у него был богатый опыт по этой части. Надо было только не забыть расплатиться с ним червонцем по рублю: получая ту же десятку одной бумажкой, Вита обижался, считая, что ему мало дали.

Вернувшись домой, Прокурор заперся в кабинете. Несколько часов он неподвижно сидел, не замечая, как постепенно меркнет свет за окном. По улице, громяхая на выбоинах, проехала телега. В тот вечер тоже сначала прогромыхала телега, и еще не затих этот звук, как в дверь постучали и вошел Буян. Нет, Прокурор (тогда следователь) не вызывал его. Более того, ему даже не очень хотелось встречаться — не то что разговаривать с этим человеком, появление которого вызвало такое оживление в городке: что же это за сокровище такое, что его так ждуг, ради кого же Буяниха отказывает всем подряд? Ага, вот ради кого, ради этого обмылка, что ни ростом ни пузом не вышел, что смотрит на мир сонными глазами, тоскующими на равнодушном лице. Ну что ж, хорошая хозяйка всякой вещи найдет применение. И вот он равнодушным, усталым голосом поздоровался и, даже не сняв замусоленную кепчонку и не поустояв, куда садится, опустился на стул у двери и заговорил.

— Нет,— сказал Прокурор (тогда еще следователь),— это какая-то ошибка: мне это вовсе необязательно знать. Это ваше личное дело.

— Ага,— равнодушно согласился Буян.— Так вот, значит, када немцы пришли, мне еще семнадцати не было...

— Это ваше личное дело,— снова сказал Прокурор.— До свидания.

Не шелохнувшись, Буян продолжал свой рассказ:

— Дядька после смерти бати у нас за старшего был, он и грит: либо, грит, в Германию, либо в полицию. А у мене на руках три сеструхи да мамаша. Ладно. Дали мене винтовку, а как я сопливый был, ставили мене сторожем — то к зерну, то к сену, то к коням. Среди полицаев я навреде паршивой овцы, Анисим Романов мене ссулем прозвал, среди народа тоже навреде гада. Этого Анисима партизаны скоро повесили, я сам ходил на евонный язык смотреть — синий, чуть не до пояса висит. Думаю себе: поймают мене партизаны — не станут разбирать, что я сторож, повесят за здорово живешь рядом с иудами. Ладно. Раз я сено сторожил, тут партизаны нагрянули за сеном. Помог я им погрузиться. Один — из чужих — все насакивал, все к стенке мене хотел. Женилка, грит, не выросла, а уже гад. Командир ихний заступился: не гад пока, грит, а дурак. За сено дядька мене шонполом отодрал. Партизанам, грит, помогаешь, советских испугался? Пока они досюда дойдут, мы всех партизанов переловим и с тебе, суки, сто шкур спустим. Тут мене заело. Кто это, грю, мы? А хотя бы немцы, грит. А я, грю, в немцы не записывался. За это мене шонполов добавили. Када фронт близко подкатился, немцы с полицаями совсем озверели, акции делали — народ по деревням палили. Одним днем и у нас похватали всех баб, у кого мужики в партизанах или в Красной Армии. Кинули их в конюшню, в поместье бывшем. Будешь, дядька мене грит, этих кобыл охранять. А за тобой Амросий посмотри, чтоб без баловства. Амросий при колхозах в конюхах ходил, а еще в колдунах, детей от икоты заговаривал, скоти-

ну пользовал. Шептун. Када немцы пришли, сразу к им подался. Он у их на допросах отличался, любил баб и девок мучить. Амросий как мене увидел — обрадовался. Одному-то, грит, скукота самогонку глушить. Пошли мы в сторожку, пахнет там чем-то, тока сначала я к запаху не прислушивался. Выпили. Хочешь, грит, я тебе оттуда бабу выну? Не бойся, грит, напоследок они заберистые. Напоследок, грю? И тут мене запах в голову вдарил: бензин. Бензин, грю? Он самый, Амросий смеется. Утром, грит, угодников жарить будем. И детей, грю, жарить? А ты, грит, лучше выпей. Выпили. Так-то я на выпивку слабый, а тут как воду пью. Не воду — бензин. Все бензином пахнет. Еще выпили. Амросий спать завалился, а мене велел поглядывать. Пошел я, хожу, слушаю — нету партизанов, хоть плачь. Вдруг зовут мене. Подошел — она. Дверь на цепке была, щель большая. Выпусти, грит, нас. У мене, грю, и ключа-то нету. Выпусти, грит, хоть детей, а потом проси что хошь. Хошь — мене. Шчас, грю, а сам как пришибленный: за ей-то парни как бегали — и какие, а она — мене... Ты, грит, не веришь? Слово тебе даю. Выпусти. Шчас, Амросий вдруг сзади, шчас выпущу, чего, грит, ссуль, эту хотишь? Не бойся, грит, Амросий не выдаст. И тут вдруг она: убей, грит, его, убей. У мене мороз по спине. Чего, Амросий тут, чего ты? Шагнул к мене, да оскользнулся, тут я его штыком и вдарил. Что сил. Он зашипел и упал. Ключ у его, она мене, забери. Кинулся я к Амросию, а он живой еще, в грязи возится и шипит. Я его еще раза два саданул штыком, а после навалился на его, стал ключ отбирать. Он мертвый почти, а не дается, пихается и все шипит. Я руками все мимо да мимо — весь в евоных кишках да кровях перемазался, пока ключ нашел. Дверь открыл. Она мене за руку взяла. В чем это ты, грит, мокрый? В Амросии, грю, скока вас тут? С детьми сорок, грит. А бабы в рев да лезут мне руки целовать. Я на их поорал — отстали. Побежали. Тока до Травкиной канавы добежали, слышу: моцоциклы. А бабы устали — по мокрой-то глине не разбегаешься. Ну, грю, бабоньки, дуйте — не выдавайте. Побежали они, а я в канаву полез. Сумерки уже. Тут моцоцикл на пригорок выскочил и ну строчить по бабам да деткам. Я раза три стрельнул — моцоцикл замолчал. Я обратно гляжу: бабам совсем ничего до лесу осталось. А моцоциклы обратно из пулеметов строчат. Переднего я снял, тада они к мене повернулись, разозлились, видать. Ну и хорошо, думаю, ну и давайте, а сам в их стреляю. И вдруг сзади застреляли. Глянул я: баб моих не видать, а от лесу бегут какие-то. Я и в этих на всякий случай пальнул. Возле леса запукало — это партизаны из минометов по немцам вдарили. Соскочил к мене в канаву который, када за сеном приходили, к стенке мене хотел. Ты чего, грит, по своим лупишь, а? Дай-ка я тебе, гада, грит, поцелую. Вот. В партизанах мы недолго воевали. Ее сперва ранило, потом она в гестапо попала. А как наши пришли, мене куда следует отравили. Я не жалуюсь. Я уже года полтора отсидел, как она мене письмо отписала. Жду, пишет, какого вы есть, тока ворочайся живой. Вот я и воротился.

— Ага, — сказал Прокурор. — Только я не понимаю...

— Я ее не неволил, — сказал Буян. — Я ей с лагерей так и отписал: можешь мене не ждать, слово тебе ворочаю.

— Только я не понимаю, — сказал Прокурор, — зачем вы мне все это рассказали?

— Чтoб знали. — Буян поднялся. — Вы ж про ее хотите знать... ну, и про мене... А мене здесь жить.

Он ушел, а Прокурор (тогда еще только следователь прокуратуры) долго сидел в кабинете. Наутро он сделал предложение той, которая стала его женой. И когда доктор Шеберстов насмешливо спросил, с чего бы это «достоуважаемый правед» так скоропалительно сменил даму сердца на даму желудка», Прокурор ровным голосом ответил:

— Если вы еще хоть раз позволите себе неуважительный выпад по адресу моей жены, я набью вам морду, доктор Шеберстов.

Он вытянул ящик стола, нацупал конверт, вытряхнул из него сложенный четверо листок бумаги — и только тогда догадался включить свет. Эту бумагу ему отдал тогдашний прокурор — астматический старик, даже летом носивший толстое пальто, покроем напминавшее шинель.

— Вы что-нибудь понимаете? — сердито спросил он, заметив улыбку на лице помощника, пробежавшего глазами заявление. — Я даже не представляю, как к этому относиться.

— Если не возражаете, я возьму это себе.

— И что вы собираетесь делать?

— Ума не приложу. Скорее всего — ничего.

Вернувшись к себе, он перечитал заявление: семнадцать женщин требовали положить конец бесчинствам Буянихи, насылавшей порчу на мужчин, которые ни о чем и ни о ком, кроме как о ней, змее, не могли думать.

Встретив Надю Сергееву, чья подпись под заявлением стояла первой, он напрямик спросил:

— Неужели вы верите во всю эту чушь?

Кажется, он недооценил силу женской ненависти. Смерив его с головы до ног пылающим от негодования взором, Надя процедила сквозь зубы:

— А это как раз не важно, верим или нет. Если вам на это плевать, мы сами этим займемся.

И тем же вечером авторессы заявления ворвались в любинкинскую кухню, где Буяниха ждала, когда припаяют ручку к ее кастрюле, и потребовали бесспорных доказательств ее непричастности к волшебю. С презрительной улыбкой она недодргнувшей рукой достала из кузнечного горна добела раскаленную гайку и зажала ее в кулаке. Когда женщины пришли в себя после обморока, она разжала ладонь и бросила гайку в горн — рука же ее даже не покраснела. И позже, когда она прославилась как знахарка, наложением рук избавлявшая от зубной боли, бессонницы, икоты и рака прямой кишки, Буяниха называла тех, кто видел в этом чудо, суеверными дураками.

Он посмотрел на часы, сунул конверт в карман и, погасив свет, надел шляпу.

Собаки во дворе зашевелились, но Прокурор не взял их с собой.

— Мог бы и свет зажечь. — Леша провел рукой по стене в поисках выключателя. — Где он тут?

— Не надо, Леша, — остановил его голос. — Теперь-то все равно.

— Без фокусов не можешь. — Леонтьев неодобрительно покачал головой. — Что люди скажут?

— Ну, остальные-то нормально явились?

— Давно спят.

— И слава богу. Да не ищи ты выключатель! — уже с раздражением воскликнул молодой человек. — Успеешь еще налюбоваться на меня. Или ты... — Он тихонько засмеялся. — Или ты тоже пришел в сундук заглянуть?

Участковый почувствовал, как лицо его заливают краска.

— Ты мать-то хоть видел? — строго спросил он.

Глаза привыкли к темноте, и теперь он различал узкую фигуру того, кто сидел на сундуке.

— Мать. Ага, мать, а кто же еще? И директриса тогда сказала: вот ваша мать. Не мама — мать. Но это мелочь, на которую мы не обратили внимания. Мы ведь тогда просто испугались той бабы, которая ворвалась в общую комнату и грозно приказала нам собираться. Она-то как раз не кривлялась, не назвалась матерью — просто велела собираться. Пойдете жить ко мне, сказала она, не обращая внимания на директрису, которая лепетала, что все это не так просто, что надо еще оформить, что все это делается в установленном порядке... Вот и устанавливай порядок, сказала она, а я беру этих. Сколько их тут? Семеро? Семерых.

— Откуда тебе помнить? — прервал его Леша. — Ты же был самый младший. Сколько тебе было — четыре? пять?

Молодой человек снова засмеялся.

— Ты разве забыл, что дети Буянихи — одноклассники?

— Но ты же всегда был самый младший, — возразил Леша.

— Казался. — Он помолчал. — Я и до сих пор удивляюсь: почему она нас не перекрестила? Ну, почему позволила нам носить детдомовские имена? Ведь это не в ее духе. — Он закурил, бросил спичку на пол. — Пять мальчиков и две девочки вдруг стали братьями и сестрами. А ведь мы не были братьями и сестрами...

— Какая разница... — пробормотал Леша.

— Поначалу, конечно, никакой, а потом...

— Ты не крути. — Леша тяжело вздохнул. — Я же знаю, куда ты гнешь. Могилу рядом вырыли.

— И правильно! Мать и дочь — рядом. Рядышком.

И он стал говорить — сумбурно, почти бессвязно, в отчаянной попытке снова вернуться в то далекое утро, яростно вырывая у прошлого миг за мигом,

час за часом, день за днем, задыхаясь от боли, ненависти и страха, как будто с того дня не прошло десять (или больше?) лет, как будто все это произошло вчера, нет, даже не вчера, даже не час назад, — как будто это происходит сейчас, сию минуту, сейчас и здесь, будто вновь Леша, поднятый на заре Желтухой, бежит на базар, бежит через залитый дождями Стадион, через заросшие бузиной развалины, забыв о мотоцикле, не успев как следует одеться, бежит, задыхаясь и думая только об одном, страстно желая, чтобы все это почудилось этой треклятой Желтухе, которая всю ночь, как обычно, раскатывала на своем велосипеде по городку и уже под утро зачем-то заглянула на базар. Почудилось. Конечно, ведь она так и сказала: мне почудилось, будто кто-то оттуда выбежал, а увидел меня — и кинулся за баню, к реке. Конечно, почудилось и остальное, чему еще не было названия, но что уже вразгон перло навстречу — не разбирая дороги, слепо и неостановимо. Он выбрался на дорогу (почудилось!) и увидел людей, столпившихся у ворот (почудилось!). Кто-то взял участкового за плечо и сказал — почему-то шепотом: «Не туда, Алексей Федотыч, — налево». В углу, где когда-то привязывали лошадей, где по воскресеньям Васька Петух и цыган Серега спорили, кто из них плясовитее, на куче мусора, возле которой замер бульдозер, лежала эта девочка — лицом вниз, подсунув левую руку под себя, а правой вцепившись в рваное сапожное голенище, торчавшее из мусора. «Теплая была, когда я ее нашла», — проскрипела за спиной Желтуха. Леша растерянно огляделся: заключенные досками окна магазинов, навесы, под которыми громоздились горы пустых ящиков из-под вина, изрытая земля, бульдозер, сизые ивняки, с трех сторон обступившие базар... Значит, этой ночью, скорее всего — под утро, она выскользнула из дома, презрев материны запреты и мольбы брата, и по пустынным улицам побежала сюда, побежала, дрожа от ночной прохлады, а еще, быть может, от страха, — неужели она ничего не чувствовала, не предчувствовала, зная того, кто заставил ее ночью покинуть постель и, пугливо озираясь, бежать на базар? «Моргач, — не оборачиваясь позвал Леша, — сходи с мужиками в гостиницу...» «Уже были, — тотчас откликнулся Моргач. — Нету его там, Алексей Федотыч. Зойка говорит: ночью ушел, она и не слышала — когда». «Капитолина. — Леша поискал взглядом женщину, сморщился. — Капа, поди к ней... только не одна... с Граммофонихой, что ли... Дусю возьмите, Данголю...» Но она уже расталкивала людей, пробиваясь к участковому, — нет, впрочем, его она даже не видела, — полезла на кучу, а Леша стоял олух олухом и тупо смотрел на ее толстые ноги с варикозными венами, обутые в стоптанные мужские башмаки без шнурков, смотрел, пока она не прикрикнула: «А ну помоги!», и тогда послушно полез наверх и взялся за ледяные ноги. «Нет, нельзя, — прохрипел он. — Не по закону». «Да пошел ты, — огрызнулась она. — Господи, зачем же он ее обрил? Да помоги же, сука!» Моргач принес брезент, в который ее и завернули — осторожно, чтобы не оторвалась голова, державшаяся на тонкой ленточке кожи, туда же положили и сверток, найденный неподалеку, — Буяниха заглянула в него и молча положила рядом с дочкой... Так что этот парень ничего этого не видел, то есть даже не видел ее до той минуты, когда гроб привезли в дом и поставили в самой большой комнате, в этой самой, где сундук, — но тогда он только глянул на нее и отвернулся, и уже через час его не было в городке. Так что и на похоронах его не было. «Конечно, — сказала Буяниха, — я ей не мать. Я матерью только сейчас стала. Это я во всем виновата. (Но в голосе ее не было раскаяния.) Это я запретила ей даже видется с этим мерзавцем, с этим убийцей, с этим... Его надо найти, Леша. («Его ищут», — сказал Леша.) Да, я сразу распознала, что он за птица: перекасти-поле, вор, бродяга, убийца, у которого никогда не было ни отца, ни тем более матери, он из плесени родился, это ж сразу видно. И сюда явился только затем, чтобы обмануть ее и убить. И все, что он тут делал, он делал для отвода глаз. И что в гостинице поселился. И что работать пошел. И что детдомовских искал. И что вел себя тихо до поры до времени, пока не убил того человека... («Никаких доказательств нету», — возразил Леша.) А это твое дело — искать доказательств. Мое дело сказать: это он убил, все знают, хотя никто и не видал. Ну и что? Будто для того, чтобы знать, обязательно видеть. Это он заманил того человека на Свалку, убил его и ограбил, а потом закопал в макулатуру, думал, небось, что его ненароком сунут в гидропульпер, картон из него сделают — и всех делов... («Никто не знает, — снова возразил Леша. — Никто до сих пор ничего не знает.») И плевать. И ладно». И даже когда она узнала, что убийца пойман, ее не заинтересовало, кто он такой на самом деле, — только и спросила:

«Куда ж он одежду ейную дел?» — и все. Да и что говорить, если все, что можно, уже было и сказано и сделано: в одну ночь она потеряла и дочь и сына — сына, который не был братом этой девочке, который любил ее, которому она строго-настроено велела выкинуть из головы эту самую любовь, черт бы ее взял: как бы там ни было, она считалась его сестрой. И все. Да и потом, девочка сама сделала выбор — в пользу прищельца с косой челкой и тонкой ниточкой усов на толстой верхней губе, в пользу человека, который ни у кого — ни у кого! — не вызывал иного чувства, кроме брезгливости, будто нарочно сам к этому стремился.

— Ладно, Леша. — Он снова закурил, откинул длинные волосы со лба. — Чего тут. Ей было наплевать на меня, и я и сам удивляюсь, почему эта история до сих пор не дает мне покоя. В конце концов она сама выбрала себе судьбу, хотя, конечно, это и было глупо: назло матери — так это выглядело, а может, и было, — связаться с человеком, который и ей внушал страх — я в этом уверен: он внушал ей страх, хотя она, наверное, и не понимала — почему. Она сказала мне тогда: он увезет меня отсюда. А ведь он ей ничего не обещал. Вот она и ушла из дома. Потому что если бы она осталась со мной, она никуда не ушла бы отсюда, даже если б потом мы и уехали куда-нибудь. Понимаешь? Ей хотелось уехать — в другой мир. Ведь это мать... нет, я не виню ее! Но ведь это мать научила ее грезить о другом мире. Мать и тетка. Но начала мать. Это она называла ее не Верой, а Вероникой, это мать рассказывала ей о райской жизни, о теплом южном море, где сама никогда не бывала, это мать показала ей платье...

Он соскочил с сундука и рывком поднял крышку.

— Включи свет! Слева!

И когда вспыхнул свет, он достал из сундука, из свертка (Леша тотчас узнал сверток, который положили рядом с мертвой девочкой) изъеденное молью, мятое, потускневшее бархатное платье с кружевным воротником, — да, алый бархат, сквозивший крохотными дырочками, потускнел и запылелся, но платье, как и встарь, было головокружительно красиво, и от каждой его складки веяло той жизнью, где не было вульгарных Верок, а были только прекрасные Вероники, где всегда играла музыка, где плескалось теплое море и шелестели пальмы — и что там еще придумала эта женщина, которая всю жизнь читала лишь две книги — «Три мушкетера» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая никогда не видала вблизи мир своей мечты — ну, разве что в «Индийской гробнице» или «Парижских тайнах», — платье, которое надевали только в этой комнате, перед этим тусклым зеркалом, всего несколько раз в году, тайком от всех, даже от домашних, и это, конечно, были праздники мечты — для матери и дочери... Словом, это уже было не платье, но символ другой, иной жизни, той жизни, которую мать не смогла прожить — может, потому, что дала слово этому человеку, своему мужу, может, просто потому, что у нее не хватило отваги, как знать, — во всяком случае, ее дочь не связала себя словом с тем человеком, который считался ее братом, но не потому, что он считался ее братом, а потому, что он был частью этого — этого! — мира, из которого предстояло бежать, и вот она отважилась, она бросилась навстречу тайне, навстречу прекрасному, которое все заставляло себя ждать, кинулась очертя голову, и, наверное, все-таки не ее вина в том, что этот путь уткнулся в мусорную кучу на базаре...

Он осторожно повесил платье на плечики и пристроил на дверце шкафа.

— Вот и все, — уже спокойно сказал он. — То есть это все, что было в сундуке. Ни денег, ни драгоценностей, ни сберкнижки, ни дракона, — мечта. Какая б она ни была. Грязная, пыльная, мятая, траченная молью, пошлая, смертоносная, наконец.

Под утро браконьеры, которые уже несколько ночей подряд выслеживали того, кто рвет их снасти, на островке ниже водопада забили веслами чудовище с обезьяней головой на длинной шее, конскими ногами и туловищем слепой собаки. В желудке чудовища обнаружили три рваных бредня, швейную машинку и пахнущий водкой граненый стакан. Собаки это мясо жрать отказались.

В полдень похоронная процессия двинулась по Седьмой улице. С непременным визгом, разбрызгивая искры из-под колес, остановились три поезда — два товарных и вильнюсский пассажирский. Над крышами городка, над липами и реками, над окрестными полями и лесами поплыл густой голос Трубы — могучего гудка бумажной фабрики. К нему присоединились гудки макаронки

и маргаринки, мяскокомбината и мельницы, трикотажки и хлебозавода. Загудели тепловозы. Подал голос Чарли Чаплин — доживавший свой век на запасных путях, не годившийся уже даже в маневровые паровозик. Гудели автомобили и автобусы, мотоциклы и мопеды. С Преголи донеслись гудки барж. В скорбном молчании замерли птицы в небе, звери в лесах и рыбы в реках.

Во главе похоронной процессии шла Капитолина с маленькой подушечкой, на которой тускло мерцала медаль «Партизану Отечественной войны» второй степени. За нею Геновефа и Данголя несли портрет Буянихи. В последний момент вдруг обнаружилось, что ни у кого не сохранилось ни одной ее фотографии, и пришлось вырезать снимок из районной газеты двадцатилетней давности, на котором сквозь полиграфический туман проступала чья-то фигура в обнимку с коробкой вермишели. Далее следовали двести человек с траурными венками и еще двадцать — с крышкой гроба. С приличествующей случаю скоростью ползла чернолаковая полуторка, в ее открытом на все стороны кузове, устланном ветками ели и туи, стояла лодка (ночью покойницу попытались переложить в мухановский гроб — он развалился) с телом Буянихи, которая сложенными накрест мертвыми руками прижимала к груди какую-то бумажку, подsunутую в последний момент Прокурором.

В первом ряду за машиной, неотрывно глядя на покачивающийся задний борт, шли Валентина, Григорий, Михаил, Петр Большой и Петр Рыжий (тот самый Рыжий, которого однажды ночью разъяренная Буяниха ружейным прикладом выгнала вон из сада, где он поджидал эту похотливую дурочку), Иван и Вера-Вероника (Буяна так и не смогли извлечь из сарая, где он что-то остервенело мастерил), а также Солдат Маруся со своими прелестными детьми. За ними шагали Леша Леонтьев в парадном мундире, доктор Шеберстов со всеми орденами на необъятной груди, Прокурор, Мороз Морозыч, Веселая Гертруда, пилот штурмовика, уже получивший прозвище Чиримэ, и черный незнакомец, с которого по-прежнему ручьем текло. Сбоку, отталкиваясь ногами от земли, катил на мопеде с выключенным мотором Вита Маленькая Головка. За ними шли: Грамофониха со своей постаревшей дочкой-красавицей; Андрей Фотограф в широкополой шляпе и с длинным шарфом на шею; безмятежный мастер Степан Муханов и его отец Аввакум Муханов с вросшей в губу вечной сигаретой, набитой грузинским чаем высшего сорта; пропахший нафталином и кроличьей мочой Фокусник в черных лакированных ботинках; Миленькая и Масенькая с Мордашкой на руках; Надя Сергеева и шестнадцать ее подруг; одноногий кузнец Любешкин; Амросий, державший на весу собственные кишки; Валька и Желтуха; дряхлый Афиноген с новым языком во рту; слепой Дмитрий; Зойка-с-мяскокомбината, известная блудница, питавшаяся сырым мясом; вечно простуженная буфетчица Зинаида и Фея из Красной столовой; цыган Серега; Мишка Чер Сен со своими пятерыми черсенятами; обезьянка Цитриняк; бабушка Почемучето с громко тикающим будильником в ридикюле; Миша Рубчик; Дуся-Эвдокия без шести пальцев на руках и двух на ногах (память о ленинградской блокаде); Резаный и Сергеюшка с ледяными петушками в зубах; Алеша Рязанцев об руку с Алексеем Сергеевичем Рязанцевым; Стрельцы; Уразовы; Ирус со своей компанией; Моргач, пахнущий машинным маслом; Разводовы Генка и Вовка — эти, как всегда, пьяненькие; музыканты, привязавшиеся к инструментам прочными веревками; Таня-Ваня верхом на сундуке, с самогонным аппаратом в руках; прокурорские собаки; Калабаха; главный врач с льяной бородкой и руками молотобойца; Добродетель, Любовь, Сострадание, Участие и Надежда в легкомысленных одеяниях; Юрий Васильевич Буйда со своей женой Еленой Васильевной и детьми Никитой и Масенькой; бумажные фигурки, которые на досуге любил вырезать Прокурор; траченное молью бархатное платье; Пятьдесят Самых Толстых Женщин — среди них по всем статьям выделялась горторговская Лидочка, весившая ровно восемь пудов (без ботинок и лифчика); Аркаша Стратонов, съедавший в один присест ведро вареной картошки; старуха Три Кошки; Плюшка; Серега и Митроха; Миллионер, ставший всеобщим посмешищем после того, как его жена отдала захожей цыганке ветхий полушубок, в котором этот скряга семь лет прятал от супруги деньги; Три Богатыря с зелеными бородами и Три Мушке-тера; прокурорский стугл; пасечник Рудый Панько; вояющий мазутом Князь Тьмы из Гнилой Канавы; красный бык; белый лев; Недотыкомка, непрестанно ковыряющийся в носу; заплаканные сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени; Барыкова-Бессалько и Францоз-Хокусаи; полупрозрачные золингеновские бритвы; керогазы; браконьеры; Во-

докачка Буянихи; Мостовые Буянихи; Голуби Буянихи; Водопад Буянихи; Шлюзы Буянихи; Сновидения Буянихи; Облака Буянихи; Солнце, Луна и Звезды Буянихи; Пространство Буянихи; Время Буянихи...

С раннего утра доктор Шеберстов никак не мог избавиться от тягостного предчувствия, что вся эта затея с похоронами добром не кончится. «Помяни! — крикнул он жене. — Не тот случай. Не та баба!» Всю дорогу он ждал какого-нибудь подвоха, поэтому и не удивился, когда Граммофониха шепотом сообщила, что Буяниха, кажется, зашевелилась в лодке, и только распорядилась накрыть ее с головы до ног покрывалом. Не удивился он и тому, что, миновав последний мост, на перекрестке у Гаража полуторка заглохла. Да и никто не удивился: вот уже почти сорок лет всякий раз она глохла именно на этом месте. Однако на этот раз машину завести не удалось. Громко фыркнув, доктор Шеберстов приказал нести гроб на руках, и тотчас сто пятьдесят самых крепких мужчин сняли лодку с машины. Процессия двинулась дальше.

— Цветочки! — громко прошептал доктор Шеберстов Прокурору. — Будет история! Не та баба!

Под звуки оркестра, с причитаниями и плачем пестрая змея похоронной процессии свернула возле бывшего детдома в липовую аллею и поднялась на вершину кладбищенского холма, где уже зияла вырытая в желтом песке яма в форме лодки. Гроб бережно опустили на землю.

И вот тут рев медных труб и одиннадцати тысяч семисот пятнадцати женщин вдруг оборвался, и в наступившей тишине кто-то радостно закричал:

— Да это ж Буян! Буян!

По кочковатому полю, подпрыгивая и хлопая, словно крыльями, откинутыми бортами, неслась чернолаковая полуторка, на подножке которой, вцепившись рукой в баранку, кое-как держался Никита Петрович Москвич, озабоченный лишь тем, чтобы не оборвался буксирный трос, к которому был привязан огромный двукрылый воздушный змей, чьи крылья были приделаны к ассенизационной бочке. Широко расставив ноги на верхнем люке, багровый от натуги Буян нещадно погонял Птицу — ветхий конь никак не мог сообразить, он ли это скачет или некая чудесная сила увлекает его вперед, и мчался с закрытыми от ужаса глазами, хватая воздух широко открытым ртом и раскатило пукая.

— Буян! — заорал доктор Шеберстов. — Буян! — Он замолчал, подыскивая слова, и вдруг не выдержал и оглушительно захохотал. — Давай, сукин сын! Давай! Дава-а-ай!

И тысячи людей, словно враз обезумев, что было силы закричали:

— Давай! Давай!

Они истошно вопили, размахивали руками, топали ногами, плакали, колотили друг дружку по спинам, хохотали — и неистово, яростно, бешено, самозабвенно требовали чуда:

— Давай, Буян! Давай! Не выдавай! Не выдава-а-а-ай!

Птица вдруг отчаянно заболтал ногами в воздухе, ассенизационная бочка подпрыгнула на кочке — и поплыла, плавно покачивая исполинскими крыльями, сшитыми из заплатанных ночных сорочек, чиненных-перечиненных носков, трусов, бюстгальтеров, халатов без пуговиц и пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике, — выше и выше, над полем, над лесами, над крышами городка, пропахшего елью и туей, и тут люди вдруг разом обернулись и увидели, как из-под покрывала, закрывавшего Буяниху, выпорхнул белый голубь («Ну вот, — сказал доктор Шеберстов. — Ягодки»), тотчас прыгнувший в небо и помчавшийся за ассенизационным змеем; за первым голубем порхнул второй, третий, и вот уже тысячи тысяч голубей, громко хлопая крыльями, гигантским клубящимся столбом белого дыма уходили в небеса — в Дом, где и эта судьба будет измерена мерою человеческого, какова мера и Ангела...

В наступившей тишине особенно хорошо было слышно, как со скрипом взмахнул крыльями железный Золотой петушок, стряхивая ржавчину и пыль на школьную крышу, как забилось у него в горле, заклокотало и наконец вылетело и полетело над городком:

— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!..

День рождения Катьки

РАССКАЗ

«Интересно, что она обо всем этом думает? — спрашивал себя Костя. — Тут и человек ни хрена не поймет».

Машатин принес тюльпаны. Ян, как всегда, явился с новой телкой и бутылкой «Искры». Как там эти выражались при монархизме? Женщин меняет, так сказать, как перчатки. Свои коричневые кожаные Ян таскает уж второй год. А баб за это время... Белой гвардии и не снилось. Они по старомодности, надо полагать, больше нажимали на перчатки.

У новой телки были достойные внимания глаза — большие, синие и совершенно без выражения. Как пуговицы. В кухне Катька, перекладывая на блюдо пирожки, шепнула:

— Я все соображаю: к какому платью эти глаза?

— Это костюмные глаза, — сурово сказал Костя и понес пирожки к столу.

Катькиным предкам Ян представил новую подругу церемонно: «Моя знакомая», — и чуть ли не шаркнул ногой. Тесть оживел, теща смерила ее щучьим взглядом и сказала:

— Да, да... просто ужас эти прически, все Запад стремимся догнать.

Девушка с пуговичными глазами засмеялась. Ян стал объяснять, что Запад надо догонять экономически.

Машатин сидел на тахте и уговаривал Тюньку:

— Пес, подойди. Ну, чего ты? Я же тебя не обижу. Дай лапу, пес.

— Ты оскорбляешь женщину, — сказал Ян. — Женщину не называют словом «пес», ее называют другим словом.

Пуговка покатила со смеху.

— Чего это она? — спросил Костя жену, выходя на кухню.

— Наверно, дура, — ответила Катька. — Дураки любят смеяться. Раньше даже пословица была: «Смех без причины...»

— Признак дурачины, — закончил Костя. — Предки были наблюдательны, но копали неглубоко. Почему они — дураки, в смысле, — реагируют именно смехом? Тут должна быть какая-то связь.

— Катя, мы умираем с голоду! — возопила теща. — Ты когда-нибудь наденешь платье?

— Ни-ког-да! — сказала Катька. Схватила бутылку водки и, высоко ее держа, вошла и села на свое место.

— Вот видите, — сказала теща Яну, — если бы ваши кооператоры не воровали танки, а работали для людей, девушки на день рождения не сидели бы в бруксах. У них было бы все. Стасик, что с тобой? У тебя же ишиас!

Старуха отвлеклась от мужа, поскольку он вдруг браво ринулся предлагать Пуговке коньяк.

— У меня и так есть все, — сказала Катька. — Пусть хоть ракеты воруют.

— Катя, что ты говоришь? Как — пусть ракеты? Стасик!

Тесть накладывал Пуговке винегрет.

— Ну, чего ты, пес? — застенчиво бубнил Машатин. — Ну, чего такой корыстный? Не подходил, а теперь даже лапу суешь.

— Ужасная собака. Попрошайка. И потом я видела на тахте ее шерсть. Костя, твои родители ей не запрещали?

— Я не помню, Римма Ивановна, — ответил Костя, сделав стеклянные глаза.

— Как не помнишь? Ведь она столько лет... и еще совсем недавно... Как это можно не помнить?

— А что это, Римма Ивановна? Я не понял.

Когда Костя, глядя на тещу стеклянными глазами, начинает валять дурака, она теряется. А Катька злится. Не пережить бы, а то выдаст ему при всех.

— Почему не понял? Я спрашивала про собаку, — напряженно объясняет теща. — Приучали ее твои родители лазить на тахту? Разве это непонятный вопрос?

— Это понятный вопрос.

Костин меланхоличный голос и неподвижный взор произвели большое впечатление на Пуговку.

— Твои родители давно умерли? — спросила она, жалостливо глядя на Костю.

— Ну, ты сильна, подруга! — сказал Ян и, чтоб не утомлять всех длинным разговором, бросил Косте: — Мать докторскую защитила?

— Она давно уже защитила, — сказал Костя и жлобским голосом добавил: — Крабы у нас тогда были. Ты еще пиво доставал. Вспомнил? Крабы с ее банкета.

— А, точно, — кивнул Ян. — С банкета крабы. Точно, защитилась.

— Пес, колбасу возьми, — громко сказал Машатин и протянул Тюньке чуть не полбатона сервилата.

Теща сверкнула на него глазами, но смолчала.

Пуговка раскрыла было рот, но захлопнула.

В воздухе густо пошло электричество. Все старались — думали, что сказать.

Тесть перегнулся через стол и издали достал баночку с грибами.

— Стасик! — вскрикнула теща. — У тебя же и ш и а с!

«Стасик» зверски смутился, но, собрав все свое мужество, предложил Пуговке грибы и хрипло произнес:

— Соленые маслята. Под Можайском с другом собирали. Два с половиной часа электричкой.

На этом запал мужества иссяк, и от смущения он здорово надрался.

Когда мытарство это кончилось, его пришлось и одевать, и обувать. Дурацкая затея — сдирать с гостей ботинки. У Кости в доме к ней относились иронически. Мать говорила: «Странное торжество, на котором кавалеры танцуют в носках». Но у Кости с Катькой никто не танцует. А оставлять обувь в прихожей, вообще-то говоря, удобно. Костя в обычай вполне втянулся, и, поскольку паркет его забота, он теперь целиком «за». Но, натягивая сапоги на копыта окосевшего тестя, почему-то с тоской вспомнил, что в родительском доме гостей не разували.

— Совсем не скользко. Но идите осторожно. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Счастливого пути. Вам эта шапочка идет, Римма Ивановна.

— Вот видишь, Катюша, — подобрела теща, — а ты говорила, мне чълму нельзя носить.

— Мамочка, да носи ты на здоровье свою чълму. Дай я тебя поцелую.

— Римма Ивановна! Станислав Степаньч! Большое вам спасибо. Счастливого пути.

Уже в дверях старуха Римма нетактично прогудела:

— Каждый раз у него новая. Он женится когда-нибудь?

Меньше народу — больше кислороду.

Машатин с ногами сидел в единственном кресле, еще теплом от тещи. Ян возлежал на тахте, сунув подругу, словно градусник, под мышку. Пуговка посмотрела на Костю широко раскрытыми от интереса глазами и спросила:

— Отец твой тоже жив?

— Все живы, все здоровы. Более или менее, — сказал Ян. — Кончай референдум. В каждом доме свой обычай. Ложись.

Пуговка поморгала синими гляделками и спросила Катьку:

— Твой папа очень больной? Ишиасная болезнь, я слышала, это сердечное?

— Сердечное именуется «ишемическая болезнь», — предупредительно объяснил Костя и снова сделал глупые глаза. — У Станислава же Степаньча болит совсем другое место.

Катька выскочила на кухню, словно ее ветром сдуло. Тюнька бросилась за ней.

— Как ваша собачка Катю любит, — сказала Пуговка. — А на меня они рычат. Я их боюсь.

— Это закономерно, между прочим, — очень вежливо стал объяснять Машатин. — От страха ты выделяешь адреналин. А на животных это действует раздражающе и вызывает агрессию.

— Что ты! — согласилась Пуговка. — Не то слово! Но я ничего не выделяю. Мне никто такого никогда не говорил. — И добавила отдельно и несходительно, как ребенку: — Если бы я что-то выделяла, я бы хоть заметила сама.

— Ты выделяешь сексэпил, — великодушно сказал Ян.

Пуговка засмеялась.

Вошла Катька, и Машатин, как весь этот вечер и как бывало всегда, укладкой проследил за ней взглядом. Тюнька, облизываясь, трюхала на коротких лапках за Катькой и с обожанием смотрела на нее. В отличие от Машатина она делала это открыто.

Катька стала убирать со стола, Пуговка рванулась было помогать, но Ян властно сказал:

— Лежи!

Тихий ангел пролетел. Лишь позвякивала посуда. Костя знал, что надо встать и помочь, но его не то что развезло — разморило. Катька, как маятник, мелькала из кухни — на кухню, очень высокая, худая, в джинсах и мужской рубашке. «Зачем ей платье? — думал Костя. — Таким длинноногим всю дорогу только в брюках ходить. Что-то есть в ней. Что-то в ней есть. Вот так смотрел бы и смотрел».

Она мелькала, как маятник, грациозно, легко, и все в ней было изящно — и акселератский рост, и худоба, и размеренная угловатость движений. Тюнька, лохматый, плохо отрегулированный маятник — плюх-плюх, — тоже снова-ла туда-сюда.

Катька вдруг села на тахту и прислонилась спиной к стенке. Тюнька тут же вспрыгнула туда, улеглась с ней рядом и вздохнула.

— Все, — тусклым голосом сказала Катька. — Остальное вынесешь ты, а потом помоешь посуду.

Машатин, что-то бормоча, вскочил и стал помогать Косте. Костя старался не смотреть на Катьку, чтобы не вызвать взрыв. Глуховатый этот ровный голос ничего хорошего не предвещал. Впрочем, если они с Машатиным все быстро унесут, может, еще обойдется.

— Рабыня Изаура, — громко сказала Катька. — Девять часов в лаборатории. Четыре магазина. Кухня. И всех обслужить. Сколько нужно рабынь? Изаура только на пианино играла. А если бы ее сюда?

— Если бы ее сюда, — неожиданно откликнулась Пуговка, — одна серия, потом крематорий. Кать, не сердись, что я не помогала. Я сегодня сразу после ночной в Мытищи ездила. Бабушка парализованная, а дед сейчас в больнице. У них квартира однокомнатная. Там начать и кончить. Представляешь?

— Представляю, — сказала Катька, и Костя понял, что обошлось.

В полвторого Катька в только что отглаженной пижаме в розовый цветочек — родительский подарок — растянулась на тахте, зажгла лампочку над головой (теща говорит: «Какая лампочка? Это — бра»), похлопала по спине Тюньку, тут же вспрыгнувшую на чистый пододеяльник, и с выражением блаженства на лице раскрыла Булгакова (не того, которого всю жизнь читали, а того, которого читают сейчас, — религиозного философа).

Это блаженное выражение лица дезориентировало Костю. Он угрожающе навис над Катькой и спросил:

— Что еще за новшества? Снимай портки — я консерватор.

— Ах, ты консерватор? — нежно протянула Катька и посмотрела на него любящими и веселыми серыми глазами. Потом размахнулась и со звоном влепила ему две пощечины — слева и справа.

«Сотрясение мозга, — подумал Костя, мнительный, как большинство мужчин, — небольшое сотрясение, очень возможно».

Тюнька быстро спрыгнула с дивана и удрала на кухню. Так она удирала всегда, когда Костины родители начинали орать друг на друга. Только в родительском доме в отличие от их квартирки была вторая комната и коридор.

— Одна — за ишиасную болезнь, — сказал Костя. — А за что вторая?

— Обе за эту болезнь.

— Крутые дамы — дочки младших лейтенантов.

В 45-м году, уже после капитуляции Германии, тестя, только что окончившего училище, послали на Дальний Восток добивать Японию, последний очаг агрессии, как писали тогда в газетах.

Какая-то сложная военно-морская ситуация, описание которой Костя всегда пропускал мимо ушей, вынудила младшего лейтенанта Теплых и множество других солдат и лейтенантов простоять целые сутки в Тихом океане.

Тесть прожил после этого вполне мужскую жизнь, работал инженером, заделал Катьку и даже играл в футбол. Но в последние несколько лет начались на почве Тихого океана адские боли. Костя не помнил, как на самом деле именуется эта болезнь, но ревнивая старуха Римма при бабах называла ее «ишиас». То, что тесть в свои шестьдесят два заглядывается на молодых девок, Костя по-мужски мог понять. Римма Ивановна на десять лет моложе и с рожки вполне ничего, но с огромным потенциалом занудства.

Эту мысль он по возможности корректно изложил Катьке, сидя, естественно, не на тахте, а поодаль, в кресле.

— Зря на мать напрягаешься, — сказала Катька. — Ей совсем нелегко.

— Сусличек, а ты теперь всегда будешь бить меня по рожке?

— Ежедневно. Я говорю: у матери тяжелая жизнь. И ты напрасно ее душой считаешь. Эти твои штуки она вполне просекает, только реагирует неправильно. Тебе не надо ничего объяснять.

— А молча бить с размаху. Посоветуй маме.

— Леониду Сергеевичу тоже не позавидуешь, — задумчиво сказала Катька.

— Суслик, почему мы жалеем отцов? Ты женщина, прошу прощения. Только не надо драться! Я в некотором роде мужчина. Разнополюе. И оба жалеем отцов. Своих, чужих. А матерей не жалеем. Суслик, почему?

Вернулась Тюнька и легла на пол.

— Да я уж думала, — сказала Катька. — Обе наши мамы выполняли отцовскую роль. Особенно твоя. А это ненормально.

— А когда папы не выполняют отцовскую роль, нормально? — спросил Костя, и сам же ответил: — Ненормально, но не сердит. Они нам ничего не намозолили, как всякий посторонний человек.

— Ну, это уж ты свою схему излагаешь, — сказала Катька. — У моих вообще практически нормальная семья. Просто усталый брак.

У них усталый, а у нас ненормальный, подумал Костя. И тотчас же поймал себя на несправедливости. У Катьки со свекровью вполне нормальные отношения. А с Риммой она ссорится, как зверь. И он со своей матерью тоже ссорится, как зверь. Вот давно бы надо позвонить, а все не хочется. ...Эти ее штуки... С матерью в отличие от Риммы не соскучишься. Каждый раз что-нибудь новое придумает. Или возьмется в одну точку долбить. Как она умеет раздражать.

— Да позвони наконец матери, — сказала Катька. — Ты ей весь сон на фиг ломаешь. Третий час.

— Ничего, она сова, — ответил Костя, протянул руку и поставил на колени аппарат.

Три длинных гудка и неторопливый голос женщины, привыкшей, что ее слова не пропускают мимо ух, произнес:

— Что же ты, бедняжка, так рано звонишь?

— Гости только что ушли, — ответил Костя.

— Гости — этот жеребец с очередной подругой? Что-нибудь стабильное на этот раз?

— Как тебе сказать? Он все равно не женится...

Сейчас мать начнет изображать, что интересуется делами его приятелей, хотя ей до феньки даже его дела.

— Девушка как девушка. Работает на заводе. Блондинка.

Тюнька многое понимала в этих делах, в которых и человеку было трудно разобратся. Некоторых вещей она не знала. Кое-чего не могла себе объяснить. Наплывали догадки, смутные, иногда страшные. Особенно страшной была одна...

— Ну, чего пристала с разговорами? — кисло бубнит в трубку Костя. — Суслик спать хочет. Я тоже, между прочим, человек.

Тюнька лежит тихо, не поднимает головы. Она знает: Костя говорит с Хозяйкой. Точно таким же голосом он говорил с ней в старом доме. Да и голос

ни при чем. Тюнька просто чувствует: он говорит с ней. Потихоньку начинают наплывать догадки, Тюньке делается страшно, она старается не допустить их до себя — закрыла глаза и тихонько лежит на полу.

Тюнька любит людей, главным образом своих, гостей, но, случается, на улице ей кто-то сразу нравится. Бывает, чужой — лучше гостя. Бывают гости, которых хочется укусить. Одних за то, что очень уж ее боятся, как сегодняшняя жена Яна. Другие, скажем, теща, сами еле удерживаются, чтобы ее не укусить.

Когда теща уходит, Тюньку одолевают смешанные чувства: жалко расставаться, но в то же время и спокойней без нее. Вот такое, например, неудобство: при теще нельзя прыгать на тахту. Каждый раз, уткнувшись в тахту носом, она ищет светлые Тюнькины волоски и сердится на Костю. Вообще-то на тахте Тюнька лежит обычно с Катькой, а Костя сидит в кресле. Почему, обнюхивая так старательно тахту и постоянно сидя в этом самом кресле, теща не может разобраться в таких простых, казалось бы, вещах — непостижимо. И все-таки, когда уходят гости, всегда грустно. А уж с теми, кого Тюнька любит, разлучаться гораздо трудней.

Гостей она встречает лаем. Бестолковые люди начинают ругаться: «Глупая собака! Ты что, Машатина не знаешь? Прекрати!» А бывает: «Заткнись! Истеричка». Но как можно прекратить или заткнуться — ведь Машатину надо так много сказать: и поздороваться, и пожаловаться, что долго не прихотел, и попросить, чтоб поскорее сел, — Тюньке страшно, когда рядом с ней стоят высокие мужчины, — и попробовать его уговорить, хотя, конечно, это бесполезно, чтобы не приставал: «Пес, дай лапу!» Ведь это не по правилам: лапу надо давать за еду и еще очень редко, в особенных случаях, Тюнька лучше, чем Машатин, знает — в каких.

— А ты подумай, подумай, кто в этом виноват? — злым голосом говорит Костя. — Все тебя обожают — только я исключение. Сделай так, чтобы я не был исключением. Сумей!

Такое Тюнька слышала уже не раз — в старом доме. Слышала и худшее. Когда хозяева начинали друг на друга кричать, Тюньку охватывал ужас, она бежала в другую комнату и пряталась в стенной шкаф. В старом доме кричали много и злобно, но никогда не дрались. А сегодня Катька ударила по лицу Костю. Здесь, в спокойном новом доме, где кричат гораздо реже, чем в старом, добрая, любимая Катька ударила Костю по лицу.

Наверное, он ее сильно обидел. Катьке, может быть, хотелось пирожков, но тогда ей надо было всех побить, потому что пирожки уплетали все, даже Тюнька, а Катьке достался только один.

Главное же — это непохоже на правду. Тюнькины хозяева не ссорятся из-за еды. Правда, есть противное словечко «перекармливать». «Не перекармливай собаку, ей не хочется есть». Тюньке есть совсем не хочется, но так приятно брать еду из хозяйских рук. Хозяйка это понимает и дает ей маленькие кусочки хлеба. «С этого не разжиреет», — говорит она.

Сердится из-за еды только теща. Вот и сегодня сначала она рассердилась на мужа за то, что он хотел перекармить новую жену Яна, и кричала: «Ишиас! Ишиас!»

Еще сильнее теща разозлилась, когда Машатин дал Тюньке большой кусок невкусной гостевой колбасы. Но на Машатина она не кричала: «Ишиас!» Зато со всеми в комнате сделалось такое, что у Тюньки встала дыбом и затрещала шерсть. Правда, этого никто не заметил, потому что на Тюньку никто не смотрел. А ей было плохо, тревожно и больно, и смутные догадки так сильно всколыхнулись в ней, что сердце колотилось во всем теле: в животе и в лапках. И мучительная жалость к Косте почему-то пронизывала ее.

— Нет, не шваркай трубку! — вскрикивает Костя. — Я эту твою манеру знаю. Нет уж, сама начала — так выслушай!

Тюньку охватила паника. В жизнь, полную запахов, ласки, игры и еды, вторгались ужасные вещи. Ее любимые хозяева кричали друг на друга. А сегодня Катька ударила Костю по лицу. Но не это было самым страшным.

Самым мучительным, самым невыносимым было то, что в новый дом никогда, никогда не приходит Хозяйка. И каждый вечер, когда Костя разговаривает с ней по телефону, Тюнька ждет, что он позовет ее к ним. А может быть, она придет и вообще заберет с собой Тюньку.

Какой счастливой была жизнь в крикливом старом доме: все хозяева там собирались, и не такая уж беда, что они часто ссорились. Тюнька не знала,

долгим ли было счастье, — она не умела считать дни и недели: жила себе и жила. Но сейчас, когда эту жизнь вспоминает, для нее она нечто недостижимое и прекрасное, как для людей Золотой век.

Почему сюда не ходит Хозяйка? В этом доме так хорошо и тихо и никто не кричит. Только вечером, разговаривая с матерью по телефону, Костя кричит на нее, точно так, как в старом доме. Кричит он и сейчас:

— Кто тебя просил меня рожать? Таким, как ты, не нужны дети! Не шваркай трубку, слышишь!

Как ему плохо! Какое у него несчастное и злое лицо!

Все... Тюнька долго убежала от догадки, но сегодня она настигла ее. Страшная, невыносимая догадка.

В новом доме хорошо и тихо. И Костя кричит лишь тогда, когда разговаривает по телефону с Хозяйкой. Ему плохо, ему больно разговаривать с ней. И он ее сюда не пускает. Хозяйка никогда не придет в новый дом. Тюнька никогда ее не увидит. И никогда не соберутся вместе те, кого она больше всех любит.

Опираясь на дрожащие лапки, Тюнька села, задрала вверх морду и завывала.

Проснулась Катька, как встрепанная вскочила на постели.

— Что с ней? Что случилось?

Костя растерянно держал трубку в протянутой руке. Трубка долго молчала, потом послышались короткие гудки.

Нет, не зря Тюнька любит людей. Люди добрые. Сколько они с ней возились! Катька гладила ее и приговаривала: «Тюнечка, Тюня». Костя принес большую ком масла, в который спрятал маленькую белую кругляшку и сунул Тюньке в рот, сказав: «С маслом не заметит».

Масла Тюньке не хотелось, но выплевывать его она не стала, чтобы не запачкать чистую постель. На постель она не прыгала, ее переложил Костя. И сейчас, когда почему-то сильно захотелось спать, Тюньку не сдвигают к стенке или в ноги — она лежит между Катькой и Костей, самое лучшее место, где ей редко позволяют лежать.

Вот уже и лампу погасили, и наваливается странный крепкий сон, и хорошо, что они оба рядом, и Катька, и Костя, и ласковы их руки, время от времени прикасающиеся к ней, но что-то грустное и очень важное случилось перед всем этим хорошим, и, когда Тюнька проснется, она вспомнит — что.

Шелестят голоса, Тюнька их уже не слышит. А потом и они смолкли. Теперь спят все.

— Тюнька, псих! — вдруг вскрикивает Костя. — Толкнула всеми четырьмя и унеслась. Суслик, что с ней, она не сбесилась?

— Тихе, — шепчет Катька. — Лежи и слушай.

Шорох Тюнькиных лап возле двери. А за дверью, на лестнице, вроде шаги. Грабители? Вот заскрипят сейчас отмычкой. Громкий, несмолкаемо долгий звонок.

Костя вскочил и стоит неподвижно. Он еще толком не проснулся, не пришел в себя.

— Котька, открывай, — слышит он голос матери. — Открой, котишка, это я.

Костя бегом бросается к дверям. Потом стоит босой на полу, тупой от удивления и недосыпа.

Катька, быстро надевшая под одеялом пижаму, вылезла из постели и стала рядом с ним.

— Тюня, маленькая! Как сердечко бьется! — Мать присела на корточки, и полы длинной серой шубы расплзлись и прикрыли их крохотный коридор.— Тюня, Тюнечка, что мы с тобой натворили?

Катька разогрела чайник и вынула из холодильника остатки роскоши. Разговаривали и за чаем, и потом, когда Костя постелил себе и Катьке на полу. Разговаривали много и неконструктивно.

«Нет, так больше невозможно. Надо что-то придумать». «Что ты придумаешь? Ведь уже перебрали все». «Буду платить соседу». «Этому алконавту? Он надерется в первый же день». «Смотри, спит. Она так всегда. Когда все вместе, сразу засыпает. От счастья. А что с ней будет утром, когда я уйду? Так сердце билось, мне казалось: выскочит». «Леонид Сергеевич выходит из дому?» «Катя, ты же знаешь, он гуляет каждый день. Но с такой неуправляемой

собакой ему категорически нельзя». «А может, она будет вести себя спокойно?» «Где уж там, на десятом году. Изуродовали мы ее скандалами». «Я позвоню завтра, отменю аспирантов». «Ну, хорошо, отменишь. А потом?»

Зазвонивший телефон не вызвал удивления. Ночь была такая ненормальная, что никто бы не удивился, если бы сам собою заработал телевизор и на экране появился Горбачев.

— Здравствуй, папа, — сказал Костя. — Да, уже давно. Да, конечно, могли догадаться. У нас, ночует. Мы уже легли. Спит. Это мама заметила: она сразу засыпает, если ей хорошо. Конечно, лучше найти выход, чем заниматься психологией. Папа, — с непривычным жаром вдруг взмолился он, — ты умный, придумай: что делать? Мы же угробим ее.

— Умный-то я умный, — помолчал, сказал отец. — Но, к сожалению, теоретик.

Как ни странно, все как будто погрузились в сон. Катька явно спит. Мать — под вопросом, но лежит бесшумно. Тюнька постанывает и вздыхает во сне.

Костя не пытается заставить себя уснуть. Как-то раз дурацким самогипнозом черт знает до чего себя довел.

Да и не надо ему вовсе спать. Его одолевают мысли.

Вроде бы мы все хорошие, размягченно думает он. Люди как люди. Где-то там, не у нас, убивают собак, мучают, сдирают с живых кожу. Там насилюют. Доводят до самоубийства. Там беспредел.

А мы нормальные. Как все. И даже Римма ничего. Когда у Стасика бывают эти приступы, она его отхаживает, вызывает «скорую». Стасик говорит: «Она мне жизнь спасала неоднократно». И живется ей не сахарно, Суслик прав. Муж больной да к тому же закладывает. Хотя вообще-то он ничего. Смешной. Кажется, добрый.

Костя вспомнил, как, деревянно накренившись, тесть вручает Пуговке грибы: «Соленые маслята. Под Можайском с другом собирали. Два с половиной часа электричкой».

А что если б они, совсем уж как нормальные, совместно проводили семейные торжества? Подумать жутко. Но Тюнька радовалась бы! Она любит видеть сразу вместе всех своих.

Мать начнет расспрашивать Стасика, где воевал и кто у них командовал армией, а Стасик вспомнит, кто был комбат. У матери к воякам слабость: война — ее детство. Выступает какой-нибудь бронтозавр, весь в орденах, как в панцире, и несет такое, что хочется расколотить телевизор. Мать умиленно смотрит и лопочет лишние слова: «Фронтвик», «Воевал», «Сталинград».

Стасика она бы обаяла с концами. Римма наговорит ей гадостей, а может, устроит скандал. В любом случае семейное торжество будет первым и последним. А отец непременно скажет: «Что я говорил? Меня всегда надо слушать».

По-нормальному у них не получится. Интересно, есть они в природе, нормальные? Как живут? Едят соленые грибы? Ездят за маслятами на электричке?

Костя вдруг подумал: что если тестя в лесу скрючит его тихоокеанский приступ? До железной дороги километров шесть, потом долго трястись электричкой. Как же достает его старуха Римма, если он, начавши на болевой синдром, от которого и дома загнуться можно, едет к черту на рога под Можайск и бродит там в лесу с каким-то другом, наверняка таким же фронтвым огарком, безруким или хромым.

Какая сила гонит его из дому? Наверно, та же самая, из-за которой мать с пронзительным противным выкриком выскакивала из дому, с грохотом захлопнув дверь.

Тюнька испуганно пряталась в стенной шкаф, и Косте не было жалко родителей, а только Тюньку. Но, когда он сам спешит или не в настроении, он орет на Тюньку, чтоб не путалась в ногах, и она дрожит и прячется.

Тюник... Тюнечка. Сидела, улыбалась и поочередно протягивала матери лапы. От счастья, не за еду.

Отец не удержался и сегодня: съязвил насчет материнского хобби — потолковать о психологии. Но ведь испугался же он за нее, когда сорвалась среди ночи и умчалась на каком-то такси. В такси страшно ездить по ночам. Кончились застойные, тихие времена. Страшно таксистам. Страшно пассажирам. Перестройка. Гласность.

За Тюньку даже отец испугался. Мы все боимся, что у Тюньки разорвется сердце, надорванное нашими скандалами. Мы и дальше будем его надрывать. Завтра мать уйдет. Не сразу, но уйдет же. Зря она надумала отменять аспирантов. Вполне возможно, они перессорятся с утра.

Говоря честно, Костя уже и сейчас чувствует, как в нем начинает ворочаться тяжелое взрывоопасное раздражение. Влетела романтично среди ночи к людям, которые ходят на работу утром. Каждый день рано встают и никогда не высыпаются. Катька и пощечину-то ему влепила, потому что сорвалась от усталости. И он понял это, даже не понял, почувствовал, словно устала его рука.

Ночная кукушка. Так называют счастливых жен несчастливые, вроде матери. Мать, наверно, никогда не была для отца ночной кукушкой. А Римма, может, и была, но давно — у них со Стасиком усталый брак. Вот он и «драпа-ет» от нее за маслятами, выражаясь языком их поколения.

Все они несчастные и злятся от зависти. Они мешают быть счастливыми им с Катькой. Каждый звонок к матери — мученье.

Вот и сейчас она мешает ему спать. Лежит-то она тихо, но дышит, как не спящая.

Бойтся. Бойтся разбудить их и бойтся рассердить. Что она выдумывает? Разве они с Катькой звери? Они ведь всего-навсего хотят, чтобы их оставили в покое. Так она именно и старается не потревожить их. Замерла, не шевелится и не дышит.

Вообще бы надо к ней подойти, шепнуть какую-нибудь ерунду: «Спи, мамочка, все будет хорошо». Она тут же успокоится и уснет, как Тюнька, даром, что доктор наук. И противное, как острый, твердый камень, раздражение растает у него в груди. Ей ведь плохо, наверно, напряженно. Но он не чувствует ее напряжения, в памяти всплывает свое.

По утрам она врывается к Косте: «Ты торопишься? Я на минутку. Я хочу только сказать: это конец, я больше не могу. Нет, ты послушай, это очень серьезно...» Костя долго ее жалел.

Но один раз он себе представил, что чувствует отец, там, за стеной, в соседней комнате, и ему сделалось жалко отца. А еще позже понял: его самого не жалет никто. Тогда он перестал жалеть родителей и с тех пор жалет только себя.

Как спокойно, как легко им было, когда, объединенные жалостью к Тюньке, они забыли все взаимные обиды.

Интересно, можно разработать в себе жалость? Пожалеть и простить? Простить и пожалеть, как свою собственную разболевшуюся руку?

Костя слышал: гениальные решения часто приходят во время бессонниц. В непривычное время, в но ной тишине, мозг начинает вдруг работать четко, и в запутанной проблеме наступает ясность.

Все было ясно, все на своих местах, и одного только недоставало — жалости.

Из всех сегодняшних несчастных жаль было только одного, которого он никогда не видел: больного старика со станции Мытищи, — он живет там в одной комнате с парализованной старухой, а сейчас лежит в больнице, отдыхает.

Вот про деда этого Костя так ясно все понимал, что даже знал: в больнице он отдыхает, хотя в палате восемь человек.

Какой кислотной разит в квартире, где живет этот дед со своей парализованной бабкой. Кислятиной такой тошнотворной и мерзкой, что Костя чувствовал: он может задохнуться.

Россия в перспективе

От автора

Перед читателями этого материала встанет сложная задача: не будучи в своем большинстве специалистами ни в экономике, ни в вопросах организации производства, им требуется оценить предлагающуюся здесь концепцию как бы по «внешнему контуру» и принять — либо не принять — ее. Необходимость предлагаемой публикации подсказана временем: всем нам нужно задуматься, куда показывает стрелка компаса и верной ли дорогой идем, товарищи.

Существуют различные точки зрения на то, каким образом выйти из все более усиливающегося кризиса. На этих страницах будет представлена концепция, обобщающая практические и теоретические вопросы, с которыми приходится постоянно сталкиваться автору.

Концепция, безусловно, рассчитана на обсуждение в самом широком кругу читателей. К великому сожалению, наше нынешнее правительство на словах провозглашает одно, на деле — в инструктивных документах, Указах, поправках к законам — проводится принципиально другая линия. Так, говорится о свободе, без ограничений выплачиваемой на предприятиях зарплате — и тут же тихо вводится ее «потолок» в размере четырех минимальных окладов; говорится о свободе для предприятий на валютном рынке — и тут же принимается драконовская инструкция об обязательной продаже валютной выручки государству по явно заниженному курсу доллара, «назначенному» сверху тем же правительством. Провозглашается свобода производственной деятельности на рынке внутреннем, а предприятия облагаются таким налогом, при котором любое развитие невозможно. Но особенно неприглядно выглядит сфера приватизации. Номенклатура получает такие льготы при захвате собственности, по сравнению с которыми любые взятки, служащие поводом для скандалов в западных корпорациях, кажутся бледной тенью. Ясно вырисовывается основной курс: опора на номенклатуру и переход (в условиях катастрофически высоких цен) вновь к тотально-распорядительной

системе. Вся власть при этом сосредоточивается в руках у хозяйственной бюрократии, превратившейся в класс крупных собственников. Капитализм без рынка — вот каков окажется итог очередного эксперимента над терпеливым советским человеком. Капиталом при этом (средствами производства) начинает владеть бюрократия.

Объявленная в начале 1992 года либерализация цен, призванная способствовать созданию рынка, на самом деле явилась узаконенным, декларированным «сверху» повышением этих цен. Примерно то же проделал премьер В. Павлов в апреле 1991 года, народ тогда «проглотил» все это терпеливо. Новое правительство оставило за собой право определять круг товаров, на которые устанавливается верхняя планка цены, и ввело нормы, определяющие такую планку для широкого круга изделий. При этом демонаполизация не проводится, и предприятие-монополист будет вынуждено либо остановиться, не имея возможности поднять цену на изделие выше той самой планки, либо заставить правительство пойти на уступку, иначе встанут смежники и цены вновь полезут вверх. А за все это платить втридорога будет потребитель, то есть граждане из своего кармана.

В условиях государственного диктата, вновь тяготеющего к тотальному госзаказу и административному «привязыванию» смежников друг к другу, цена не зависит ни от производителя, ни от потребителя. Людям платят заработок пустыми бумажками (которые вновь безудержно печатаются на фабриках Гознака), а заводы-производители вновь и вновь поднимают цены, потому что дорожают сырье, комплектующие, труд, — и спираль инфляции делает новый виток. В результате рубль теряет свою основную функцию и рынок сводится к обмену товара на товар.

В таких условиях начинаются забастовки, где граждане, объединившись, требуют в основном одного — повысить им зарплату. В январе горняки просили, например, увеличить ее до четырех тысяч рублей. Расчеты профсоюзов Санкт-Петербурга в это же время показали, что

средняя потребительская корзина оценивается в более чем шесть тысяч рублей в месяц. Отсюда следует вывод: нет лучшего средства для провоцирования тоталитарного режима, чем каждому коллективу выдвинуть требования, касающиеся только его одного. И нет лучшего средства заставить правительство действовать в нормальном русле, принять, наконец, решения в пользу трудовых коллективов (а не номенклатуры), чем выйти с требованиями, которые касались бы всех.

Поскольку автор настоящей публикации является председателем Союза трудовых коллективов Санкт-Петербурга, постольку он на практике знаком с той инертностью мышления, которая, к сожалению, присуща нашим трудящимся. Даже возможность использовать свои законные права воспринимается как несбыточная мечта. Понятно, что стремление стать собственниками в результате приватизации тоже воспринимается трудящимися как нечто несбыточное, а что с этой собственностью делать, — у нас никто не знает. Никто, кроме номенклатуры, готовой за обладание собственностью бороться с кем угодно — и побеждать.

Она и побеждает. В результате реорганизации органов хозяйствования и образования новых концернов, корпораций, ассоциаций, департаментов предприятия оказались пешками в этой серьезной шахматной партии. Раньше номенклатуре достаточно было провалить «хрущевскую» реформу 1957 года, остановить «косыгинские» нововведения 1965 года, свести на нет вялые «брежневско-андроповские» преобразования 1979 и 1983 годов — и в результате остаться у власти. Теперь номенклатуре нужна собственность. Интересен парадокс, отличающий нас от Запада. Сегодня власть у нас в одних руках, собственность — в других, деньги — в третьих. Общий баланс здесь пока не найден, идет борьба, условно говоря, не за место у корыта, а за само корыто между правительственно-государственными структурами, номенклатурой и предпринимателями новой волны. Трудовые коллективы и профсоюзы лишь вклиниваются в эту борьбу, но их голос становится в условиях нестабильной социальной ситуации все весомей.

Создание акционерных обществ внутри корпораций, в результате чего (юридические игры номенклатуры) имущество и фонды предприятий, входящих в корпорацию, становятся собственностью членов-акционеров, — это один из сотен способов захвата госсобственности чиновниками, с которым сталкивается Союз трудовых коллективов. В результате приватизировать оказывается нечего. Программа приватизации, принятая на 1992 год, изобилует такими откровенными орехами, что дает возможность номенклатуре буквально в открытую скушать самые рентабельные производства. Чего стоит хотя бы отсутствие иных форм приватизации, кроме аукциона! При этом сразу

же возникает стовор между покупателями от номенклатуры: не поднимать цену выше определенной величины... Словом, правительство взяло курс не на продажу, а скорее на передачу хозяйственно-административной мафии того, что принадлежало и принадлежит государству. Возможность рынка при этом не просматривается, а вот всеобщее распределение «сверху» фондов, потребительских товаров — очевидное наше будущее. «Номенклатурная приватизация» иного не сулит.

Возникает вопрос: можно ли что-то изменить? Безусловно, можно. Требуется лишь здраво оценить шансы тех или иных общественных сил, которые взялись бы за реорганизацию экономики и вынудили правительство выдерживать именно здоровый курс. То есть — ориентированный, во-первых, на приоритетные звенья экономического развития, а во-вторых, на интересы основной части тружеников — в плане создания для них стимулов к работе. Об этом и пойдут далее речь.

Нет числа ухищрениям, на которые идет номенклатура, проводя «прихватизацию». Маленький пример: из цехов завода образуются юридические лица, так что в заводоуправлении остается десятка два человек для общей координации. Юридические лица арендуют площади и работают на хозрасчете — пока все вроде бы нормально. Однако дирекция вдруг объявляет, что трудовой коллектив завода состоит лишь из тех, кто... не вошел в состав юридических лиц, то есть того самого административно-управленческого аппарата, уже созданного товариществом, и ему-то как раз передаются безвозмездно (приказом по министерству, с утверждением от Фонда имущества) все основные средства производства в собственности!

Или — другой пример: товарищество создается самим директором и двумя-тремя его родственниками. Затем часть прибыли предприятия директор перечисляет в товарищество (сам себе; как административное лицо он имеет право на такую операцию), деньги эти вкладывает в сделку, получает навар, возвращает своему заводу долг, а на «навар» выкупает этот самый завод уже официальным путем как покупатель «со стороны».

Таких примеров — тысячи, и все они отличаются виртуозностью в плане юридическом. Закон о приватизации, фактически полностью созданный депутатом П. Филипповым и им же защищенный в Верховном Совете России, позволяет номенклатуре брать в свои руки всю необходимую ей собственность.

Что же в этом плохого, спросит читатель? Да то, что хозяйствовать номенклатура не умеет. В основном, эти люди получают и отдают приказы: лишь три четверти из них (если брать директоров предприятий по России) имеют диплом о высшем образовании; большинство работает не по профилю оконченного ими

ВУЗа, и лишь один процент (!) — экономисты, остальные — «технари». Для примера: в США на таких должностях — 70 процентов экономистов.

Пределом мечтаний этого слоя людей является административно-распорядительная система. Поэтому правом собственности на средства производства распоряжаются они однозначно: продадут эту собственность за «зеленые», за доллары, — иностранному инвестору.

Ну, а в этом-то что плохого?

Уважаемый читатель, во-первых, вся прибыль от деятельности инофирм будет уходить на Запад. Вместо долгосрочной совместной деятельности мы получим одномоментную распродажу нашего имущества (по цене невысокой, кстати). На житье номенклатуре, конечно, этих сумм хватит с избытком, только вот держава многих возможностей лишится.

Во-вторых, иностранным фирмам, скупающим самые рентабельные производства, абсолютно безразлично, что будет с нынешними работниками этих производств: они наймут других специалистов и в гораздо меньшем числе. Для примера — на российской фирме, занимающейся выпуском стройматериалов, работает в цехах около 400 человек плюс 20—30 управленцев. Аналогичное западное производство обходится пятью работниками и двумя сотрудниками АУП — все остальное делают автоматы. Куда денет правительство толпы безработных, точнее — куда денут эти толпы само правительство? При совместном производстве с Западом подобная проблема решается; при упрощенной продаже предприятий Западу — сулит серьезные социальные осложнения.

Что же делать? Новая перетасовка кадровой колоды? Новые «глобальные планы», двенадцатая схема спасения Родины (за последние два-три года)?

Ответ один: нужна выработка четких рекомендаций, исходящих из достаточно глобальных посылок. Нужны, далее, общественные силы, способные заставить правительство следовать подобным рекомендациям. Нужен, наконец, постоянный контроль за органами власти, которые сейчас — под давлением превосходно организованного, сцементированного общим интересом класса хозяйственного управления — тягивают общество в номенклатурный тоннель, где света в конце не просматривается.

Для конструктивных действий и предлагается данный материал. Многие из его положений умшенливо упрощены. Те, что требуют комментариев, несколько расширены, а сама схема публикуется в том числе с целью: откорректировав ее, сделать стержнем грядущих перемен.

Безусловно, очень многое может измениться до марта 1992 года, когда эта публикация увидит свет. Однако написана работа именно с целью познакомить с ней широкого читателя, а при необходи-

мости и поправить ее. Мнение читателей здесь очень важно.

Хотя предложенная концепция ориентирована на Россию, большинство ее положений можно использовать в других суверенных республиках бывшего Союза.

Экономика, реалии

В сфере производства — нарастающий срыв договорных поставок практически по всем позициям. Прямые связи поставщиков и потребителей разрушены, в том числе из-за межреспубликанской неустойчивости.

Добыча энергоносителей падает, их цены на мировом рынке снижаются.

Продолжает нарастать кризис в сельском хозяйстве. Требуются закупки продовольствия и зерна за валюту.

Два последних фактора ставят вопрос о невозможности выплаты внешнего долга (75 млрд. долл.) иначе, как путем продажи золота и обострения отношений со странами — должниками СССР. Получение новых кредитов становится практически нереальным.

Нарастает эмиссия денег. Вместе с инфляционной спиралью и стопором производства экономика входит в фазу натурального обмена. Рубль утрачивает основную функцию.

Сокращение бюджетного финансирования науки оборачивается закрытием важнейших фундаментальных исследований, потерей ценных кадров.

Большинство крупных предприятий, работавших в системе планового распределения, является монополистами и остается в государственном секторе. Руководство этих предприятий, особенно в оборонном комплексе, неспособно эффективно работать в условиях рынка.

Обобщенно: разрушению подвергаются производственный, сельскохозяйственный, финансовый, внешнеэкономический секторы (практически все сферы народного хозяйства).

С другой стороны, создана зачаточная нормативная база, позволяющая развиваться коммерческим негосударственным структурам. Появление бирж, банков нового типа, малых предприятий говорит о том, что в принципе возможен самый серьезный разворот предпринимательской деятельности, притом в минимальное время.

Казалось бы, кризисные условия должны вынудить государственный аппарат предоставить более существенные льготы и стимулы любому виду деятельности, позволяющему насытить рынок товарами. Это, в свою очередь, стимулировало бы предприятия на поиск более эффективных технологий, привлечение научного потенциала... Однако правительство избирает путь повышения налогового давления на предприятия (до 18 процентов от дохода плюс 28 процентов на добавленную стоимость), сняв при этом дотации с ряда убыточных произ-

водств. В подобных условиях нормальное хозяйствование (с целью развития, а не «проедания» через зарплату полученной прибыли) становится бесперспективным, а экономика возвращается к рыжковско-павловской схеме. В условиях либерализации цен и отсутствия масштабной приватизации такие установки ведут в тупик: усиливается монополизм производителей, а основную тяжесть удара принимает на себя потребитель.

Таким образом, несмотря на создание негосударственного сектора экономики, доля участия которого в 1991 году составляла 15 процентов от валового национального продукта, развитие этого сектора оказывается крайне осложнено действиями правительства.

Партии, движения

Никакие партии и общественные движения не оказывают существенного влияния на ход событий. Главной причиной такого положения является то, что политические группировки не выражают экономических интересов того или иного социального слоя. Партии заимствовали принцип КПСС: выступать «за всеобщие интересы», в результате чего программы их носят неконкретный, почти неразличимый характер. Немногочисленность, неспособность отстаивать конкретные требования промышленных рабочих, крестьян-фермеров, служащих по найму, предпринимателей — все это делает существующие организации лишь прообразом партий парламентского типа. Движение «Демократическая Россия» в общегражданских вопросах играет роль противовеса оголтелым «правым».

Рабочее движение, хотя и имеет конкретную целевую направленность, ограничивается в своих требованиях экономическими проблемами. Даже возможность распоряжаться имуществом предприятия и прибылью на шахтах, которой добились горняки Кузбасса, не решила подобных же проблем для предприятий других отраслей по всей стране, поскольку в таком плане борьба и не велась.

Межреспубликанский союз трудовых коллективов, созданный год назад, опираясь на органы самоуправления предприятий, ставит во главу угла изменение всего народно-хозяйственного уклада, но союз еще не набрал политического веса, чтобы существенно изменить ситуацию.

Профсоюзы, выдвигая требования к правительству, забывают разработать экономический механизм реализации таких требований. В результате профсоюзы, занимая позицию крайнего популизма, необходимого им, чтобы выжить как структуре, лишь подталкивают страну к инфляции.

Таким образом, ни одна из организованных сил не имеет достаточной под-

держки «снизу», чтобы диктовать условия «наверху».

В то же время отчетливо видно, чьи интересы (в их общем балансе) выведены на политическую арену. Это крупная и средняя хозяйственная номенклатура; нарождающийся класс новых предпринимателей; работники наемного труда.

Интересы номенклатуры (хозяйственной и государственной бюрократии) сведены к захвату госсобственности в личное пользование, превращению номенклатуры в класс крупных капиталистов.

Предприниматели стремятся к раскрепощению коммерческой и производственной сфер для создания механизма умножения капитала и приобретения собственности уже в рыночных условиях.

Работники наемного труда (в основной массе) желают лучшей оплаты и не вникают в общеэкономические последствия подобных требований. С другой стороны, попадая в условия ответственности за результат своей деятельности, коллективы предприятий способны разумно использовать полученную прибыль, не «проеда» ее через фонд зарплаты. Коллективы наемных работников создают органы самоуправления и добиваются передачи им части основных фондов бесплатно. Они претендуют на распоряжение (в переходный период) госсобственностью на правах полного хозяйственного ведения, самостоятельного выбор формы хозяйствования и дальнейшую приватизацию, идущую с существенными льготами в пользу трудовых коллективов.

Можно видеть, что интересы предпринимателей и работников наемного труда совпадают в двух основных позициях. И тем, и другим необходима, во-первых, свобода хозяйственной деятельности (рабочим, в частности, требуется толковый менеджер в качестве нанятого коллективом директора, у которого для получения предприятием прибыли должны быть законом развязаны руки). Во-вторых, предпринимательская деятельность по своей сути предполагает конкуренцию, в том числе в вопросах оплаты труда. Создание лучших условий для работников есть один из способов в конечном итоге получения предприятием дополнительной прибыли.

В то же время предприниматели, начинающие с нуля, и рабочие предприятий, получающие часть госсобственности бесплатно или со льготами, оказываются в разных стартовых условиях. Однако именно льготы, предоставляемые в вопросах собственности коллективам, исключают социальный взрыв, который сделал бы невозможным предпринимательство в принципе. Часть госсобственности, переданная коллективам перед приватизацией безвозмездно, является как бы социальной платой за саму возможность существования негосударственного сектора экономики в переходный период. Создание же такого сектора есть одна из важнейших задач, стоящих перед

коллективами предприятий и новыми предпринимателями.

Совсем иными интересами руководствуется номенклатура. Управлять крупными объектами в условиях рынка она неспособна. Власть ради власти, но уже посредством владения бывшей государственностью, и жесточайшая регламентация рыночных отношений (вплоть до сведения их к нулю и переходу на всеобщий госзаказ с гарантированным сбытом) — одна из главных задач хозяйственной бюрократии. Другая цель — личные валютные доходы, самый простой способ для их получения — продажа предприятий иностранным партнерам.

Фактически эти цели по своей сути противоположны тем, которые ставят перед собой и трудовые коллективы и предприниматели. Следовательно, борьба ведется в плоскости: номенклатура против работников наемного труда и негосударственного сектора экономики.

Поскольку общественные партии и движения не оказывают влияния на процессы в этой важнейшей сфере, такая борьба разворачивается главным образом в органах власти и непосредственно на предприятиях.

Россия в перспективе

Предполагаются два возможных варианта развития событий: оптимальный и связанный с обострениями социально-экономического плана.

Первый вариант — оптимальный (исходя из принятых в 1991 году решений) — сокращение бюджетных расходов; реформа финансовой и банковской систем; создание стимулов для производственной деятельности; монополизация производства; приватизация государственного сектора, в том числе крупных предприятий; конверсия оборонной промышленности; либерализация внешнеэкономической сферы, взаимодействие предприятий напрямую с иностранным капиталом; поддержка сельского хозяйства, развитие фермерства; социальная защита населения.

Эти меры, конечно, должны опираться на сильную государственную власть.

Что же, на мой взгляд, необходимо попытаться сделать? Кое-что из предлагаемого уже начато.

Свести дефицит бюджета к нулю. Прекратить дотации убыточным производствам, кроме сельскохозяйственных, стратегических оборонных, некоторых общегосударственных (городской транспорт и т. п.).

Пересмотреть систему налогообложения предприятий, заменить существующую по сути грабительскую на льготную, стимулирующую производство.

Ввести, и частью это уже введено, прогрессивное налогообложение личных доходов граждан: низкооплачиваемые слои платят меньший налог, чем ранее, а высокооплачиваемые — больший.

Максимально ускорить приватизацию сферы торговли, услуг, легкой промышленности.

Ввести новые правила построения банковской системы. Расширить права коммерческих банков, в том числе в вопросах внешнеэкономической деятельности. Постепенный переход к внутренней конвертируемости рубля.

Вести желающих наделять землей на льготных условиях. Банковские кредиты фермерам под низкий процент. Ориентация промышленности на производство сельскохозяйственной техники; создание здесь режима благоприятствования.

Отменить обязательный госзаказ, ввести конкурсную систему на получение госзаказа — в том числе на оборонных производствах. Снять режим излишней секретности с большинства заводов оборонной промышленности, перешедших на производство гражданской продукции.

Начать масштабное разгосударствление и приватизацию крупных промышленных предприятий с одновременной их монополизацией.

Финансами и продовольствием поддерживать беднейшие группы населения.

Укрепить республиканские МВД и органы административной госвласти на местах и в центре.

Реализация вышесказанного может не состояться в силу следующих обстоятельств.

Саботаж со стороны крупных хозяйственно-управленческих структур. Цели саботажа: стагфляция, тотальный товарный дефицит, недостаток сельхозпродукции и, как следствие, голод населения; затем социальный взрыв и переход к распределительно-административному диктату во всех сферах производства и общественной жизни. При этом органы хозяйственного управления фактически оказываются во главе государственной власти.

Массовая безработица. В этом плане социальную нестабильность порождают: неграмотно проводимая конверсия; резкое снятие дотаций с государственных предприятий; политика среднего слоя номенклатуры (директоров заводов, руководителей концернов и корпораций), увольняющей работников с целью приватизации предприятий в пользу номенклатуры. Следствием является отказ от демократических форм управления, общенациональные забастовки и невозможность проведения реформ цивилизованными методами.

Спротивление сельскохозяйственной бюрократии земельной реформе с задачей не допустить частного собственника земли в качестве конкурента. Союзником бюрократии выступает здесь, как ни странно, большая часть совхозно-колхозного крестьянства, отвыкшего за годы партийной власти от самостоятельной работы на своей земле. В этом случае голод к осени и зиме 1992—1993 года неминуем.

Планируемая приватизация крупных

промышленных предприятий, сводящаяся только к продаже их на аукционах. Подобная акция приведет к скупке рентабельных производств номенклатурой и иностранными инвесторами. В конечном итоге около 10 процентов самых передовых в технологическом плане предприятий перейдут в руки иностранному капиталу без каких-либо гарантий выгодного совместного партнерства. Это нанесет удар по отечественной экономике и вызовет рост общественного напряжения.

«Замораживание» определенных законом именных приватизационных чеков населения, не позволяющее гражданам России участвовать в приватизации.

Захват номенклатурой в личную собственность многих производств, резкое обогащение этого социального слоя за счет конъюнктурных сделок с правительством. Подкуп номенклатурой чиновников и депутатов всех уровней становится при этом неизбежен. Происходит усиление связей между коррумпированным правительством, номенклатурой (превратившейся в класс крупного капитала) и теневыми коммерческими структурами («мафией»). Следствие — удар по нарождающемуся слою предпринимателей, вовлечение их в антизаконную деятельность и приостановка развития тех форм бизнеса, которые не основаны на взяточничестве.

Невозможность перейти к конвертируемости российского рубля в силу малого обеспечения его товарами и золотом.

Армия как дестабилизирующий фактор. Переход на профессиональные рельсы грозит увольнением для многих кадровых военных. Их переподготовка и обеспечение жильем представляют две проблемы, каждая из которых не может решиться в ближайшие два-три года. Волнения в армии — это прямой подрыв государственных структур власти. Между тем голод может потребовать использования стратегических запасов армейского продовольствия, в силу чего придется оставить саму армию на скудном пайке — с возможными непредсказуемыми последствиями.

Введение собственных валют в республиках резко обедняет возможность для совместной хозяйственной деятельности крупных предприятий, связанных поставками, на территориях разных республик. Рубль как единая денежная единица на некоторое время утрачивает свою функцию. Неустойчивость положения предприятий влечет за собой деструктивные социальные процессы, связанные с невозможностью производства продукции.

Появление крайне левых или крайне правых лидеров на волне общественного недовольства приводит к неуправляемым процессам, анархии, падению правительства и распаду России на автономии.

Таким образом, балансирование финансов, производственные процессы, разгосударствление промышленности и т. д.

должны проводиться так, чтобы широкие массы населения видели для себя перспективу. В противном случае главным объектом внимания правительства в ближайшие годы явится социальная нестабильность, а не хозяйственная практика, что в корне меняет всю политику руководства. Переход к жесткому режиму в этом случае неизбежен, кто бы его ни осуществлял: правительство образца 1991 года или новое.

При условии некоторой корректировки возможен и такой вариант развития событий до 1994 года.

Запуск реформ в налоговой, финансовой и банковской сферах в начале 1992 года.

Наделение всех желающих землей с весны 1992 года при продолжающейся поддержке совхозов и колхозов.

Подавление «голодных» волнений весной 1992-го и в течение последующего года, без перехода к тотальному силовому режиму.

«Номенклатурный» вариант приватизации, вызывающий сильное общественное недовольство. Нарастающее вторжение иностранного капитала в процесс приватизации крупных предприятий, в частности, при их аукционной продаже. Одновременно — часть коллективов добивается собственной ведущей роли в процессе разгосударствления заводов, НИИ, создавая товарищества, выкупая имущество или владея контрольным пакетом акций. Законом и программой о приватизации не определен перечень предприятий, не подлежащих продаже иностранным инвесторам, что создает возможность для взяточничества и скупки самых рентабельных производств иностранцами.

Как итог — создание к 1994 году негосударственного промышленно-производственного сектора в объеме 10—15 процентов от общей стоимости фондов, во многом подконтрольного номенклатуре, а также частного сектора сферы услуг, существенно конкурирующего с государственным.

Создание сети независимых банков и бирж, неподконтрольных правительству, подчиняющихся только закону. Этот конгломерат инвестирует наиболее перспективные отрасли и регулирует распределение продукции и сырья пропорционально спросу в разных регионах. Фактически начинают работать рынок производства и потребления и рынок ценных бумаг.

Главной фигурой постепенно становится предприниматель, умеющий организовать бизнес и производство. Трудовые коллективы, сумевшие найти приемлемую для себя форму хозяйствования, постепенно переходят в разряд собственников. Смещается акцент в общественном сознании: иждивенчество, безынициативность сменяются желанием работать на предприятии, хорошо поставившем дело. Такие предприятия уже появляются в 1993—1994 годах. Ощуща-

ется резкий недостаток менеджеров, работающих с зарубежными партнерами.

Резко расширяются возможности местного бизнеса с Западом, но Запад диктует свои условия: рубль все еще бессилён перед конвертируемой валютой. Первые крупные успехи объединения усилий с Западом на ряде производств (конец 1993 — начало 1994 года).

Начиная с 1994 года происходит резкое насыщение рынка товарами за счет конверсированных производств и контактов с иностранными партнерами; появляется множество совместных предприятий.

Кризис продовольствия прекращается, так как слой фермеров активно конкурирует с коллективными хозяйствами не столько в объемах, сколько в качестве продукции; появляются фирмы-посредники, позволяющие миновать торговые базы и создающие систему «поле — магазин».

Производственные комплексы и предприятия вступают во взаимные контакты по принципу хозяйственной выгоды, с целью реализовать продукцию (а не только изготовить ее); создаются структуры типа трестов, синдикатов, акционерных компаний, куда входят поставщики сырья, комплектующих, сборщики изделий и продавцы.

Создаются общественные организации типа партий, каждая из которых выражает интересы определенного социального слоя. Это меняет систему выборов: теперь выдвижение кандидатов начинается по платформам, от партий.

Армия переходит на профессиональную основу. Для кадров, увольняемых в запас, предоставляется поле деятельности в виде землевладения на селе, строительного комплекса и т. п.

Создаются большие независимые компании в области авиационной и гражданской авиации, судостроения и т. д. Конкуренция с отечественными государственными фирмами типа «Аэрофлот» всерьез разворачивается после привлечения западных партнеров.

Приватизация крупных предприятий приобретает все больший размах. В ней начинает участвовать новый слой предпринимателей, заработавших капитал до 1994 года. Номенклатуру теснят бизнесмены. Роль трудовых коллективов двояка: с одной стороны, это собственники части имущества предприятий, обладатели паев (в том числе их контрольного пакета), а с другой стороны — наемный контингент. Возникает естественное расслоение работников на тех, кто хочет получать хорошие деньги за труд, и тех, кто станет жить на дивиденды. И те, и другие заинтересованы в лучшей организации производственного процесса, найме грамотных менеджеров. Госсектор сохраняет преимущество, лишь когда гарантирует людям стабильный заработок при низкой интенсивности работы. Доля госсектора значительно

снижается из-за прогрессивного налога на монопольное производство и приватизации.

К власти путем общих выборов приходит новое правительство, делающее ставку на инициативу среднего слоя предпринимателей, коммерсантов новой волны, способных распоряжаться в том числе и производственным процессом. Номенклатура удерживает позиции лишь за счет приобретенных в процессе приватизации средств производства, а также коррупции в чиновничьем аппарате. Постепенно бывшая номенклатура уходит из сферы хозяйственного управления, оставляя за собой возможность влиять на ситуацию через посредство капитала, участвуя в делах акциями.

Решать вопросы внутренней организации и участвовать в выработке стратегии предприятия может сам коллектив. Бизнесмен же является главным идеологом этой стратегии и ее realizатором.

Таким образом, считая 1994 год «точной перегиба», после которой набравшие силу положительные тенденции начнут разворачиваться все быстрее. До 1994 года экономика во всех случаях, на мой взгляд, будет пребывать в околорезисном состоянии. Однако от того, насколько быстро проявятся положительные моменты в обществе и системе хозяйствования и в какой степени обозначатся разрушительные процессы, зависит, насколько трудным окажется переходный период после 1994 года.

Отсюда вытекает необходимость, исходя из важнейших исторических, экономических и хозяйственных категорий, определить: что же является наиболее приемлемым для России вариантом ее глобального развития? Получив подобные ориентиры, следует выстраивать систему приоритетов, законодательных актов и т. п. — то есть выбирать именно тот путь, по которому российское государство пойдет в силу своих внутренних побудительных стимулов.

Собственник, предприниматель, наемный работник

Опросы населения в городах России показывают достаточно устойчивое отношение граждан к разным формам собственности. Около 10 процентов опрошенных (больше интеллигенция, чем рабочие) отдадут предпочтение частной собственности; приблизительно 20 процентов склонны видеть главной формой государственную собственность; остальные две трети респондентов предпочли бы владение фондами на коллективной (коллективно-долевой) основе.

С другой стороны, на вопрос: какой тип предприятия предпочли бы граждане как работники, — около шестидесяти процентов высказались за частную организацию или фирму.

Такого рода отношение подтверждает

стратегически значимую оценку, которую дает общественное сознание главным действующим на политической арене силам: наемным служащим, предпринимателям и государственной администрации. В первую очередь проявляется недоверие к возможностям государства (чиновников) позаботиться о наемном работнике: обеспечить его заработком и хорошими условиями. Люди предпочитают иметь дело с конкретным собственником («хозяином»), отвечающим своим рублем за результаты труда и, следовательно, вынужденным заниматься ради себя и наемных работников предпринимательской деятельностью. Подобная ситуация воспринимается как общность интересов предпринимателей и трудящихся — уже на конкретно-бытовом уровне.

Во-вторых, ответственность, связанная с обладанием средствами производства, инициатива в бизнесе присущи, как и везде в мире, лишь каждому десятому человеку.

В-третьих, исторически оправдавшая себя в России форма работы с разделением общего заработка между членами бригады или артели, в уродливой форме воспроизведенная колхозами и совхозами, помноженная на представление о справедливости как уравниловке, — все это вылилось в четкий приоритет коллективно-долевой собственности по отношению к прочим формам. И ответственность, и прибыль здесь как бы не персонафицированы и относятся ко всем владельцам и работникам вместе. А далее, пропорционально трудовому или имущественному вкладу (в первоначальный капитал либо в текущую работу), происходит распределение доходов. Причем каждый желающий может выйти из дела со своим паем, если подобное закреплено уставом сообщества.

С одной стороны, подобная схема (или иные, с главным принципом коллективно-долевой собственности) позволяет гражданам получать личную выгоду от владения собственностью. С другой — создает стимулы для приумножения богатства, поиску инициативных предпринимателей, которые возглавили бы дело. Следовательно, увязываются интересы нанятых предпринимателей, собственников и трудящихся, исполняющих ту или иную работу, без глубокого социального разрыва между ними. Акционерное общество лишь частично отвечает названным условиям. Наиболее полно они реализуются в кооперативах.

Из этого вытекают два самых серьезных вывода.

Первый. Любые попытки перейти от тотальной государственной собственности к тотальной частной собственности, минуя фазу коллективно-долевого владения, обречены на неудачу, поскольку не соответствуют общенациональному представлению о взаимодействии интересов разных общественных групп.

Второй. В условиях неразвитого рын-

ка не экономического, а именно социального фактора является ведущим для проведения реформ. Отсюда наделение работников госпредприятий некоторой частью собственности на безвозмездной основе, с правом коллективно-долевого владения есть первый шаг к запуску новых экономических программ. Поскольку акционерная форма собственности применима лишь при некоторых условиях, переход на нее для госпредприятий требует расчетов и подготовки. Социальная же ситуация подталкивает к быстрым действиям, снимающим общественное напряжение. Одномоментный акт передачи части госсобственности трудящимся и установил бы разумный баланс между этими условиями. В противном случае реформы, не принятые народом, могут захлебнуться.

Позиция правительства, якобы представляющего коллективам в соответствии с программой приватизации 1991 года 25 процентов акций без права управлять этой частью собственности, категорически неверна. Особенно если учесть право, отданное номенклатуре, на 5 процентов акций предприятий с правом голоса в управлении.

До настоящего времени заместники администрации (номенклатура) назначались «сверху»; основная же масса народа ницала. Это создавало глубочайший разрыв и противостояние между «верхами» и «низами», что, в свою очередь, провоцировало жестокий диктат: государство укрепляло свои карательные функции, не создавая стимулов к труду.

Сейчас нарождающийся слой предпринимателей становится как бы посредником, амортизатором между государством и работниками. С одной стороны, он принимает на себя удары административной системы, которая стремится уничтожить все, что выходит из ее подчинения (судьба разгрома кооперации в 1988—1990 годах — самый яркий тому пример). С другой стороны, нация, отравленная психозом равенства в нищете и приученная к тому, что в условиях невозможности легального бизнеса богатеют лишь казнокрады и жулики, — отторгает нуворишей. Ненависть к чужому богатству основана на представлении, будто труд предпринимателя не направлен на увеличение благосостояния других граждан: напротив, разбогатеть кто-то может лишь за счет обнищания всех прочих.

Таким образом, предприниматели оказывались под двойным прессом — со стороны трудящихся и со стороны государства.

Между тем ситуация требует радикальной перемены отношения к предпринимательской деятельности. Функция предпринимателя становится совершенно иной. По отношению к работнику это — работодатель, обеспечивающий хороший заработок и предоставляющий лучшие условия труда. По отношению к государству — основной налогоплательщик, сти-

мулирующий оборот капитала и выплату в бюджет процентов от прибыли (а также увеличивающий за счет большей зарплаты общий объем подоходных налогов трудящихся).

Предполагаю, что в самое ближайшее время необходимо создать стимулы для предпринимательства, в первую очередь осуществляющегося на основе производства товаров; освободить предпринимательскую деятельность от воздействия разрешительно-государственных служб, подчинив их лишь простым финансовым правилам (отчисление процента от прибыли, лицензирование по упрощенной схеме); установить жесткую взаимосвязь между доходами государственных служащих и состоянием тех отраслей народного хозяйства, которые они курируют.

В случае выполнения этих условий государственный чиновник, не имеющий легального права участвовать в коммерческой деятельности и теряющий право такую деятельность пресекать (следовательно, и брать взятки), получает от бюджета компенсацию за результаты своей прямой работы. Возможно, объемы таких компенсаций следует сделать значительными, что даст возможность соединить интересы государственного аппарата как отдельного социального слоя, самого государства и представителей бизнеса. Понятно, что если заинтересовать госчиновника дорого оплаченной службой, а не взяткой, — выиграют государство и предприниматели.

С другой стороны, отношения частного, коллективного и государственного собственника с наемными работниками должны строиться по схеме, исключающей социальное унижение. Минимальный размер отчислений от прибыли в фонд заработной платы и в социально-бытовой фонд должен оговариваться законом на уровне более высокого процента, чем в годы «развитого социализма». Высокая оплата труда должна гарантироваться государством, а средства, идущие в фонд развития, практически не облагаться налогом: это создаст стимулы и для труда, и для развития производства. Одновременно коллективам предстоит решать вопросы, оставлять ли в качестве работников квалифицированный контингент с высокими окладами или кормить всех, но понемногу.

Таким образом, создается механизм социальных гарантий, обязывающих предпринимателя хорошо оплачивать труд работников. Во-вторых, для менеджера, бизнесмена, управленца открывается свободное поле деятельности, где все зависит от способностей хорошо наладить производство и коммерцию. В-третьих, государственные служащие оказываются заинтересованы в развитии различных отраслей народного хозяйства. В-четвертых, государство получает большие бюджетные средства для решения общих проблем, в том числе для обеспечения малоимущих.

При таком повороте событий опытный организатор производства и хороший бизнесмен становятся главными и социальными фигурами. В общественном сознании они берут на себя функцию реализации национальной надежды, ибо работают на общество в целом, что, на мой взгляд, наиболее важно. Следует повторить: предприниматели работают на себя, на свой коллектив и — на общество. Государство при этом утрачивает функцию административного распорядителя, стоящего над народом, и выступает как координатор, работающий для народа. Социальное напряжение падает.

Все сказанное означает, что после 1994 года с социальной точки зрения главными действующими лицами должны выступать не собственники как таковые, не трудящиеся и не государство, — а предприниматели, купцы, деловые люди и масса средних и крупных руководителей разгосударственных (и в меньшей степени государственных) производств. Именно на их интересы, проводя реформы, и следует делать первоочередную ставку.

Конечно, подобную программу невозможно реализовать сразу, но формирование стереотипа бизнесмена, работающего в конечном итоге для себя и для всех, в сознании людей следует начать уже сегодня — в том числе через средства массовой информации. Завтра это приведет к принятию необходимых законов и правительственных постановлений.

Национальное самосознание

Россияне выработали собственное представление о себе как о нации с колоссальным потенциалом. Практически неограниченные природные ресурсы; территория, масштабы которой необъятны; победы в самых крупных войнах на протяжении многих веков; возможность в необычные сроки добиваться очевидно выдающихся результатов и всегда ощущать в себе потребность быть первыми, — все это формировало национальное самосознание.

С другой стороны, преимущественное внимание к личностным, духовным аспектам жизни, даже в противовес мирским благам — не менее значимая наша черта.

Третий аспект — мессианство, защита иных народов от истребительных набегов (с Востока или с Запада); при этом — стремление внести свою идеологию в чужой уклад.

Христианство и коммунистическая идея нашли в России чрезвычайно широкое распространение в силу одних и тех же причин. Общинное мировоззрение как источник национального долготерпения, с одной стороны, и оно же причина глобальных революций — с другой, также представляет из себя основу российского характера.

Вера в собственные возможности, в

собственных умельцев — еще одна из ведущих черт, подтвержденная на практике множеством жизненных примеров, подобных «Левше».

Поэтому, когда встает вопрос об интеграции России в мировое сообщество, следует решить: на каких условиях?

Опыт капиталистических и «третьих» стран показывает: мировой рынок предполагает абсолютное экономическое неравенство одних государств по отношению к другим. Так, задолженность «третьего мира» Соединенным Штатам Америки исчисляется триллионами долларов. Экономическая экспансия по отношению к слабо развитой экономике приводит к четкой дифференциации: одни страны становятся поставщиками сырья и дешевой рабочей силы для других. При этом средний уровень жизни принципиально различен в государствах с передовой формой хозяйствования и тех, которые фактически являются колониями. Третий мир живет в нищете, голоде и болезнях, чтобы еще одна треть могла процветать и благоденствовать. Советский Союз до сих пор удерживал срединное положение, хотя по ряду важных показателей оставался далеко позади даже слабо развитых стран. Так, по уровню валового продукта на душу населения в 1990 году СССР оказался на 68-м месте в мире, по личному потреблению — на 77-м месте, отставая от Науру, Гваделупы, Тринидада, Микронезии и других малоизвестных советскому человеку государств.

Если идти в мировой рынок намечающимся уже путем «чистой капитализации», Россия ничем иным, как сырьевым придатком для передовых западных производств, стать не сможет. Доллар, более сильный, чем рубль, станет диктовать условия, выгодные именно доллару, прежде всего скупку ресурсов, площадей, фондов. С целью — наладить экспорт сырья из России на условиях благоприятных западным партнерам. При этом поступающие в бюджет России деньги придется инвестировать не в развитую экономическую структуру, а в разорванные (или вовсе не созданные) коммерческие связи, в неразвитое производство и т. д. Это обернется чрезвычайно низкой эффективностью валютных вложений именно в производственном секторе. Товаров существовать не прибавится, тем более — конкурентоспособных на мировом рынке (выгодным будет лишь посредничество), со всеми вытекающими для России последствиями.

Что же представляет из себя «особый путь» России к мировому сообществу? На мой взгляд, в самом общем виде путь этот будет выглядеть примерно так. Россия обладает сырьем, дешевой рабочей силой и принципиально новыми научно-техническими разработками. Запад обладает передовыми технологиями и оборудованием «в металле», а также «свободными» капиталами, которые может вложить в расширение производства. Интеграция России с Западом должна заклю-

чаться в соединении всех этих компонентов — для создания продукции, качества которой не превосходящей мировые стандарты. На основе опережающих принципов, предложенных советской стороной, и оборудования, поставленного Западом, при помощи российских специалистов и рабочих, с использованием отечественного сырья создается сверхприбыльное производство. Примером товара может выступить сверло для разбуривания пород на основе электроторного принципа (КПД более 90 процентов вместо современных с КПД 6—10 процентов), создание супер-ЭВМ... Валютная прибыль делится в выгодной обеим сторонам пропорции.

Другой вариант сотрудничества связан с получением иностранной стороной прибыли от деятельности в России в рублях и реинвестированием этой прибыли в производство, действующие на территории России.

Эти и другие возможные формы партнерства исключают одностороннюю выгоду для Запада и массовую скупку советских предприятий зарубежными инвесторами. При этом обеспечивается поддержка подобной политики общественным сознанием. Отсутствует элемент «порабощения» России извне (его заменяет партнерство, где приоритет отдается русскому умению мыслить и западной хватке в организации дела). Во-вторых, катализировав подобный процесс в самом начале, вполне возможно получить спустя некоторое время лавинообразное его нарастание как один из масштабных поворотов в национальной экономике (что также вполне сопрягается с понятием о национальных возможностях). В-третьих, потребуются резкий приток рабочей силы в разворачивающееся производство, создание строительных баз и т. д., с гораздо более приемлемыми условиями оплаты труда, что способно сплотить людей на присущей россиянам позитивной, созидательной основе. Наконец, элемент национальной гордости за своих умельцев приведет к смене приоритетов в пользу интеллигенции и квалифицированного труда вообще — это явится основой для изменения всего уклада в целом. Кроме того, оставлена будет свобода для развития российской самостийной культуры и духовности.

В настоящий момент невостребованными оказываются самые перспективные отечественные разработки. Авторитарно-распределительная система в них не нужна, и тысячи принципиально новых идей и авторских свидетельств осели в научно-технических службах разных уровней. При создании стимулов все это можно извлечь в короткие сроки и положить в основу новой технологически передовой экономики. А полученные доходы государство обязано в крупных масштабах пустить на развитие науки.

Вывод этого раздела кратко можно сформулировать следующим образом.

Интеграция России в мировой рынок должна происходить не посредством продажи нашего сырья, фондов, рабочей силы Западу, а путем наращивания объемов совместных сверхприбыльных производств. Реализация продукции таких производств послужит базой для модернизации и развития большинства отраслей производства в России и катализирует научную сферу, в том числе в области фундаментальных исследований. В свою очередь, это обернется нетрадиционными решениями и еще большими доходами в будущем, а еще процесс в целом силотит нацию на основе общей созидательной идеи.

Именно поэтому считаю необходимым также кардинальную перемену отношения к науке. Ученые — национальная гордость страны, от них во многом зависит ее будущее. Создание для ученых материальной базы и атмосферы общественного уважения, достойная оплата их труда (в соответствии с важностью выполняемой работы и квалификацией) есть одно из главных условий переходного периода.

Еще одним вопросом, который следует решить быстро с целью интеграции России в мировую экономику, является торговля технологиями. Продажа находящихся «под сукном» проектов, лицензий, патентов или получение прибыли от их реализации за рубежом — неиспользованный сегодня шанс вписаться в процесс производства конкурентоспособной продукции.

Таким образом, самые разные аспекты научных разработок могут дать серьезный выигрыш — как в перспективе, так и в сжатые сроки. Приоритет отечественной науки при этом может и должен проявиться наглядно, а ее финансирование дать серьезный эффект в вопросах интеграции в мировую систему хозяйствования. Расчет же на «автономное плавание» России, с тем чтобы предприятия бессистемно выходили на партнерство, а когда-либо потом, окрепнув экономически, государство в целом перейдет на сотрудничество с Западом, — такой расчет неприемлем. Широкомасштабно осуществляемые общегосударственные действия (в плане интеграции в мировую экономику) плюс инициатива предприятий в любых формах — два одновременных фактора, которые следует задействовать. Экономически подобные акции должны подкрепляться системой стимулов и дотациями на цели науки из госбюджета.

И все же очевидной остается угроза возврата тоталитарной системы, гражданских конфликтов и социального взрыва в ближайшие год-два. Это может отодвинуть реализацию вышеизложенного на более длительный срок. Помимо прочего стартовые условия окажутся при таком ходе дела гораздо более тяжелыми.

Тем не менее уверен, что ориентироваться следует на позитивное развитие, предполагая, что даже военный переворот или его аналог лишь задержат, но не смогут полностью зачеркнуть грядущие

конструктивные перемены в экономике и общественной жизни.

Сферу экономико-политических преобразований можно разбить на ряд секторов, выделив в каждом из них несколько главных элементов.

Частная собственность

Совершенно очевидно, что немедленная приватизация сферы услуг, легкой промышленности и торговли — это фактор, оздоравливающий финансовое положение России.

Приватизация может реализовываться несколькими путями: через аренду производственных помещений, прямую продажу мощностей или, частично, путем безвозмездной передачи в собственность коллективов и граждан оборудования и средств производства. При аренде приоритетное право принадлежит трудовому коллективу; при выкупе — покупателю, предложившему лучшие условия. Два необходимых элемента: в течение длительного времени после продажи сохранение прав трудового коллектива во избежание социальных конфликтов и использование проданного (арендуемого, приватизированного) имущества и площадей только по целевому назначению.

Главным является именно скорость процесса малой приватизации. Хорошо бы в кратчайшие сроки создать класс мелких собственников, — с одной стороны, всем своим имуществом, деньгами, философией и интересами связанный с поворотом реформ в сторону свободной экономики. С другой стороны, очевидна зависимость этого производственно-коммерческого слоя от потребителя, то есть проявится эффект обслуживания торговлей и промышленностью человека, а не государства.

Кроме принятия по данному вопросу принципиальных постановлений, надо ввести разрешительный принцип регистрации частного сектора в указанных сферах. Это станет сдерживать волонтаризм и взяточничество чиновников. Государственным службам, связанным с имуществом, требуется, помимо прочего, принять резко упрощенный порядок для введения аренды, актов продажи и безвозмездной передачи в собственность объектов хозяйствования, что должно ускорить процесс.

Одновременно с «малой» приватизацией, а не после нее, требуется начать ускоренное разгосударствление крупных промышленных объектов. Считаю это нужным повторить, так как, по моему, это наиболее важный и вместе с тем трудный процесс: необходима безвозмездная передача в собственность трудовым коллективам части основных фондов предприятий, с правом управлять этой частью. Кроме всего прочего, приобретенное за период хозрасчета (с 1988 года) предприятием имущество также должно считаться собственностью трудового коллек-

тива, равно как и состоящий на балансе соцкультбыт.

Безвозмездная часть собственности в денежном выражении передается коллективу, который решением своего выборного органа определяет форму владения этой частью — коллективно-долевую, акционерную или иную.

Все остальные процедуры определяются принятым в России законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий». При этом, конечно, необходим расширенный штат государственных сотрудников, осуществляющих приватизацию, с оплатой только в соответствии с объемом их работы, с прогрессирующим стимулированием труда. Пропаганда приватизации, выезды на предприятия, помощь методическими документами должны войти в круг обязанностей госслужащих.

Для недопущения «номенклатурной приватизации» в национальном масштабе возможна следующая схема. Коллектив выбирает орган, который от имени предприятия реализует все юридические функции. На исходный период — и это особо важно — контракт с администрацией заключает этот выборный орган, за которым стоит коллектив. От лица собственника такой контракт подписывает соответствующий комитет по имуществу. Затем коллектив, приняв отчет об экономическом состоянии, решает вопрос о дальнейшей форме хозяйствования. В результате подобных акций основная масса трудящихся, во-первых, станет обладателями части собственности своих предприятий (возможно, части незначительной, но и это изменит общественное сознание). Во-вторых, административный аппарат окажется нанят коллективами сразу же, на переходном этапе, что заставит его ради общих интересов искать экономически выгодные решения. В-третьих, процедура приватизации будет проводиться для каждого предприятия на основании экономического анализа, а не схематичных рекомендаций. В-четвертых, служащие госаппарата окажутся материально заинтересованы в разгосударствлении заводов, НИИ...

Таким образом, запуск приватизации произойдет на крупных производствах сразу же, а сам процесс продлится около двух-трех лет — с учетом выпуска специальных чеков для населения. В этом случае можно не ожидать взрыва недовольства работников крупных заводов против быстро набирающего темпы сектора мелких хозяев (торговля, такси, легкая промышленность). Напротив, «малая» приватизация укажет путь «большой».

Земельная реформа

Она должна осуществиться в самое близкое время. Сюда относится жесткая политика по отношению к разоряющимся совхозам и колхозам в сочетании со

льготами, которые получают фермеры. Отрадно, что уже принято решение, снимающее с дотаций убыточные совхозы и колхозы. С другой стороны, крестьяне, сельскохозяйственные рабочие, а также горожане, желающие получить надел земли (в том числе на территории разоряющихся совхозных и колхозных угодий), должны наделяться участком и льготными кредитами в счет прекращенных государственных ассигнований убыточному сектору агрохозяйств.

Считаю нужным предложить: пятнадцать процентов национального дохода, направляемые ежегодно селу, лучше превращать в технику для единоличников и фермеров, обеспечивать бензином и передавать пользователям на самых льготных условиях.

У фермеров и хозяйств, производящих кондиционные продукты, следует покупать их за валюту в счет выделяемых на эти же цели сумм для закупок продовольствия за рубежом.

Налоговыми и иными льготами должны пользоваться фирмы, производящие, хранящие, транспортирующие сельскохозяйственную продукцию, а также организуемые ее производство. Прямые связи «поле — магазин» должны поощряться через систему налоговых льгот.

Необходимо развивать сеть рынков, работающих по продаже сельхозпродукции непосредственно от производителей, с особой их охраной от рэкета специальными подразделениями МВД. Содержание охраны может оплачиваться частью из прибыли рынка.

Расчеты специалистов, а также практика некоторых регионов (Сахалин) показывают, что в настоящий период фермерские хозяйства, несмотря на чрезвычайную эффективность по отношению к государственному и колхозным предприятиям, не смогут обеспечить объем продукции, необходимый населению. Две причины этого: сопротивление сельскохозяйственной бюрократии, постоянно сводящей на нет усилия тружеников, и недоверие граждан по отношению к правительству (фермерских хозяйств явно недостаточно, люди землю не берут). Силосе подавление деятельности даже убыточных совхозов и колхозов резко уменьшило бы объемы государственных закупок — значит, недопустимо прямое уничтожение даже разлагающихся сельскохозяйственных предприятий.

С другой стороны, в прошлом году сложилась чрезвычайная ситуация, когда хозяйства-заготовители, имея продукцию, не продают ее, надеясь на резкое повышение цен. Подобное положение складывалось в первый год после Октябрьской революции, когда крестьяне сливали молоко в канавы, а в городах от голода гибли рабочие промышленных предприятий. Последующая продразверстка стала причиной крестьянских восстаний, жестоко подавленных, и перехода к военному коммунизму. Нечто

подобное может произойти и сейчас, поскольку законных прав вынудить хозяйства продать свой товар не существует, а силовые методы похоронят демократию.

Лишь развитие фермерства как нового сектора экономики, на первых порах маломощного по объему, но быстро прогрессирующего в смысле эффективности, заставит конкурирующие с ним государственный сектор и колхозные структуры быстро переходить на коммерчески целесообразную деятельность. Такая деятельность заключается в быстром обороте средств и вложении прибыли в фонд развития, а также перестройке организационной, технической, социальной политики. Это единственный шанс без конфликтов перевести сельскохозяйственное производство на более высокий уровень. Без законодательного перехода к праву полной частной собственности на землю, когда будут наконец сняты всякие ограничения для продажи своего участка (могут поначалу остаться законодательно утвержденные «функциональные» нормы относительно использования земли только в целях сельского хозяйства) — без такого шага земельная реформа осуществиться не сможет.

Таким образом: приватизация сферы услуг, торговли и легкой промышленности, разгосударствление крупных предприятий, в том числе оборонного комплекса (об этом ниже); изменение политики землевладения на селе — вот это, по моему мнению, и есть структурная основа для всех остальных аспектов реформы, включая финансовую сферу. Грубой ошибкой является попытка совершить нечто подобное польской «шокотерапии» в тот момент, пока в России еще не выработаны стимулы для производства, отсутствуют механизмы личного участия граждан как собственников, в том числе собственников получаемой предприятием прибыли, и когда основная масса продукции производится на государственных предприятиях. Именно такую попытку предполагает осуществить правительство, ее последствием не может не явиться глубокая экономическая депрессия. Инфляция будет помножена на остановку производства, и обнищание народа (уже не растянутое во времени, а лавинообразное), вероятнее всего, вызовет взрыв недовольства.

Проводя финансовую реформу, одновременно следует форсировать приватизацию, которая, кроме как в номенклатурном варианте, практически заморожена. При этом необходимо особое внимание обратить на оборонную промышленность — сектор народного хозяйства, сосредоточивший огромный научный, технический, технологический, материальный и трудовой потенциал. Конверсия оборонных отраслей — еще один путь к оздоровлению экономики, не менее серьезный, чем изменение форм собственности.

Конверсия

Ее следует осуществлять одновременно с приватизацией.

В реорганизации работы оборонных отраслей — три цели: перевод большей части военного производства на выпуск гражданской продукции и продукции «двойного применения»; сохранение обороноспособности страны, ее стратегического потенциала; включение оборонных заводов, НИИ, КБ в рыночные отношения.

Видится следующая последовательность действий.

В первую очередь Министерством обороны создается концепция разумной оборонной достаточности. С учетом ядерного и технического паритета, новых видов вооружений, изменившейся геополитической карты вырабатывается стратегия действий и необходимость наличия (создания) тех или иных видов оружия.

На втором этапе специалисты определяют количество и качество изделий, которые необходимо изготовить. Одновременно со всех предприятий оборонных отраслей, кроме тех, которые производят ядерное, химическое и биологическое оружие, а также аналогичных в смысле стратегической важности (по ограниченному списку), снимается режим секретности. Им предоставляется право хозяйственного ведения, свобода рыночных отношений.

На третьем этапе под объемы необходимого производства и конструкторских разработок устанавливается госзаказ. Предприятия участвуют в конкурсе на получение госзаказа, стоимость которого велика и материальное обеспечение гарантировано. Работы по госзаказу могут иметь любую степень секретности, распространяемую, как правило, не на все предприятие, а лишь на те его подразделения, которые связаны с производством вооружения.

В условиях дефицита бюджета государство вынуждено будет заказывать ограниченное число модернизированной техники, а не ориентироваться на сегодняшний затратный принцип. Действующий для оборонных отраслей. К примеру, производство большого числа устаревших моделей танков, вероятнее всего, будет заменено форсированным созданием новой супермодели. В равной степени это относится к самолетам, средствам доставки ядерного оружия... Объем затрат окажется резко снижен, а эффективность инвестиций повышена. Оружие устаревающих образцов легко продать за рубеж, поскольку спрос на нашу военную технику достаточно высок. (Как известно, наше Отечество является одним из ведущих экспортеров оружия в мире.)

Всем оборонным предприятиям в течение полугода можно выплачивать дотации на зарплату, одновременно проводя форсированное разгосударствление и приватизацию и предполагая перепрофи-

лирование производств под выпуск гражданской продукции. Высокие технологии, существующие на заводах, по многим параметрам конкурентоспособны с западными: это шанс для создания совместных акционерных обществ, СП и заключения прямых контрактов с зарубежными партнерами. Отсутствие необходимости держать в цехах законсервированное оборудование для выпуска оружия по «мобилизационному плану», существующему на любом оборонном предприятии, дает дополнительную свободу в смысле площадей, фондов и т. д.

Следует однозначно указать, что должны существовать государственные оборонные предприятия, не подлежащие приватизации. Наряду с этим из бывшей «оборонки» должны выйти те заводы и КБ, которые вообще не станут производить военную продукцию. Третья категория предприятий — это те, что частично производят товары для военных объектов по госзаказу.

Подобный алгоритм позволит достичь всех обозначенных выше задач — и, что важно, не растерять ценнейший кадровый и материальный потенциал, накопленный самой милитаризированной экономикой в мире.

Финансы

Существует несколько принципиально различающихся подходов к стабилизации финансовой сферы. В конце 1991 года правительство приняло решение о либерализации цен с одновременным проведением жесткой налоговой политики. Задачей при этом являлось восстановление доходной части бюджета (в масштабах не менее 45 процентов от валового национального дохода). Налог с оборота и налог с продаж были заменены 18-процентным налогом на доход и 28-процентным налогом на добавленную стоимость, плюс вводились акцизы на некоторые товары широкого применения (табак, водка, золото, автомобильные запчасти...). Во внешнеэкономической сфере становилась обязательной продажа части валютной прибыли государству по низкому курсу — в масштабах не меньших, чем бывший союзный 40-процентный валютный налог.

На нынешний год правительством прогнозируется тем не менее уменьшение национального российского дохода на 12, промышленного производства — на 11 процентов. Подчеркивается, что даже такой неблагоприятный ход дела возможен лишь в случае нормального взаимодействия России и остальных членов Содружества независимых государств, что отнюдь не гарантировано.

Таким образом, принята была схема жесткого прессинга по отношению к предприятиям с целью изъятия в бюджет максимального количества средств. В совокупности с либерализацией цен и наличием монополии на производство большинством видов продукции у заво-

дов-изготовителей это привело к тому, что практически все оптовые (а затем, понятно, и розничные) цены оказались резко подняты. Это требует следом поднять ставки зарплат и пенсий. В конечном итоге инфляционная спираль закрутится еще туже. Стимулов для развития производства не просматривается: возможность всеобщего повышения цен на изделия не спасет от товарного голода.

Избран практиковавшийся ранее правительствами Рыжкова — Павлова вариант государственного насилия по отношению к предприятиям, но уже с предусмотренной для них возможностью законным образом поднимать цены на свою продукцию. Фактически бюджет будет пополняться бумажными рублями при резком обнищании населения. Оздоровление финансов в таких условиях невозможно: производители не заинтересованы в производстве, а потребители (граждане) не способны покупать товар по взвинченному ценам. Что можно предложить в подобной ситуации?

Как уже говорилось, мероприятия в сфере финансов должны сопровождаться лавинообразной «малой» приватизацией и запуском «большой». Только при таком условии окажется возможным свести бюджет (расходную и доходную части); осуществить связывание средств населения; реорганизовать банковскую деятельность; внести коррективы во внешнеэкономическую деятельность; осуществить переход к конвертируемости рубля.

Еще одним аспектом является денежная реформа как крайнее средство, необходимость которого возникает лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Бюджет

Доходная часть бюджета упрощенно формируется из двух основных статей: налога с предприятий и налога с граждан.

Расчеты показывают, например, что предприятия бывшей Ленинградской области даже при 20-процентном налоге на прибыль (чрезвычайно льготном режиме) за счет увеличения объема производства отчислят в бюджет большую массу средств, чем при 45-процентном налоге. И, безусловно, 70-процентный налог на прибыль, введенный в конце 1991 года (18 процентов от дохода) заставит предприятия все оставшиеся после расчетов с государством средства пускать на зарплату работникам, не давая возможности приобретения сырья и оборудования. Это означает, что максимум к концу 1992 года произойдет приостановка подавляющего большинства производства, а следовательно, и прекращение поступлений в бюджет.

Вместе с тем, как уже говорилось, важно проводить реорганизацию промышленности: ее демополизацию, перевод конвертируемых предприятий в

гражданский сектор... Следовательно, задача сводится к тому, чтобы налоговой политикой пополнить бюджет, изменить структуру производства.

Это станет возможным, если жесткий налоговый режим будет осуществляться только по отношению к предприятиям, сохраняющим монопольное положение в соответствующих отраслях. Для них единственным выходом окажется приватизация с одновременным делением на ряд независимых юридических лиц, связанных общей технологической цепочкой.

Гораздо более низкую ставку налога следует распространить на предприятия, осуществляющие выпуск товаров народного потребления (ТНП). Прибыль от производства ТНП при этом облагается минимальным налогом, соотносимым с налогом на малые предприятия — 8, 16 процентов за первые два года, впоследствии не выше 25 процентов.

Часть прибыли, направляемая в фонд развития, по этой схеме не облагается налогом вообще, что дает возможность предприятиям быстро модернизировать оборудование.

Одновременно облагаются налогом бартерные операции, производимые на договорной основе.

Во всех случаях налог на прибыль демонаполизованного производства не должен превышать 30 процентов.

Посредническая деятельность облагается «средним по тяжести» налогом, что дает возможность посредникам получать прибыль в основном при значительных объемах операций, а следовательно, приводит к постепенному созданию специализированных фирм-посредников. Получить деньги «из воздуха» на разовых перепродажах при этом оказывается труднее; в итоге случайных спекулятивных сделок, прибыль от которых, как правило, тратится на зарплату, становится меньше. В результате сокращается масса наличных неотоваренных денег.

Особо следует оговорить налоги на валютную прибыль. Целесообразно отменить любую принудительную продажу государству заработанной предприятием валюты за рубли по назначаемому самим государством (а не определяемому рынком) курсу. Ставка налога на валютную прибыль до выплаты внешнего долга государства может быть достаточно высока, но нельзя же лишать предприятия стимулов к зарабатыванию валюты вообще. Оставшейся валюты должно хватить на закупку новых образцов оборудования или ТНП для работников производства либо для обмена валюты через банк (продажи на аукционе) за рубли, чтобы выплатить зарплату.

Таким образом, необходимо сохранить жесткий налоговый режим только для тех предприятий, которые остаются монополистами. Переход в новое качество (демонаполизование, приватизация, конверсия, работа на экспорт) сопровож-

дается при этом все более льготным налогообложением. Предполагается создание режима благоприятствования для совместной деятельности с иностранными фирмами на условиях, когда не менее половины прибыли реинвестируется в отечественную экономику, и т. д.

Налоговая шкала с доходов населения должна строиться таким образом, чтобы малоимущие слои отчисляли в бюджет минимальные средства (это и будет самой крупной социальной программой). Статистика показывает, что девять из десяти граждан России оказались в конце 1991 года на уровне официальной черты бедности (обозначенной в 342 рубля на человека). Следует далее ввести полдго возрастающую ставку на средние и высокие доходы. Льготный налог на высокие доходы создаст стимул к квалифицированной работе, за счет чего: общий объем отчислений в бюджет повысится; крупные заработки не будут укрываться, например, под видом персональной доли работника в фонде социального развития производства... Для предпринимателей появится возможность официально стать по-настоящему богатыми. Как правило, предприниматели (в отличие от средних и малообеспеченных слоев) используют личные средства не только для приобретения товаров, но вкладывают деньги в основные фонды (то есть «связывают» деньги). Для оздоровления финансовой сферы любое изъятие неотоваренной наличности из оборота есть благо. И лишь очень высокие доходы должны облагаться налогом, превышающим 50 процентов.

Таким образом, необходимо компенсировать снижение поступлений в бюджет от малообеспеченных слоев увеличением дохода от средних и высокооплачиваемых, но не за счет усиления налогового давления, а, напротив, путем умеренно-льготного налогообложения. Сами высокие доходы при этом будут облагаться круто возрастающим налогом, позволяющим получать от незначительной по численности группы населения достаточные поступления в бюджет.

Помимо прочего, собственности КПСС должна быть реализована через аукционы в пользу госбюджета, что все еще не делается. Расходование этих сумм пойдет только на погашение внутреннего и внешнего долга. Средства и капиталы КПСС реквизируются государством с той же целью.

Расходную часть бюджета надлежит резко сократить. В первую очередь это касается расходов на оборону.

Второе — и это уже произнесено вслух правительством — прекращаются дотации всех убыточных производств. В течение определенного срока выплачивается зарплата работникам таких производств с целью выигрыша во времени для перепрофилирования. Свои лимиты на сырье, материалы и прочее предприятие может продать, в том числе за валюту, и переоснастить цеха в соответ-

ствии с договорами с партнерами (в том числе зарубежными).

Третье — и есть реальная надежда, что к весне это реализуется, — дотации колхозам и совхозам отменяются одновременно с началом земельной реформы и введением полной частной собственности на землю.

Четвертое — прекращается кредитная эмиссия Госбанка, то есть скрытые дотации предприятиям в виде беспроцентного кредита, погашаемого (списываемого) распоряжением административной власти.

Пятое — Верховный Совет России утверждает только бездефицитный бюджет, в котором расходы и доходы либо сбалансированы, либо имеют положительный баланс.

Шестое — прекращаются все внешние траты, кроме тех, которые связаны с обслуживанием и выплатой внешнего долга, а также приобретением технологий с коротким сроком окупаемости. Предоставляются льготы для совместного производства, если его продукция идет на внешний рынок.

Седьмое — армия переходит на профессиональную основу с резким сокращением численности и структурным изменением по родам войск.

Восьмое — прекращаются все безадесные социальные программы. Прибыль предприятий, вкладывающих средства в социальное обеспечение, в том же размере освобождается от налогообложения. Разрабатывается система критериев, когда предприятие получает режим льготного налогообложения, если участвует в крупных социальных программах.

Девятое — эмиссия денег осуществляется только в размере увеличения товарной массы.

Куда девать лишние деньги

Разрешается и в массовом масштабе реализуется продажа государством по наличному и безналичному расчету: земельных участков (в том числе под любую застройку и сельское хозяйство); акций предприятий и ценных бумаг (обязательна публикация сведений о стоимости фондов предприятия, его рентабельности, заключенных на ближайший год договорах и иные подобные данные, не составляющие гостайны); техники (автомобилей, сельскохозяйственных машин, автобусов, в том числе списанных и устаревших); незавершенного строительства (особенно «замороженного» более пяти лет назад — в обязательном порядке, по демпинговым ценам, оговорив права отечественных покупателей как первоочередные); объектов сельскохозяйственной инфраструктуры; поголовья скота; продовольственных баз.

Создаются государственные и негосударственные корпорации по строительству жилья за счет средств населения. Граждане могут брать на эти цели льготные кредиты в банке, выплачивая их в рассрочку.

Вместе с «малой» приватизацией подобная распродажа за год способна сократить объем имеющихся в обороте денег приблизительно до ста десяти миллиардов рублей, то есть до уровня 1990 года.

Возможно также проведение единоразовой акции: 3—5 миллиардов долларов, заработанных на внешнем рынке, можно пустить на закупку товаров народного потребления, которые затем продать на рубли в соотношении 1:20 (то есть на сумму 60—100 миллиардов рублей). Для сравнения: весь товарный прирост 1990 года для СССР составил 40 миллиардов рублей. Таким образом, либо добавив к внешнему долгу незначительную величину, либо получив необходимую сумму за счет увеличенной продажи оружия за валюту, можно резко вывести из внутреннего оборота пустую рублевую массу, сбалансировав ее с товарной.

Банки

России — как и любому государству Содружества — необходима четко регламентированная работа двухуровневой системы банков.

Эта система предполагает наличие Государственного банка и сети коммерческих, с разграничением их полномочий следующим образом. Коммерческие банки (в том числе частные) осуществляют кредитование предприятий и граждан, а также крупных программ (таких, как конверсия и приватизация) и их элементов, выдают ссуды. Госбанк осуществляет контроль за денежной массой, регулирует учетные и процентные ставки и кредитует коммерческие банки под определенный процент. Подобная схема означает, что государственный банк осуществляет регулирование кредитно-денежной и эмиссионной политики, а ее конкретным осуществлением на свой риск занимаются коммерческие банки. Для них при этом должны быть сняты любые ограничения в их деятельности и оставлены все функции, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Госбанка. Например, следует отменить ограничения в выдаче ссуд, в работе с иностранным капиталом, открытии корреспондентских счетов в зарубежных банках. Вместе с тем Госбанк должен отказаться от выполнения операций, которые могут быть реализованы уровнем ниже, то есть от конкретной текущей деятельности с клиентами.

Для резкого расширения сети коммерческих банков (приблизительно десятикратного: с полутора тысяч в 1991 году до 10—15 тысяч) требуется решить вопрос с выделением им помещений по умеренной цене, придавая важнейшее значение именно банковской деятельности во взаимоотношениях с новыми собственниками, а также с иностранными инвесторами.

Необходим, конечно, закон о банков-

ской деятельности, тщательно описывающий права и обязанности Госбанка и коммерческих банков. Закон должен пройти экспертизу как в официальных органах, так и в ассоциации коммерческих банков. Необходимо ввести туда положения, ограничивающие произвол государства по отношению к структуре нижнего уровня, в частности, в вопросах кредитования коммерческих банков, продажи им ресурсов без дополнительных требований и т. д. Вместе с тем система «Госбанк — коммерческие банки» должна (в соответствии с законом) стать независимой от решений административной власти, в том числе в вопросах эмиссии.

Особо следует оговорить вопрос о предоставлении всем коммерческим банкам прав ведения валютных операций. Внешэкономбанк, монополизировав подобную деятельность, использует средства клиентов для получения дополнительной прибыли, нарушая их право незамедлительного получения своего валютного вклада. Замедляется прохождение платежных средств, затруднены расчеты по договорам... Разрушение подобной монополии — шаг к раскрепощению производства. С другой стороны, конкуренция между коммерческими банками приведет к снижению ставки за кредит и возрастанию процента прироста средств на счетах вкладчиков.

Внешний рынок

Схематично вопросы регулирования внешнеэкономической деятельности выглядят следующим образом.

Необходима продажа за рубеж всех видов не используемого сегодня сырья, материалов, неликвидов, отходов производства — в объемах, позволяющих обновлять фонды предприятий на основе передовых технологий, а также для закупки продовольствия и ТНП.

Как уже говорилось, требуется продать на внешнем рынке максимальное число вооружения, не входящего в перечень, соответствующий разумной оборонной достаточности. Полученные средства должны частично направляться на погашение внешнего долга, частично — на оплату фермерам и совхозам продукции, которую до сих пор покупали за рубежом, частично — на приобретение ТНП (и продажи за рубли по выгодному курсу).

Необходим также режим налогового благоприятствования для реинвестиций рублевой прибыли иностранных и совместных фирм в советскую экономику. При этом следует ввести правило, предусматривающее преимущественное право отечественных граждан и юридических лиц при покупке акций предприятий во время приватизации.

Объем журнальной статьи, к сожалению, не позволяет детально осветить три последние проблемы. Тем не менее в

виде тезисов они должны быть здесь представлены.

Конвертируемость рубля. Переход к конвертации осуществляется через выпуск «параллельных денег» — твердо обеспеченных товарной массой, золотом и валютным запасом ценных бумаг исключительно для расчета между производителями. «Твердые деньги» свободно обмениваются на валюту по рыночному курсу. Возможный внешний займ под запуск подобной программы (8—10 миллиардов долларов) можно получить за счет совместной с Западом разработки нескольких месторождений нефти. Постепенное вытеснение «твердыми деньгами» бумажных рублей хорошо известно экономистам на примере червонца, за три года (1921—1924) ставшего одним из самых сильных валютных средств в мире.

Интеграция в мировую систему хозяйства. Предлагается совместное участие России и развитых стран в крупных программах, таких, как: освоение космоса, экология, энергетика (в том числе ядерная), а также поиск новых видов энергии). Под эти программы создаются совместные научно-технические комплексы; результатами пользуются все страны-участницы. Резко интенсифицируются исследования в области химии, физики и биологии, в том числе нетрадиционные, с целью остановить глобальный экологический кризис (его начало прогнозируется приблизительно через 10 лет). Фундаментальная наука, определяющая принципы всей производственно-хозяйственной деятельности, должна финансироваться в приоритетном порядке валютой за счет разработок, принятых межгосударственными соглашениями в качестве программных. В первую очередь это вопросы безопасного использования биосферы.

В геополитическом смысле необходимо создание межгосударственных альянсов вокруг крупных акваторий (Балтийский альянс, Черноморский альянс).

Требуется создание коммерческого сектора науки, превращающего проекты и разработки в товары. Следует учесть, что в условиях 28-процентного налога на добавленную стоимость прикладная наука вынуждена на 40 процентов увеличивать объем продукции теми же силами, без увеличения оплаты кадров. Это ведет к ее разрушению. Привлечение коммерческой сферы в отраслевые институты по совместным с Западом программам даст стимул исследованиям с быстрой отдачей от вложенных средств.

Реорганизация армии. Через два года армия переводится в разряд профессиональной, с сокращением ее численности. Высвобождающимся кадрам необходимо предоставить жилье и работу. С этой целью проводится их переобучение непосредственно по месту службы, в том числе в вопросах строительства и фермерского хозяйства. Одновременно на акционерных началах со-

здается строительная индустрия, способная развернуть мощности уже в 1994—1995 годах. Для интенсификации процесса часть прибыли предприятий любого профиля, которую они вкладывают в акционерные общества стройиндустрии, не облагается налогом (допускается общее снижение ставки налога на прибыль для таких предприятий). Каждый увольняемый в запас военнослужащий имеет право на безвозмездное получение земельного участка в сельской местности и льготы при его застройке. Таким образом, к 1995 году можно получить приток рабочей силы в фермерское хозяйство и строительство, одновременно сняв социальное напряжение в воинских подразделениях.

Управление

Реорганизация управления государственными и хозяйственными органами производится для скорейшего четкого разграничения законодательной, исполнительной и судебной властей; укрепления исполнительного звена; исключения властных полномочий со стороны хозяйственных структур по отношению к объектам государственного управления, в том числе в вопросах собственности, имущества, финансов, при проведении приватизации.

Для достижения этих целей, на мой взгляд, следует ввести жесткую законодательную регламентацию по следующим позициям.

Прерогативой законодательных органов являются вопросы бюджета, а также правила деятельности исполнительной власти в пределах полномочий Совета соответствующего уровня. Действия исполнительной власти, противоречащие решениям законодательной, считаются уголовно наказуемым деянием независимо от того, совершаются ли они по коллективному решению либо по персональному распоряжению администрации. Ответственности подлежат все руководители, принимающие участие в незаконных акциях подобного рода. Любые исключения из этого правила недопустимы.

В компетенцию Совета соответствующего уровня входит обеспечение хода приватизации имущества в соответствии с Законом на подведомственной Совету территории.

Действия и решения исполнительной власти, производимые в соответствии с распоряжением вышестоящего исполнительного органа, но находящиеся в противоречии с решениями Совета, неправомочны и автоматически приостанавливаются до арбитражного решения по этому вопросу вышестоящего Совета.

Таким образом, решения законодательной власти любого уровня по любым вопросам, входящим в ее компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми административными органами на ее территории.

На административные органы (горисполкомы, мэрии, райисполкомы, администрации районов и т. д.) ложится ответственность за исполнение бюджета и конкретные мероприятия по обеспечению решений вышестоящих органов. Следует предусмотреть ужесточение санкции за невыполнение распоряжений исполнительной власти со стороны хозяйственных и иных структур.

Решения исполнительных органов, принятые в соответствии с Законом и правилами, выработанными соответствующим Советом, являются обязательными на всей подведомственной Совету территории.

Запрещаются любые разрешительно-властные функции со стороны министерств, концернов, корпорации и т. д. по отношению к государственному и муниципальному имуществу, основным фондам предприятий и т. д.

Положения в уставах концернов и других структур, в которых записаны имущественные права этих структур по отношению к входящим в них предприятиям, аннулируются. Сами такие уставы считаются недействительными, если не завизированы общими собраниями всех трудовых коллективов, входящих в концерны.

Делегирование государством права собственника по отношению к министерствам, концернам и другим подобным организациям признается недопустимым. Единственным распорядителем собственности является фонд имущества, Комитет по имуществу России и нижестоящие местные структуры этих органов. Право распоряжаться имуществом предприятия и прибылью, введенное Указом Президента России для предприятий республиканского подчинения, распространяется на трудовой коллектив. Директор предприятия подписывает контракт с коллективом, который общим собранием делегирует СТК права представлять его интересы. Со стороны собственника контракт подписывает представитель комитета по управлению имуществом соответствующего уровня, уполномоченный на это руководством комитета. Действующее право представлять собственника для министерств (в том числе министерства промышленности России) аннулируется, контракты директоров предприятий перезаключаются по предложенной схеме (СТК — директор — Комитет по управлению имуществом).

Приватизация предприятий осуществляется без какого-либо согласия или решения со стороны концернов и иных хозяйственных структур, какие бы ни существовали записи в уставах этих образований на данный счет. Согласования с министерствами со стороны фондов имущества в вопросах приватизации не требуется. Сама приватизация промышленных объектов хозяйствования проходит по упрощенной схеме, описанной выше: часть стоимости основных фондов передается решением Комитета по уп-

равлению имуществом коллективу безвозмездно; безвозмездно передается во владение коллективу и часть прибыли, пущенная в фонд развития с 1988-го по 1991 год, а также соцкультбыт (с правом отчуждения его в пользу местного Совета); производится выбор коллективом дальнейшей формы хозяйствования, подается заявка на приватизацию. Далее процедура описана в Законе.

Следует еще раз особо подчеркнуть: нельзя замораживать приватизационные чеки граждан и считать аукционы преимущественной (фактически — единственной) формой приватизации. Подобный подход заявлен в проектах правительственных документов в январе 1992 года и ведет лишь к ступке предприятий иностранными инвесторами и номенклатурой.

Вопрос о приватизации умышленно поставлен вновь в этой главе, хотя речь идет о разделении хозяйственной и государственной властей. Требуется жесткое ограничение функций министерств в вопросах управления промышленностью, сведение их роли к координации (на коммерческой основе) по отношению к предприятиям. Имущественных прав министерства (концерны, корпорации, департаменты и т. п.) иметь не должны, и в вопросах приватизации их участие впрямь должно исключаться.

Решения государственно-административных органов не касаются хозяйственной деятельности предприятий, но являются обязательными в части соблюдения экологических норм, поставок оговоренной Законом части продукции для нужд города и прочих законных требований.

Несоблюдение руководством предприятий подобных условий должно наказываться в судебном порядке. В штрафные санкции по отношению к государственным предприятиям в случае несоблюдения законов должна войти принудительная продажа таких предприятий на аукционе.

Таким образом, устанавливается четкая иерархия между советскими, исполнительными и хозяйственными органами, в том числе в вопросах приватизации.

При создании определенных условий возможен порядок административного деления России на новой геополитической основе — по принципу территориальных «земель». Равенство представителей всех национальностей на такой территории устанавливается Законом, а экономическое регулирование исходит из местных особенностей. Естественным можно считать различие в условиях хозяйствования для дальневосточных районов, Сибири, Урала и европейской зоны России. Необходимость нового деления на крупные административные районы должна определяться двумя факторами: потребностью хозяйственной инфраструктуры в оперативных изменениях и возможностью предотвращения межнациональных конфликтов (если таковые начнут доминировать). «Земли» получают новые права, расширяющие их полномочия в обла-

сти налоговой политики, самостоятельного ведения хозяйственной деятельности... Предприниматели России сами оценят выгоду от применения своих усилий либо при налаживании горизонтальных связей, либо инвестировании средств, развитии производства в зависимости от условий, определяемых местными властями.

Решение о новом административно-хозяйственном делении России может быть признано целесообразным в случае, если многие автономии захотели бы приобрести статус самостоятельных государств, что с политической и экономической точки зрения сегодня явилось бы катастрофой для России как целостного образования.

Производство плюс коммерция

Анализ деятельности двух Федоровых: профессора-офтальмолога и профессора-экономиста, двух народных депутатов бывшего СССР, проводящих два масштабных эксперимента по внедрению в наше народное хозяйство цивилизованных форм, показывает следующее.

Создание неких «оазисов» нормальной экономики не сулит общего прорыва для страны в целом. Если офтальмолог Федоров сумел договориться о сверхльготном режиме для своей клиники, выделении колоссальных субсидий для расширения его хозяйства, льгот в валютном налогообложении и т. д., — это не значит, что подобный эксперимент возможен повсеместно. Он лишь показывает, что рациональная замена государственной формы собственности на коллективно-долевую при умелом вложении средств может дать оптимальную отдачу. Опыт же «сахалинского губернатора» Федорова, с другой стороны, выявил, что административная система имеет достаточно сил, чтобы автоматически заваливать любые начинания предпринимателей, не производя при этом взамен практически ничего.

Важным выводом отсюда является необходимость смены уклада в масштабах всей страны одновременно. Встает вопрос о разумном минимуме, который должен оставаться за государственным сектором, поскольку сохранение 90 процентов собственности за государством так же нерационально в наших условиях, как и разрушение централизованных систем владения фондами до пяти процентов.

Требуется тактика повсеместного строго «выдавливания» государственного производства со стороны иных форм, за счет конкуренции на рынке, с одной стороны, и законодательной поддержки негосударственного сектора — с другой. Баланс будет установлен автоматически и определяться станет и склучительной эффективностью производства.

В чем должна выражаться законодательная поддержка? О предложениях на

эту тему сказано в одном из следующих разделов, но принципы необходимо заложить следующие. Налоговые льготы при производстве ТНП; создание специального государственного фонда содействия малым предприятиям; поддержка кооперативов и фермерских хозяйств; льготное кредитование при вложении средств в «расшивку» узких звеньев (в том числе — сельское хозяйство), связанных с уборкой, хранением, доставкой продукции; доступность сырья для производственных нужд негосударственных учреждений. Необходимы также меры по пресечению незаконных действий властей и компенсации упущенной предприятием выгоды — в случае таких действий. В качестве программы требуется увеличить список всего, что сдается в аренду: предприятий, цехов, площадей, техники, — с правом последующего выкупа. Более того, возможен вариант, когда подобная акция, совершаемая в отношении госпредприятий, будет носить характер масштабный и отчасти экономически-принудительный: выгоднее окажется, например, взятие коллективом своего предприятия в аренду, чем владение им на правах хозяйственного ведения (из-за создаваемой государством разницы в налогообложении).

Следует, вероятно, брать ренту за владение землей таким образом, чтобы негосударственные формы получали на первые три года своей деятельности десятикратное уменьшение платы.

Эти и подобные меры существенно сократят долю чисто государственной собственности, — создав, помимо частного и коллективно-долевого сектора, множество смешанных форм.

Все описанные выше варианты законодательной поддержки негосударственных форм хозяйствования могут быть дополнены многократно, однако каждый из них нуждается в системе многовариантных расчетов — особенно когда речь идет о налогах. Сильный централизованный бюджет России представляет из себя мощнейший социальный амортизатор, и речь должна идти о том, каким образом наиболее эффективно этот бюджет пополнить. Предлагаемый правительством фискальный вариант уже доказал свою неэффективность прежде.

Социальная защита

Одним из самых уязвимых мест проекта реформ нового правительства является социальная защита населения. Фактически такая защита не предусмотрена вовсе. Постоянно увеличивать выплаты с учетом индексации — таково требование профсоюзов. Одновременно профсоюзы добиваются пересмотра тарифных ставок и должностных окладов, а также принятия прочих мер, увеличивающих ассигнования из бюджета на социальные нужды.

Такие меры — и им подобные — на каком-то этапе необходимы, но дальше ве-

дут к инфляции. Если не будет изменен сам механизм хозяйствования, то малоимущим слоям нечего будет покупать в магазинах даже за большое количество выдаваемых им бумажных рублей. Оценив это, в СФРЮ, Польше и отчасти Чехо-Словакии перешли после первых месяцев «шоковой терапии» к либерализации цен при контроле над ростом доходов. Тот же путь, видимо, ждет и Россию.

В этой связи следует четко определиться. Политика правительства на словах (!) выглядит следующим образом: цены отпускаются на свободу, но и зарплата тоже, а рынок все должен сбалансировать. На самом деле, самим же правительством устанавливается предельный уровень роста цен и «потолок» в зарплате. Смелость реформаторов оказывается не более чем мыльным пузырем: их задача состоит лишь в том, чтобы обобрать граждан и заткнуть дыры в бюджете.

В действительности жесткие меры при переходе к рынку, необходимые всем слоям населения, заключаются в полной либерализации цен на все товары, кроме трех-четырех видов продуктов (хлеб, молоко, сахар). При этом рост зарплат и пенсий ограничивается некоей планкой, которая сдвигается вверх медленнее, чем растут цены (это в случае, если не принимаются другие радикальные антиинфляционные меры, описанные выше). Социально не обеспеченным гражданам гарантируется компенсация продуктами питания, выдаваемыми, к примеру, по спискам через магазины. В конечном итоге, через три месяца цены приходят к разумным пределам, ограниченным покупательской способностью населения.

Половинчатость правительственных решений обернется лишь быстрым обнищанием населения. Подобное положение долго длиться не может, отсюда вытекает категорическая необходимость для общества принудить правительство сделать шаги в нужном направлении.

Для того, чтобы изложенные выше предложения могли реализоваться, необходимы силы, способные отстаивать свои права на всех уровнях. Создание таких сил — общественных движений и партий — в уставшем от политических страстей обществе крайне затруднено. Существует лишь четко выраженный имущественный интерес крупной и средней номенклатуры — и разрозненная оппозиция к нему, не имеющая ярко выраженной программы.

Предлагается на основе представленных здесь выводов объединиться тем социальным слоям, которые имеют общие экономические задачи.

Канье бы цели ни ставили эти социальные группы, каждая для себя, — не решив общих задач, узкую выгоду получить невозможно. В нищей стране добиваться справедливости за счет соседа неэтично и ко всему бессмысленно. Перво-

очередными являются все проблемы без исключения: и потребность в продовольствии, и судьба промышленных объектов, и существование социального обеспечения. Наше будущее зависит от развития предпринимательства, и это тоже первоочередная проблема.

У граждан России две задачи: объединиться — по самому простому признаку — в крупные профессионально-социальные блоки и добиваться таких законов, которые были бы выгодны всем.

Приходится констатировать, что сегодняшнее законодательство, сегодняшние акты правительства несут преимущественную выгоду номенклатуре. Остановить подобный ход дела сможет только мощное объединение движений самых разных слоев населения.

Немного эмоций

Большой круг вопросов не был затронут на этих страницах. Одной из важнейших проблем, например, является система переквалификации кадров — в том числе за рубежом (таким путем пошел Китай и получил качественный выигрш). Другая, не менее актуальная, задача, вектор которой вынесен гораздо дальше, нежели в 1994 год, — повышение культурного уровня народа. Между тем культура и те, кто несет людям духовность, должны пользоваться привилегиями и материальным преимуществом. Дотации в эту сферу, на сегодня ничтожные, необходимо увеличить! Это, конечно, не даст эффекта завтра, но зато и не позволит вернуться к губельным для нации временам и порядкам.

Россия — великая страна, у нас огромный потенциал, нужно лишь разогнуться. Чтобы разогнуться, и требуются новые законы и правила, о которых велась речь.

Пора вообще отказаться от «измов», поскольку только ограниченным прагматикам кажется вечным противостояние двух способов хозяйства. Эти способы уже начали конвергировать, сливаться в самом общем смысле, и что такое мировое «капиталистическое» хозяйство, как не плановая сбалансированная система с региональными рынками? Что такое транснациональные корпорации, как не создание на основе прибыли предприятий централизованных фондов, которые затем вкладываются в социальную сфе-

ру и в развитие производства? И что такое страховки и гарантии граждан в той же Германии на «бесплатную» медицину (за которую у них всю жизнь высчитывают из заработка), как не наши родные «социалистические» принципы? Все дело, оказывается, в том, насколько обобществлены средства производства. Но на Западе собственность во все большем масштабе расходитс среди акционеров, то есть обобществляется: нередко контрольный пакет акций составляет всего 5—10 процентов! У нас идет примерно тот же процесс, но с другой стороны. А общий баланс, хотим мы или не хотим, подведет грядущий экологический кризис: ведь только предельно рациональная система мирового хозяйства способна с ним справиться — ради выживания всех!

Читателю может показаться, что такие построения не относятся к конкретной специфике представленных здесь предложений. Отнюдь нет! Пора перестать метаться из угла в угол и позволить над собой экспериментировать. В далеком 1917-м вожди призвали народ жить при социализме, которого никто до тех пор не видел, но вместо рациональной схемы построили бараки и концлагеря. Теперь те, кто никогда не жил при капитализме, вещают о его преимуществах. Довлеет идеология — та или иная, но довлеет. А за деревьями не видно леса: кто гарантирует, что Россия, ведомая этими новыми идеологами, не превратится в сырьевой придаток экономически развитых стран? «Да здравствует капитализм»? В конечном счете этот лозунг сегодня не более чем игра на номенклатуру. Настоящих предпринимателей, которые сейчас лишь подрастают, номенклатура к капиталу постарается и близко не допустить. А уж простым гражданам тем более от «измов» легче жить не станет.

До тех пор, пока предприниматели, трудовые коллективы, фермеры, госслужащие, крестьяне не поймут, что их интересы в организации хозяйства и экономики совпадают — против интересов хозбюрократии, — они будут оставаться угнетаемой и страдающей стороной. Поэтому все силы общества следует сейчас объединить ради конструктивных идей. Есть люди, готовые нести эти идеи правительству и в парламент. Но этих людей должны услышать. От сегодняшнего выбора зависит наше будущее.

Журнал открывает новую рубрику: «Товар — деньги — товар».

С переходом страны к рыночным отношениям реальная экономика входит в каждый дом. Перед одними она ставит вопрос «Как выжить?», перед другими — «Как преуспеть?» Однако несомненно одно: уже сегодня любой из нас — в большей степени человек экономический, нежели политический, а завтра такое положение вещей станет законом жизни. Готовы ли мы к подобному повороту событий и что мы вообще знаем о формах собственности, акционировании, приватизации, конверсии, о механизмах банковского и биржевого дела? Увы, немного, хотя от того, насколько мы ориентируемся в этой новой для большинства из нас сфере, зависит и наше благосостояние.

Восполнить этот пробел и призвана новая рубрика, которая будет выходить наряду с традиционными концептуальными статьями по вопросам экономики. Ее задача — дать наглядное представление о том, как на деле работают механизмы рынка.

Это обстоятельство и определило выбор консультантов рубрики «Товар — деньги — товар».

Лариса ПИЯШЕВА — известный ученый-экономист, доктор экономических наук, а теперь и заместитель генерального директора департамента мэра Москвы.

Владимир СИМАКОВ — представитель практической экономики, доктор технических наук, в недавнем прошлом — директор института, а ныне — президент товарно-фондовой биржи «Эстра», объединяющей предприятия электронной промышленности.

И поскольку о биржах сегодня особенно много толков, мы начинаем именно с них.

В л а д и м и р С И М А К О В

Биржа как колыбель предпринимательства

— Владимир Викторович, сегодня редко можно услышать, что расцвет биржевой торговли свидетельствует об извращенном понимании нами сути рыночной экономики, о попытке в очередной раз создать какую-то свою, «сермяжную» модель хозяйствования, не имеющую ничего общего с классическими экономикой Запада.

«Советский Союз — кузница рекордов!» — этот старый добрый лозунг, кажется, будет жить вечно. Уже и Советского Союза нет, а пришедшее ему на смену Содружество Независимых Государств опять нашло возможность поразить мир, отличиться в еще одной сфере, породив в своих экономических экспериментах огромное количество бирж, которые торгуют буквально всем — начиная от лазерных принтеров, автомобилей и заканчивая соленой рыбой, свежими огурцами.

Причем вторжение в нашу жизнь фондовых, валютных, товарно-сырьевых бирж было настолько стремительным, что общественное мнение еще даже не ус-

пело сформировать своего отношения к ним. А суждения высказываются самые полярные. Для одних работа брокера на бирже стала мечтой, символом жизненного успеха. Другие же называют биржевую торговлю узаконенной спекуляцией, особо уродливо проявляющейся в условиях монополизированного производства. Так чем же является биржа, биржевая торговля на самом деле?

— Хотя количество бирж — а их на территории бывшего Союза уже более семисот — и в самом деле необычайно велико по сравнению с другими странами, однако, на мой взгляд, это вовсе не означает, что мы строим какую-то особую модель экономики. Скорее дружный рост биржевой торговли говорит об объективности рыночных законов. Как бы мы ни пытались их обойти, они, эти законы, находят такую форму реализации в нашей жизни, воплощаются в таких институтах, которые, с одной стороны, продвигают вперед экономику в целом, а с другой — позволяют предприимчивым людям проявлять инициативу, добиваться своих целей.

Вспомните то время, когда все народное хозяйство было зарегулировано сверху донизу. Реакцией на это стало появление теневой экономики. Потом система централизованного управления стала распадаться, но отдельные важные вопросы деятельности предприятий оставались под жестким контролем. Жизнь сразу же отреагировала на это появлением бирж, которые хоть в какой-то мере позволяют существовать по законам рынка, получать товары и услуги вне государственной системы распределения.

— **Очевидно, на появлении бирж особо сказались попытки сохранить жесткую систему ценообразования?**

— Во всяком случае, это было одним из главных катализаторов бурного роста новых структур. Как мы знаем, попытки осуществлять контроль над ценами сохранялись до самого последнего времени. Однако большинство предприятий еще год-два назад буквально выбило себе право распоряжаться самостоятельно пятьюдесятью процентами своей продукции или хотя бы тем, что произведено ими сверх плана.

Естественно, за эту продукцию они хотели получить максимальную цену. Но для ее выяснения надо иметь солидный штат квалифицированных сотрудников, которые бы изучали состояние рынка, динамику спроса и предложения. Ничего подобного у наших предприятий, как правило, нет. Поэтому оптимальным вариантом для них остается возможность предложить свою продукцию максимальному количеству покупателей и выбрать из них того, кто дает самую высокую цену. То есть торги должны представлять из себя некое подобие аукциона, а такую возможность предприятиям как раз и предоставляют биржи. И резкий рост за последнее время объемов продукции, которая может реализовываться по так называемым договорным ценам, вызвал соответственно и лавинообразный рост числа бирж.

— **Если следовать вашей логике, то с ликвидацией контроля над ценами потребность в биржах должна резко сократиться, что неминуемо приведет к их массовому закрытию. Кстати, известно, что с началом ценовой реформы в России объемы операций на всех биржах стран Содружества резко упали вниз.**

— Что касается скачкообразного сокращения объемов биржевой торговли в январе, то она связана в первую очередь с тем, что сразу после реформы предприятия придерживали свою продукцию, наблюдая за процессами на рынке. Какое-то время понадобилось и для пересмотра цен.

Немало хлопот доставили всем изменения в системе налогообложения. Причем многие предприятия до сих пор не знают, какими инструкциями здесь пользоваться. А раз нет ясности с налогами, значит, нельзя определить уровень рентабельности, будущий доход и соответственно цены на свои товары и услуги. Так что тот спад был вызван различны-

ми субъективными причинами, а не реальными проблемами биржевой торговли.

Однако я полностью согласен с вами в том, что в связи с освобождением цен, с осуществлением ряда других реформ в экономике многие из бирж погибнут так же быстро, как и появились. Хотя, конечно, возможны варианты — некоторые биржи трансформируются в торговые дома, в другие посреднические структуры, более соответствующие грядущему состоянию рынка.

Вообще к ним надо подходить очень дифференцированно. Абсолютно неправильно говорить о биржах в целом, выводить для них какие-то средние характеристики — они будут настолько же объективными, как и средняя температура по больнице. Все биржи СНГ имеют свой стиль работы, особый круг интересов и даже неповторимый дух в коллективах их сотрудников.

Да, я не буду отрицать тот факт, что немало бирж создавалось только для получения сверхприбылей при перепродаже дефицитных товаров. За спинами их организаторов часто стояли представители крупных предприятий, других монопольных структур, которые искали возможность реализовывать по свободным ценам свою продукцию, хотя сами они пользовались государственной системой снабжения материально-техническими ресурсами. Такие биржи нередко даже не имеют лицензий на осуществление биржевой торговли.

— **Я знаю, что не отличаются особой щепетильностью и их руководители. Кто-то из них имеет у себя же брокерские конторы, через которые, пользуясь своим особым положением, «прокручивает» большие партии товаров.**

А ведь коммерческая деятельность для администрации бирж запрещена рядом нормативных документов. Администрация должна только создать условия для работы брокерских контор, являющихся посредниками между продавцами и покупателями товаров. Но ведь это, наверное, легко выявить. Что же мешает подобную практику запретить?

— Все не так просто. Скажем, руководители двух или нескольких бирж могут просто обмениваться брокерскими конторами, и со стороны все будет выглядеть очень пристойно: у себя я не занимаюсь коммерческой деятельностью, а все операции кручу у соседа. И наоборот. Есть, естественно, и другие варианты, как обойти существующие правила, ограничения или просто какие-то нравственные нормы.

Так вот, биржи, особенно товарно-сырьевые, которые создавались только для перепродажи дефицита и получения сверхприбылей, и в самом деле должны скоро умереть. По моим оценкам, существовать им не более полутора-двух лет.

— **Простите, свою биржу вы, очевидно, относите к другой категории?**

— Пусть это покажется вам нескромным, но — да. Уже состав ее учредите-

лей ясно говорит, что в рамках «Эстры» объединились предприятия и организации чрезвычайно близкие друг другу по сфере своей деятельности, а именно: электроника, электротехника, связь, специальное станкостроение, телекоммуникации. И примерно шестьдесят процентов из всего, что продается на бирже, составляет специализированная продукция.

Поэтому «Эстра» — это не просто место, где совершается акт купли-продажи. У нас предприятия телерадиокомплекса могут наладить новые контакты с интересующими их смежниками, восполнить тот дефицит сырья, материалов, комплектующих, который образовался в связи с центробежными тенденциями на территории бывшего Союза, с введением лицензирования, квотирования взаимных поставок между странами Содружества, с возведением таможенных, налоговых барьеров. В какой-то степени мы помогаем предприятиям восстановить разорванные связи и установить новые. Это-то и гарантирует нам неплохую перспективу.

Спецификой нашей биржи является и то, что в ее рамках уже несколько раз происходили объединения предприятий для производства новой продукции — от научной разработки до обслуживания уже готового изделия. Мы здесь играли как бы координирующую роль и выдавали крайне важную информацию о том, будет ли новое изделие пользоваться спросом на рынке, насколько оно конкурентоспособно.

Или вот еще одна сфера нашей деятельности: если мы видим, что на торгах какие-то изделия и материалы, необходимые для наших постоянных клиентов, вообще отсутствуют, то на биржу привлекаются и иностранные фирмы. Например, фирма BASF продавала у нас пленку для видеокассет и другие материалы.

Причем хочу особо подчеркнуть, что мы стараемся ввозить из-за рубежа не готовую продукцию, а только недостающие комплектующие, давая тем самым возможность развиваться высокотехнологичным, сложным производствам у нас в стране.

— Но если иностранные фирмы торгуют дефицитом, то, очевидно, они имеют возможность бесконечно вздуть цены. Пытались ли вы прикинуть, какой получается курс доллара при продаже товаров из-за рубежа?

— Если сравнивать стоимость проданных у нас зарубежных товаров и их цену на мировом рынке, то курс доллара не превышает 40—50 рублей. А зачастую он даже ниже. Так что цены вполне приемлемые. Да иначе и не могло быть, ведь мы сотрудничаем, точнее, открываем двери своей биржи только для солидных, пользующихся высокой репутацией фирм, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, а не просто в каких-то разовых, сверхприбыль-

ных сделках. И это также гарантирует нам определенные перспективы.

— И все же согласитесь, что с налаживанием новых долгосрочных связей между предприятиями, в том числе и зарубежными, с появлением у них грамотных специалистов, хорошо разбирающихся во всем, что происходит на свободном рынке, объемы операций и у вас должны резко сократиться.

— Именно поэтому мы и расширяем перечень услуг. Кстати, сейчас одной из статей наших доходов является подготовка специалистов, консультации предприятиям, как открыть свои торговые дома. Может показаться, что мы, так сказать, рубим сук, на котором сидим, но все же в «Эстре» сходитесь такой огромный поток полезной информации, что, уверенны, нашими услугами будут пользоваться еще долгое время.

— Давайте возвратимся к проблеме ценообразования на бирже. Возможно, сотрудничающие с вами западные фирмы в самом деле ведут себя сдержанно, дабы не потерять репутацию. А какую политику проводят наши предприятия, особенно монополисты? Сегодня нередко можно услышать, что они используют механизм свободных биржевых торгов для искусственного завышения цен.

— Я не буду полностью отрицать существования подобной практики на биржах страны. Известны случаи, когда товары специально придерживались, дабы поддерживать цены на высоком уровне. Бывают и факты сговора между продавцами.

Да и наивно было бы полагать, что кому-то удастся быстро отрегулировать все биржевые механизмы. Они будут совершенствоваться с развитием нормативной базы, коммуникационных систем. Скажем, сейчас мы имеем прямую связь с более чем семьдесятю биржами страны. Это позволяет отслеживать динамику цен на те или иные товары и ограничивать их спекулятивное взвинчивание. В том числе и при помощи правила, запрещающего устанавливать цены, в полтора раза превышающие их среднее значение по стране.

Если же говорить о принципиальной стороне дела, — то есть насколько вообще могут быть точны цены на бирже, — то, на мой взгляд, в целом мы можем считать их вполне объективными. Кстати, интересный факт произошел в начале января. Сразу после начала ценовой реформы в России заводы определили стоимость телевизоров системы PAL/SECAM в размере 17 тысяч рублей. Однако на проходивших у нас торгах никто не давал за эти изделия более 13,5 тысячи рублей. И заводам цену пришлось пересматривать.

Это еще раз подтверждает, что биржа не является улицей с односторонним движением — в сторону повышения цен. Она довольно точно определяет спрос, потребительские качества товара, стоимость нашей денежной единицы.

— Пока мы говорили о бирже, так сказать, вне человека. Кто приходит трудиться к вам? Что за люди — брокеры?

— Никаких серьезных исследований по этому вопросу еще не проводилось, так что обобщать очень трудно. Нет ярко выраженных тенденций и на нашей бирже. Возраст брокеров «Эстры» — от двадцати до шестидесяти лет. Они имеют самое различное образование, трудовую подготовку, среди них есть и недавние выпускники вузов, и работники министерств, и бывшие кооператоры, и даже офицеры.

Я бы вообще назвал биржи своеобразными школами, учебными моделями того большого рынка, который нам еще предстоит построить. Сюда приходят люди, чтобы постичь новые для них экономические отношения, законы, стать профессионалами в вопросах рыночного ценообразования, налаживания партнерства в бизнесе. Эту роль бирж у нас, к сожалению, еще не понимают.

Поэтому очень хорошо, что на каком-то этапе в стране появились сотни подобных учреждений. Чем больше специалистов пройдет через них, тем более мощная прослойка деловых людей у нас сформируется, без чего немислим переход к рынку. Можно назвать биржи своеобразной колыбелью предпринимательства.

— А что вы скажете о моральных, деловых качествах людей, которые приходят к вам? Вокруг этого сейчас особенно много ведется разговоров.

— Материальные стимулы, безусловно, играют в их жизненных установках далеко не последнюю роль. И слава Богу. Ведь если считать стремление стать богатым чем-то зазорным, то нет смысла говорить и о новой экономике.

Конечно, приходят к нам люди и далекие от идеала, но нормальный бизнес или отторгает их, или заставляет во многом измениться. Скажем, на нашей бирже на специальном информационном стенде вывешивается список фирм, которые вели себя, так сказать, недостаточно корректно. И после этого с ними никто уже не сотрудничает.

Существует у нас и так называемый кодекс чести брокера. Нарушить его — значит лишить себя выгодных предложений, доверия других.

— Насколько я понял, биржа ваша — образование довольно демократичное, что вообще свойственно нормальному бизнесу. Вы не разделяете людей по возрастам, классам, образованию или каким-то другим признакам. А что можно сказать о присутствии на «Эстре» предприятий других регионов?

— Они очень активно участвуют в наших торгах. Например, постоянно на «Эстре» присутствует продукция львовского завода «Электрон». И ограничивать такое взаимодействие было бы просто глупо.

Я давно работаю в отрасли и знаю, что, скажем, на Украине находятся мощные телевизионные заводы, а производство комплектующих для них, как правило, находится в России. Оборвать эти связи — значит еще больше усугубить ситуацию в экономике, обострить социальную обстановку.

Наша биржа как раз не позволяет сделать это. Мы образование наднациональное, внеполитическое, и нами движет только одна сила — здравый смысл.

Беседа вел Иван ЖАГЕЛЬ

Советская литература — новый взгляд

Последние два года прошли в критике под знаком вопроса «Есть ли у нас сегодня литература?». Выяснилось: для одних — есть, для других — нет, для третьих — может быть. Словом, как в известной сказке: «Пациент скорее жив, чем мертв...». Но независимо от ответа на сей глобальный вопрос каждый все же согласится, что вот истории литературы двадцатого века в научном значении этого понятия у нас точно нет. Безусловно устарели учебники, устарела методология, устарели периодизации и классификации. В свете «возвращенных» и поднятых из запасников произведений установленный прежде официальным литературоведением «табель о рангах» внушает сомнение и требует пересмотра по самим фундаментальным принципам. Карта словесности двадцатого века пока еще изобилует белыми пятнами: утаены десятилетия, многие имена представлены не в полном объеме; искажены двадцатые и тридцатые — целый ряд произведений и их авторов по-прежнему отсутствует. Нет полной правды о войне, ведь до сих пор еще закрыты военные архивы, не напечатаны дневники и другие документальные материалы писателей-фронтовиков, что, безусловно, свидетельствует о неувядаемости нашей (теперь уже добровольной) цензуры.

Дискуссии последних лет, в частности об авангарде и постмодернизме, протекают вяло, лишь изредка взрываясь отдельными кавалерийскими наскоками и взаимной бранью участников. Обмен мнений по важным теоретическим проблемам оказывается непродуктивным прежде всего потому, что не затрагивает общей картины нашей — раньше легко и привычно называемой советской (всей и всякой, по антитезе: «советская — зарубежная») — литературы двадцатого века. Попросту говоря: где начинается и кончается советская литература и что все-таки означает это понятие с научной точки зрения — наиболее успешное применение метода социалистического реализма, или наиболее успешное отступление от него, или вовсе нечто иное?

В намеченной серии статей, которую мы назвали «Советская литература — новый взгляд», мы предполагаем восполнить хотя бы некоторые пробелы в истории и теории отечественной литературы двадцатого века, обращаясь к произведениям и авторам как широко известным, так и ныне забытым. Предлагаемая статья Людмилы Сараскиной «Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского», анализ знаменитой диалогии Ильфа и Петрова, — возможно, покажется во многом спорной, тем не менее хочется надеяться, что она даст пищу для широкого обсуждения процессов, происходивших и происходящих в нашей литературе в двадцатом веке.

Людмила САРАСКИНА

Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского

История восприятия Достоевского официальной советской доктриной (особенно если говорить о сфере политической мысли) — это перманентные усилия по преодолению художественной идеологии писателя. Бескомпромиссные обществоведы 20-х и 30-х годов, обладая «правильным» классовым чутьем, ощущали тотальную несовместимость наследия Достоевского с господствующим ре-

жимом¹. Их гневные воспаленные обвинения, провоцируемые самим существованием Достоевского в русской культуре, были естественной и, в общем, «здоровой» реакцией отторжения. Сейчас, мне кажется, их стоит только благодарить за серьезное отношение к Достоев-

¹ См. об этом: «Октябрь», 1991, № 11, с. 189—198.

скому, за то, что сумели разглядеть в нем опаснейшего противника системы и «злейшего врага» коммунистической перспективы. В каком-то смысле полное неприятие Достоевского идеологическим официсом и его репутация запрещенного писателя сослужили лучшую службу российскому читателю, нежели выборочное, адаптированное чтение «отдельно взятых» произведений, снабженных пугливыми предисловиями с сотней оговорок. Ибо кисло-сладкие блюда достоевско-ведической гастрономии, призванные смягчать остроту основного продукта, порою вообще меняли его природный, натуральный вкус.

Нынешнее откровенное время выходит на связь с неистовыми двадцатыми — в стремлении назвать вещи своими именами. «Врага надо знать в лицо» — вот максимум, который позволила себе система в 20-е годы по отношению к Достоевскому². «Нелепо было бы навязывать Достоевского массам, но знать его и полезно и необходимо очень широким слоям нашей новой интеллигенции, занятым борьбою с классовым врагом на идеологическом фронте. «Преодолеть» же без ущерба «достоевщину» помогут классовое чувство и диалектика мысли и фактов» — с таким предисловием вышел первый том писем Ф. М. Достоевского в 1928 году³.

Но уже третий том писем, вышедший спустя шесть лет в культурнейшем издательстве «Academia», содержал гораздо более радикальные рецепты по «преодолению» Достоевского Исчезли «плюралистические» интонации, мировоззренческая толерантность — и издатели констатировали: «.. Созданная им (Достоевским. — Л. С.) идеологическая система, выраженная прежде всего в художественных образах, а затем отчасти и в его публицистическом и эпитолярном наследии, представляет собою самое значительное и самое глубокое из всего того, что за последнюю половину XIX века вообще могло быть выдвинуто в области идеологии против социализма»⁴. Сегодня это звучит высшим комплиментом, но тогда требовало классового возмездия.

Борьба с Достоевским становилась не только идеологической, но и полити-

Эта замечательная формула «допуска по-советски» и чуждым системе культурным ценностям обеспечила в 20-е годы расцвет науки о Достоевском и книгоиздательской практике. Помимо отлично изданного полного собрания художественных произведений и писем Достоевского под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева (ГИЗ, Л., 1926—1930), вышли такие значительные, теперь классические работы, как «Воспоминания А. Г. Достоевской», «Семинарий по Достоевскому» В. Гроссмана, «Спор о Бакунине и Достоевском» В. П. Гроссмана и Вяч. Полонского, «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской», «Поэтика Достоевского» М. Бахтина и другая, весьма обширная литература.

³ Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, ГИЗ, М.-Л., 1928, с. V.

⁴ Ф. М. Достоевский. Письма, т. III, «Academia», 1934, с. 1—2.

ческой задачей эпохи и должна была охватывать самые широкие сферы общественной и культурной жизни. «Преодолеть Достоевского, — заявляли издатели, — разоблачить иллюзорность возведенной им художественно-идеологической системы вскрить внутреннюю бедность того идеала, который он, в конце концов, в результате мучительных исканий противопоставил сияющему идеалу социализма, значит окончательно выдавить из сознания современного человека последние остатки тех мелкобуржуазных иллюзий, которыми гибнущий капитализм способен еще заражать его»⁵.

Литераторы, обслуживавшие режим, «мобилизованные и призванные» революцией, бросились выполнять эту задачу, стараясь порой даже не знакомиться с первоисточником, чтобы невзначай из него не отравиться. Ведь сам А. В. Луначарский предостерегал: «Непосредственное же влияние Достоевского, то есть подчинение ему в чем-либо, есть вообще вещь для пролетария не только вредная, но и позорная и вряд ли вообще возможная. Наличие такого влияния может служить доказательством присутствия значительных элементов мещанского индивидуализма в человеке, который ему подвергается, будь то писатель или просто читатель»⁶.

Но среди революционных критиков первого призыва были первоклассные, как мне кажется, знатоки «архискверного» Достоевского.

В 1929 году сатирический журнал «Чудак», руководимый М. Кольцовым, опубликовал серию гротескных новелл — историю советской делопроизводительницы Шахерзады Шайтановой и ее начальников Сатанюка и Фанатюка. «1001 день, или Новая Шахерзада» принадлежала перу некоего Ф. Толстоевского. Сатирик с «кентаврической» фамилией оказался на редкость плодовитым — с 1929 по 1932 год этим именем было подписано около сорока фельетонов, громивших обывателей и мещан, высмеивавших пережитки старого строя и борющихся за новую, революционную мораль.

Псевдоним, составленный из имен русских писателей — Толстого и Достоевского, скрывал двух авторов — Илью Ильфа и Евгения Петрова. Вряд ли подпись «Ф. Толстоевский» выражала претензию на литературное величие, хотя остальные псевдонимы сатириков (Иностранец Федоров, Дон Бузилио, Холодный Философ и др.) были и простодушнее, и неприязнательнее. Здесь же просматривалось намерение, созвучное настроениям эпохи, — освободиться от угнетавшего авторитета корифеев.

Вообще если задаться целью и прокомментировать сочинения Ильфа и Петрова с точки зрения репертуара культурных реалий, которые подверглись са-

⁵ Ф. М. Достоевский. Письма, т. III, «Academia», 1934, с. 2.

⁶ ВСЭ, т. 23, М., ОГИЗ РСФСР, 1931, с. 345.

тирическому ниспровержению, то он выйдет далеко за пределы и собственно литературы и — тем более — за пределы двух литературных имен. Смеяться над кем и над чем угодно — неотъемлемое право сатиры, смысл ее существования как жанра. Но даже в том случае, когда у сатирика и впрямь нет ничего святого и он ради красного слова не жалеет и родного отца, важно понять, что именно движет им: политическая злоба дня, литературная конъюнктура, идеологическая установка или собственный специфический интерес.

Теперь я попрошу прощения у читателя за намеренно односторонний, суженный подход к проблеме. Но, может быть, мое пристрастное, ревнивое отношение к сатирическим играм на «достоевские» темы как раз и позволит увидеть то, что обычно не замечает взгляд незаинтересованный и, так сказать, объективный?

Внимание соавторов к дореволюционным классикам — «мещанам и злым врагам жизни», как окрестил их М. Горький, — действительно распределялось отнюдь не поровну. Львиная доля относилась к гораздо более «вредному» Достоевскому.

Надо отдать должное начитанному Ф. Толстоевскому: «он», зная Достоевского отменно, ударял по вершинным точкам творчества опального писателя и как бы демонстрировал нищету и убожество его художественной идеологии. «Идейный Никудыкин» — так назывался ранний (1924 г.) рассказ Е. Петрова, герой которого, Вася Никудыкин, своего рода черновой набросок Васисуалия Лоханкина, совмещал черты известнейших «достоевских» персонажей. «Долой штаны и долой юбки! Мы все выйдем на улицы и площади без этих постыдных одежд!.. Мы будем останавливать прохожих и говорить им: «...Вы должны оголиться!» — так проповедовал идейный Вася Никудыкин, передразнивая героев «Бобка», и, попав в ситуацию, лишенную философского флера, твердил ключевую фразу из «Сна смешного человека»: «И пойду, и пойду...»

Но стоит ли говорить о мелких выпадах, о язвительных уколах (вроде строительства «Убого-свидригайловской» железнодорожной ветки в рассказе Е. Петрова «Энтузиаст»), нацеленных на «преодоление» «идейно никудышного» Достоевского? В конце концов сатириков Ильфа и Петрова знает весь мир не по газетным фельетонам, а по знаменитой диалогии «Двенадцать стульев» — «Золотой теленок». Где там Достоевский? Кто его трогает и обижает?

Подумаем прежде о зигзаге читательского восприятия. Любить, восхищаться, заучивать наизусть страницы прелестного плутовского романа с его веселыми жуликами и опляняющим смехом — залогом свободы — в последние тридцать лет было едва ли не правилом хорошего тона и здорового литературного вкуса. Отте-

пельные шестидесятые годы, после длительного замалчивания, обратились к диалогии Ильфа и Петрова как к празднику: казалось, сама возможность смеяться над всем и вся равносильна протесту против режима. Остап Бендер и его творцы в климате послесталинской весны воспринимались едва ли не как диссиденты и сокрушители устоев. Читательские симпатии безраздельно принадлежали роману, где были жестоко высмеяны едва ли не все реалии совдеповской культурной и общественно-политической жизни, где новый строй во всех его начинаниях был окарикатурен с неслыханной дерзостью и безоглядностью. Из книг Ильфа и Петрова читатель с удовольствием заимствовал насмешливый, скептический взгляд на «страну дураков» и всерьез расценивал диалогию об Остапе Бендере как книгу сопроотивления. Однако нельзя забывать, что читатель шестидесятых — это был хоть и благодарный, но особый, специфический читатель. Он вырос и сформировался в атеистическом государстве, воспитывался в советской школе, и на его литературные вкусы не влияли и не могли влиять запрещенная вместе с Достоевским русская религиозная философия, Платонов и Булгаков, Замятин и Пильняк, Пастернак и Мандельштам, то есть как раз те авторы, кто и в самом деле определял культурное лицо эпохи и чей отрицательный пафос по отношению к советскому режиму имел и другое качество и иные последствия.

Между тем диалогия Ильфа и Петрова — это книга, может быть, и бессмертная, но принадлежит она своему времени, так же как и ее авторы. Ибо мотивация их деятельности, ценностные ориентации, идеалы и умонастроения вполне отвечали, как мне кажется, идеологии социального заказа конца 20-х — начала 30-х годов.

Предприимчивые и талантливые авторы были, по свидетельству их современников, теми из литераторов, кто, во-первых, воспринял революцию горячо и восторженно, во-вторых, ревностно следил за ее успехами, и, в-третьих, приравнял перо к штыку, сражался с ее врагами. И, хотя попрщик для борьбы было всего лишь литературно-газетным и сатирическим, наличие у революции врагов, а также непродвиженные отступления на ее пути доставляли сатирикам страдания и мучения.

Вопрос не праздный: были ли они истинно верующими в идеалы революции людьми или служили ей корысти ради?

Вот фрагмент плана книги Е. Петрова «Мой друг Ильф» (1938), где эти мотивы мирно сосуществуют: «С революцией я пошел сразу же. Нэп поразил меня своим великолепием. Мне было обидно... Я не сомневался, что во что бы то ни стало должен погибнуть для счастья будущих поколений... Но тут в нэповской Москве я вдруг увидел, что жизнь

приобрела устойчивость, что люди едят и даже пьют, есть казино с рулеткой и золотой комнатой... Впервые я стал мечтать. Я представлял себе богатство, славу и все прочее. Во мне проснулся баллаковский молодой человек — завоеватель»⁷.

Тот факт, что поприщем новых растриньяков советской формации оказалась сатира, был исполнен глубоким практическим смыслом. С первых дней советской власти сатира стала самым приоритетным литературным жанром, всемерно поддерживаемым правительством и партией (как известно, в 20-е годы выходило более двухсот сатирико-юмористических журналов). Знаменательно, что первые советские сатирические журналы носили символические названия: «Красный дьявол» и «Гильотина», «Карающий смех сатиры», «сабельный удар публициста», «палаш политического памфлетиста» — эта и подобная «убийственная» лексика свидетельствовала о самых серьезных намерениях сатиры по борьбе с тем, что враждебно новому строю. Кроме того: сатира создавалась согласно жесткой установке и регламентировалась уставными документами — постановлениями и резолюциями.

В соответствии с резолюцией ЦК ВКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» или материалами совещания, созванного в 1927 году Отделом печати ЦК ВКП(б), «Сатирический журнал и его задачи» — сатира выступала как пропагандист, агитатор и боец за линию партии. Тогда такой взгляд на сатиру многим казался единственно возможным и безусловным.

Откровеннее всего о стиле и литературном поведении советской сатиры 20-х годов мог бы свидетельствовать «Крокодил» тех лет, который регулярно публиковал «Инструкции» — наставления для воспитания морально крепких, теоретически подкованных корреспондентов. В «Инструкциях» определялись и главные, стратегически важные сатирические объекты:

«При диктатуре пролетариата сатира ополчается: 1) на враждебный класс (напманов, буржуазию и т. д.); 2) на несовершенство и уродливости своего рабочего класса и крестьянства (в его быту, жизни и т. д.); 3) на несовершенство и уродливости в своем аппарате (советском, хозяйственном и т. д.); 4) на мировую буржуазию и враждебные рабочему классу политические партии»⁸.

Смею утверждать: сатира Ильфа и Петрова ведала, что творила. В том же самом 1929 году, когда Ф. Толстоевский в десяти номерах «Чудака» печатал свою «Шахерезаду», главный редактор журнала М. Кольцов гневно осуждал Е. Замятина и Б. Пильняка. В фельетоне «О

двойном подданстве» (№ 35) клеймилась деятельность авторов, которые, как писал фельетонист, одной рукой слугали вымученные гимны во славу социалистического строительства, а другой писали клеветнические произведения, печатая их за границей. Что касается Ильфа и Петрова, за ними подобной крамолы не числилось. Напротив, еще в 1925 году они «правильно» отреагировали на «Дьяволиаду» и «Роковые яйца» Булгакова.

Спустя много лет бывший «гудковец» А. Эрлих вспоминал об этом эпизоде: «Не хотелось — ах, как не хотелось! — утвердиться в мысли, что наш товарищ, человек талантливый, молодой писатель (речь идет о Булгакове. — Л. С.) враждебен всему новому, что принесла с собою Октябрьская революция... Как-то в свободный час мы обступили автора повестей-памфлетов и, в самых язвительных выражениях комментируя его творчество, настойчиво допытывались, что же, собственно, он хотел сказать своими произведениями. ...М. Булгаков непременно отбивался от множества критических замечаний, стараясь обратить все в шутку. Но все-таки чувствовалось, что его встревожило единодушное обрушившихся на него нападок.

Как он обрадовался, когда в комнате у него объявился вдруг защитник!

— Ну, что вы все скопом напали на Мишу? — урезонивал своих собратьев по полосу Ильф. — Что вы хотите от него?

Голоса стихли один за другим. И тогда Ильф в наступившей тишине нанес свой удар:

— Миша только-только, скрепя сердце, примирился с освобождением крестьян от крепостной зависимости, а вы хотите, чтоб он сразу стал бойцом социалистической революции!.. Подождать надо!»⁹.

Нынешние рассуждения о том, что, мол, время было такое — люди были такие, как видим, нуждается все-таки в уточнении: одни «внутренне противились новому», другие наносили по первым удары. То же относится и к сатирикам: одни творили, подчиняясь влиянию газетной политической школы, другие — вопреки ей; как писал тот же А. Эрлих, «когда в альманахе «Недра» появились повести М. Булгакова «Дьяволиада» и «Роковые яйца», пришлось убедиться, что сатирическое острое этих произведений обращено не на защиту новых общественных отношений, а против них»¹⁰.

Весьма выразительный отзыв об эпохе оставила и Н. Я. Мандельштам: «Двадцатые годы — период, когда тщательно подбирались кадры соблазнительей и убийц. Их тренировали на мелких делах. Их взвинчивали и обучали, чтобы развязать в тридцатые. Среди интелли-

⁷ См в кн. Советские писатели. Автобиография в двух томах Т. I. ГИХЛ. М., 1959, с. 469.

⁸ «Крокодил», 1925, № 4, с. 10.

⁹ А. Эрлих. Они работали в газете. «Знамя», 1958, № 8, с. 173.

¹⁰ Там же.

генции действовали соблазнитель с гуманистическим словарем, но еще больше жизнелюбцев и циников, развивших технику издевательства над колеблющимися, которых обвиняли главным образом в устарелых мыслях и понятиях и сбрасывали с корабля современности. Среди циников была и более приятная порода, выполнявшая заказы, чтобы покупать за дешевую цену девчечек, а за дорогую — еду и одежду. Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне... Все желали быть современниками, людьми сегодняшнего дня и смертельно боялись отстать...»¹¹.

Было бы нелепо упрекать задним числом соавторов-сатириков в их приверженности режиму и ставить им в пример его противников. Но столь же нелепо, читая диалог и пытаясь разобраться в умопостроениях авторов, игнорировать фактор «советскости», в решающей степени предопределивший и сатирическую направленность фельетонов, и скорую карьеру сатириков: всего за несколько лет они выросли из журналистов-поденщиков «Гудка» до соборов «Правды», путешествующих по Америке.

Впрочем, когда речь идет о столь деликатном вопросе, лучше предоставлять слово «виновникам» разговора. В уже упомянутом плане книги «Мой друг Ильф», не предназначеншемся к публикации, его соавтор Е. Петров поместил чрезвычайно красноречивую запись: «...Революция лишила нас накопленной веками морали. Этим объясняется нигилизм, а иногда и цинизм нэповских времен. При этом — презрение к нэпманам и непонимание нэпа. Только любовь к Ленину, абсолютное доверие к нему помогло примириться с нэпом — «партия все знает, надо идти вместе с ней».

Для нас, беспартийных, никогда не было выбора — с партией или без нее. Мы всегда шли с ней. И нас всегда возмущали и смешили писатели, выяснявшие свое отношение к советской власти. И с этими писателями возились»¹² (подчеркнуто мною. — Л. С.).

Некоторой информацией для размышления могли бы послужить фельетоны выступления соавторов 1935—1937 гг. Вот они остроумно и, как всегда, талантливо высмеивают «белых шоферов» — русскую эмиграцию в Париже, — а заодно и Нобелевскую премию Бунина: «Вдруг счастье привалило. Бунин получил Нобелевскую премию. Начали радоваться, ликовать. Но так как-то принижено и провинциально ликовали, что становилось даже жалко. Представьте себе семью, и небогатую притом семью, бедную, штабс-капитанскую. Здесь — двенадцать незамужних дочерей и не мал-мала меньше, а бол-бола больше. И

вот наконец повезло: выдают замуж самую младшую, тридцатидвухлетнюю... Вот такая и была штабс-капитанская радость по поводу увенчания Бунина». Или выступление Е. Петрова на общемосковском собрании писателей: «Конечно, иногда этот самый сложный литературный труд может быть целиком отвергнут как враждебный политически, и тогда, конечно, можно пустить в дело топор».

Ни в коем случае мне не хотелось бы изображать дело так, будто соавторы-сатирики были «сталинскими соколами» и, так сказать, литературными погромщиками. Для своей страшной эпохи они скорее всего были достаточно приличными людьми и на фоне, скажем, их коллеги М. Кольцова звучали вполне невинно. Тот же план книги Е. Петрова отразил и сомнения, и колебания, и творческие мучения: «Мы чувствуем, что надо писать что-то другое. Но что?»; «...Писать смешно становилось все труднее. Юмор очень ценный металл, и наши присики были уже опустошены»¹³. К тому же кровавая крика упрекала авторов «Двенадцати стульев» как раз в «недоборе», в «безобидности», в «отсутствии глубокой ненависти к классовому врагу». Да и что могло стоять за такими, например, строчками плана: «Работа в «Правде». Как писались фельетоны. «Мехлис», или: «Жизнь требовала от писателя непосредственного участия?»

В конце концов даже признание Ильфа «Полюбить советскую власть — этого мало. Надо, чтобы советская власть тебя полюбила» — в контексте тридцатых годов звучало более чем естественно. Что же касается Е. Петрова, то спустя пять лет после смерти друга и соавтора и накануне своей гибели он весьма проникновенно и с чувством полной ответственности писал: «Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне хочется быть таким, каким был Ильф... Он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагоприятный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему...»¹⁴.

Но поскольку путь к мечте оказался тушиковым, наверное, есть смысл поинтересоваться на творчество замечательных сатириков, которые из любви к «святому будущему» так зарзательно смеялись не только над «уродливым настоящим», но и над «проклятым прошлым». Здесь, однако, справедливости ради надо расставить акценты. Русская литература никогда не щадила богатых, преуслевающих и самодовольных. От нее

¹¹ Там же, с. 470.

¹² Надежда Мандельштам. Вторая книга. М., «Московский рабочий», 1990, с. 426.

¹³ Советские писатели. Автобиография в двух томах. Т. I. М., ГИХЛ, 1959, с. 471.

¹⁴ Е. Петров. Из воспоминаний об Ильфе К пятилетию со дня смерти — Ильфа Ильфа и Евгения Петрова. Собр. соч. в пяти томах. Т. 5. М., ГИХЛ, 1961, с. 524.

досталось и дворянству, и купечеству, и духовенству. Высмеять барина-самодура или попа-невежду было делом привычным и традиционным. Но русская литература, даже и сатирического профиля, никогда не была лежачего, не бросала камень в спину идущему на гибель, жалея несчастных, кем бы они ни были.

Сатира советского времени переступила черту дозволенного. Чтобы несчастных было не жалко, их следовало выставить ничтожествами, отвратительными до омерзения.

Лично мне неохота смеяться над людьми, которых революция лишила дома и родины. Мне не смешно, что «умственная» интеллигенция, не принявшая режим, влачила жалкое существование и была обречена на вымирание. У меня не вызывают смех «бывшие» люди — дворяне, пережившие 1917-й, и крестьяне, пережившие 1929-й (трагедии которого нет и следа в «Золотом теленке», написанном в 1931 году). Какие уж тут шутки...

Но тогда, в эпоху первоначального обличения старого мира, соавторы-весельчаки набросились на его «уродства» с такой молодой страстью и молодой злобой, столь энергично и напористо, что стало понятно: лучший способ преодоления и развенчания — это насмешка, беспощадная до издевательства.

Но над кем все-таки? Что придавало бешеный азарт поискам разоблачительных сюжетов?

Вряд ли я слишком преувеличу, если скажу, что, расправляясь с прошлым, авторы изображали его в точном соответствии с программными документами большевистской партии. Сатира «в законе» буква в букву следовала установке: «Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике... Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких насекомых, от блох-жуликов клопов-богатых и прочее, прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богатей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих отлынивающих от работы... В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве...»¹⁵ (Разрядка моя. — Л. С.).

После таких внушений можно было уж точно ни с кем не церемониться. Интеллигенция, о которой иначе чем в саркастических кавычках говорить не полагалось, становилась желанной и неустаревающей темой для сатиры из ведомства очистки, средства же дискредитации

«вредных людей» изыскивались самые изощренные.

Элементарное читательское чутье подсказывает: изопряясь в борьбе со всякими «насекомыми», Ильф и Петров отнюдь не наступали на горло собственной песне, а работали в полное свое удовольствие. За это их и хвалила советская критика (не любя как раз за талант, за виртуозную словесную игру, за пластику языка, за природное остроусловие и редкостное чувство юмора). Прочитавшую совсем немного: «Пьесы, сценарии, очерки — все это было посвящено одному — борьбе за нового, советского человека, свободного от отвратительных пережитков капиталистического общества... Ильф и Петров показали, как смешны и как отвратительны все эти ничтожества. Писатели заставили нас смотреть на них с сознанием, что мы поднялись над ними на вершину, а вот они внизу — в болоте. Это так. Но одновременно мы смотрим на всех этих персонажей, как на уже раздавленных эпохой, забывая, что они очень живучи и вредоносная сила их еще дает о себе знать... Илья Ильф и Евгений Петров создали замечательные сатирические образы, которые учат нас политической бдительности, вечной ненависти...»¹⁶

Нет смысла перечислять все, что становится у сатириков объектом ниспровержения, дробления, измельчания и растирания в пыль. Но несомненно, что особое их пристрастие связано с «высокими» сферами — дворянско-буржуазной дореволюционной культурой. Ведь «несовершенства и уродливости» нового строя, согласно крокодильской «Инструкции» 1925 года, могут быть исправлены, тогда как старая культура подлежала не исправлению, а уничтожению («При диктатуре пролетариата сатира ополчается: 1) на враждебный класс...» и т. д.) — стало быть, и приемы сатирические должны были быть качественно иными.

Комическое осквернение и десакрализация оказались самым подходящим средством. И вот Остап Бендер рассказывает поучительную историю: монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз, так что гусар-схимник Алексей Буланов остался без еды и уюда, а потом двадцатипятилетнее постничество старца было сломлено нашествием клопов на его дубовый гроб. «Через два года от начала великой борьбы (с клопами. — Л. С.) отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов». Бывший аристократ, гусар, монах, старец, уяснив, что жить телом на земле, а душой на небесах нельзя, стал кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.

«Любит человек падение праведного и

¹⁵ В. И. Ленин, Сочинения Изд. 3-е. т. XXII, М.-Л., 1931, с. 166—167.

¹⁶ Дм Молдавский, Товарищ смех. «Звезда», 1956, № 8, с. 169, 173.

позор его» — этим «достоевским» откровением во многом определялись подходы классиков советской сатиры к презираемой ими «духовной» проблематике. Следы их особой любви обнаруживаются на каждом шагу — там, где нужно высмеять и сбросить с пьедестала и так уже побежденное, но все еще притягательное «высокое и прекрасное». Высмеять, вышутить, да так, чтобы эпизод жестокого надругательства «вишневым клопом» над схимником-отшельником стал ассоциацией со старцем Тихоном, Зосимой или «Отцом Сергием», — вот он, феномен Ф. Толстоевского!

Чтобы пассажиры отплывшего за море «философского парохода» как в капле воды отразились бы в жалкой, убогой фигуре Васисуалия Лоханкина, нахлебника и паразита при работающей супруге. Ведь в воле авторов было связать понятие «интеллигент» с фигурой сексуально озобоченного недоучки хлюпика, размышляющего о себе в бердяевских категориях — «я и судьбы русской революции». В воле авторов было низвести «философа-надомника» до люмпена маргинала и снизить его настолько, чтобы в каждом «Бердяеве» увидеть Лоханкина, а не наоборот, чтобы с ним и только с ним, Васисуалием, отныне, и присно, и во веки веков связывался образ всякого интеллигента либерала. Того самого, который вечно боится, что вот придут и возьмут, высекут или сошлют в Сибирь, — как боялся и трепетал известный вольнодумец-либерал, озобоченный своею ролью в судьбе России, приживальщик у генеральши Ставрогиной Степан Трофимович Верховенский.

Апологетическая критика 60-х годов, переживая период повального увлечения Ильфом и Петровым, с праведным неодобрением писала о реальных прототипах Васисуалия: «Вполне возможно, что, рисуя Лоханкина, Ильф и Петров имели в виду тех слюнявых, кающихся интеллигентов, которые на десятом году революции и на пятнадцатом все еще занимались выяснением вопроса — принимать ли советскую власть? А возможно, тут содержалась прямая пародия на героев некоторых повестей и романов, где эта проблема непомерно раздувалась, гипертрофировалась, оказываясь чуть ли не главной проблемой современности»¹⁷.

Я достаточно хорошо представляю себе ученого-ильфововеда или читателя, которые примутся «защищать» от меня Ильфа и Петрова. Я и сама знаю все аргументы этой защиты и, наверное, сумею бы их правильно выстроить. Да, «все равно они талантливы», да, «они писали очень смешно», да, «не следует смешивать Божий дар с яичницей». Но как быть с читателями не 60-х, а конца 20-х — начала 30-х годов, у которых от сцен с Лоханкиным в «Вороньей слободке» больно сжималось сердце?

В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам содержится намек на аналогию с Лоханкиным ее собственной семейной ситуации — безработного и «социально чуждого» поэта при работающей жене: «Кто сказал, что мы встанем на гибельный путь, провозгласив, что нам «все дозволено»? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал. Теперь их попрекают «абстрактным гуманизмом», а в двадцатые годы над ними потешался каждый, кому не лень. Они были не в моде. Их называли «хилыми интеллигентиками» и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет: «мягкотелье». «Хилым» и «мягкотельем» не нашлось места среди тридцатилетних сторонников «нового». Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотель» в «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристаёт к брошенной его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются»¹⁸.

И последний аргумент. Да, они высмеивали пережитки прошлого, они вылизывали «чахоткины иллевки шершавым языком плаката», но при чем здесь Достоевский? Не пустая ли это фантазия, которая отдаёт «прогорклой жвачкой антисторизма», или «публицистическим наскоком», или извечной нашей дурной привычкой «проработывать» писателей за их ошибки?

Хочу заверить: ничего «проработочного» в моих намерениях нет. Речь идет, по-видимому, о принципиальной несводимости двух измерений творчества советских сатириков. Одно измерение связано с проблемой нравственно допустимого в сатире и юморе: можно ли смеяться над гонимыми и преследуемыми, следует ли — во имя идеологической установки — добивать жертву. Второе измерение — это реальные, конкретные мотивы их творчества, живая литературная ситуация.

Маститый к тому времени В. Катаев (мэтр), по примеру Дюма-отца, нанимает двух литературных негров, талантливых поденщиков, своего брата и его друга, и дает им задание разработать сюжет о бриллиантах, спрятавшихся в одном из дзе-

¹⁸ Н. Я. Мандельштам. Воспоминания М. «Книга», 1989, с. 310—311. Вот что писал об этой книге В. Шаламов: «Что здесь главное, по моему мнению? Это — судьба русской интеллигенции. Надежда Яковлевна не прошла мимо омерзительного выппада Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях». Пошлость была слущена с цепи, чтобы оплывать самое ценное в русском обществе; интеллигенция не умрет, как не умрет жизнь, не умрет искусство». («Знамя», 1992, № 2, с. 172).

¹⁷ В. Галанов, Илья Ильф и Евгений Петров. М., «Советский писатель», 1961, с. 205.

надцати стульев, с тем чтобы иметь возможность создать сатирическую галерею современных типов времен нэпа. «Негры» соглашались: «...возможно, их прельстила возможность крупно заработать; чем черт не шутит!» — вспоминал впоследствии В. Катаев в книге «Алмазный мой венец». Реестр сатирических типов известен, иерархия — тоже, на все объекты сатиры имеется инструктивная санкция. Что же касается пределов нравственно допустимого, то их действительно не было: сошлемся хотя бы на того же В. Катаева. В уже упомянутой книге «Алмазный мой венец» приводится любопытное сравнение гудковской компании, куда входил сам В. Катаев, и его брат Е. Петров, и Ильф, и другие персонажи «Венца», с М. Булгаковым. «Он (Булгаков. — Л. С.) был несколько старше всех нас... тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице». Булгаков «никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик (то есть Ю. Олеша. — Л. С.), «колебать мировые струны». А мы эти самые мировые струны колебали непрерывно, низвергли авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами»¹⁹ (подчеркнуто мной. — Л. С.).

Итак, с одной стороны, литературный бизнес, прекрасное знание сатирической конъюнктуры в виде «Инструкций» и наставлений, лояльность к режиму и самосознание «мобилизованных и призванных». Плюс замечательное владение словом: талант, способный выйти за пределы любых инструкций.

А с другой — остатки прежней культуры, старый мир, который, казалось, только и годится, чтобы пустить его под нож сатиры, «мировые струны», из которых в угоду идеологической установке принято было вить веревки.

Ответ на вопрос «При чем здесь Достоевский?» напрашивается сам собой, если сопоставить две даты. За год до написания «Двенадцати стульев» (1927) вышли в свет «Письма Ф. М. Достоевского к жене» (1926) с предисловием и примечанием Н. Бельчикова, которые сразу стали литературной сенсацией даже на фоне «достоевского» бума 20-х годов.

Читатель впервые мог приблизиться к интимно-семейной сфере Достоевского, из первых рук узнать ее содержание, а также интонацию и стилистику эпистолярного жанра в его сугубо приватном

варианте. Страсть игрока, рулетка, проигрыш, постоянные и слезные просьбы о деньгах, подробные описания мелких недомоганий, многословные сентиментальные мечты о будущем, обещания и клятвы больше не играть, заверения в вечной любви, а также весьма специфическая подпись автора «твой вечно муж Федя» (с вариациями «твой любящий тебя всем сердцем муж Федя» или «твой муж верный и любящий») — эти письма не могли остаться незамеченными хотя бы по своему совершенно особому колориту.

Они и были замечены. Три письма охотника за бриллиантами отца Федора Иоанновича Вострикова к своей жене Екатерине Александровне, подписанные забываемо — «твой вечно муж Федя», пародировали и комически передразнивали наиболее уязвимые стороны бытового образа писателя²⁰. «Ради Бога, торопись с деньгами. Деньги адресуй post restante. Присылай скорей, сию минуту денег на выезд, — хотя бы были последние, — умолял жену неудачливый игрок Ф. Достоевский, в очередной раз спустив в казино всю наличность. «Вышли двести тридцать телеграфом Продай что хочешь Федя», — вторил обезумевший от страсти по мебельным гарнитурам пограсстрига. И... будто им обоим отвечала несчастная, обобранная до нитки попадая: «Продала все осталась без копейки Целую и жду».

Тайные страсти и пороки писателя, отраженные в зеркале грубой пародии, предавались самой широкой гласности и выставлялись как бы на суд общественности: читатель, получивший в руки почти одновременно «две переписки», вполне соображал, в чем дело. «Смех играл серьезную роль, — писал впоследствии небезызвестный Д. И. Заславский. — «Смешное убивает», — говорят французы. Это верно. Народ бил своих врагов горячим и холодным оружием и добывал смехом»²¹.

Комической дискредитации подлежало все, на чем был отблеск вечности, — религиозная вера, приверженность к старым духовным и культурным ценностям. Сатирическое повествование «выстреливало» в надежды и идеалы, сохранившие хотя бы некоторое обаяние, — и уж, конечно, после встречи Остапа Бендера с монархистом Хворобьевым, у которого советская власть отняла все, даже сны, не должно было оставаться никаких иллюзий о возможности укрыться, спрятаться от «гордой поступи социализма».

«Никуда нельзя было уйти от советского строя», — злорадно констатировали сатирики. Испытания «советским строем» не избежали, как мне кажется,

²⁰ См. об этом: В. Сарнов. Тень, ставшая предметом. В кн. «Советская литературная пародия». Т. I М., «Книга», 1988.

²¹ Д. И. Заславский. Ильф и Петров. Вступительная статья к собр. соч. в пяти томах. Т. I. М., ГИХЛ, 1961, с. 6.

¹⁹ В Катаев. Алмазный мой венец. М. «Советский писатель», 1979, с. 64

и некоторые сюжетные линии особенно ненавидимого властью романа «Бесы»²².

Трудно, конечно, в очаровательном жулике и плуте Остапе Бендере разглядеть политического мошенника и авантюриста Петрушу Верховенского. Кажется, будто, пройдя через огонь революции и гражданской войны, бывший ниспровергатель и сокрушитель основ поддался потаенной страсти к стяжательству и занялся наконец своим прямым делом. Совдеиствительность основательно деполитизировала приключения афериста, стремящегося теперь жить в полной гармонии с восторжествовавшим лозунгом «Грабь награбленное!», и девиз «Миллион — и никакой политики» отныне, на новом витке истории, определяет его идеологию, цели и методы действий.

Мимикрия, феномен приспособления к существующему режиму демонстрируют мощную способность к выживанию, так что Остап Бендер, хоть и бродяга темного происхождения без носков, без ключа, без квартиры и без денег, но все тот же двадцативосьмилетний, энергичный и предприимчивый молодой человек, готовый к любой карьере. Разворачивая наше рискованное сравнение, можем увидеть, как потускнело, постарело, пообтрепалось блиставшее некогда аристократическое окружение, во что превратился красавец барин, «герой-солнце», искusstель, соблазнитель и демон Ставрогин. И как не похож на него бывший дворянский предводитель, а ныне скромный служащий уездного загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов, который пустился-таки в авантюру, связался с мошенником, поддался его шантажу и стал невольным, вынужденным компаньоном. Как снизился, девальвировался сам сговор-торг, каким инфляциям подверглись таинственные, полные мистики слова Петруши, обращенные к Ставрогину: «Почему, почему вы не хотите? Бойтесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен?» Теперь они звучали пошло и буднично: «Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость».

²² Собственно говоря, идея суда (самосуда) над Достоевским так или иначе носилась в воздухе; желание судить Достоевского пролетарским судом, высказанное В. Шкловским на Первом съезде советских писателей, было не в новинку и тогда никого не шокировало. «Я думаю, — сказал в своем выступлении В. Шкловский, — мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Достоевский, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира Ф. М. Достоевского, нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника» (Первый Всероссийский съезд советских писателей 1934 Стенографический отчет. М., «Советский писатель», 1990, с. 154).

Печать вырождения лежит на всем, что связано с аристократическим прошлым Кисы Воробьянинова, — опошлена «тайна», фальшивой краской испорчено благородство облика, непролазной бедностью испохаблены утонченные когдато манеры и привычки, впустую растрачен любовный пыл. И даже о святая святых — его романтических амурных приключениях — написано с презрением, уничтожающим всякое мужское достоинство: «За нею (Лизой. — Л. С.) последовал светский лез и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком». Демоны-аристократы в старости и при новом режиме представляли собой жалкое зрелище.

Может быть, лавры знаменитого романа и его центральная сцена «У наших» особенно вдохновляли сатириков, и они создают для мошенников советского времени свой эквивалент тайной сродни. «**Наших** в городе много?» — спрашивает Остап Бендер, как бы закрепляя ассоциацию. «Вы, надеюсь, **кирилловец**?» — намекает он. В точном соответствии с распределением ролей в «Бесах» Великий Комбинатор т. Бендер наделяет подручного аристократа функцией инкогнито — «гиганта мысли, отца русской демократии и особы, приближенной к императору», а также предписывает ему особое поведение: «Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки... Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет» (вспомним: «...Вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны, — вот ваша роль... Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин... Побольше мрачности...»). И Остап Бендер, действуя угрозами, шантажом и мистификацией, молниеносно сколачивает «боевую» организацию — «Тайный союз меча и орала», с «полной тайной вкладов», помощью заграницы, послушанием, круговой порукой и конспирацией.

Предельной сатирической трансформации подвергся один из основных «бесовских» мотивов — шпиономания и доносительство. Слухи, в провокационных целях пущенные о Шатове, стояли ему жизни — «наши» пошли на убийство, понуждаемые групповой дисциплиной и взаимными обязательствами. Общий грех совместного злодеяния так спаял пятерку, что следствие могло бы зайти в полный тупик, — если бы не Лямшин, который не выдержал. «Просидел он, однако, взаперти почти до полудня и — вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол. крича, что недостойн целовать даже сапогов стоявших пред ним садовников». Так вот: члены эфемерного «Тайного союза меча и орала», не совершив ничего предосудительного, кроме денежного вклада «для детей-беспризорников», без всякого внешнего повода, понукаемые «внутренним голосом» и опережая друг друга, все как один яви-

лись в губернскую прокуратуру, повторив и приумножив «подвиг» Лямшина. И когда гражданин Кисляевский, мучимый мыслью о своей принадлежности к тайному обществу, пришел, наконец, каяться, надеясь оказаться первым, он столкнулся с совершённой неожиданностью: «Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они создавались во всем».

В азарте глумления над жалкими и трусливыми обывателями, вздумавшими играть роль заговорщиков, сатирики пародировали пародию, создавали карикатуру на карикатуру. «Наши» из «Бесов» бросали тень на деятелей революционного подполья, а члены «Меча и орала», если признать за ними пародийный смысл, снижали трагичность классического романа до уровня губернского водевиля, обнаруживали человеческую мизерность потенциальных заговорщиков-контрреволюционеров и символизировали вздорность самой идеи контрреволюционного заговора в условиях нового режима. Члены «Меча и орала» побеждали тех «наших» их же оружием, а старорежимные излишества, вроде тайных обществ, вытеснились, искоренялись и могли найти себе крышу разве что в дурдоме. Да и говорил же бывший присяжный поверенный Кай Юлий Старохамский, что в Советской России сумасшедший дом — это единственное место, где может жить нормальный человек. «Все остальное — это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма».

Опасные слова, рискованные — даже с поправкой на сатиру. Впрочем, сатирики умели подстраховаться — они не оставили затравленного социализмом бывшего присяжного поверенного в безопасности психиатрички, а выгнали на улицу, на произвол судьбы. Социалистическая революция требовала от граждан однозначного самоопределения, а верные ей «ассенизаторы и водовозы» зорко следили, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь из «муравьиного мира» не прилип к идеологическим твердыням нового строя.

Между тем в знаменитой статье «Достоевский и революция», вызвавшей резкие возражения у марксистской критики, несколько лет кряду проработавшей автора, В. Ф. Переверзев писал: «У Достоевского многому можно научиться, многое понять и на многое трезво взглянуть в происходящей на наших глазах революции. В мощных взлетах революционной волны и ее падениях, в неровном, колеблющемся ритме нашей революции мы увидели бы отражение социальной и психологической раздвоенности мелкобуржуазной стихии»²³.

Мне кажется, эти слова были восприняты сатириками весьма своеобразно,

так что следует отдать должное их изобретательности: они весьма остроумно вмонтировали в авантюрное повествование следы околостоевских баталлий. Вспомним знаменитый полыхаевский штамп, чудо бюрократического гения, дивную резиновую мысль, освобождавшую от необходимости думать и помогавшую правильно откликаться на события. Помимо одиннадцати пунктов о повышении, увеличении, уничтожении, общем росте и т. п., злободневная резолюция содержала замечательный раздел «з», где планировалась беспощадная борьба с головоутием, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и... переверзевщиной. Как и резиновый штамп, сатира — на всякий случай — была по всем мишеням сразу.

Наше время, похоже, сыграло дурную шутку с родственными ему двадцатками. Рассыпались идеологические твердыни, которые во времена Ильфа и Петрова казались окончательной истиной, как никогда актуальны так и «неодоленный» Достоевский. Теперь, задним числом, можно сказать несколько слов в защиту старого мира. Этот мир, ставший объектом насилия, варварского поношения и уничтожения как ненужный реликт, «позорное пятно», пережиток, все-таки выжил и выстоял, может быть, именно благодаря своим большим ценностям, перед которыми оказалась бессильной даже советская сатира, натренированная бить лежачего. Теперь уже очевидно: несмотря на безусловный успех диалогии о жуликах, высмеянные и низвергнутые в ней старые ценности никогда не смешивались с карикатурой на них. То ли авторы-сатирики и впрямь вышли далеко за пределы социального заказа, то ли грубую тенденцию смягчил и вытщил их несомненный талант — перед нами парадокс: «Бесы» сохраняли свою «дурную» репутацию злобной пародии на революцию, а «Тайный союз меча и орала» не вышел за рамки литературной игры и не был даже заподозрен в намерении покуситься на «Бесы». Вопреки гигантским усилиям карающая литература, отрекаясь от старого мира, точно целилась, точно попадала, но не порождала цель; говоря метафорически, «Великий Инквизитор» продолжал пребывать отдельно, а Великий Комбинатор — отдельно.

Сражаясь с Ф. Достоевским карающим мечом сатиры, Ф. Толстоевский был обречен на поражение. Можно сколько угодно не любить Достоевского, а вместе с ним и старую культуру — по причинам эстетическим или любым другим, но бессмысленно и бесперспективно стараться преодолеть их в порядке планового задания.

В оправдание правомерности подобного рассуждения приведу лишь одно наблюдение — о пользе «служения идее», принадлежащее писателю и драматургу «серебряного века» Б. К. Зайцеву. «... Не было еще случая, чтобы выигрывал (внут-

²³ «Печать и революция», 1921, № 3, с. 10.

ренне) художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Вот уж, подлинно, закон, а не благодать! Искусство все построено на благодати и на живой таинственной человеческой личности. Марксизм человека вообще стирает. Он мертв и не благодатен. Враг художника. От него должен всякий, желающий идти «дорогою свободной», отрещиваться, как от нечисти»²⁴.

Мне кажется, что мысль Бориса Зайцева (приведенная в очерке о Максиме Горьком и относящаяся к Горькому), универсальна и касается не только служения марксизму. Независимо от качества господствующей в обществе идеологии или от наличия многих идеологий художник и вообще должен идти «дорогою свободной», дистанцируясь от любой власти, партии, системы. Его гражданская пози-

²⁴ Борис Зайцев. Братья-писатели. Воспоминания. М., 1991, с. 17.

ция и политический потенциал — коль таковые требуются родной литературе — как раз и проявятся в нежелании быть «мобилизованным и призванным», сановным и придворным. Во всяком случае, Достоевский, которого сто лет подряд злобно шпыняли за его обращение к наследнику престола и якобы верноподданное признание («Я, конечно, слуга царю»), роман о врагах престола написал безоглядно, повинувшись своему видению и мироощущению, никем не ангажированному.

Может быть, и «Двенадцать стульев» остаются живым и увлекательным чтением благодаря тому, что идейная установка не властвует здесь безраздельно, что остроумные циники и нигилисты Ильф и Петров, подчиняясь порою букве закона, не восприняли его дух и не погубили свой дар. Хотя как не вспомнить горькую запись конца 30-х: «Юмор очень ценный металл, а наши прииски были уже опустошены...»

Отклик

ВЗЯВ В РУКИ КНИГУ СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФ «СКАЗАНИЯ О ХРИСТЕ» (М., МГУ, 1991, репринт), не переиздававшуюся у нас с 1913 года, невозможно не прочитать ее до конца, на одном дыхании. Многие знают, слышали, что и Ветхий и Новый Завет — самые важные, самые благие для человека книги. Но вот беда: многовековая традиция чтения и толкования Священного Писания была грубо и надолго прервана в России: в современной литературе, к сожалению, практически нет художественных произведений, которые рассказали бы нам историю Того, по Чьим заветам живет большая часть человечества почти два тысячелетия.

Обращение к жизни Христа для шведской писательницы, автора «Саги о Йесте Берлинге», «Иерусалима», «Анны Сверд», а также известного у нас «Чудесного путешествия Нильса Хольгерссона с дикими гусями», было закономерно — ведь Сельма Лагерлёф (1858—1940), литератор, участница движения за права женщин, пацифистка, была человеком, исповедующим главенство нравственных идеалов. Не случайно, присуждая писательнице Нобелевскую премию в 1909 году, шведская академия отметила присущие ее творчеству «благородный идеализм и богатство фантазии». Эти качества в полной мере относятся и к «Сказаниям о Христе».

В книгу входят одиннадцать новелл, основанных на христианских преданиях. С точки зрения жанра, это скорее благочестивые сказания, написанные Сельмой Лагерлёф в самом начале XX века (1902), в эпоху декаданса, когда христианские сюжеты подвергались различной трансформации и обработке (порой не соответствующим евангельскому духу). Из «Сказаний о Христе» читатель узнает о Вифлеемской звезде, о пчеле, которая спасла маленького мальчика от смерти, когда царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола, о том, как Спаситель прошел меж двух колонн, где «нельзя было просунуть и соломинку», и по ржавому лезвию меча перешел пропасть. И двигало им не желание прославить себя, свое могущество, но помочь несчастному, бедной и оболганной женщине, спасти сына бедняка. Писательница подчеркивает в деяниях Христа позицию активного добра, стремление к деятельной, плодотворной любви к ближнему своему. Он шел к униженному и оскорбленному, шел через унижение и смерть. И через это возвысился.

Очень важно и то, что Лагерлёф рассказывает все это живо и убедительно, язык ее прозы в переводе — ясный и внятный, доступный и взрослому и ребенку. Книга вновь заставляет нас вспомнить о завете — «помоги ближнему своему», помоги состраданием своим, порадуйся радости его!

Елена ТРОФИМОВА

Восемнадцатое брюмера генерала Букашева

*Да сейчас любого останови на улице, он тебе скажет, что
всегда был антикоммунистом.*

В. ВОЙНОВИЧ, Москва 2042.

Роман «Москва 2042» был закончен Владимиром Войновичем в 1985 году и вскоре вышел на Западе. Отдельные экземпляры к нам, как водится, попали, кто-то да прочитал, а кто-то и по «Свободе» услышал, в авторском исполнении. Посвященные цитировали с удовольствием: «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично», товарищей дразнили «Дзержином Гавриловичем» или там «Пропагандой Парамоновной»... Искусство по капле просачивалось в жизнь.

Чтение романа было делом приятным во многих отношениях: можно и посмеяться, подивиться совпадениям и — получить бескорыстное удовольствие от виртуозной эстетической игры. Причудливые связи субъекта творческого процесса, писателя Карцева (от его лица ведется повествование), с объектом — романом, который Карцев сочиняет, — осуществляются на самой границе искусства и жизни, оказываясь то по одну, то по другую ее сторону. Сначала Карцев участвует в событиях, которые потом должен описать. Попадая в будущее, он встречается с романом, уже написанным им, но неизвестным ему, поскольку акт писания приходится на тот самый промежуток времени, который Карцев перескочил, перелетая из 1982-го в 2042 год. С удивлением и интересом автор романа узнает о том, что происходило с его персонажами, включая и его самого.

Обратим внимание на мастерский трюк с хронотопом: два времени — время внутри романа, сочиняемого Карцевым, и время, в котором он, писатель Карцев, ищет приключений на свою голову, — постепенно все более и более сближаются. Придуманый Карцевым, высосанный из пальца персонаж, пророк-диссидент Сим Сымч Карнавалов, шлет в адрес правителей будущей Московской коммунистической республики угрожающую телеграмму: «Выступаю походом на Москву...» за подписью «Сим». Это не просто

телеграмма: она послана из текста в реальность. Чтобы изменить ход событий, автор текста, писатель Карцев, меняет имя героя на «Серафима», и мгновенно — времена текста и реальности сошлись окончательно! — приходит телеграмма уже за подписью «Серафим», как очередное доказательство взаимопроницаемости искусства и жизни, вымысла и реальности.

Поначалу мнилось: наворотил что-то Владимир Николаевич, нафантазировал, от почвы оторвался, одно слово — антиутопия. Но все чаще и чаще, описывая нашу жизнь, журналисты оговаривались: прямо по Войновичу... Действительно, прямо по Войновичу в одном городе младенцев в 1987 году начали подвергать обряду звездения (было сообщение в газете). Возрожденное казачество — это уже чуть позже — ввело как меру наказания показательную порку. Прямо по Войновичу появились московские и (тогда еще) ленинградские визитки — попытка хорошей жизни в отдельном взятом городе. А потом пошло-поехало, по мелочам и по-крупному. Демонстрация в стране, находящейся на грани голода и разрухи, американского телесериала из «красивой жизни» — «Даллас». Священники, благословляющие воинство СНГ, или освящающие Моссовет, или изгоняющие бесов из здания КГБ. Приглашение простого генерал-майора КГБ в губернаторы края. Возведение отечественными монархистами бывшего члена КПСС, Президента России в великокняжеское достоинство. Аббревиатура ГКЧП, изысканно рифмующаяся с КПГБ, правящей партией Москорепа. (Не говорю уже об объявленной простодушными гэкачепистами двухнедельной инвентаризации, из которой чудесным образом — как из вторичного продукта в 2042-м — должны были получиться продукты, товары и т. д.). А Михаил Горбачев на форосской даче в Крыму — чем не персонаж Войновича, творец Великой Августовской (sic!) Революции Леша Бу-

кашев, который из космического далека «смотрел в нашу сторону с выражением такого отчаяния, которое можно увидеть только на лице человека, ожидающего казни»...

Если бы писатель экстраполировал, а затем разоблачал идею коммунизма, то разговаривать особенно было бы не о чем (см. эпиграф). Но тут дело в самом утопическом соблазне, на который падок русский человек. В романе «Москва 2042» не один (как кажется на первый взгляд) и не два (как заметили критики П. Вайль и А. Генис — «Независимая газета», 22.01 1991) утопических проекта, а целых четыре — множественность, имеющая качественный смысл. Основное действие романа разворачивается в обществе, возникшем в результате осуществления утопических идей Букашева, простого генерал-майора из органов. Его проект, родившийся в аппаратных недрах, — это революция сверху, так сказать, 18 брюмера в совдеповском варианте. В финале романа на смену ему приходит монархистски-православная утопия бывшего зэка Карнавалова. В виде мечты присутствует здесь и левацко-романтическая утопия — эту утопию выбирают, в буквальном смысле слова, из юного террориста исполнители утопии Букашева (она же, кстати, снится ошалевшему от столкновения с будущим Карцеву). И наконец, проект биолога Эдисона Комарова, реализующийся на лабораторном уровне — в создании эликсира жизни и суперчеловека, жестоко отредактированного в соответствии с логикой первой утопии. Вот так утопия утопию погоняет и на утопии мчится — в никуда...

Всякая утопия, кроме мечтаний о прекрасном (или неосуществимом), спровоцирована желанием получить из ничего нечто различными способами: посредством перераспределения, инвентаризации, замены плохих начальников хорошими (Платон, например, предлагал в начальники философов, а при нехватке таких — рекрутировать их из воинов) и т. п. Но в своем осуществлении утопия неизбежно влечет за собой диктатуру (см. об этом: В. И. Ленин, работа «Государство и революция», та самая, которую читал бедный юный террорист-утопист, правда, по-немецки). П. Вайль и А. Генис отметили, что жизнь Москорепа 2042 года — один к одному военно-казарменный коммунизм, который был описан Зошенко, Булгаковым, Ильфом и Петровым. Действительно похоже. Но — похоже в той мере, в какой склад мышления Троцкого, например, похож на склад мышления современных его сынов: А. Проханова, у которого, как известно, один комплекс — военно-промышленный: С. Куняева — с его истовой молитвой «Упаси нас, ЦК и Лубянка...»; К. Раша, считающего, что сто офицеров всегда будут выше ста «граждан любых категорий». Впрочем, в том же направлении шел и прогрессивный режиссер С. Говорухин: «Если все будет продолжаться так, как идет сей-

час, следующей мерой будет милитаризация труда... военные — это ведь не всегда «черные полковники»... Пиночет навел порядок в экономике и отдал власть демократам» («Советский спорт» 8.01.91).

Все это не только эксцентричные, но и естественные проявления российского менталитета. Носители утопического и, как следствие, милитаризованного сознания, мы, в сущности, не живем (так жить нельзя!), а воюем, бьемся, захватываем, отступаем, высаживаем десант, принимаем меры. Уж не знаю, кто в этом виноват — большевики ли, самодержавие, крепостное право, евреи, первая мировая... А может, просто подсознательная компенсация российского «авось»? Должна же быть хоть какая-то компенсация!

Великая Августовская Революция началась в романе Войновича с заговора рассерженных генералов и с введения режима, который до пучка (не нашлось-таки своего Пиночета!) назвали бы у нас как-нибудь изычно: «прогрессивно-военный» или еще лучше «военно-гражданский» (см. газету «День», № 8 (май), 1991). Генералы были все как на подбор: молодые, красивые и наверняка хотели только хорошего. Однако назревшие проблемы они стали решать по-простому — по-армейски. От граждан, то есть людей гражданских, требовали увеличить добычу, усилить дисциплину, бороться за... — все до боли знакомое. Разбили граждан в соответствии с потребностями на категории (привет Рашу!), возникли замечательные столовые с сержантами у входа (и полевым кухням Проханова привет!). Союз писателей обустроили по типу школы прапорщиков (заслуженно — не комиссарьте!), а критикой непосредственно занялись органы БЕЗО (почему бы это?). Ну а Букашев, произведенный в Генералиссимусы, с космического корабля сам наблюдал за исполнением приказов. Могло ли из этого получиться что-нибудь хорошее?

Простодушная вера в то, что можно все наладить, перенеся в обычную жизнь армейские порядки или подчинив ее суровым законам военного времени, — это и большой соблазн (приятно из ничего получить нечто), и большая беда (но не получишь). Армейский инстинкт заставляет предполагать, что от приказа до выполнения только один шаг, и тот по прямой. Объявить новый порядок и ввести его с завтрашнего, а еще лучше — с сегодняшнего дня, как на оккупированной территории.

Вот по прямой шагает в романе альтернативный лидер Карнавалов. И, что характерно, не ошибается. За считанные часы вводит он в коммунистической Москве «веру православную, власть самодержавную плюс народность». Его проект — зеркальное отражение проекта Букашева (правое становится левым, левое — правым). Потому-то коммунисты чудесным образом оборачиваются в монархистов, пятиконечные звезды сменя-

ются крестами, органы госбезопасности переименовываются в Комитеты народного спокойствия, районы — в губернии... Словом, все как у нас сейчас, и даже перечислять страшно — кажется, что все мы вышли из шинели, скроенной Войновичем, или он слишком хорошо знал, по кому кроит шинель.

Сказать, что Сим Симыч — пародия на Александра Исаевича, — значит, ничего не сказать о смысле этого персонажа в романе. С ним связана, может быть, важнейшая проблема — сотворение кумиров, той легкомысленной охотливости, с которой мы принимаем идеолога (и идеологию), будь то Сталин, Ленин, Сахаров, Солженицын, Горбачев, Ельцин, неважно... Того идеологического экстаза, который так удобно подменяет работу интеллекта и души и просто работу как таковую. Тоталитаризм ведь не выдумка, навязанная какой-то одной злойредной личностью или группой: он возможен только при содействии масс, народа.

Войновича давно интересовало возникающее между ведущими и ведомыми психологическое, эмоциональное пространство, на котором происходят любопытнейшие вещи. В давней своей повести-притче «Владычица» (1968) писатель показал и потребность человеческого общения в ведущем и, что не менее важно, зависимость ведущего от массы. Пафос притчи был трагическим: как бы помимо воли героиня ее становилась Владычицей в своей деревне, но нарушала, будучи не в силах нести бремя власти, правила игры и погибала. И вот ходит глашатай и созывает народ новую Владычицу выбирать, а все боятся. Но потихоньку одна дверь приотворяется, потом другая: не думая, повинувшись инстинкту сообщества (или толпы), кто-то готовится принести себя в жертву на алтарь власти. И тогда, в конце 60-х, это казалось всей правдой.

Но там все-таки речь шла не то о тринадцатом, не то о четырнадцатом веке. А вот повесть о Вере Фигнер и народо-вольцах — «Степень доверия» (1972) обращена уже к иной исторической реальности. Здесь возникает принципиально новый вопрос — о приуготовлении к власти, заложенном в работе революционеров, оппозиции, подполья. И о том, что «для того, чтобы перекраивать мир, надо слишком хорошо о себе думать, надо верить в свои силы и в то, что ты имеешь право навязывать другим тот образ жизни, который считаешь правильным».

В начале 80-х, когда власть в нашей стране окончательно воплотилась в карикатурном образе Брежнева, а альтернатива ей — в куда более привлекательном образе борца с коммунизмом Солженицына, писатель вышел на тему ведущего и ведомых. Сим Симыч Карнавалов от слежен, как говорят разведчики, в романе с самого начала своей политической карьеры до ее высшей точки. Непримиримый враг «заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов», быв-

ший эзк был чужд всякой суетности: его не волновали ни гонорары, ни известность, ни быт. Подвижничество, самоотречение, аскеза — качества в русской жизни чрезвычайно ценные (на том, собственно, мы и сгорели). Таков был Чернышевский, таковы были русские террористы, которые шли, сотворив молитву, на убийство и потом гибли сами. Таковы были — до революции — все наши революционеры: и Ленин, и Сталин, и Дзержинский... Их любили за то, что они ничего не хотели для себя (вернее, ничего из того, что хотят для себя обычные люди), ставили общее благо выше личного, а, кроме того, будучи мучениками идей (привет Валерии Новодворской!), сохраняли верность своим убеждениям. Вопрос о том, хороши ли убеждения, оказывался второстепенным.

В романе «Москва 2042» этому типу личности отдано должное. Положительными героями (насколько они возможны в ироническом повествовании) выступают здесь в первую очередь, конечно, тот же Сим Симыч, и юный террорист, не сломившийся под пытками в «прекрасном будущем», и отец Звездный, который так и погиб, не «перестроившись», в отличие от подавляющего большинства своих соратников, и генерал Букашев, с благородным достоинством принявший крайне невыгодные для себя результаты своего эксперимента. Нам сегодня трудно сочувствовать их взглядам, но невозможно не признать их человеческого достоинства и высоты духа. Здесь-то и запятая...

Карнавалов — личность харизматическая, а значит, заставляющая подчиняться себе на иррациональном уровне. Повествователь Карцев пытается иронизировать над пророком в изгнании, отыскивает его слабые, уязвимые места, но выпасть из сферы его влияния не может. «Эта сила меня каким-то образом гипнотизировала, выводила из состояния равновесия, никакие реальные причины не вынуждали меня ей подчиняться, но не подчиниться ей я мог, только оказав отчаянное внутреннее сопротивление», — вот классическое описание действия харизмы, качества, которым раньше обладали колдуны, пророки, предводители на охоте и в походах за военной добычей, а в более поздние времена — политические и государственные мужи, главы партий и т. п.

Когда Набоков принес в редакцию «Современных записок» (дело было в Париже в 1937 году) роман «Дар», опубликовать его согласился, но — только без IV главы, представляющей собой жизнеописание Николая Гавриловича Чернышевского, кумира демократически настроенной интеллигенции. То было одно из характерных российских недоразумений, когда литературу приняли не то за донос, не то за историю болезни. Наше отношение к властителям дум поистине религиозное и, как ни удивно, не европейское — разве что мусульмане от-

носятся так к Мохаммеду (вспомним о смертном приговоре, объявленном в 89-м году автору «Сатанинских стихов» Салману Рушди).

Из-за образа Карнавалова выглядывал сам Александр Исаевич, поэтому «Москву 2042» и журналы печатать не спешили и критики как-то вниманием обходили. А если и писали, то с оговорками: дескать, «эволюция образа... не позволяет все-таки отождествить Карнавалова с Солженицыным» (П. Вайль, А. Генис. Две утопии Владимира Войновича. — «Независимая газета» 22.01.91). Ну, не позволяет и не позволяет, у автора-то вообще другие задачи... Но здесь ведь вся мера нашей несвободы видна. И какая, в сущности, разница, где находится источник этой несвободы — на Старой площади или в Вермонтском «обкоме»? И где она отзывается, в Нью-Йорке ли, в Москве ли...

Демократия нам не личит, считает (в романе, в романе, господа!) Сим Симыч, и он, к сожалению, прав. Особая приуготовленность сознания к кумиру, пассивно-инфантильная зависимость от него (царь-батюшка, отец народов, властитель дум) — свойство, которое мы сами должны хотя бы осознавать, если пока не способны от него избавиться. И, может быть, православная Россия так легко в 17-м году перечеркнула христианство потому, что в ее подростково-менталитете не было еще изжито языческое поклонение кумирам, — а кумиры в отличие от единого и неделимого Бога вполне взаимозаменяемы. Не изжито оно и сегодня, о чем свидетельствует выдвинутое после путча предложение поставить на место снесенного в демократическом экстазе железного Феликса Эдмундовича фигуру — кого бы, думаете? — Александра Исаевича!

Никто, кажется, не заметил, испугавшись за Солженицына, что согласно роману Сим Симыч оказывается прав во всем — с его-то утопией Войнович пока не разделался, и это предупреждение. Нет, не зря Сим ворочал свои «глыбы»: его воздействие на умы поистине беспредельно, им восторгаются даже те, кому хотя бы по должности и на дух его принимать нельзя. Движение симитов охватывает поголовно всех — от рядовых граждан до высших чинов БЕЗО. Или наоборот — от высших чинов БЕЗО до прочих. На подпольной сходке симитов Карцев, к своему большому удивлению, обнаруживает Держина Гавриловича Сиромехина, генерал-майора БЕЗО и тайного симита (а может, и цэрэушника — нет ничего абсурднее политического мира). И не случайно российское революцион-

ное подполье всегда оказывалось в каких-то странных, интимных отношениях с органами, до 17-го года в ходу было даже такое замечательное определение — «жандармско-революционный мир», обе части которого равноправны и взаимопроницаемы. А вот и свеженький пример, февраль 1992-го, газета «Коммерсантъ» (№ 8): «Наш проживающий в Мюнхене соотечественник В. Н. Войнович укрепил свою заслуженную репутацию поэта-пророка... Пророчество сбылось даже на пятьдесят лет раньше, а в роли Держина Гавриловича выступил генерал-майор ГВ А. Н. Стерлигов, под началом которого созданный в Нижнем Новгороде Славянский Собор сурово анафемствовал заглотных коммунистов, прихлебных плюралистов и, как водится, евреев».

Сейчас вот принято большевиков ругать. Дескать, если бы не они, то мы бы... — далее обычно приводятся данные по состоянию, ну, допустим, на 1913 год. Но если, так сказать, опрокинуть утопию назад и трезво прикинуть, что бы было, если бы большевики тогда власть не взяли... Их наверняка и сегодня бы все любили, и простые граждане, и жандармы, — как мучеников идеи с нелегкой судьбой. И коммунистическая идеология по-прежнему бы казалась привлекательной и многих бы с толку сбивала, как в нашей стране, так и за ее рубежами. Так что с коммунизмом можно было покончить только одним способом: перехватив власть и доведя безусловно импонирующее людям учение на практике до логического конца, что сделал в жизни Михаил Горбачев, а в романе Войновича генерал Букашев. Результаты их политического творчества развивают и последние — на сегодняшний день по крайней мере — иллюзии относительно «Liberté, Egalité, Fraternité» — этого привлекательного лозунга Великой французской революции. Да, надо было пройти путь до конца, чтобы понять, что путь не тот. И в этом смысле Россия, дав миру урок, исполнила свое мессианское предназначение.

«Я описываю только то, что было, и ничего лишнего», — подчеркивает просто-душно-лукавый повествователь «Москвы 2042». «Ничего лишнего» — означает прежде всего, что книга эта не о том, что будет с Россией, а о том, что в ней было и есть. Форма будущего времени — 2042 год — в данном случае не футурологическая (и уж вовсе не научно-фантастическая), а чисто художественная. Оттого и оказывающаяся пророчески более точной, чем любой специальный прогноз. К сожалению.

Роман... с газетой

Наверное, автор всегда рискует, когда вносит изменения в свои произведения, которые уже имели успех у читателя. Но Евгений Попов рискнул. Рассказы разных лет, многие из которых ранее публиковались (в том числе и в первом «отечественном» сборнике «Жду любви невероломной»), он, если можно так выразиться, перемонтировал, объединив на жестком структурном каркасе. Каждая «глава» книги «Прекрасность жизни» связана с определенным годом жизни и названа этим годом — «Глава 1961», «Глава 1962» и так далее — до «1985-й» и эпилога.

В предисловии автор описывает конструкцию своей книги подчеркнуто структуралистски: «Прекрасность жизни» устроена следующим образом: каждая глава включает в себя: 1. Текст, ориентировочная дата написания которого совпадает с нумерацией главы. 2. Газетную цитацию за этот год. 3. Текст, условно датированный первой половиной 80-х годов XX века». Причем такая «троичность» соблюдается во всех главах романа неукоснительно, создавая тем самым устойчивую раму для чрезвычайно причудливых зрелищ.

Начнем... с середины — с того, что Е. Попов скромно называет «газетной цитацией». На самом же деле это поразительно исчерпывающая картина жизни нашего общества за тридцать последних лет. На первый взгляд каждая «подача», говоря тем же газетным языком, составлена достаточно произвольно: информация о важнейших политических событиях в стране и за рубежом «вдруг» перебивается «лирическим» репортажем из глубинки, «взволнованным» письмом знатного сталиевара, фрагментом стихотворной публицистики... И все это — с подлинными именами, названиями. Впрочем, вряд ли кто из тех, чьими именами подписаны «здешние» стихи и проза, смог бы угадать свое авторство — настолько отчуждены они суконно-лживым языком «застойной» прессы не только от конкретной личности — от человека вообще. Читаешь «серединки» глав Е. Попова — и не устаешь поражаться: как мы десятилетиями изо дня в день читали такое и не возмущались, не хохотали до упаду, не сходили с ума?!

Именно в этих вставках и разворачивается собственно авторский «роман с

газетой». Сначала мы обнаруживаем среди прочих газетные очерки самого Е. Попова, затем его имя начинает мелькать в пресловутых «обоймах» многообещающих молодых. Наконец, в хронике «Метрополя» он вместе с Вик. Ерофеевым ненадолго становится главным героем газетной части книги — статья Ф. Кузнецова «Конфуз с «Метрополем»» приводится в романе почти целиком, вслед за датированной тем же годом информацией о присуждении Брежневу Ленинской премии за его бессмертную литературную трилогию...

Вообще литературная жизнь страны занимает в газетных «вставках» романа особое место: калейдоскоп ее складывается в основном из информации о «неделях литературы», щедро разбросанных по карте Родины, поздравлений с полувекowymi и более юбилеями, наконец, некрологов, в которых фигурирует не одна сотня советских писателей, в большинстве своем неведомых даже самому искушенному читателю. Жизнь писательского союза предстает здесь каким-то совершенно отчужденным от остальной жизни страны островом.

Рядом с восхваляющим властью официозом — бравые отчеты о молодежных писательских совещаниях и, конечно же, политическая хроника: многочисленные обсуждения и осуждения и не менее многочисленные клятвы верности партии и ее головокружительно быстро меняющимся в эти десятилетия вождям. Тут у Е. Попова, безусловно, есть «любимчики»: особенно охотно цитирует он Г. Маркова, С. Михалкова и Ф. Кузнецова, нарушая тем самым заявленную объективность хроники. Но и понять автора можно: очень уж выразительны их «тексты»!

В этом однообразно-мутном потоке мелькают, правда, серьезные оценки творчества А. Битова, Ф. Искандера, Г. Матевосяна, А. Кима, «крамольные» мысли о литературе, нравственности, культуре и даже религии, взятые из тех же газет второй половины века. И — отрывки из дневников, отдельные высказывания, стихотворные строчки века минувшего, на безусловном фоне которого разворачивается «художественная часть» книги.

Рефлексируя в «Малой родине Федора», Е. Попов патетически вопрошает себя и читателя: «Опять об... этом, что ли?

Аллитерация о литераторе? Аллюзия об иллюзионисте? Сочное про сочинителя — «нечистую расу с грязным запахом кожи (О. Мандельштам, неточно)?

Да...

Нет...»

Но скорее все-таки «да», чем «нет»: роман-то с газетой не у нас с вами, а у самого «лирического героя», уроженца «сибирского города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан». В разных главах романа получает он разные имена и биографии и все-таки всегда узнаваем, как узнаваемы и другие герои, перебирающиеся из рассказа в рассказ.

И ведь не случайны же они, в самом деле, эти каламбуры — да, действительно о литераторе: он, что ни говори, главный герой книги — и действительно, аллитерация, ибо звук, звучание слова в книге Е. Попова оказываются столь же значимыми, как в поэзии. Он тщательно «проверяет» имена и фамилии, прежде чем «приклеить» их своим героям. Он внимательнейшим образом вслушивается в звучание их речи, чтобы затем до неузнаваемости преобразить, нарочито деформировать ее другим, внешним, газетным звуком. И в результате шофер-крепыш заявляет вдруг герою насчет бензина: «Да слить-то ведь можно бы... Ведь, однако, не ворованное, а излишек, образовавшийся вследствие экономии и неперережога, связанного с мастерством вождения. Но руководством это материально не стимулируется, о чем писали в газете «Правда», отчего раньше иногда сливали в канаву, а сейчас, после повышения цен на бензин, и продаем, чего уж тут грех скрывать, если не стимулируют».

Газетная проказа раздвигает речь персонажа, а затем — и автора, рассказывающего (абзацем ниже) про деревню Горюдня, «памятную тем, что, находясь в этой деревне, французский император Наполеон I дал приказ своим войскам отступать по Старой Смоленской дороге ввиду того, что его война против России заканчивалась небывалым поражением и разгромом, давшими толчок освободительному движению россиян против сложившихся к тому времени порядков». Путеводитель и школьный учебник в этой цитате не переварены, как почти все в газете.

Разумеется, Е. Попов делает это сознательно, даже демонстративно — он вообще любит раскрывать прием, играть с читателем «в открытую». Например, перескажет «своими словами» — попеременно с чеховскими — рассказ классика «Налим» и тут же отошлет к источнику: «мною был сегодня использован для лечения рассказ доктора Чехова «Налим», за что я приношу автору глубокую благодарность и извинение». Речь идет о рассказе «На кол», герои которого, частью сохранив, частью же утратив чеховские имена, вместо ловли налима заняты тем, что сажают на кол... пространство и время, изъясняясь при этом следующим образом: «Не бэ, ребята! Царство

Божие внутри нас! Мы еще увидим небо в алмазах! А то, понимаешь, есть тут некоторые, воздвигли себе, япон мать, памятник нерукотворный на фиг, взирая в древность, как народы изумлены!»

Это уже — «аллюзия иллюзиониста», причем в самом чистом виде. Рассказы Е. Попова, собранные в роман, вообще пронизаны аллюзиями и реминисценциями разной степени «прозрачности». Его герои — причем любого социального и образовательного уровня — налево-направо цитируют русскую классику, попадают в чисто «цитатные ситуации», сами не ленятся сочинять. А уж литераторы!.. Стоит одному из них вспомнить, как его собиралась было поцеловать девочка, так уж тут как тут и упоминание о том, что «роман В. Набокова «Лолита» удостоен Орловской премии за укрепление любви между всеми народами», и упоминание «Алисы в стране чудес», тем же писателем переведенной на русский, и характеристика колдуна Ерофея, потустороннего ученика древнего волшебника дяди маркиза де Сада и, как известно, комментатора книг Набокова. То есть не успеваешь читатель понять, откуда ветер, как автор ему тотчас же: «Да, да, правильно угадал, молодец!»

Впрочем, бывают игры и посерьезнее: ведь вот, скажем, не сразу и не всякий читатель «врубится» в контекст «Женитьбы», вместе с автором думая о «храбрости русского человека, подмеченной Гоголем»...

Русская литература не все поминается Е. Поповым, она стоит за всей его прозой как фон, вне которого рассказы писателя превратились бы в простое бытописание, пересказывание случаев и анекдотов. Но ведь не случайно первый же рассказ в книге — «Спасибо» — о том, как юный герой не сдал букинисту собрание сочинений Паустовского. Вернее, как у него не приняли эти книги, навсегда связав его тем самым с настоящей (не газетной!) литературой.

«Спасибо» выбивается из основной стилистики поповской прозы, что еще раз показывает принципиальную важность этого рассказа, его ключевую роль в книге. Здесь отнесенность жизни к литературному контексту прямо декларируется, далее же самыми разными способами демонстрируется и доказывается.

Действительно, порой кажется, что персонажи Е. Попова словечка в простоте не молвят: даже встретившись на охоте с неведомым чудидцем («баскервильским» — «наводит» автор), они восклицают: «Гребаный Конан Дойл!», а не что-то иное.

В этом экзотическом словосочетании — еще один ключ, на этот раз — к стилистике прозы Попова. Кроме иронически переосмысленной газеты, она столь же органично вбирает в себя то дикое смешение блатного и интеллектуального сленгов, на котором говорит и мыслит большинство нынешней интеллигенции, особенно — столычиной. Но ведь пицц-то

все ее «представители» при этом на совсем ином языке! И нужно было явиться из сибирского города К., что на реке Е., чтобы увидеть эту раздвоенность со стороны — и снять ее, впустив в прозу живой, пусть и обезображенный временем язык.

На нем же, кстати сказать, сконструировано и само название книги «Прекрасность жизни». В рассказах, составивших роман, употребляется оно нередко, причем всегда почти со ссылкой на авторство Е. Попова. Сам же он утверждает в предисловии, что «пафос предлагаемого сочинения заключается в том, что жизнь прекрасна, потому что она — есть, а вот если ее нет, то она уже не прекрасна».

Перечитывая такие рассказы, как «Светлый путь», «Плешивый мальчик», «Дрянная, дрянная, дрянная, испорченная...», убеждаешься, что автор ничуть не лукавит: он действительно умеет увидеть прекрасность жизни в самом, казалось бы, безобразном ее проявлении. Не бичует героев и не унижает их «пониманием» — живет вместе с ними. Какие они — такой и он. То есть, конечно же, не вполне такой же, ибо — пишет. А значит, имеет ко всему, о чем пишет, свое отношение, открыто нигде в романе не

выраженное, но очевидное для всякого умеющего читать.

Кстати, если автору верить, то выражение «прекрасность жизни» принадлежит даже и не ему, а его «приятелю в штатском» Кешке. Этой «переадресовки» одной иронией не объяснить — просто прекрасная жизнь так устроена.

...Зато финал книги кажется совсем простым: потрепался автор с музой, спели они с ней вместе гимн пресловутой прекрасности жизни и... Вот в руках его уже новая газета, почти сегодняшняя. Вроде бы и есть чему порадоваться, а нет — и тут автор то замирает, то ежится. Но вот он наконец-то и руками взмахнул, узнав, как Архип Сидорович Максименко из Черниговской области, 43 года назад потерявший на фронте речь, вдруг заговорил, «да на таком чистом, певучем украинском языке, что даже односельчане теперь удивляются».

От чего же тут руками-то махать, спрашивается? От того, что газетчики всё по-прежнему пишут? Или что в жизни нашей ничего не меняется? Или правда — не все в ней, такой прекрасной, так уж и просто, как газеты писали, пишут и долго еще писать будут?..

г. Самара

От слова первого д о т о ч к и

Со словом надо обращаться бережно. Тем более если слов, которым еще можно доверять, осталось так мало и с каждым днем становится все меньше. Процесс этот начался не вчера. Еще обэриуты одну из задач своего творчества видели в том, чтобы выявить значение слова как такового. Похожую задачу ставили перед собой и поэты так называемой «лианозовской школы», чье творчество только теперь пробилось к широкому читателю (см., например, сборники и публикации Я. Сатуновского, Е. Кропивницкого, И. Холина, Г. Сапгира, Вс. Некрасова, а также статьи В. Кулакова в «Литературном обозрении» № 8 за 1989 г., в «Вопросах литературы» № 3 за 1991 г., М. Айзенберга в «Октябре» № 11 за 1990 г., в «Театре» № 4 за 1991 г.). Обреченные на замалчивание со стороны средств массовой информации и на очень непростую читательскую судьбу, поэты-лианозовцы все эти долгие годы стремились сохранить право на самостоятельную мысль, самостоятельное, не «казанное» высказывание, сохранить за словом его первое, исконное, прямое значение, сократить дистанцию между речью и поэзией. В известной мольеровской пьесе герой был поражен тем, что он говорит прозой. Поэты-лианозовцы убеждают читателя в том, что можно разговаривать стихами. Осознать это довольно сложно. Мешают стереотипы восприятия поэтического текста. Отсюда часто возникающее при столкновении с речевой поэзией недоумение: это — стихи? Да так любой может! Нет, не может. Сознательно — не может. Речевой стих, несмотря на высказывание Всеволода Некрасова, —

речь, как она есть
иначе говоря
речь, чего она хочет, —

все же не просто речь, не просто разговор. Функция слова в речевой поэзии подчеркнута поэтическая. Слово и целое высказывание в ней предстает перегруженным смыслом, неслучайным. За это слово надо отвечать, и поэт несет за него ответственность, как художник-концептуалист несет ответственность за эстетическую и смысловую ценность предмета, выставляемого в качестве предмета искусства.

Среди последователей лианозовцев Иван Ахметьев, несомненно, один из самых цельных и своеобразных поэтов. Его связь с «лианозовской школой» достаточно очевидна. Не случайно предисловие к единственной книге И. Ахметьева, вышедшей в серии «Труды и тексты по славистике», издаваемой профессором Вольфгангом Казаком, написано одним из ведущих поэтов этой школы Всеволодом Некрасовым.

На первый взгляд Иван Ахметьев предлагает нам не мудрствуя лукаво посмотреть еще раз на простую жизнь: нырнуть в жерло универсама, заскочить к приятелю на кухню, посидеть, поболтать, а затем выйти в ночь:

Посмотришь на звезды
пойдешь не спеша.

Но обыденность предстает перед нами в совсем ином качестве, в качестве собственной жизни, словно мы остановились, огляделись вокруг после долгого бега. Поэт не открывает новых земель, он воскрешает повседневность:

поднимаюсь по эскалатору,
ищу жемчужину в песке.

Вспомнил это двуступище в подzemке — подумал, сколько еще остается за кадром неожиданного. Впрочем, неожиданность сама по себе не находится в фокусе ахметьевского внимания, поэта интересует человек, конкретные бытовые и психологические ситуации:

я выключил свет
на этом кончился день.

Как сократить дистанцию между нами и воспринимаемым текстом? Бывают же минуты, когда она пропадает. Вспомним пятидесятый псалом Давида, утреннюю молитву: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...» Эстетического любования нет, есть живое слово, обращение. Но молитва и поэзия разошлись достаточно далеко. На первое место в поэзии выдвинулось именно понятие инактивности, эстетическое впечатление происходит не от переживания, а от сопереживания. Дистанция, на которой такое сопереживание возможно, вполне определенная. При увеличении ее сверх допустимых пределов читатель уже теряет и возможность, и способность про-

никнуть «за текст», восприятие произведения становится сродни восприятию циркового представления, построенного именно на эксплуатации эмоций «не может быть!». Вероятно, поэтому такое распространение — небывалое — в современной поэзии получили «иронические», «абсурдные», то есть клоунские тексты.

Но означает ли это, что только в высокой сфере наше сознание способно преодолеть оппозицию: я — это я, а текст — это текст, нечто чуждое мне, овнешненное? Ахметьев доказывает: нет. Мы по минутно узнаем в его герое — себя, сталкиваемся с собой — не он, а мы могли бы это сказать, почувствовать, подумать:

может быть
мы многого не знаем
а может быть
мы не знаем
ничего существенного

Ахметьев избрал центром тяготения житейскую правду городского жителя. В его стихах нет ни деревенских избушек, ни солнечных заводов, ни полета птиц. Речь постоянно остается сдержанной, скупой. Город то давит человека, то отпускает его, подсовывая в качестве сладкой пилюли размышления журналиста-международника о жизни на Гавайских островах.

Что касается лирического героя, Ахметьев деромантизирует его, заставляет «жить как все». И судьба этого героя — Поэта — свидетельствует об определенной эпохе, об уровне сознания принадлежащих к ней людей. Так как же жил Поэт в недавнем безвременье?

муж уважающий себя
на коем держится семья
таких ботинок не наденет
какие я ношу, бездельник.

Таков социальный фон. Кем именно работает Поэт — не сказано, хотя можно и догадаться:

пожарник, сторож, истопник —
уж больно выбор невелик.

Нередко в стихах Ахметьева слышится глухой спор-диалог. Причем его первый «официозный» участник оказывается словно за кадром, — его мысли известны большинству и не требуют уточнений. А вот некоторые реплики второго участника спора:

с самого начала
ни хрена радостного

Или:

я обязан указать
сколь многим я обязан
вам и вашим указаниям
о моих обязанностях.

Как поэт И. Ахметьев формировался в сумеречное время. В период окончательного утверждения «homo soveticus». Может быть, лет через сто многие реалии в его стихах будут совершенно непонятны читателю. Но это не главное. Они точно и безжалостно передают дух этого времени и боль личности, не желающей превращаться в быдло.

Этому способствует необычная форма стиха — фрагмент, а точнее — момент. Мне кажется, она вполне соответствует хаосу наших дней — вечная спешка: урывками книги, встречи; какие-то выбросы в сознании — подобие клубов пара. Новые веяния, моды, находки. Все меньше и меньше остается устойчивого, стабильного, протяженного. Приходится доверять немногому и соображать быстро.

Достань ручку, запиши — и двигайся дальше. Кажется, и любой из нас смог бы совершить подобную операцию: возникает иллюзия — мы не только узнаем самих себя в текстах, мы сами и пишем их, нет никакой пленки искусства, читатель сливается с автором. Правда, в связи с этим у меня возникают некоторые опасения: а готов ли читатель принять такую игру? сумеет ли разглядеть за внешней простотой строгий, мастерски выполненный рисунок? И фотографию одно время не считали за искусство — ну что там сложного: зарядил пленку, нажал на кнопку — и готово.

Нередко в своих стихах поэт демонстрирует прием, словно объясняя «как делать стихи», заставляя читателя вспомнить об условности художественного произведения:

— ну окно здесь для рифмы
как ты не понимаешь
— а что не для рифмы?
— ничего не для рифмы.

Дистанция между читателем и эстетическим объектом постоянно варьируется, и этим уже достигаются определенные художественные эффекты: каждый последующий текст непредсказуем, неясна заранее позиция автора и, следовательно, место читателя. Приходится поминутно думать: в какой точке поэтического космоса я нахожусь? каковы ее координаты? и почему все же она относится к поэтической области? Иногда это возникает благодаря неожиданному образу, порой — из-за неочевидного семантического сдвига, из-за новизны интонации. А бывает так, что все дело в паузе, в зазорах между строками:

пауза
которую я сделаю
прежде чем ответить
скажет вам больше

В заключение мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что организующим началом в ахметьевских стихах является все-таки не голая эстетика, а эстетически переживаемая этика. Поэт не просто ставит нас перед зеркалом — не мы оцениваем материал: моральные оценки уже проставлены автором. Более того, некоторые стихи И. Ахметьева я бы назвал христианскими. Ведь не только содержанием и не только формой определяется духовность текста. Вспомним одну из вечерних молитв. То место, где мы просим у Бога отпустить нам грехи, «яже содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи». Эти грехи —

неправдоглаголение, уныние, ненависть, самолюбие и другие. Ясно, что, если хотя бы один из них явлен, так сказать, зримо в тексте, мы никогда не назовем

этот текст христианским. И наоборот. Неважно, кому принадлежит слово. Дух Божий веет где хочет. И в авангардной поэзии — тоже.

Иван АХМЕТЬЕВ

Н а с в о й л а д

* * *
муравьи-строители
и муравьи-мыслители

муравьи-строители
инстинкту повинуются

а муравьи-мыслители
с инстинктом соревнуются

* * *
и помни
нельзя им показывать
что ты слишком сильно
хочешь на волю

* * *
чем продолжительней...
тем удивительней...
Ну и
так ничего
удивительного
и не сказал

* * *
еле-еле
поймал я свою душу
когда она убегала
вниз по течению
струящегося своего
сна.

* * *
труд создал
из человека обезьяну
из обезьяны — мышку
из мышки — лягушку
из лягушки — рыбку
из рыбки — губку
из губки — туфельку
а туфелька
трудилась-трудилась
и прохудилась.

* * *
куда нам спешить
спешить нам некуда
я никогда не спешу

* * *
больше всего увидишь
если замрешь на одном месте
на зиму
лето
ночь
день
как старый чемодан на балконе

* * *
я
правда
так не умею
но я и не понимаю
зачем это надо

* * *
и как чувство это было
эфемерно-мгновенно
так и воспоминание о нем
трудноуловимо

что и описание его
весьма приблизительно

* * *
камни существуют
деревья растут
звери живые
я думаю
Бог есть

* * *
погружаясь в воспоминания
я вижу
как много было необыкновенного
значительного
далеко превосходящего
скромные масштабы
моей личности

Уважаемые читатели!

Еще недавно мы не имели свободы творческой и были связаны по рукам и ногам цензурой и идеологическими надсмотрщиками. Сегодня же — испытываем монопольный гнет бумажников, «Союзпечати» и городских властей самых разных уровней. Издательство повышает цены на типографские расходы, которые в течение года (хотя подписка проходит единожды в году) возрастают в пять—десять раз. Бумажники взвинчивают цены на бумагу; «Союзпечать» только за проведение подписной кампании и доставку предполагает брать чуть ли не одну треть стоимости номера. Со стороны городских властей и городских служб повышается стоимость различных услуг в 20—50 раз. И, оказывается, все это — за счет читателей, потому что иной финансовой базы у литературных журналов сегодня нет. Уже в феврале по сравнению с январем цена нашего журнала возросла с 5 руб. 80 коп. до 14 руб. 31 коп. Мы даже не можем предположить окончательную стоимость подписки на следующий год. Видимо, 18—20 рублей за номер. Если иметь в виду, что пища духовная столь же неотъемлемая часть человеческой жизни, как и хлеб насущный, то становится ясно, что при подобном давлении на литературу наша духовность упадет уже в ближайшее время до самой низкой отметки. У меня создается впечатление, что и нынешним демократическим властям не хватает понимания истинной ценности литературно-художественных изданий. У нас остается только одна надежда — на ваше понимание, вашу поддержку.

К сказанному хочу добавить, что тем, кто подписался на три месяца или половину года и намеревается продлить подписку, придется выписывать журнал по другой, новой цене.

В конце прошлого года, желая порадовать наших читателей, мы объявили подписку на приложение из двух книг — С. Довлатова и В. Гроссмана. Нам казалось, что стоимость издания одного тома — 15 руб. — непомерно велика. Выпуск книг предполагалось осуществить в первой половине 1992 года. Но либерализация цен поставила нас в условия тяжелейшие, и мы вынуждены были срочно приостановить подписку. Издательства, с которыми мы имели договор, так как у нас нет ни собственных станков, ни бумаги, выставили нам цену — 40—50 рублей за книгу. (Видимо, теперь книги будут выпускаться по такой цене.) Борьба с условиями, предложенными монополистами, у нас не хватает ни сил, ни возможностей. И потому приносим глубочайшие извинения за то, в чем виноваты невольно. Полагаем, что названные авторы и их произведения — это, несомненно, духовное достояние народа; хотелось бы, чтобы он этим достоянием всецело пользовался. Обращаемся к вам за советом: согласитесь ли по означенной цене приобрести эти книги? Возможности удешевить издания у нас нет. Повторяю: нас поставила в тяжелейшие условия либерализация цен; но трудности, какими бы они ни были, — это трудности переходного периода, их надо пережить, если мы действительно хотим прекратить над собой коммунистический эксперимент и вернуться в лоно цивилизованной жизни.

Анатолий АНАНЬЕВ



«ACADEMIA» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Это было одно из лучших издательств страны. Но век его оказался короток — всего 16 лет (1921—1937). «Academia» — тоже жертва «большого террора». Осталось свыше тысячи названий книг. И каждая из них — мечта знатока, подлинного книголюбца.

В прошлом году сотрудники журнала «Вестник Российской академии наук» и издательства «Наука» решились на смелый шаг. Они предприняли попытку возродить «Academia». Сейчас готовятся к выпуску следующие издания:

СТЕПУН Ф. А. *Бывшее и несбывшееся*. В 2-х томах. Серия: «Времена и нравы: мемуары, письма, дневники». 38 а. л. Ориентировочная цена 50 р.

ФЕДОТОВ Г. П. *Русская религиозность*. В 2-х томах. Серия: «Мыслители России». 40 а. л. Ориентировочная цена 50 р.

АМОСОВ Н. М. *Как жить, чтобы выжить?* 10,5 а. л. 5 р.

ДАДУН Р. *Фрейд*. Предисловие А. М. Руткевича. Пер. с французского. Серия: «Мир науки: люди и судьбы». 25 а. л. 30 р.

КЛЕМПЕРЕР В. *Словарь третьего рейха*. Записки филолога о языке тоталитарной системы. 15 а. л. 15 р.

ГАЛЕЙРАН. *Воспоминания*. Пер. с французского. Серия: «Времена и нравы: мемуары, письма, дневники». 20 а. л. 25 р.

ЭФРОС А. *Рисунки Пушкина*. С илл. 20 а. л. 25 р.

Спасибо женщинам, коварным и неверным. Любимая лирика русских поэтов. С илл. 15 а. л. 40 р.

Заказы на книги можно направлять на почтовых открытках по адресу: 109034, Москва, Остоженка, Савельевский пер., 13. По выходе книг из печати они будут высланы наложенным платежом.

ГОССТРАХ РСФСР предлагает новую форму коллективного страхования трудящихся — страхование на случай установления инвалидности от любой причины.

Договоры страхования можно заключить на страховую сумму не менее 1000 рублей как в комплексе с коллективным страхованием от несчастных случаев, так и отдельно, только на случай установления инвалидности.

Годовой платеж в сумме 5,65 рублей с 1000 рублей страховой суммы гарантирует выплату страхового пособия в случае:

- установления инвалидности I группы в размере 100% страховой суммы;
- установления инвалидности II группы — 60% страховой суммы;



**ГОССТРАХ
РСФСР**
**ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВЫХ УСЛУГ**

- установления инвалидности III группы — 30% страховой суммы.

Общая сумма выплат, в связи с установлением различных групп инвалидности одному застрахованному за весь срок страхования, не может превышать страховую сумму.

Страхование в Госстрахе проводится по самым низким страховым тарифам. Выполнение обязательств гарантируется солидными резервными фондами.

Заключить коллективный договор страхования трудящихся за счет средств предприятия можно в организациях государственного страхования по месту нахождения Вашего предприятия.

ПРАВЛЕНИЕ ГОССТРАХА РСФСР